This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

**Правила использовапия**

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

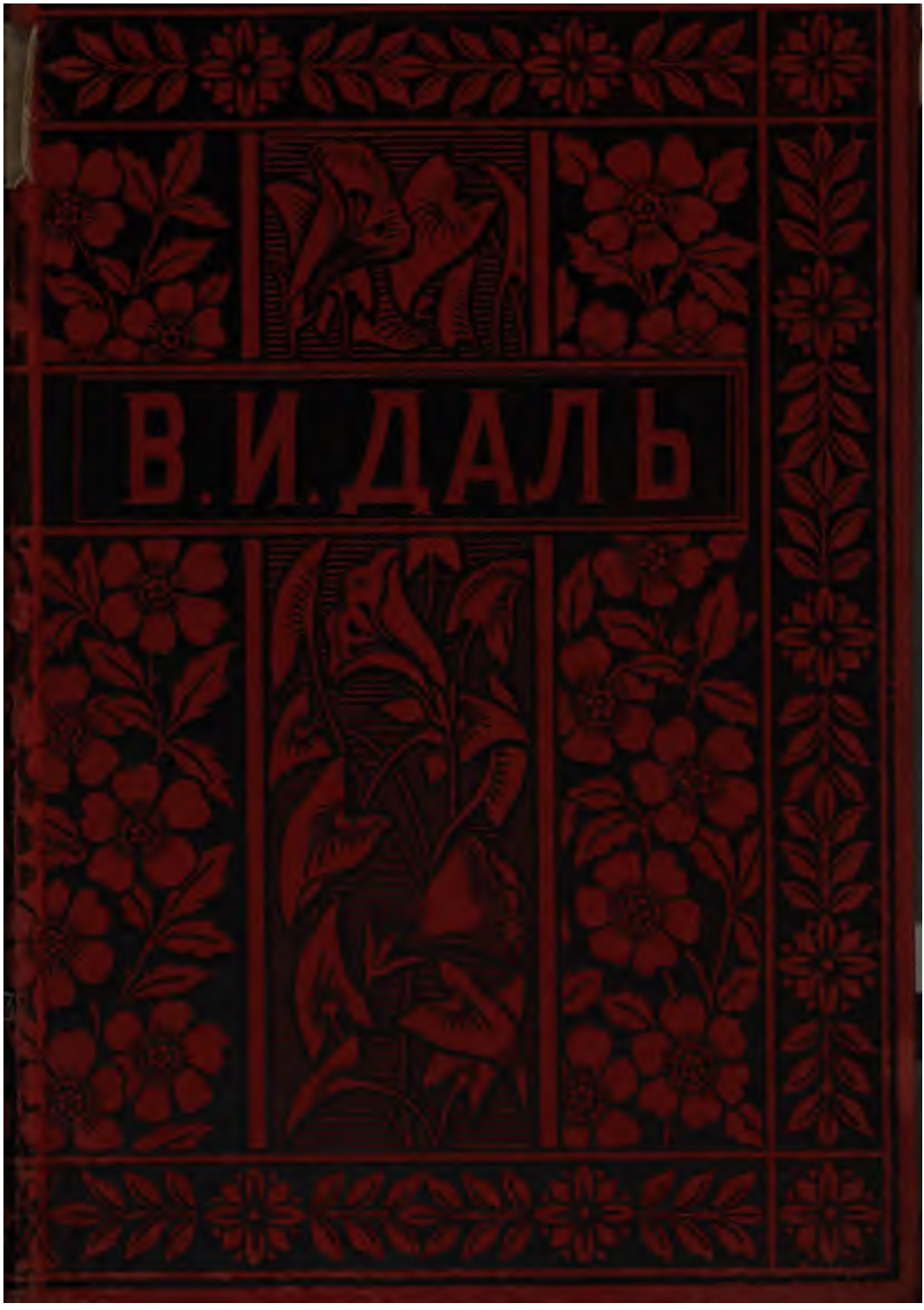
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

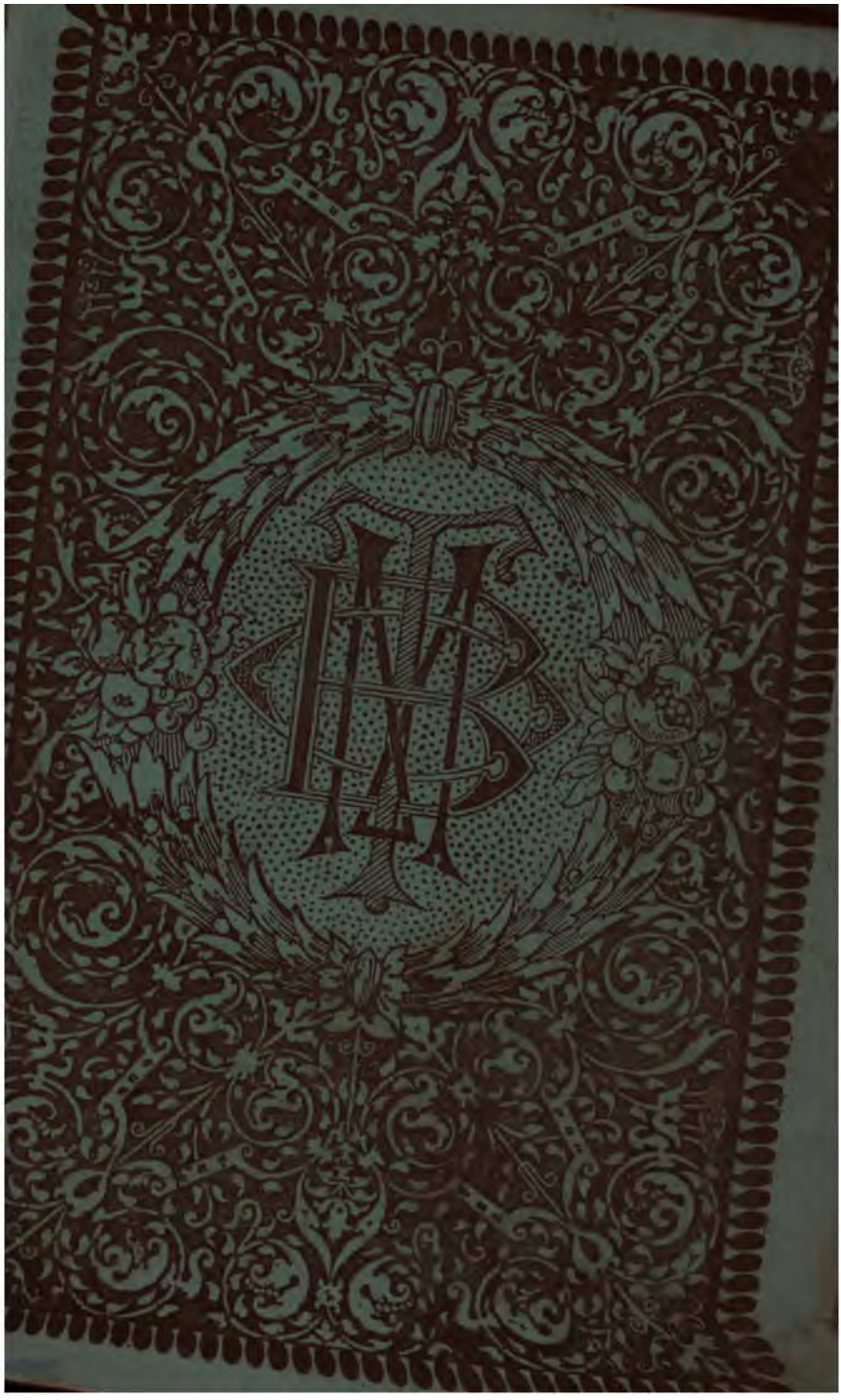
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

**О программе Поиск кпиг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

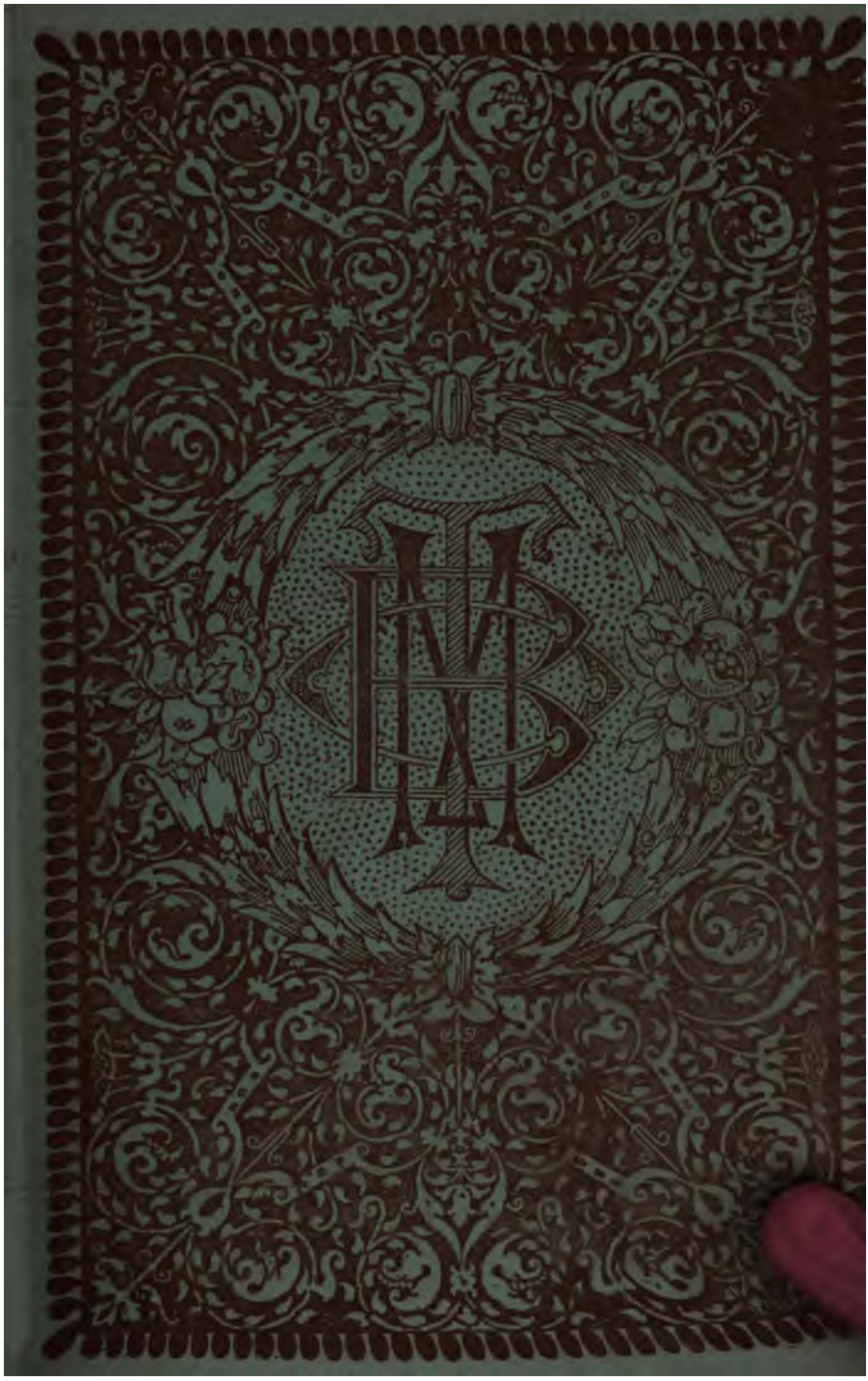

В. И. ДАЛЬ

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARY
ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.

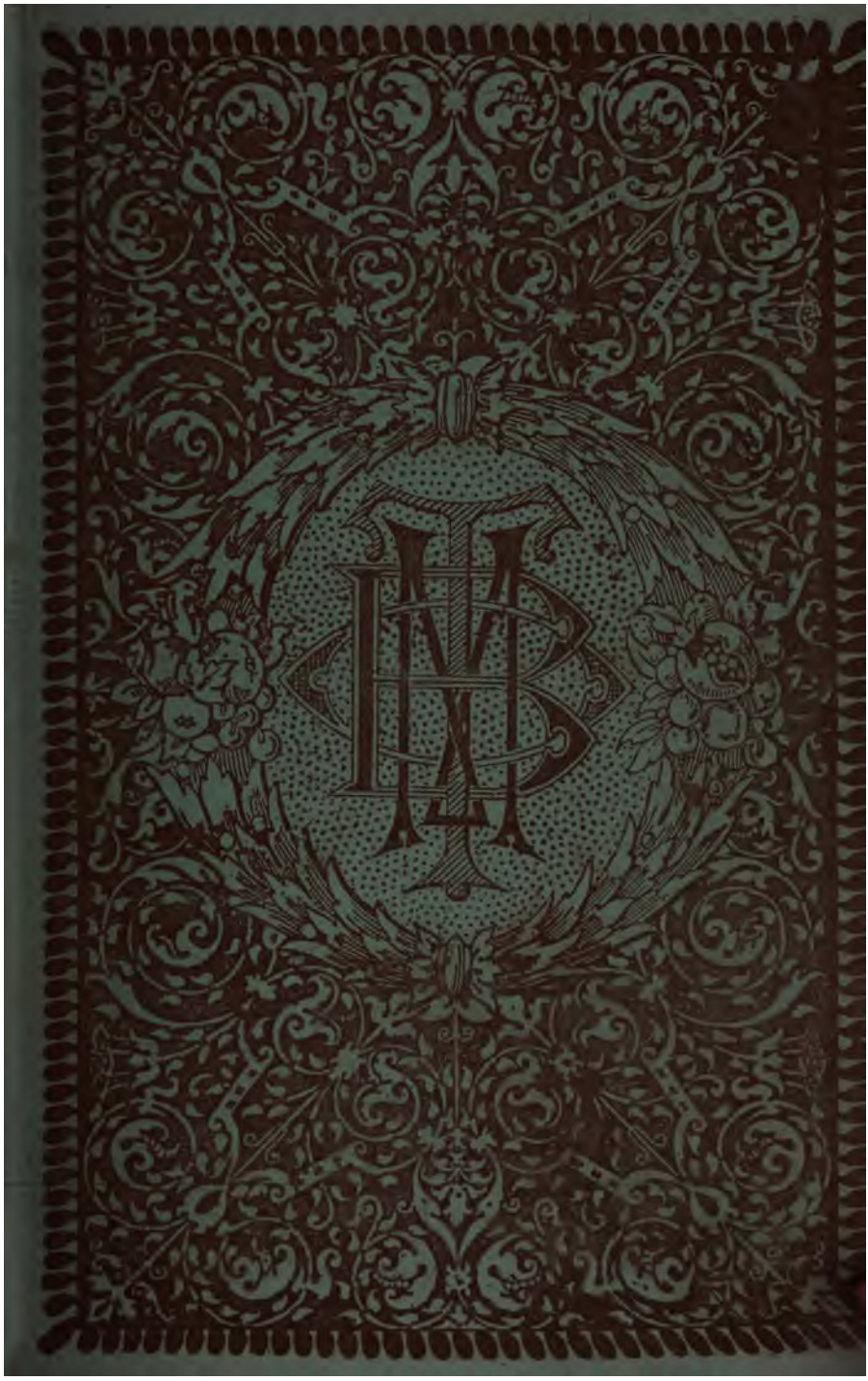


STANFORD UNIVERSITY
LIBRARY

ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.



STANFORD UNIVERSITY
LIBRARY
ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.



Д|14-IV
118

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

## СОЧИНЕНІЙ

# ВЛАДИМІРА ДАЛЯ

## (КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

**ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ**

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
## СОЧИНЕНІЙ
# ВЛАДИМІРА ДАЛЯ
## (КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

*Первое посмертное полное изданіе, дополненное, свѣренное и вновь просмотрѣнное по рукописямъ*

**ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ**

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С. ПЕТЕРБУРГЪ
Гостиный дворъ, № 18

МОСКВА
Кузнецкій мостъ, № 12

1897

v.4

Типографія Товарищества М. О. Вольфъ С.-Петербургъ

Дозволено цензурою 16-го августа 1897 г. Редакторъ-издатель А. М. Вольфъ.

# РАКИТА

Въ Глуховскомъ уѣздѣ, на самой границѣ Орловской и Черниговской губерній, стоитъ, надъ большой дорогой, одинокая ракита.... Проѣзжіе крестьяне смотрятъ на нее съ умиленіемъ и страхомъ, иной даже мимоходомъ снимаетъ шапку и крестится. «Ракита эта полита невинною кровью, оттого она и шумитъ такъ,— сказалъ ямщикъ, котораго я спросилъ, отчего онъ, глядя на нее, перекрестился:—эта ракита выдала душегубца, услышавъ плачъ праведнаго, и сотворила безсловесный судъ!»

Наши орловскіе мужики, продолжалъ ямщикъ:— ходятъ подъ Глуховъ на работу: жнутъ, молотятъ, косятъ. Временемъ бываютъ у нихъ заработки хорошіе; а какъ иному не задастся, либо кто больно обрадуется вольному вину, которое тамъ дешево, тотъ придетъ ни съ чѣмъ. А ни съ чѣмъ-то придти досадно. Вотъ иного зависть-то и мучитъ; а одного, вишь, и грѣхъ попуталъ.

На селѣ у насъ были два парня, оба хорошіе ребята, а ужь одинъ, Андрей душа-человѣкъ. И рабо-

тящій, и смышленный, не то чтобы развѣсивъ уши ходилъ, и работа у него подъ руками горитъ; подушныя уплачивалъ всѣ сполна, хоть и было ему тяжеленько: три души на нихъ, а все малый да старый, и работникъ онъ одинъ. Другой, Филиппъ — такъ бы ничего себѣ, парень здоровый, и коса изъ рукъ не валилась, да мотоватъ маленько, и ужь мы всѣ его знали, что куда охочъ былъ погулять: ничего не пожалѣетъ, а и пуще того, коли гдѣ замѣшаются дѣвки.

Вотъ Филиппъ-то и ходилъ одно лѣто на заработки къ сосѣдямъ нашимъ, къ хохламъ, да и воротился, какъ пошелъ, въ лаптяхъ да зипунишкѣ, а за пазухой ничего. Вотъ ужь онъ тутъ какъ ни придумывалъ, какъ ни отвирался дома, а ужь извѣстно, этихъ концовъ не схоронишь; знать было по всему, да и слухи прошли послѣ объ этомъ, что просто гулялъ да и прогулялъ все. Старику стало не подсилу, его за подушное потянули на расправу, а сынъ-то гляди да казнись.

На другое лѣто Филиппъ опять пошелъ на работу съ косой, а отецъ крѣпко ему наказывалъ, чтобъ приносилъ деньги сполна, не то бѣда ему будетъ. — «Не стану, говоритъ, больше за тебя отвѣчать, самъ тогда ступай въ волость и раздѣлывайся. Теперь я послѣднюю корову продалъ — на меня не надѣйся; а ты учись да казнись, глядя на Андрея: тотъ всю семью кормитъ и оплачиваетъ; а ты что? Иди же съ Богомъ съ нимъ вмѣстѣ, да смотри, чтобъ принесъ ты не меньше его!»

Не въ первый разъ упрекали Филиппа Андреемъ, и ему это было досадно. Собрались они вдвоемъ и пошли вмѣстѣ, отецъ Филиппа еще таки проситъ Андрея и въ поясъ ему кланяется: «сдѣлай милость, братецъ, побереги у меня сына да не давай ему гулять; вотъ тебѣ при добрыхъ, сторонннхъ людяхъ всю отцовскую власть надъ нимъ отдаю въ руки: бей его,

учи его да, пожалуста, держи въ рукахъ, чтобъ не моталъ.»

Пошли. Извѣстное дѣло, что жъ одинъ молодой парень сдѣлаетъ надъ другимъ, хоть бы вотъ и въ глазахъ его сталъ дурить? Ну, скажетъ ему разъ, другой — добро послушается, а нѣтъ, такъ что онъ надъ нимъ сдѣлаетъ?

Андрей скоро нашелъ себѣ работу, да тутъ и остался; его ужъ знали въ околоткѣ тамъ, что этакого косца поискать. Филиппъ пошелъ дальше въ сторону, какъ говорилъ, къ знакомому хозяину, а по пути думалъ еще собрать кой-какіе должишки: а онъ, какъ лѣтось загулялъ да растрясъ всѣ денежки, такъ и въ займы давалъ, а о томъ не думалъ, каково будетъ собирать ихъ: берутъ руками, отдаютъ ногами.

Прошло лѣто, кончились покосы, пора и домой. Вотъ Андрей только-что сталъ собираться, глядь, и Филиппъ тутъ.

— Здравствуй, братъ.

— Здорово.

— Что, какъ живешь?

— Ничего, слава Богу; ну, а ты?

— Да и я тоже,—и замолчалъ.

А у него такое тоже, что нѣтъ опять ни гроша. Заработалъ ли, нѣтъ ли, а за воротъ спустилъ довольно; а тамъ полъ-лѣта прошатался по жидамъ, долги собиралъ—одного не собралъ, другое растерялъ, и остался ни съ чѣмъ.

На прощанье хозяинъ Андрея накормилъ ихъ обоихъ, по тамошнему, и вина поставилъ. Одинъ не пьетъ, такъ другой не прольетъ. Поѣли, выпили, помолились, поблагодарили хозяевъ и пошли въ путь.

Вотъ Андрей и сталъ говорить, что-де домой придемъ, денегъ принесемъ, подушное уплатимъ, да съ Богомъ и женимся: пора. И взяла тутъ кручина Фи-

липпа, и сталъ онъ спрашивать Андрея, по правдѣ, сколько денегъ онъ принесетъ домой.

— Сотенку принесу.

— Вправду такъ?

— Да какже не вправду, коли она вотъ у меня, тутъ бумажникъ на гайтанѣ; а у тебя много ли?

— Чего, братъ, много ли, и всего-то цѣлковыхъ съ два остались; да и тѣ, видно, на грѣхъ уцѣлѣли.

— Какъ такъ, Филиппъ?

— Да такъ; больше нѣтъ, а этихъ, видно, беречь некуда, ими дѣла не управишь. Жиды обманули, должка не заплатили; и хозяинъ, говоритъ, не отдалъ денегъ, велѣлъ на тотъ годъ опять приходить; а тамъ работы не нашелъ, да еще нездоровилось что-то....

— Эхъ, братъ Филя, видно, самъ ты себя обманываешь, а не жиды. Плохо же, братъ, дѣло наше. Что теперь отецъ твой скажетъ, а что скажутъ въ волости, и что всѣ добрые люди? А подушное-то кто заплатитъ? Опять за тебя отца на расправу потянутъ.. плохо, братъ!

— Ужь не зимовать же мнѣ тутъ, — сказалъ Филиппъ: — не миновать того, что домой идти. Что будетъ, то будетъ.

А лукавый и сталъ мучить Филиппа: молчитъ все да думу думаетъ; что ближе подходятъ, то страшнѣе ему домой показаться, а и пуще вмѣстѣ съ Андреемъ, который несетъ домой бумажникъ. Вотъ и сталъ онъ приставать къ нему: подѣлись, говоритъ, дай взаймы половину—я отдамъ!

— Дурака ты нашелъ, — говоритъ ему Андрей:— чтобъ я тебѣ трудовыя денежки свои взаймы отдалъ. Тутъ плясовыхъ да бражныхъ нѣтъ ни копѣйки, все трудовыя до потовыя. Братъ-не-братъ, говорится, а въ мой горохъ не лѣзь: что у тебя руки, то и у меня, всякъ на себя работалъ. У меня тоже отецъ дома и семья.

Прошли они еще сутки трои либо четверы вмѣстѣ, подошли уже къ самой границѣ своей губерніи и сѣли вмѣстѣ отдыхать подъ эту самую ракиту, поѣли хлѣбца, запили водицей, помолились и уснули. Филиппъ первый проснулся и глядитъ на товарища: спитъ. Оглянулся Филиппъ кругомъ: все пусто, глухо, никого не видно; глянулъ опять на Андрея, у котораго сто рублевъ за пазухой, привсталъ на колѣнце, взглянулъ на себя, будто чего ищетъ; нѣтъ ничего, нечѣмъ и извести бѣднаго Андрея....

Однако, видно, сатана находчивъ: Филиппъ закинулъ Андрею на шею опояску, насѣлъ на него и задушилъ....

— Богъ тебѣ судья, — прохрипѣлъ Андрей на отходѣ:—нѣтъ тутъ свидѣтеля, а вотъ ракитовый кустъ этотъ видитъ насъ, и онъ заговоритъ, а злодѣйство твое изобличитъ....

Прошло года два. Андрей пропалъ безвѣсти, и никто на Филиппа не думалъ, никакого оговора на него не было. Филиппъ не вдругъ выказалъ деньги, а тамъ женился и зажилъ домкомъ. Сталъ онъ торговать по мелочамъ, какъ не охотникъ до крестьянскихъ работъ, и люди знали, что тестъ у него человѣкъ съ достаткомъ, изъ другой деревни, такъ никто и не дивился, что сталъ Филиппъ разживаться.

Вотъ на праздникахъ у жениныхъ родныхъ, сватовъ и сватьевъ Филиппа, была какая-то погулка. Принарядившись, онъ сѣлъ съ женою на телѣжки и поѣхалъ туда. Дорога, до поворота, была та самая, по которой Филиппъ съ Андреемъ хаживали въ Глуховъ. Увидавъ одинокую ракиту, Филиппъ и вспомнилъ прошлое, бѣдность свою и богатство работящаго Андрея, которое его столько мучило завистью, а теперь, подумалъ онъ, что мнѣ Андрей, а я вотъ мужикъ съ достаткомъ. Подумавъ это, Филиппъ и поглядѣлъ на ра-

киту, усмѣхнулся, а тамъ у него и сорвалось съ языка: «что молчишь? говори—не боюсь!»

— Кто молчитъ? Чего не боишься?—спросила хозяйка.

— Нѣтъ, ничего. Я такъ, про себя.

Однакожь, Филиппъ что-то долго не сводилъ глазъ съ ракиты, покуда не проѣхалъ ее, а тамъ опять усмѣхнулся и махнулъ рукой. Хозяйка смѣтила это и пристала къ нему:

— Скажи да скажи, чего ты глядѣлъ на ракиту? Что у тебя тутъ было? Видно-де одной только женѣ и нельзя этого сказывать? Скажи, сдѣлай милость, голубчикъ! Не скажешь, такъ ей-ей всѣмъ людямъ буду говорить про это дѣло, буду стыдить тебя... Ну, пристала безотвязно, какъ бабы пристаютъ. Либо Филиппъ, на праздникъ ѣдучи, ужь хмѣленъ былъ, либо не зналъ еще, что не всякую правду велятъ женѣ сказывать, а хозяйка кончила таки тѣмъ, что свое допыталась.

— Молчи, говоритъ, дура, экъ загорѣлось! Андрей-то тутъ, подъ ракитой, дѣло прошлое, я его въ тѣ поры тутъ уходилъ, а онъ послался на нее, на ракиту, что она выдастъ меня. Ну, я теперь, глядя на нее, и разсмѣялся: стоитъ какъ стояла, а ужь вотъ четвертый годъ пошелъ тому дѣлу.... Да, смотри, молчи!...

Пріѣхали они вмѣстѣ къ жениной роднѣ на пиръ, гуляли весь день до вечера. Тутъ хозяйка Филиппа, хоть и сама хмѣльная, да еще въ памяти, вспомнила, что пора домой, къ малымъ дѣткамъ; притомъ и хозяинъ ея ужь крѣпко подгулялъ и нѣсколько разъ принимался буянить, и она, зная его обычай, видѣла, что и его до грѣха надо везти домой. Филиппъ и слышать этого не хочетъ: въ охотку разгулялся. Она пристала къ нему, сперва стала просить, тамъ перебраниваться съ нимъ, а наконецъ подошла и стала тащить его, напустившись бранью, какъ горохомъ. Мужъ не стер-

пѣлъ такой обиды, что при чужихъ людяхъ жена вздумала имъ такъ помыкать; къ тому жь, у него въ головѣ дуракъ сидѣлъ: онъ и принялся ее колотить да сволокъ съ головы платокъ и потащилъ ее за космы. Она, вырвавшись отъ него простоволосая, со злости ужь и себя не помнила; принялась кричать и браниться и попрекать мужа всѣмъ, что могла насчитать и припомнить, проговорилась: что-де ты, мошенникъ этакой, и меня убить хочешь, какъ Андрея, котораго зарылъ подъ ракитой....

Слово—не воробей: вылетитъ — не поймаешь. Всѣ люди слышали, что Филиппова хозяйка сказала, пошла молва. Пошелъ говоръ на весь міръ: вотъ ихъ и потянули къ допросу. Сперва оба, опомнившись, стали зарекаться: знать не знаютъ, вѣдать не вѣдаютъ; а какъ пошли съ понятыми подъ ракиту, да вырали кости бѣднаго Андрея, и шляпу и кафтанъ его признали, такъ Филиппу некуда дѣваться стало, хоть объ стѣну головой. Филиппа сослали, а ракита стоитъ, говорятъ, и понынѣ по глуховской дорогѣ, и народъ, проѣзжая мимо, крестится и творитъ молитву за душу Андрея.

# ЗАЙМЫ

— А я къ тебѣ, любезный Костроминъ. Послушай, душа моя, сдѣлай милость, дай мнѣ пятьдесятъ рублей до перваго числа; очень нужно, ей-Богу; то есть вотъ не́ на что овсеца купить верхо́вому своему, да сѣнца; печёмъ заплатить проклятому жиду, а онъ не даетъ покоя и ужь два раза жаловался полковнику. Ей-Богу, такая бѣда! Пожалуста, не откажи.

Костроминъ стоялъ молча, не зная, что́ отвѣчать; онъ думалъ только про себя: «что я за сума—дай пить и ѣсть, что долженъ раскошеливаться каждый разъ, когда кто-нибудь въ полку проиграется или безпутно прокутитъ жалованье свое и послѣ ходитъ, грызетъ ногти и ищетъ дурака?..»

— Ну, послушай же,—продолжалъ первый;—дай хоть сорокъ, хоть, наконецъ, тридцать пять: ей-Богу, до зарѣзу нужно...

— А подумаешь-ли ты о томъ, что ихъ надобно отдать?—спросилъ задумавшись Костроминъ.

Товарищъ очень обидѣлся этимъ вопросомъ; спросилъ въ свою очередь, за какого подлеца тотъ его

принимаетъ; призывалъ въ поруки честь свою, благородное слово; опять упрекнулъ Костромина за крайне обидное, неприличное слово, и опять, надувъ нѣсколько губы и покраснѣвъ въ лицѣ, сталъ божиться и заклинаться и спрашивать настойчиво:

— Да неужто жь ты мнѣ не вѣришь? Такъ, послѣ этого, ты самъ стóишь того, чтобъ тебя обругать... За кого жь ты меня принимаешь?

Костроминъ досталъ деньги, отдалъ ихъ молча, и товарищъ отправился, сказавъ нѣсколько сухо и съ разстроеннымъ видомъ:

— Спасибо; непремѣнно отдамъ.

Оставшись одинъ, Костроминъ горько улыбнулся. «Экой я казначей!» сказалъ онъ, покачавъ головой: «и откуда только берется такая судьба человѣка, какъ моя? Доходовъ, кромѣ жалованья, ни одного гроша; коли отъ трети до трети есть остаточки да маленькій запасецъ, накопленный въ нѣсколько лѣтъ, то это не оттого, конечно, чтобъ я получалъ болѣе другихъ, а оттого только, что я не пью, въ карты не играю, безпутно ничего не проживаю... За чтó же мнѣ вѣчно оплачивать глупости другихъ? За что же тотъ, кто безстыднѣе и наглѣе, проживаетъ чужое? У насъ есть, такъ-называемые, богачи, которые получаютъ изъ дому вдвое и втрое противъ жалованья, одинъ даже вдесятеро болѣе, но никому и въ голову не придетъ идти къ нимъ за деньгами, они отъ этихъ докукъ свободны; напротивъ, они-то первые обираютъ нашего брата-бѣдняка, и у нихъ-то память на это дѣло всегда короче. Попытайтесь напомнить имъ о должкѣ, если только это не карточный долгъ, и они готовы стрѣляться съ вами зá эту обиду. Взято, такъ взято, а благородство дворянина и особенно честь офицера требуютъ, чтобъ несчастный занмодавецъ, дуракъ этотъ, работѣпно молчалъ, или товарищески прикусилъ языкъ

и не поминалъ стараго, а припасалъ, на случай нужды, новое... Вѣдь не о деньгахъ рѣчь, а объ этой подлости людей, которые хотятъ слыть примѣромъ честности и благородства!»

«Да онъ отдастъ», сказалъ самъ себѣ безсознательно Костроминъ, и оглянулся, будто это проговорилъ кто другой, и, рѣзко покачавъ головой, самъ же себѣ отвѣчалъ: «Кто? онъ отдастъ? Да если онъ отдастъ въ срокъ, если онъ отдастъ добромъ, безъ ссоры, наконецъ—да, и на это согласенъ—если онъ вообще когда-нибудь самъ вспомнитъ о долгѣ этомъ и отдастъ его, то я готовъ позволить сдѣлать надъ собою что угодно... И не въ томъ дѣло, впрочемъ, не въ этихъ тридцати-пяти рубляхъ, хотя они, при четырехъ сотняхъ всего содержанія, также не бирюлька, но не въ томъ дѣло, и пожалуй даже не въ томъ, что такихъ расхожихъ рублей, изъ которыхъ составляются десятки и сотни, у меня считается въ бѣгахъ... да сколько... сотни четыре, годовой окладъ—а вотъ въ чемъ дѣло: для чего это такъ на свѣтѣ бываетъ, зачѣмъ все это такъ устроено, что всегда невинный отвѣчаетъ за виноватаго, всегда наглость и безстыдство берутъ верхъ, а скромный, благонамѣренный и тихій человѣкъ, который не умѣетъ даже сказать такую простую и простительную ложь, какъ напримѣръ: у меня нѣтъ денегъ, что такой человѣкъ долженъ страдать за товарищей своихъ, негодяевъ...

«Кончено!» сказалъ Костроминъ, ударивъ кулакомъ въ столъ и вскочивъ съ мѣста: «дудки! меня больше не поддѣнешь! Это было послѣднее мое дурачество. Что я, въ самомъ дѣлѣ, за банкиръ? Не дамъ никому ни рубля: и лгать не стану, а скажу прямо, безъ обиняковъ, что не дамъ. Для чего и для кого же я коплю и сберегаю? Для удовольствія картежника, который, въ чаду своего безпутства, спускаетъ въ одну минуту

и на одну карту болѣе, чѣмъ я въ состояніи накопить въ круглый годъ? Для бахвала, который обливаетъ кислымъ донскимъ виномъ столы и стулья и платитъ за него, какъ за шампанское, лишь бы этому были свидѣтели и сводили замѣчательный счетъ бутылкамъ? Для распутнаго негодія, который... Словомъ, кланяюсь всѣмъ имъ. Лучше я раздамъ рубли эти бѣднякамъ, или поправлю на нихъ два-три хозяйства разорившихся по несчастью крестьянъ—словомъ, и лгать не стану, да и держать не стану денегъ, ни лишняго гроша: я имъ лучше самъ протру глаза.»

Костроминъ надѣлъ сюртукъ, взялъ фуражку, вышелъ на улицу и отправился прямо къ одному крестьянину, о которомъ онъ на-дняхъ слышалъ. Удостовѣрившись на мѣстѣ, что въ семьѣ, гдѣ числилось семь душъ, былъ одинъ только работникъ, потому что одинъ былъ отданъ въ рекруты, другой померъ, третій калѣка и сидѣлъ сиднемъ на печи, четвертому минуло семьдесятъ лѣтъ, а пятому и шестому было по пяти и по шести лѣтъ отъ-роду; удостовѣрившись также, что единственный работникъ и хозяинъ двора этого былъ мужикъ довольно порядочный, потерявшійся только отъ удручавшихъ его несчастныхъ обстоятельствъ, Костроминъ тотчасъ же распорядился: заплатилъ за него по мелочамъ цѣлковыхъ десять долгу, внесъ за него столько же подушныхъ и недоимочныхъ по земскимъ повинностямъ, выкупилъ недавно проданную имъ послѣднюю коровку и купилъ ему еще дешевенькую крестьянскую лошадку... «Я знаю», говорилъ онъ, «что, по мнѣнію опытныхъ хозяевъ, такъ дѣлать не должно, и что, по мнѣнію ихъ, подобные несоразмѣрные подарки мужику въ прокъ не пойдутъ. Посмотримъ, пропадать деньжонкамъ моимъ, такъ пусть же онѣ пропадаютъ такимъ образомъ, а не за безпутными гуляками.» Крестьянинъ при такомъ неожида-

номъ переворотѣ, ровно одурѣлъ: онъ плакалъ и смѣялся, ходилъ слѣдомъ за благодѣтелемъ своимъ, кланялся и носилъ шапку свою, какъ пугало, на кулакѣ. Баба его, женщина еще молодая, но изнуренная, не могла допскаться слова: она только крестилась и кланялась каждый разъ, когда нежданный благодѣтель проходилъ мимо нея или приближался. Костромину самому смѣшно было, если онъ среди распоряженій своихъ вспомнилъ, по какому поводу онъ внезапно сдѣлался ревностнымъ покровителемъ несчастныхъ. «Успокойтесь, друзья мои», думалъ онъ: «это, къ сожалѣнію, не надолго; бумажникъ мой скоро опустѣетъ, а то, что было въ немъ, накопилось въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Я думалъ, что оно пригодится мнѣ, еслибъ я вздумалъ съѣздить въ отпускъ, или когда бъ я.. когда бъ я вздумалъ жениться; но это все, какъ я вижу, однѣ мечты: годъ за годомъ уходитъ, добрые товарищи меня обираютъ. Не дать, такъ и не жить съ ними; а лучше пусть нечего будетъ раздавать, такъ и сердцѣ станетъ спокойнѣе.

— Не знаешь ли ты, — спросилъ онъ мужика: — нѣтъ ли тутъ гдѣ по сосѣдству такого жь бѣдняка, какъ ты? Да чтобъ непьющій былъ мужикъ и работящій — понимаешь? такого, который обнищалъ отъ бѣды, отъ напасти, а не по своей оплошности?

Крестьянинъ повторялъ: «понимаю; какъ же?» а между-тѣмъ смѣялся сквозь слезы, какъ дурачокъ, и повертывалъ шапку свою на кулакѣ. На этотъ разъ хозяйка его скорѣе опомнилась и дала толковый отвѣтъ: «Есть, батюшка, какъ не быть! богатыхъ-то не больно-много, а этакіе есть. Вотъ въ Сосницахъ, за горой, добрый мужикъ есть, Андреемъ зовутъ, такой же горемыка, сердечный, какъ и мы вотъ до тебя были; да еще и лошадку украли у него мошенники—

такъ пропалъ совсѣмъ, вотъ хоть живому въ могилу ложиться.»

Костроминъ пошелъ домой, велѣлъ осѣдлать коня, поѣхалъ въ Сосницы и отыскалъ Андрея. Разузнавъ и тутъ все, что было ему нужно, онъ вытрясъ запасной бумажникъ свой до самой подкладки. Весело улыбнулся онъ, когда увидѣлъ это и убѣдился, что на этотъ разъ, по-крайней-мѣрѣ, пришелъ конецъ его страданіямъ. Онъ и этого крестьянина также выкупилъ изъ бѣды, купилъ ему тутъ же лошадь, новый сошникъ, тулупъ и сермягу. Затѣмъ онъ легко взвился на-лошадь и безъ оглядки пустился крупной рысью изъ сельца, объѣхавъ вкругъ лѣса, посмотрѣлъ на озеро, гдѣ бабы бродили бреднемъ и прятались отъ нежданаго и незванаго зрителя въ тростникъ, потомъ поворотилъ домой и въ самомъ веселомъ и безпамятномъ расположеніи сѣлъ у окна, съ трубкою и со стаканомъ чаю.

Не прошло двухъ недѣль, какъ офицеры собрались у одного изъ товарищей, гдѣ былъ и Костроминъ. Занимались, по обыкновенію, напущеніемъ другъ на друга пяти-десяти-двухъ разбойниковъ; у одного изъ нихъ (не изъ разбойниковъ, то-есть, а изъ числа хозяевъ ихъ) былъ сдѣланъ самый вѣрный расчетъ и слѣдовало убить семерку; но она обманула, не далась, и проигравшій съ отчаяннымъ изступленіемъ ударилъ себя въ лобъ...

— Быть не можетъ! нѣтъ, не можетъ быть!—закричалъ онъ, подумавъ немного и повѣривъ въ безуміи своемъ какой-то безсмысленный расчетъ, по которому онъ былъ навѣрняка:—быть не можетъ, семерка должна мнѣ воротить все. Атанде, господа!

Онъ вскочилъ и оглядывался, у кого бы занять рублей двадцать-пять для ставки навѣрняка.—Костроминъ, дай ради Бога! не откажи. Клянусь...

— У меня, братъ, нѣтъ, ниже зелененькой; я и самъ до жалованья сижу безъ оныхъ.

— Да дай же, братецъ, пожалуйста!—продолжалъ тотъ съ такимъ негодованіемъ, будто самъ отбивался силою отъ какого-нибудь докучливаго нахала:—дай, пожалуйста; ты видишь, что тутъ было вѣрное: семерка дастъ сóника—не бось, твое не пропадетъ—я отвѣчаю!

— Послушай,—сказалъ Костроминъ: — вѣдь, вотъ ты же требуешь, чтобъ я твоему слову вѣрилъ; вѣрь же и мнѣ: я никогда и никого изъ товарищей не обманывалъ; у меня нѣтъ денегъ, и именно нѣтъ за душой ни пяти рублей.

— Помилуй, братецъ!—началъ тотъ:—у тебя нѣтъ денегъ! да это курамъ смѣхъ; да куда же ты ихъ дѣвалъ?

— Куда дѣвалъ—это мое дѣло; довольно того, что ихъ нѣтъ.

— Вѣрно на какой-нибудь вздоръ издержалъ,—сказалъ тотъ, съ горькимъ упрекомъ—а вотъ когда добрые товарищи въ нуждѣ, въ крайности, когда иному до зарѣзу нужно, такъ и нѣтъ...

Костромину, который былъ въ самомъ спокойномъ расположеніи и нисколько не сочувствовалъ рьяному порыву горячаго товарища, выходка эта показалась очень-забавною; онъ улыбнулся молча; кой-кто изъ прочихъ собесѣдниковъ также разсмѣялся; но на этотъ разъ дѣло этимъ кончилось, и семерка не дала ничего. Черезъ нѣсколько дней, однакожъ, опять кто-то навѣдался къ полковому... банкиру, что ли: иначе я его и назвать не умѣю, хотя и банкиры не даютъ обыкновенно взаймы безъ отдачи, и навѣдался по крайней надобности въ деньгахъ. Костроминъ поздравлялъ себя отъ души, что отъ чистаго сердца и съ спокойною совѣстью можетъ сказать: «нѣтъ ни копѣйки», и, ра-

умѣется, остался при этомъ отвѣтѣ. На вопросы: «отчего же нѣтъ и какъ нѣтъ?» онъ отвѣчалъ, пожимая плечами; но видно было по всему, что ему не вѣрили. «Костроминъ прижался, братцы», стали поговаривать: «обратился въ жидовскую вѣру, сталъ копить не на шутку...» Отчего же никто не выдумалъ упрекать тѣхъ, которые получали втрое болѣе Костромина, а проживали по-крайней-мѣрѣ вшестеро болѣе и, конечно, также никому не давали взаймы ни мѣднаго гроша?

Прошло еще недѣли двѣ-три, и внезапно сказанъ былъ походъ. Суматохи было много, потому-что вѣсть эта многихъ застала врасплохъ. Доселѣ везла и не везла семерка, а теперь надо было устроиться такъ, чтобъ повезли верховыя и вьючныя лошади, надо было подняться и идти... И опять прибѣгаетъ вечеромъ къ Костромину одинъ изъ такъ-называемыхъ товарищей, человѣкъ женатый, семейный, но человѣкъ, любившій кутнуть по-походному и по военному, человѣкъ, который, не взирая на свои 35 лѣтъ и на четверочку ребятишекъ, неминуемо пускалъ каждый грошъ ребромъ и копѣйку козыремъ... человѣкъ, который выходилъ на цѣлый день со двора, когда дома нечего было ѣсть, безъ труда прикидывался веселымъ холостякомъ и добродушно забывалъ о живой женѣ и дѣтяхъ... «Ну, Костроминъ,» сказалъ онъ: «какъ хочешь, а дай мнѣ сто рублей. Воля твоя, а я безъ этого отъ тебя не выйду; я въ такомъ отчаяніи, что готовъ не знаю что надъ собою сдѣлать. Вообрази: тутъ выступать, а тутъ семья на шеѣ, а денегъ — вотъ хоть шаромъ покати, ни гроша. Я былъ у всѣхъ, обошелъ кругомъ... Я знаю, что ты зарекся теперь и не даешь никому, да ужь какъ хочешь, братъ, а не даютъ и другіе: нѣтъ ни у кого, вотъ таки будто самъ сатана въ мѣшкѣ вынесъ всѣ деньги изъ цѣлой округи — нигдѣ нѣтъ;

# ЗАЙМЫ

— А я къ тебѣ, любезный Костромитъ. Послушай, душа моя, сдѣлай милость, дай мнѣ пятьдесятъ рублей до перваго числа: очень нужно, ей-Богу: то есть вотъ какъ на что овсеца купить ворховому своему, да сѣна: нечѣмъ заплатить проклятому жиду, а онъ не даетъ покоя и ужь два раза жаловался полковнику. Ей-Богу, такая бѣда! Пожалуста, не откажи.

Костромитъ стоялъ молча, не зная, что отвѣчать: онъ думалъ только про себя: «что я за сума—дай пить и ѣсть, что долженъ раскошеливаться каждый разъ, когда кто-нибудь въ полку проиграется или безпутно прогутитъ жалованье свое и послѣ хочетъ, грызетъ ногти и ищетъ дурака?..»

Ну, послушай же,—продолжалъ первый:—дай хоть сорокъ, хоть, наконецъ, тридцать пять: ей-Богу, до зарѣзу нужно...

— А подумалъ-ли ты о томъ, что ихъ надобно отдать? — спросилъ задумавшись Костромитъ.

Товарищъ очень обидѣлся этимъ вопросомъ: спросить въ свою очередь, за какого подлеца тотъ его

принимаетъ; призывалъ въ поруки честь свою, благородное слово; опять упрекнулъ Костромина за крайне обидное, неприличное слово, и опять, надувъ нѣсколько губы и покраснѣвъ въ лицѣ, сталъ божиться и заклинаться и спрашивать настойчиво:

— Да неужто жь ты мнѣ не вѣришь? Такъ, послѣ этого, ты самъ стоишь того, чтобъ тебя обругать... За кого жь ты меня принимаешь?

Костроминъ досталъ деньги, отдалъ ихъ молча, и товарищъ отправился, сказавъ нѣсколько сухо и съ разстроеннымъ видомъ:

— Спасибо; непремѣнно отдамъ.

Оставшись одинъ, Костроминъ горько улыбнулся. «Экой я казначей!» сказалъ онъ, покачавъ головой: «и откуда только берется такая судьба человѣка, какъ моя? Доходовъ, кромѣ жалованья, ни одного гроша; коли отъ трети до трети есть остаточки да маленькій запасецъ, накопленный въ нѣсколько лѣтъ, то это не оттого, конечно, чтобъ я получалъ болѣе другихъ, а оттого только, что я не пью, въ карты не играю, безпутно ничего не проживаю... За что же мнѣ вѣчно оплачивать глупости другихъ? За что же тотъ, кто безстыднѣе и наглѣе, проживаетъ чужое? У насъ есть, такъ-называемые, богачи, которые получаютъ изъ дому вдвое и втрое противъ жалованья, одинъ даже вдесятеро болѣе, но никому и въ голову не придетъ идти къ нимъ за деньгами, они отъ этихъ докукъ свободны; напротивъ, они-то первые обираютъ нашего брата-бѣдняка, и у нихъ-то память на это дѣло всегда короче. Попытайтесь напомнить имъ о должкѣ, если только это не карточный долгъ, и они готовы стрѣляться съ вами за эту обиду. Взято, такъ взято, а благородство дворянина и особенно честь офицера требуютъ, чтобъ несчастный занмодавецъ, дуракъ этотъ, раболѣпно молчалъ, или товарищески прикусилъ языкъ

и не поминалъ стараго, а припасалъ, на случай нужды, новое... Вѣдь не о деньгахъ рѣчь, а объ этой подлости людей, которые хотятъ слыть примѣромъ честности и благородства!»

«Да онъ отдастъ», сказалъ самъ себѣ безсознательно Костроминъ, и оглянулся, будто это проговорилъ кто другой, и, рѣзко покачавъ головой, самъ же себѣ отвѣчалъ: «Кто? онъ отдастъ? Да если онъ отдастъ въ срокъ, если онъ отдастъ добромъ, безъ ссоры, наконецъ—да, и на это согласенъ—если онъ вообще когда-нибудь самъ вспомнитъ о долгѣ этомъ и отдастъ его, то я готовъ позволить сдѣлать надъ собою что угодно... И не въ томъ дѣло, впрочемъ, не въ этихъ тридцати-пяти рубляхъ, хотя они, при четырехъ сотняхъ всего содержанія, также не бирюлька, но не въ томъ дѣло, и пожалуй даже не въ томъ, что такихъ расхожихъ рублей, изъ которыхъ составляются десятки и сотни, у меня считается въ бѣгахъ... да сколько... сотни четыре, годовой окладъ—а вотъ въ чемъ дѣло: для чего это такъ на свѣтѣ бываетъ, зачѣмъ все это такъ устроено, что всегда невинный отвѣчаетъ за виноватаго, всегда наглость и безстыдство берутъ верхъ, а скромный, благонамѣренный и тихій человѣкъ, который не умѣетъ даже сказать такую простую и простительную ложь, какъ напримѣръ: у меня нѣтъ денегъ, что такой человѣкъ долженъ страдать за товарищей своихъ, негодяевъ...

«Кончено!» сказалъ Костроминъ, ударивъ кулакомъ въ столъ и вскочивъ съ мѣста: «дудки! меня больше не поддѣнешь! Это было послѣднее мое дурачество. Что я, въ самомъ дѣлѣ, за банкиръ? Не дамъ никому ни рубля: и лгать не стану, а скажу прямо, безъ обиняковъ, что не дамъ. Для чего и для кого же я коплю и сберегаю? Для удовольствія картежника, который, въ чаду своего безпутства, спускаетъ въ одну минуту

и на одну карту болѣе, чѣмъ я въ состояніи накопить въ круглый годъ? Для бахвала, который обливаетъ кислымъ донскимъ виномъ столы и стулья и платитъ за него, какъ за шампанское, лишь бы этому были свидѣтели и сводили замѣчательный счетъ бутылкамъ? Для распутнаго негодяя, который... Словомъ, клянусь всѣмъ имъ. Лучше я раздамъ рубли эти бѣднякамъ, или поправлю на нихъ два-три хозяйства разорившихся по несчастью крестьянъ—словомъ, и лгать не стану, да и держать не стану денегъ, ни лишняго гроша: я имъ лучше самъ протру глаза.»

Костроминъ надѣлъ сюртукъ, взялъ фуражку, вышелъ на улицу и отправился прямо къ одному крестьянину, о которомъ онъ на-дняхъ слышалъ. Удостовѣрившись на мѣстѣ, что въ семьѣ, гдѣ числилось семь душъ, былъ одинъ только работникъ, потому что одинъ былъ отданъ въ рекруты, другой померъ, третій калѣка и сидѣлъ сиднемъ на печи, четвертому минуло семьдесятъ лѣтъ, а пятому и шестому было по пяти и по шести лѣтъ отъ-роду; удостовѣрившись также, что единственный работникъ и хозяинъ двора этого былъ мужикъ довольно порядочный, потерявшійся только отъ удручавшихъ его несчастныхъ обстоятельствъ, Костроминъ тотчасъ же распорядился: заплатилъ за него по мелочамъ цѣлковыхъ десять долгу, внесъ за него столько же подушныхъ и недоимочныхъ по земскимъ повинностямъ, выкупилъ недавно проданную имъ послѣднюю коровку и купилъ ему еще дешевенькую крестьянскую лошадку... «Я знаю», говорилъ онъ, «что, по мнѣнію опытныхъ хозяевъ, такъ дѣлать не должно, и что, по мнѣнію ихъ, подобные несоразмѣрные подарки мужику въ прокъ не пойдутъ. Посмотримъ, пропадать деньжонкамъ моимъ, такъ пусть же онѣ пропадаютъ такимъ образомъ, а не за безпутными гуляками.» Крестьянинъ при такомъ неожидан-

номъ переворотѣ, ровно одурѣлъ: онъ плакалъ и смѣялся, ходилъ слѣдомъ за благодѣтелемъ своимъ, кланялся и носилъ шапку свою, какъ пугало, на кулакѣ. Баба его, женщина еще молодая, но изнуренная, не могла доискаться слова: она только крестилась и кланялась каждый разъ, когда нежданный благодѣтель проходилъ мимо нея или приближался. Костромину самому смѣшно было, если онъ среди распоряженій своихъ вспомнилъ, по какому поводу онъ внезапно сдѣлался ревностнымъ покровителемъ несчастныхъ. «Успокойтесь, друзья мои», думалъ онъ: «это, къ сожалѣнію, не надолго; бумажникъ мой скоро опустѣетъ, а то, что было въ немъ, накопилось въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Я думалъ, что оно пригодится мнѣ, еслибъ я вздумалъ съѣздить въ отпускъ, или когда бъ я.. когда бъ я вздумалъ жениться; но это все, какъ я вижу, однѣ мечты: годъ за годомъ уходитъ, добрые товарищи меня обираютъ. Не дать, такъ и не жить съ ними; а лучше пусть нечего будетъ раздавать, такъ на сердцѣ станетъ спокойнѣе.

— Не знаешь ли ты,—спросилъ онъ мужика:— нѣтъ ли тутъ гдѣ по сосѣдству такого жъ бѣдняка, какъ ты? Да чтобъ непьющій былъ мужикъ и работящій — понимаешь? такого, который обнищалъ отъ бѣды, отъ напасти, а не по своей оплошности?

Крестьянинъ повторялъ: «понимаю; какъ же?» а между-тѣмъ смѣялся сквозь слезы, какъ дурачокъ, и повертывалъ шапку свою на кулакѣ. На этотъ разъ хозяйка его скорѣе опомнилась и дала толковый отвѣтъ: «Есть, батюшка, какъ не быть! богатыхъ-то не больно-много, а этакіе есть. Вотъ въ Сосницахъ, за горой, добрый мужикъ есть, Андреемъ зовутъ, такой же горемыка, сердечный, какъ и мы вотъ до тебя были; да еще и лошадку украли у него мошенники—

такъ пропалъ совсѣмъ, вотъ хоть живому въ могилу ложиться.»

Костроминъ пошелъ домой, велѣлъ осѣдлать коня, поѣхалъ въ Сосницы и отыскалъ Андрея. Разузнавъ и тутъ все, что было ему нужно, онъ вытрясъ запасной бумажникъ свой до самой подкладки. Весело улыбнулся онъ, когда увидѣлъ это и убѣдился, что на этотъ разъ, по-крайней-мѣрѣ, пришелъ конецъ его страданіямъ. Онъ и этого крестьянина также выкупилъ изъ бѣды, купилъ ему тутъ же лошадь, новый сошникъ, тулупъ и сермягу. Затѣмъ онъ легко взвился на-лошадь и безъ оглядки пустился крупной рысью изъ сельца, объѣхавъ вкругъ лѣса, посмотрѣлъ на озеро, гдѣ бабы бродили бреднемъ и прятались отъ нежданаго и незванаго зрителя въ тростникъ, потомъ поворотилъ домой и въ самомъ веселомъ и безпамятномъ расположеніи сѣлъ у окна, съ трубкою и со стакаиомъ чаю.

Не прошло двухъ недѣль, какъ офицеры собрались у одного изъ товарищей, гдѣ былъ и Костроминъ. Занимались, по обыкновенію, напущеніемъ другъ на друга пяти-десяти-двухъ разбойниковъ; у одного изъ нихъ (не изъ разбойниковъ, то-есть, а изъ числа хозяевъ ихъ) былъ сдѣланъ самый вѣрный расчетъ и слѣдовало убить семерку; но она обманула, не далась, и проигравшій съ отчаяннымъ изступленіемъ ударилъ себя въ лобъ...

— Быть не можетъ! нѣтъ, не можетъ быть!—закричалъ онъ, подумавъ немного и повѣривъ въ безуміи своемъ какой-то безсмысленный расчетъ, по которому онъ былъ навѣрняка:—быть не можетъ, семерка должна мнѣ воротить все. Атанде, господа!

Онъ вскочилъ и оглядывался, у кого бы занять рублей двадцать-пять для ставки навѣрняка.—Костроминъ, дай ради Бога! не откажи. Клянусь...

— У меня, братъ, нѣтъ, ниже зелененькой; я и самъ до жалованья сижу безъ оныхъ.

— Да дай же, братецъ, пожалуйста!—продолжалъ тотъ съ такимъ негодованіемъ, будто самъ отбивался силою отъ какого-нибудь докучливаго нахала:—дай, пожалуйста; ты видишь, что тутъ было вѣрное: семерка дастъ сотника—не брось, твое не пропадетъ—я отвѣчаю!

— Послушай,—сказалъ Костроминъ: — вѣдь, вотъ ты же требуешь, чтобъ я твоему слову вѣрилъ; вѣрь же и мнѣ: я никогда и никого изъ товарищей не обманывалъ; у меня нѣтъ денегъ, и именно нѣтъ за душой ни пяти рублей.

— Помилуй, братецъ!—началъ тотъ:—у тебя нѣтъ денегъ! да это курамъ смѣхъ; да куда же ты ихъ дѣвалъ?

— Куда дѣвалъ—это мое дѣло; довольно того, что ихъ нѣтъ.

— Вѣрно на какой-нибудь вздоръ издержалъ,—сказалъ тотъ, съ горькимъ упрекомъ—а вотъ когда добрые товарищи въ нуждѣ, въ крайности, когда иному до зарѣзу нужно, такъ и нѣтъ...

Костромину, который былъ въ самомъ спокойномъ расположеніи и нисколько не сочувствовалъ рьяному порыву горячаго товарища, выходка эта показалась очень-забавною; онъ улыбнулся молча; кой-кто изъ прочихъ собесѣдниковъ также разсмѣялся; но на этотъ разъ дѣло этимъ кончилось, и семерка не дала ничего. Черезъ нѣсколько дней, однакожь, опять кто-то навѣдался къ полковому... банкиру, что ли: иначе я его и назвать не умѣю, хотя и банкиры не даютъ обыкновенно взаймы безъ отдачи, и навѣдался по крайней надобности въ деньгахъ. Костроминъ поздравилъ себя отъ души, что отъ чистаго сердца и съ спокойною совѣстью можетъ сказать: «нѣтъ ни копѣйки», и, ра-

зумѣется, остался при этомъ отвѣтѣ. На вопросы: «отчего же нѣтъ и какъ нѣтъ?» онъ отвѣчалъ, пожимая плечами; но видно было по всему, что ему не вѣрили. «Костроминъ прижался, братцы», стали поговаривать: «обратился въ жидовскую вѣру, сталъ копить не на шутку...» Отчего же никто не выдумалъ упрекать тѣхъ, которые получали втрое болѣе Костромина, а проживали по-крайней-мѣрѣ вшестеро болѣе и, конечно, также никому не давали взаймы ни мѣднаго гроша?

Прошло еще недѣли двѣ-три, и внезапно сказанъ былъ походъ. Суматохи было много, потому-что вѣсть эта многихъ застала врасплохъ. Доселѣ везла и не везла семерка, а теперь надо было устроиться такъ, чтобъ повезли верховыя и вьючныя лошади, надо было подняться и идти... И опять прибѣгаетъ вечеромъ къ Костромину одинъ изъ такъ-называемыхъ товарищей, человѣкъ женатый, семейный, но человѣкъ, любившій кутнуть по-походному и по военному, человѣкъ, который, не взирая на свои 35 лѣтъ и на четверочку ребятишекъ, неминуемо пускалъ каждый грошъ ребромъ и копѣйку козыремъ... человѣкъ, который выходилъ на цѣлый день со двора, когда дома нечего было ѣсть, безъ труда прикидывался веселымъ холостякомъ и добродушно забывалъ о живой женѣ и дѣтяхъ... «Ну, Костроминъ,» сказалъ онъ: «какъ хочешь, а дай мнѣ сто рублей. Воля твоя, а я безъ этого отъ тебя не выйду; я въ такомъ отчаяніи, что готовъ не знаю что надъ собою сдѣлать. Вообрази: тутъ выступать, а тутъ семья на шеѣ, а денегъ — вотъ хоть шаромъ покати, ни гроша. Я былъ у всѣхъ, обошелъ кругомъ... Я знаю, что ты зарекся теперь и не даешь никому, да ужь какъ хочешь, братъ, а не даютъ и другіе: нѣтъ ни у кого, вотъ таки будто самъ сатана въ мѣшкѣ вынесъ всѣ деньги изъ цѣлой округи — нигдѣ нѣтъ;

хочешь-не-хочешь, а дай. Вотъ божусь тебѣ, клянусь тебѣ всѣмъ, и женой и дѣтьми, какъ-только получу первыя деньжонки—ѣсть, пить не стану, а тебѣ принесу, отдамъ... А тутъ еще назначили меня, Богъвѣсть съ чего, квартирьеромъ: я завтра со свѣтомъ выступаю, а семья моя сидитъ, и хоть лобъ взрѣжь, не знаю, какъ имъ подняться...»

Можно себѣ вообразить, какъ пріятна была для квартирьера вѣсть, что онъ не получитъ ни пятидесяти копѣекъ, что и самъ банкиръ въ нуждѣ, не приготовясь къ этому нечаянному походу, и что запасъ его давно истощился. Несмотря ни на какія просьбы и убѣжденія, которыми разсчетливый хозяинъ и добрый отецъ семейства истомилъ бѣднаго Костромина, этотъ не могъ дать ничего, потому что у него не было даже необходимаго для похода и онъ самъ нуждался. Посѣтитель ушелъ въ раздумьѣ и на крыльцѣ сказалъ вполголоса: «Подлецъ! вотъ подлецъ! а туда же хочетъ слыть порядочнымъ человѣкомъ!»

На другой день, вечеромъ, деньщикъ квартирьера пришелъ къ Костромину съ просбой, чтобъ онъ пожаловалъ къ барынѣ.

— Что жъ тамъ у васъ?

— Не могу знать. Баринъ со свѣтомъ сегодня уѣхалъ; барыня собираются завтра съ полкомъ, а сегодня, видно, васъ поджидали..

— Да зачѣмъ же меня?

— Не могу знать-съ.

Костроминъ подумалъ, что, въ отсутствіе мужа, Марьѣ Ивановнѣ легко могла встрѣтиться какая-нибудь надобность въ помощи, взялъ фуражку и отправился.

Походное семейство квартирьера готовилось въ походъ. Вездѣ укладывались мѣшки, сундуки и чемоданы; фургонъ былъ выдвинутъ на середину двора, деньщикъ похаживалъ вокругъ него и поколачивалъ;

дѣти бѣгали въ походныхъ платьецахъ; дорожная старая шляпка, мѣшокъ, ключи и другія принадлежности лежали на столѣ, а Марья Ивановна, молодая, благовидная женщина кроткой наружности, сидѣла сложа руки на диванѣ и смотрѣла на все это съ выраженіемъ какой-то грусти. Она поклонилась Костромину съ улыбкой и какъ-будто затруднилась нѣсколько въ отвѣтѣ, когда онъ спросилъ, что ей угодно. Она посмотрѣла на него въ какомъ-то недоумѣніи и, привѣтливо улыбаясь, сказала: «Вѣдь, я ждала васъ весь день сегодня. Извините, что я рѣшилась, наконецъ, послать просить васъ; вѣроятно, у васъ также свои заботы: теперь мы всѣ въ тревогѣ.»

Слова эти, однакожь, нисколько не объяснили Костромину, зачѣмъ его позвали; онъ старался объяснить вѣжливымъ образомъ, что хотя и радъ служить Марьѣ Ивановнѣ чѣмъ можетъ, но что онъ не знаетъ, почему именно его весь день ждали, и потому проситъ объясниться. На лицѣ бѣдной женщины появилась какая-то болѣзненная, скорбная черта и выразились опасеніе и ужасная догадка.

— Какъ, — сказала она тихо: — развѣ мужъ мой ничего вамъ не говорилъ?

— Ничего... то-есть онъ говорилъ со мною, но не приглашалъ меня въ отсутствіе свое къ вамъ и вообще ничего не говорилъ, изъ чего бы я могъ понять теперь, въ чемъ у васъ дѣло.

Марья Ивановна вздохнула, опустила глаза на колѣни свои, стала пальцами перебирать снурокъ дорожнаго мѣшка и видимо поблѣднѣла. Одинъ изъ дѣтей сталъ спрашивать надувшись: «скоро ли сегодня обѣдать?» и она отвѣчала спокойно: «скоро, другъ мой, подожди». Костроминъ взглянулъ съ изумленіемъ на ребенка, потомъ на молодую мать. Уже начинало смеркаться, а военные люди обѣдаютъ въ полдень.

хочешь-не-хочешь, а дай. Вотъ божусь тебѣ, клянусь тебѣ всѣмъ, и женой и дѣтьми, какъ-только получу первыя деньжонки—ѣсть, пить не стану, а тебѣ принесу, отдамъ... А тутъ еще назначили меня, Богъвѣсть съ чего, квартирьеромъ: я завтра со свѣтомъ выступаю, а семья моя сидитъ, и хоть лобъ взрѣжь, не знаю, какъ имъ подняться...»

Можно себѣ вообразить, какъ пріятна была для квартирьера вѣсть, что онъ не получитъ ни пятидесяти копѣекъ, что и самъ банкиръ въ нуждѣ, не приготовясь къ этому нечаянному походу, и что запасъ его давно истощился. Несмотря ни на какія просьбы и убѣжденія, которыми разсчетливый хозяинъ и добрый отецъ семейства истомилъ бѣднаго Костромина, этотъ не могъ дать ничего, потому что у него не было даже необходимаго для похода и онъ самъ нуждался. Посѣтитель ушелъ въ раздумьѣ и на крыльцѣ сказалъ вполголоса: «Подлецъ! вотъ подлецъ! а туда же хочетъ слыть порядочнымъ человѣкомъ!»

На другой день, вечеромъ, деньщикъ квартирьера пришелъ къ Костромину съ просбой, чтобъ онъ пожаловалъ къ барынѣ.

— Что жъ тамъ у васъ?

— Не могу знать. Баринъ со свѣтомъ сегодня уѣхалъ; барыня собираются завтра съ полкомъ, а сегодня, видно, васъ поджидали..

— Да зачѣмъ же меня?

— Не могу знать-съ.

Костроминъ подумалъ, что, въ отсутствіе мужа, Марьѣ Ивановнѣ легко могла встрѣтиться какая-нибудь надобность въ помощи, взялъ фуражку и отправился.

Походное семейство квартирьера готовилось въ походъ. Вездѣ укладывались мѣшки, сундуки и чемоданы; фургонъ былъ выдвинутъ на середину двора, деньщикъ похаживалъ вокругъ него и поколачивалъ;

дѣти бѣгали въ походныхъ платьецахъ; дорожная старая шляпка, мѣшокъ, ключи и другія принадлежности лежали на столѣ, а Марья Ивановна, молодая, благовидная женщина кроткой наружности, сидѣла сложа руки на диванѣ и смотрѣла на все это съ выраженіемъ какой-то грусти. Она поклонилась Костромину съ улыбкой и какъ-будто затруднилась нѣсколько въ отвѣтѣ, когда онъ спросилъ, что ей угодно. Она посмотрѣла на него въ какомъ-то недоумѣніи и, привѣтливо улыбаясь, сказала: «Вѣдь, я ждала васъ весь день сегодня. Извините, что я рѣшилась, наконецъ, послать просить васъ; вѣроятно, у васъ также свои заботы: теперь мы всѣ въ тревогѣ.»

Слова эти, однакожъ, нисколько не объяснили Костромину, зачѣмъ его позвали; онъ старался объяснить вѣжливымъ образомъ, что хотя и радъ служить Марьѣ Ивановнѣ чѣмъ можетъ, но что онъ не знаетъ, почему именно его весь день ждали, и потому проситъ объясниться. На лицѣ бѣдной женщины появилась какая-то болѣзненная, скорбная черта и выразились опасеніе и ужасная догадка.

— Какъ, — сказала она тихо: — развѣ мужъ мой ничего вамъ не говорилъ?

— Ничего... то-есть онъ говорилъ со мною, но не приглашалъ меня въ отсутствіе свое къ вамъ и вообще ничего не говорилъ, изъ чего бы я могъ понять теперь, въ чемъ у васъ дѣло.

Марья Ивановна вздохнула, опустила глаза на колѣни свои, стала пальцами перебирать снурокъ дорожнаго мѣшка и видимо поблѣднѣла. Одинъ изъ дѣтей сталъ спрашивать надувшись: «скоро ли сегодня обѣдать?» и она отвѣчала спокойно: «скоро, другъ мой, подожди». Костроминъ взглянулъ съ изумленіемъ на ребенка, потомъ на молодую мать. Уже начинало смеркаться, а военные люди обѣдаютъ въ полдень.

Онъ присѣлъ и убѣдительно просилъ хозяйку объясниться.

— Что жь я вамъ скажу? — отвѣчала она также спокойно: — вы видите сами и, вѣроятно, догадываетесь. Я не въ такомъ положеніи, чтобъ могла что нибудь отъ васъ скрывать. Намъ нельзя подняться; нѣтъ лошадей, нѣтъ еще много кой-чего, и между прочимъ, хлѣба, есть только нѣсколько долговъ, хотя и не большихъ, которые также надобно уплатить. Уѣзжая, мужъ успокоилъ меня тѣмъ, что былъ у васъ и что вы, по добротѣ своей, обѣщали намъ помочь. Онъ сказалъ мнѣ, что оставляетъ меня съ дѣтьми на вашемъ попеченіи, и, признаюсь, меня это вполнѣ успокоило. Что жь! будемъ сидѣть и ждать: что̀ Богъ дастъ, то̀ и будетъ, — прибавила она.

— Мужъ вашъ обманулъ васъ, — сказалъ Костроминъ: — онъ просилъ у меня денегъ, я отказалъ ему, потому что у меня теперь ихъ нѣтъ, нѣтъ даже необходимаго; затѣмъ онъ ушелъ, и болѣе я его не видалъ. Что жь вы будете дѣлать теперь?

— Я не знаю, — отвѣчала она, все съ тѣмъ же спокойствіемъ. — Вы слышали, что дѣти надѣятся еще сегодня на обѣдъ; если полкъ уйдетъ завтра, то мы проводимъ васъ глазами, а что̀ дальше съ нами будетъ — не знаю.

Костроминъ всталъ и просилъ ее успокоиться и обождать. Онъ пошелъ прямо къ тому человѣку, который занялъ у него, за нѣсколько мѣсяцевъ, тридцать пять рублей, при божбѣ и клятвахъ, что отдастъ черезъ нѣсколько дней. Костроминъ напомнилъ ему очень скромно обѣщаніе его и говорилъ, что деньги очень нужны ему теперь — не для себя, а для другихъ; но тотъ очень обидѣлся этимъ; а денегъ, разумѣется, не отдалъ. Тогда Костроминъ, въ крайности, написалъ до десятка записокъ одного содержанія, а

именно: «Любезный такой-то! Одинъ изъ товарищей нашихъ покинулъ семейство свое, которое терпитъ крайнюю нужду, на мое попеченіе, а у меня теперь не достаетъ денегъ, чтобы имъ пособить. Прошу тебя по этому случаю, и слѣдовательно не для себя, прислать мнѣ старый должокъ, или хоть часть его, сколько у тебя есть». Записки эти разосланы были по принадлежности, но не дали Костромину ни гроша прихода. Иные господа отвѣчали на той же запискѣ письменно: «извини; ей-богу нѣтъ»; большая часть приказывали сказать на словахъ: «хорошо; кланяйся; скажи, что я сегодня самъ увижусь».

Костроминъ, правду сказать, и не надѣялся лучшаго успѣха, но не менѣе того ему было это очень прискорбно. Что дѣлать теперь и какъ быть? Безсовѣстный квартирьеръ, конечно, не стоитъ ни заботъ, ни помощи: но чѣмъ же виновато бѣдное семейство его? «Коли не хотятъ отдать долговъ», подумалъ добрякъ мой, «то надобно приступить къ нимъ иначе, а все-таки не миновать имъ складчины». Онъ взялъ фуражку и обошелъ кругомъ всѣхъ наличныхъ въ штабѣ офицеровъ, разсказавъ каждому, въ чемъ дѣло, и объявивъ, что самъ онъ болѣе двадцати пяти рублей дать не можетъ, а надо собрать по-крайней-мѣрѣ двѣсти. Никто, разумѣется, не могъ отказать, и тѣ же самые люди, которые считали большимъ оскорбленіемъ, если кто требовалъ, чтобъ они уплатили долги свои и отдали деньги, взятыя на срокъ и на честное слово, тѣ же самые люди внесли теперь каждый свою долю, хотя и знали, что нѣтъ никакой надежды получить когда-нибудь долгъ этотъ съ квартирьера. Круговая порука!

Костроминъ заплатилъ за приторгованныхъ уже заботливымъ отцомъ семейства клячъ, вручилъ остатокъ бѣдной Марьѣ Ивановнѣ и въ самомъ грустномъ

расположеніи воротился домой. Долго раздумывалъ онъ о томъ, какое странное и безтолковое созданіе человѣкъ вообще, а такіе люди, съ какими онъ теперь имѣлъ дѣло, въ особенности. На другое утро всѣ выступили; квартирьеръ встрѣтилъ полкъ и развелъ всѣхъ по квартирамъ, но о происшествіи этомъ между нимъ и Костроминымъ никогда не было рѣчи: словно ничего не случилось. Квартирьеръ былъ веселъ и доволенъ, какъ обыкновенно.

# СВѢТЛЫЙ ПРАЗДНИКЪ

Богатому вездѣ хорошо, а бѣдному вездѣ худо; только въ сказкахъ убогому бываетъ лучше, чѣмъ богатому. Что жъ? коли самому бѣдняку помощи не дадутъ, такъ спасибо хоть за то добрымъ людямъ, что хорошія побасенки о немъ слагаютъ. Послушайте жъ у меня одну такую сказку.

На Украинѣ есть много своихъ христіанскихъ обычаевъ, съ которыми люди живутъ, старѣются и умираютъ. Одинъ такой обычай—коли не знаете, такъ, вѣдь, надо вамъ разсказать это напередъ, а коли знаете, такъ не взыщите—на Украинѣ есть такой обычай, что противъ свѣтлаго праздника не заливаютъ и не тушатъ огня, а каждый хозяинъ держитъ багатье *) по всю ночь, чтобъ было гдѣ засвѣтить передъ образомъ свѣчку, какъ воротится народъ отъ заутрени.

*) На Украинѣ для огня есть три названія: *огонь*, или угонь, *свитло* и *багатье*. Свитломъ называютъ его, когда рѣчь идетъ о свѣчѣ или каганцѣ; багатьемъ, когда надобно зажечь что нибудь, напримѣръ, свѣчу, разложить огня или закурить трубку; во всѣхъ прочихъ случаяхъ употребляютъ слово «огонь».

Вотъ дождались свѣтлаго праздника; всѣ хозяйки въ страстную субботу пекутъ, варятъ, готовятъ, чтобъ было чѣмъ разговѣться и своимъ и добрымъ захожимъ людямъ; вотъ понесли пасхи (то-есть куличи) и жареныхъ поросятъ да индюшекъ, и уставили ими въ два ряда весь погостъ, отъ паперти до самыхъ воротъ; а народъ весь въ праздничныхъ платьяхъ: всѣ радостно ждутъ и встрѣчаютъ свѣтлый праздникъ.

На селѣ этомъ жилъ бѣднякъ, которому, Богъ-вѣсть отчего, не было счастья на хозяйство. Былъ онъ не гуляка, не пьяница, а добрый работящій человѣкъ, да не было счастья ему ни въ чемъ. Мало того, что пропала да перевелась вся скотина, что два раза погорѣлъ, такъ еще и хозяйка бѣдная померла, покинувъ ему полную хату дѣтей; остался онъ вдовцомъ да при томъ и нищимъ; ни одна дѣвка, ни вдова не идутъ за него, дѣти безъ призора, хозяйки въ дому нѣтъ, такъ бѣда и ододѣла вовсе. Какой мужикъ управится одинъ, безъ хозяйки, и какое ему житье? Не то дома, не то въ полѣ, а дѣти хоть пропадай. Такъ онъ и обнищалъ вовсе, и былъ ему праздникъ не въ праздникъ. У него не готовили ничего, ни пасхи, ни жаренаго поросенка, да что бы ему и готовить, когда во весь великій постъ и огня въ печи не разводили: ни топлива нѣтъ, ни варева. Промолился онъ усердно всю ночь, да, выстоявъ заутреню, похристосовался со всѣми: ему и надавали, кто ломтикъ пасочки, кто красное яичко; вотъ онъ и обрадовался, что дѣткамъ будетъ чѣмъ разговѣться, пошелъ домой, положилъ все на столъ, досталъ изъ-за образовъ свѣчечку и хотѣлъ затеплить ее да положить три поклона и будить дѣтей. Спохватился—огня нѣтъ; на дворѣ было еще темно, ночь. Вспомнилъ, что у добрыхъ людей къ этому дню загребается жаръ къ сторонкѣ; да и свѣча либо каганецъ не тушится, онъ вспомнилъ и былую пору, когда и онъ живалъ не хуже

людей и водилось у него свое багатье въ дому. Что дѣлать! такъ Богу угодно. Пошелъ онъ къ сосѣду. «Христосъ воскресъ!»—«Воистину воскресъ.»—«Дайте, люди добрые, багатья, засвѣтить свѣчку!»—«Вотъ человѣкъ: и свѣтлый праздникъ забылъ, въ люди за багатьемъ ходитъ! Иди съ Богомъ домой; ноньче всякъ дома про себя багатье держитъ, а тутъ не до тебя; неужто не припасъ своего?»

Пошелъ онъ, сердечный, къ другому мужику: тамъ его бабы и дѣвки засмѣяли, что въ такой день по дворамъ ходитъ за огнемъ, и прогнали. Онъ въ третій дворъ, въ четвертый — вездѣ то же: вездѣ готовятъ столъ, всякому до себя, никому нѣтъ нужды до бѣдняка: гдѣ засмѣютъ, а гдѣ еще и выбранятъ, да и прогонятъ: «поди, говорятъ, не до тебя теперь, а за багатьемъ ступай въ поле, къ чумакамъ—тамъ дадутъ.»

Заплакалъ бѣднякъ мой, обошедши почти все село, и подумалъ: «Господи Боже мой! за что же меня еще и люди обижаютъ? Они жь меня знаютъ: не воръ я, не пьяница; навалилась на меня бѣда и нищета и самъ не знаю, за что и откуда, а они еще горько насмѣхаются надо мной.... видно, сами они не знали нищеты.... Богъ ихъ проститъ. Того не спросятъ, что отъ самой масляны ни крупинки въ домѣ не было, и не готовили ни разу, а пеняютъ за грѣхъ, что своего огня нѣтъ.»

Подумавъ такъ, убогій стоялъ среди улицы въ концѣ села, и уже не зналъ, куда идти и что дѣлать; взглянулъ онъ въ чистое поле, анъ за селомъ свѣтится огонекъ. «Вотъ», подумалъ онъ, «и вправду, что пойду изъ села къ чумакамъ за огнемъ, больше некуда дѣваться; авось хоть чумаки не откажутъ; а ужь это не кто больше, какъ чумаки. Пойду; не оставаться же въ эту ночь образамъ моимъ безъ свѣчки, а хатѣ моей безъ свѣта, больно за дѣтокъ. Вотъ какъ свѣтло во всѣхъ хатахъ, какъ весело смотрѣть вдоль улицы!»

Пошелъ онъ за село и пришелъ прямо къ огню. Точно, это стояли чумаки; помнятъ святой праздникъ и они, хоть и засталъ онъ ихъ въ полѣ: сидятъ вокругъ огня, въ праздничныхъ кобенякахъ и свиткахъ; видно, также недавно воротились отъ заутрени. «Христосъ воскресъ!» — «Воистину воскресъ.» — «Дайте багатья, люди добрые!» — «Изволь; да во что жъ ты возьмешь?» — «Да вотъ дайте хоть свѣчечку затеплить!» — «Не донесешь ты свѣчи до села; тутъ въ полѣ вѣтерокъ ходитъ, задуетъ. Подставь-ка полу свитки, мы тебѣ багатья въ полу насыплемъ.» Онъ подставилъ полу, недолго думавъ, а они сгребли жару, просто руками, да и насыпали ему въ свитку. «Ступай съ Богомъ, не бойсь ничего, донесешь.»

Что думалъ онъ, когда бралъ жаръ въ полу — не знаю; но какъ человѣкъ простой и вѣрующій, никогда не обманывавшій другихъ, онъ положилъ свѣчечку свою за пазуху, собралъ хорошенько конецъ полы и пришелъ домой. «Коли люди гребли да насыпали руками, такъ почему жъ де мнѣ не донести въ полѣ?» Войдя въ избу, онъ затеплилъ напередъ всего свѣчу, поставилъ ее къ образамъ, положилъ три поклона, всталъ чтобъ убрать столъ подаяніемъ и будить дѣтей, взглянулъ на припечекъ, куда высыпалъ изъ полы жаръ, а тамъ, вмѣсто жара, лежитъ куча золота, все червонцы. Обрадовался убогій, понялъ, что ему это Богъ далъ, еще разъ помолился, положилъ на столъ ломти пасхи и яички, которые собралъ, когда христосовался съ міромъ, и сталъ будить дѣтей, приказывая имъ скорѣе умыться, помолиться, похристосоваться съ отцомъ и между собою, да садиться за столъ и разговляться.

Сосѣдъ убогаго, который не далъ ему огня, увидѣвъ, однако, что въ хатѣ его свѣтло, подошелъ взглянуть въ окно, что тамъ дѣлается, да и увидѣлъ на загнетѣ кучу червонцевъ. Удивившись этому, онъ во-

шелъ и сталъ разспрашивать бѣдняка, а этотъ, не таясь ни въ чемъ, разсказалъ ему все, какъ было. Сосѣдъ вышелъ на улицу, глянулъ въ ту сторону, куда ходилъ убогій, и также увидалъ огонекъ. «Постой же», подумалъ онъ: «пойду и я за червонцами», и пошелъ.

Тѣмъ часомъ баба выбѣжала за чѣмъ-то изъ другой избы и также подошла къ окну убогаго, всплеснула руками, вошла въ хату, чтобъ полюбоваться червонцами, разспросить сосѣда обо всемъ и позавидовать ему; а узнавъ, какъ это все сталось, побѣжала домой и погнала мужа, едва только давъ ему шапку ухватить, чтобъ шелъ скорѣе за село къ чумакамъ: тамъ-де, для свѣтлаго праздника, раздаютъ пригоршнями червонцы. «Да смотри, больше нагребай», кричала она ему слѣдомъ: «чтобъ не пришлось мнѣ ругать тебя для праздника, какъ воротишься.»

Выпроводивъ мужа, сосѣдка опять побѣжала къ окну убогаго, тамъ опять домой, тамъ на улицу, посмотрѣть, свѣтится ли еще у чумаковъ огонекъ; другія сосѣдки увидѣли ее, стали спрашивать; она хотѣла было промолчать, чтобъ другимъ никому червонцы не доставались, чтобъ ей все одной захватить, да не утерпѣла, разсказала все, и пошла еще по всему селу и стала всѣхъ подводить къ окну убогаго, показывать червонцы и разсказывать, какое Богъ послалъ счастье этому человѣку и гдѣ ихъ достать можно. И всѣ бабы погнали гономъ мужиковъ своихъ за село, къ чумакамъ, чтобъ нагрести побольше золота да принести въ полѣ домой. Вотъ приходятъ они толпой и встрѣчаютъ того, перваго, который пошелъ напередъ. «Что, дали?» — «Какже, насыпали двѣ пригоршни». — «Такъ постой же, братецъ, не уходи, вотъ и мы заберемъ, да чуръ все вмѣстѣ ссыпать, да и подѣлить, чтобъ никому не было обидно: такъ мы положили міромъ, а ты отъ міру не прочь.» — «Ладно,» говоритъ, «пусть по-вашему»

Подошли они къ чумакамъ, которые все еще чинно сидѣли вокругъ огня, сняли шапки, похристосовались и стали просить багатья. Тѣ поглядѣли на нихъ, но не сказали ничего, кромѣ только что велѣли каждому поставить поочередно полу и насыпали каждому по пригоршнѣ: «Будетъ по одной», сказали они, когда тѣ все еще стояли, будто чего дожидаясь: «все мало! Вѣдь васъ много пришло, надо раздѣлить на всѣхъ.» Ну, поблагодарили мужики мои и за это и, видя, что жаръ лежитъ въ полѣ, какъ галька, и не горитъ, обрадовались и бойко пошли къ селу, домой.

Обрадовались мужики мои, да не надолго. «А что это», сказалъ одинъ, когда они только-что отошли отъ чумаковъ: «пахнетъ будто паленымъ? Понюхай, будто кто къ празднику свинью опалилъ.» — «Правда, что пахнетъ», сказалъ другой, да какъ закричитъ, потому что поставилъ-было подъ полу руку, да обжегъ ее, да какъ выкинетъ изъ полы жаръ, а свитку скорѣе съ плечъ, да и давай гасить ее, топтать ногами... и другой тоже, и третій, и четвертый... крикъ, шумъ, брань, другъ на друга вскидываются, другъ друга ругаютъ, всѣ прожгли новыя свитки и кобеняки свои, а кто и руки пожегъ: дымъ, смрадъ, а чумаковъ нѣтъ, пропали, какъ въ землю провалились, и волы, и козы, и чумаки, и огонь — нѣтъ ничего.

«Правду жь я говорила», сказала сосѣдка убогаго, которая первая послала мужа за багатьемъ: «правду жь я говорила, что придется мнѣ тебя, дурака, для праздника бранить... вотъ и прожегъ новую свитку: теперь что станешь дѣлать?»

А убогій разжился своими червонцами и взялъ за себя хорошую дѣвку и далъ дѣткамъ своимъ хорошую матку. Какіе жь это были чумаки?

# БЕЗЧЕСТЬЕ

Въ деревнѣ Журелейкѣ (названіе мордовское, по урочищу, а населеніе русское, какъ и въ сосѣдней Кармалейкѣ) живетъ мужикъ Михайло съ младшимъ и холостымъ еще братомъ Матвеемъ. Михайло одинъ изъ тѣхъ разсудливыхъ мужиковъ, у которыхъ достаетъ только смыслу на то, чтобъ всякое дѣло не обсудить, а окричать, огорланить въ свою пользу, и стоять на этомъ; никакое здоровое, очевидное, прямое разсужденіе не убѣждаетъ ихъ въ томъ, чего они понять и знать не хотятъ. Попытайтесь, доведите такого мужика до разумнаго сознанія, что онъ не правъ: никакой очевидности и никакого терпѣнія для этого не достанетъ. Онъ выслушаетъ, что угодно, сто разъ, съ-ряду; и сто разъ повторитъ опять свое же, тѣми же словами, съ тѣми же ужимками и съ тою же самоувѣренностью. Однажды пришли ко мнѣ мужъ съ женою, по своему дѣлу, какъ они выражались. Баба затарантила, объясняя дѣло это, и, не слушая меня, ни возраженій моихъ, несла все свое. Я тотчасъ увидѣлъ, что это была баба того разбора, какъ кармалейскій

Михайло, да сверхъ того еще и баба, съ которою ужъ и вовсе нельзя столковать. Угомонивъ ее и спросивъ, за однимъ ли они дѣломъ пришли, я велѣлъ ей молчать вовсе, а говорить мужику. Этотъ оказался толковымъ, разсказалъ все въ порядкѣ и, выслушавъ, почему никакъ нельзя было сдѣлать того, чего они просили, понялъ дѣло и убѣдился, что я ихъ разсудилъ по правдѣ. «Понялъ?» спросилъ я. — «Понялъ, батюшка.» — «Ну, такъ поди же, растолкуй при мнѣ и бабѣ своей, чтобъ и она поняла.» Онъ принялся толковать по-своему, а я слушалъ съ любопытствомъ, отвернувшись и не показывая виду, что слушаю. «Какъ-то онъ ее убѣдитъ?» Не успѣлъ я подумать это, какъ по неволѣ оглянулся, потому что убѣжденіе дошло до рукопашной: мужикъ ткнулъ хозяйку свою въ шею, вышедъ изъ терпѣнья, и они, молча раскланявшись, вышли. Этотъ отчаянный, послѣдній доводъ, къ-сожалѣнію, одинъ только и убѣждаетъ такого мужика, какова была эта баба; послѣ такого доказательства, онъ, еще, пожалуй, поклонится и поблагодаритъ за науку.

Михайло задумалъ женить брата Матвея, которому онъ былъ замѣстъ отца. Оглядываясь туда-сюда за невѣстой, Матвей назвалъ брату Дуньку Егорову, изъ сосѣдней Кармалейки. «Ну что жь? Егорову, такъ Егорову», молвилъ тотъ, и затѣмъ считалъ дѣло конченнымъ; надо было только съѣздить въ Кармалейку къ Онисиму Егорову и засватать дѣвку. Михайло былъ гораздо позажиточнѣе Онисима, а потому ему и на умъ не шло, чтобъ тутъ волѣ его могла быть какая помѣха. Покуда онъ еще собирался въ Кармалейку, ему случилось встрѣтить Онисима въ Ардатовѣ, на базарѣ. Перемолвивъ съ нимъ тутъ объ этомъ дѣлѣ, онъ поладилъ: 38 руб. ас. столовыхъ или на столъ, да четверть ржи; на пропой: ведро браги, четверть ведра вина, ржаныхъ и пшеничныхъ пироговъ на пол-

тинникъ; вѣнчать въ селѣ Куевндеевѣ, а брачному столу быть у жениха же, рублей на 50 асс. За все это Егоровъ отдаетъ дочь, съ приданымъ по-мѣрѣ отцовской любви своей, но обязанъ, при съѣздѣ на базарѣ въ Ардатовѣ, угостить виномъ родственниковъ Михайлы, всего на восемь косушекъ, и купить всѣмъ по калачу; а невѣста должна обшить жениха бѣльемъ и принести три пары. Рукобитье кончилось тутъ же, а сговору быть въ то воскресенье. Въ задатокъ столовыхъ Онисимъ получилъ отъ свата Михайлы цѣлковый.

— Ну, доцынька.—сказалъ Онисимъ, воротившись домой съ базару:—ну, доцынька, рядись; женишокъ есть; я тя просваталъ; въ воскресенье сговоръ, а по рукамъ мы ужь ударили; ладно, что ли?

— Цаво ладно,—отвѣчала она:—по рукамъ бито, да ладно ли! цаво я знаю, ладно ль, коли не сказываешь зенишка-то!

Замѣтимъ, что въ этой мѣстности, гдѣ восточное оканье сталкивается съ тамбовскимъ аканьемъ, народъ цокаетъ. Непонятно, откуда говоръ этотъ зашелъ въ эту межеумочную полосу; кажется, это устроилось, чтобъ сгладить хотя нѣсколько рѣзкость такого перехода. И народъ здѣсь какой-то переходный: промысловъ нѣтъ, пахари посредственные, охотно занимаются тряпичнымъ и тому подобными промыслами; упрямы, но не на тотъ ладъ, какъ чисто-русскій мужикъ, который боится новыхъ порядковъ, опасаясь притомъ и новыхъ поборовъ; здѣсь же теряется вовсе наклонность къ сѣвернымъ расколамъ, основаннымъ, хотя по наружному виду, на привязанности ко мнимой старинѣ, а появляется новая стихія суевѣрства, переходящая далѣе на югъ, въ Тамбовской губерніи, въ противоположные сѣверному расколу толки молоканъ и хлыстовъ. Но въ Ардатовскомъ уѣздѣ созерцатель-

ная наклонность эта еще умѣренная и ведетъ покуда только къ весьма часто-встрѣчаемому между дѣвками обѣту безбрачія, почему и устроились здѣсь дѣвичьи общины, и почти при каждомъ большомъ селѣ есть *келейныя* избёнки, гдѣ живутъ отдѣлившіяся по обѣту отъ родительскаго дома и семейнаго быта дѣвки, которыя, впрочемъ, также въ противоположность сѣвернымъ раскольничьимъ отшельницамъ, бо́льшею частью ведутъ жизнь строгую и честную. Давъ однажды такой обѣтъ, дѣвки эти такъ упорны, что ихъ ничѣмъ нельзя отклонить отъ ихъ заблужденія. Онѣ молчатъ, накинувъ темный платокъ на голову и потупивъ глаза, и никакая попытка благомыслящаго человѣка не приноситъ ни малѣйшей пользы.

Итакъ, Авдотья замѣтила отцу, что мудрено ей знать, ладно ли, коли онъ жениха не называетъ, не говоря о томъ, что спрашиваетъ объ этомъ ужь послѣ рукобитья. Она не давала обѣта дѣвства; но обычай этотъ, какъ послѣднее убѣжище отъ нелюбаго жениха, даетъ въ этомъ краѣ дѣвкамъ гораздо болѣе свободы въ выборѣ. Первымъ дѣломъ, если ихъ неволятъ замужествомъ, это пострашать отца и мать, что дадутъ зарокъ и тогда останутся въ дѣвкахъ навѣкъ. Отецъ назвалъ Матвея Егорова. Авдотья отвернулась молча и проворчала что-то. Отецъ хорошо не разслышалъ: вѣроятно, догадался; но какъ дѣло ужь было сдѣлано, то и не хотѣлъ ее болѣе спрашивать, въ надеждѣ, что дѣвка уймется, пойдетъ.

Настало воскресенье, день сговора. Пріѣхалъ Михайло съ братомъ и еще кой съ кѣмъ изъ родныхъ; безъ бабъ въ такомъ случаѣ обойтись нельзя. Для почету и приличія повторили рукобитье въ домѣ отца, будто не было ничего на ардатовскомъ базарѣ. При этомъ дочери не было; но когда потребовали ее къ сговору и мать было за нею отправилась, то вороти-

лась одна и объявила, что дочь стыдится и нейдетъ. На мать прикрикнули и, придавъ ей помощницу, отправили снова; но обѣ воротились безъ успѣха, послѣ того, какъ Дуня не далась имъ даже силою, а начинала ревѣть благимъ матомъ; какъ-только брали ее за руки. Пошелъ отецъ, но, также не рѣшившись втащить ее силою, ради позора, долженъ былъ объявить, что невѣста нейдетъ.

Пошли толки и пересуды, наставленія и совѣты, а дѣло не подвигалось. Женихова женская родня отправилась въ ту половину, гдѣ забилась куда-то Дуня, и истощила всѣ ласки свои, просьбы, обѣщанія, наконецъ усовѣщиванія и угрозы — ничего не помогло. Дуня молчала, либо говорила тому, кто убѣждалъ ее тихо и кротко, глазъ-на-глазъ, что отецъ «бимши (то-есть бивши, ударивъ) по рукамъ», задумалъ спросить ее: «ладно-ли», что это вовсе не ладно, и она за этого жениха нейдетъ; а коли не дадутъ ей покою, то приметъ обѣтъ и уйдетъ въ келью или въ одну изъ обителей.

«Что сватушка», сказалъ Онисимъ, побывавъ еще въ послѣдній разъ у дочери и попытавшись убѣдить ее все тѣми же безуспѣшными доводами, то есть что она ужъ просватана и что ужъ бито по рукамъ: «что, сватушка, пришла бѣда, растворяй ворота, а не минуешь: знать, не быть намъ сватами.» Но Михайлѣ такой отказъ и на умъ не шелъ; онъ принялъ его за шутку. «Какъ не быть сватами? Гляди-ка, а вино мое что, а брага, а пироги, а божанина? Полно бредить, сватъ; кто дѣвку спрашиваетъ — ну, стыдится, такъ Богъ съ нею, пусть уходится, надумается; а мы за свое: ма заньемъ, заѣдимъ—и дѣло крѣпко будетъ. На-ко-сь, вотъ, поди сюда, сватъ; вотъ тебѣ напередъ и денежки на столъ, по уговору...»—«Нѣтъ, сватушка, молвилъ тотъ, не возьму, и не клади, и не

кажи....»—«Ну, инъ, послѣ возьмешь, отвѣчалъ Михайло; твоя воля; вотъ, благо отдавалъ тебѣ при честныхъ людяхъ: не за мною дѣло стало; такъ садись, давай бражничать....» — «И этого не хочу, Михайло Митричъ, ей-право не хочу, боюсь....»—«Экой же ты какой, сватъ Онисимъ! да не домой же мнѣ везти угощенье—образумься. Что вы это съ дочкой за порядки урядили? Ну, плюнь на нее, брось. Что дѣвка смыслитъ? попъ свяжетъ, не то скажетъ, теперь пора, тогда будетъ иная. Садись, пей.»

Такимъ образомъ сговоръ этотъ былъ отпразднованъ порядкомъ небывалымъ — безъ невѣсты. Когда гости поразгулялись, то сдѣлано было еще нѣсколько попытокъ вызвать ее; но послѣдняя попытка кончилась тѣмъ, что Дуни ужь не нашли: она ушла къ кому-то на деревнѣ и скрылась. Пирушка кончилась своимъ порядкомъ; говоръ мужиковъ заглушался крикомъ и визгомъ бабъ, пѣсни въ разнорядъ покрывали и то и другое; смерклось; цѣловались, обнимались, о деньгахъ на столъ позабыли, а поздно вечеромъ разошлись и разъѣхались по домамъ.

Проспавшись, Михайло назвалъ брата Матвея дурачкомъ, тетеркой, когда тотъ усомнился нѣсколько въ томъ, полно женихъ ли онъ Дуни, а она ему невѣста ли. Михайло не видѣлъ во всемъ дѣлѣ этомъ никакихъ помѣхъ и никакихъ сомнѣній: «рукобитье было, еще и дважды; сговоръ былъ; невѣста, правда, не вышла, застыдилась, да это ужь не отъ насъ, а отъ нихъ,» говорилъ онъ: «а всѣ станутъ стыдиться, такъ намъ и невѣстъ не видать. Деньги на столъ надо еще отдать ему, а не хочетъ, и на то его воля. Свадьба черезъ воскресенье—такъ попъ велѣлъ.»

Въ Кармалейкѣ, между-тѣмъ, Онисимъ съ хозяйкою своею по временамъ толковали о томъ, какъ теперь быть и что будетъ, и обращались къ Дунѣ не то съ

просьбой, не то съ приказаніемъ: «Доцынька матушка, иды!» — «Не пойду», отвѣчала она. — «А пошто не пойдешь?» — «А по то не пойду, что съ Матвеемъ жить не хоцу.» — «А по што съ Матвеемъ жить не хошь?» — «Не хоцу.» — «А по што не хошь?» — «Уйду въ обцыну (общину.)» Эта острастка зажимала ротъ родителямъ; дѣло ни туда, ни сюда, а время шло впередъ.

Въ первое за тѣмъ воскресенье, разносваты мои опять столкнулись на базарѣ въ Ардатовѣ, и Михайло тотчасъ сталъ сзывать, кто изъ своихъ былъ тутъ, заставляя Онисима, по уговору, поднести восемь косушекъ вина да купить калачей. Онисимъ было на попятный; объявивъ еще разъ, что доцынька нейдетъ, ни за што нейдетъ, и, доставъ задаточный цѣлковый, стоялъ и кланялся передъ Михайломъ, чтобъ его принялъ и дѣло бросилъ. Но Михайло такого шума надѣлалъ, что весь базаръ сбѣжался: обращаясь къ толпѣ и чествуя ее добрыми людьми, онъ разсказывалъ въ нѣсколько пріемовъ, что вотъ онъ у Онисима дочь засваталъ за меньшаго брата, что ужь и пито и по рукамъ бито, и сговоръ былъ въ то воскресенье, и задатокъ на столъ отданъ, и на сговорѣ онъ истратился да исхарчился, а теперь Онисимъ пятится. Общій голосъ укора обратился на Онисима; всѣ стали говорить, что такъ дѣлать не годится, что добрыхъ людей безчестить нельзя, и прочее. Оправданія его, что онъ не отказываетъ, да доцынька нейдетъ, никто не слушалъ, и Михайло, продолжая громко и звучно повторять одно и то же, приступалъ настоятельно къ разносвату, чтобъ угощалъ. Тотъ растерялся, не зналъ, какъ отдѣлаться, купилъ вина и калачей. Михайло досталъ кошель и сталъ додавать ему столовыя; но отъ нихъ Онисимъ опять отказался на-отрѣзъ, замахалъ руками и убѣждалъ его принять обратно задатокъ,

чего Михайло не хотѣлъ и слышать, а повторялъ, что свадьба въ то воскресенье, что такъ попъ велѣлъ, что они пріѣдутъ поѣздомъ за невѣстой для отвоза молодыхъ въ приходскую церковь, въ Куфендеево, а имъ, отцу и матери, между-тѣмъ, ѣхать прямо въ Журелейку и тамъ ожидать молодыхъ и столъ. «Не пойдетъ она, доцынька!» повторялъ робко Онисимъ, обнялся и простился со сватомъ, и разъѣхались по домамъ. На недѣлѣ Михайло еще-таки, для приличія, послалъ отъ себя боярина въ Кармалейку, заявить Онисиму весь порядокъ этотъ; бояринъ воротился съ тою же вѣстью, что нейдетъ-де невѣста, но Михайло только кивнулъ головою и принялся готовить угощеніе. Четыре пуда солода переварено было на брагу; куплено шесть пудовъ говядины, за которою нарочно ѣздили въ Ардатовъ; заготовлено пироговъ разныхъ родовъ, вина — всего, по условію, слишкомъ на 50 руб. асс.

Не заставило себя ждать и воскресенье; шумный поѣздъ жениха поднялся въ Журелейкѣ, въ праздничныхъ кафтанахъ и сарафанахъ, въ лентахъ, съ индюшечьими перьями на шляпахъ; двое верховыхъ очищали дорогу; все это пронеслось ранымъ-рано въ Кармалейку, гдѣ незамѣтно было ничего праздничнаго. Онисимъ, послышавъ шумъ, гамъ и звонъ глухарей и гармотунчиковъ, высунулся, въ испугѣ, въ окно и, увидавъ поѣздъ, завопилъ: «теперица пропала моя головушка!» Хозяйка металась туда и сюда, не зная, что дѣлать, а Дуня забилась на подволоку. Старъ и малъ высыпали на улицу и со всѣхъ сторонъ направились къ избѣ Онисима.

Дружки соскочили съ лошадей и стали громко стучать кнутовищами въ ворота, приговаривая, что охотники слѣдили куницу и выслѣдили ее до подворотни этого дома, и проч. Ни отвѣта, ни привѣта! Поглядѣвъ другъ на друга и на поѣзжанъ, дружки вошли,

не дожидаясь обзыву, и застали хозяина, неодѣтаго, въ дверяхъ избы; тутъ стоялъ онъ въ раздумьѣ, не зная, что начать. «Нешто такъ принимаешь ты званыхъ гостей?» спросили тѣ, также остановившись въ недоумѣніи. — «Простите, не взыщите» началъ тотъ цокая: «доцынька нейдетъ; что хотите, то и дѣлайте, власть ваша — нейдетъ.»

Дружки вышли, говоръ пошелъ по всему поѣзду, и Михайло расходился. Онъ самъ вошелъ въ избу, но, не могши добиться ничего отъ Онисима, сталъ-было вызывать поѣзжанъ, чтобы идти въ домъ, отыскать и взять невѣсту и обвѣнчаться, потому-де, что дѣло это кончено и что убытки позади, а безчестье впереди. Но тутъ вступились всѣ кармалейцы и напередъ всего бабы: всѣ объявили, что этого не водится и что силою не дадутъ они взять невѣсты. Долго еще стоялъ на улицѣ поѣздъ, долго еще кричали и шумѣли; Михайло выходилъ изъ себя, оралъ громче всѣхъ, не хотѣлъ слышать никакихъ причинъ и доводовъ, но долженъ былъ наконецъ поворотить оглобли и въѣхать въ Журелейку тихо и скромно, для чего весь поѣздъ разбился врозь и каждый въѣзжалъ по-себѣ, стараясь укрыться отъ общаго вниманія поселянъ. Само-собою разумѣется, что глухари и балабончики дорогою были сняты.

На другой день Михайло отправился въ приказъ, взявъ съ собою кого нужно было въ свидѣтели, и принесъ жалобу на убытки и на безчестье. Еслибъ онъ разсказалъ дѣло въ двухъ словахъ, какъ оно было, то есть, что дѣвка отказала и нейдетъ, то, вѣроятно, и старшины разсудили бы по правдѣ, какъ прочіе міряне, что неволить нельзя, коли добромъ не сладятъ и коли дѣвка больно упряма, потому-де что и попъ неволей вѣнчать не станетъ; а въ убыткахъ, кромѣ задаточныхъ, которыя воротить, Михайло самъ вино-

ватъ, по своему упорству; онъ загодя зналъ, что невѣста отказала на-отрѣзъ, а настаивалъ упрямо и дѣдалъ всѣ приготовленія. Но здѣсь вышло не такъ: головы не было, а изъ двухъ наличныхъ старшинъ одинъ былъ журелейскій и въ родствѣ съ Михайломъ, этотъ же разсказалъ дѣло по своему и тѣмъ ввелъ и старшинъ въ кривой толкъ и въ грѣхъ; онъ всю жалобу свою приносилъ на Онисима, который-де просваталъ, запилъ и сговорилъ дочь, а теперь не отдаетъ ее, чѣмъ изубытчилъ и обезчестилъ его.

Послали за всей семьей въ Кармалейку, и когда она явилась въ приказъ, то приказывали Онисиму настоятельно отдать дочь. Никакія объясненія его, что онъ и не отрекается, да доцынька нейдетъ — не помогали. «Коли не отдаешь дочь, то уплати сейчасъ всѣ убытки Михайлы, да заплати двадцать рублей ассигнаціями безчестья.» — «И этого не хочу!» кричалъ расходившись Михайло: «а отдай онъ дочь, дочь запитую, сговоренную, отдай!» Онисимъ съ женою кланялись, предоставляя Михайлѣ брать дочь, коли она пойдетъ. А она стояла спокойно и только на вопросы старшинъ отвѣчала: «не пойду». Онисимъ выложилъ на руку задаточный цѣлковый да прибавилъ еще къ нему четвертацокъ, и упрашивалъ Михайлу принять это и отпустить его; Михайло плевалъ и отворачивался. Наконецъ, самоуправные старшины присудили посѣчь Онисима и тѣмъ заставить упрямую дочь согласиться. Но и эта попытка не удалась: «Матушка доцынька, иди!» кричалъ бѣдный Онисимъ. — «Батюшка потерпи!» отвѣчала она: «тебѣ мало терпѣть, а мнѣ вѣкъ маяться.» Пробившись по пусту, старшины кончили тѣмъ, что велѣли Онисиму все-таки отдать дочь за Матвея, потому-что она ужь запита, и сговоръ былъ, а попъ велѣлъ вѣнчаться; если же не отдастъ, да въ три дня не уплатитъ всѣхъ убытковъ

и безчестья, то опять накажутъ въ приказѣ, всей семьей. По окончаніи всего разбирательства и суда, наѣхалъ и голова, мужикъ порядочный, но слабый и состоявшій всегда подъ вліяніемъ другихъ. Онисимъ къ нему. Услышавъ, что дѣло уже кончено безъ него, голова не захотѣлъ прекословить, замялъ жалобу о томъ, что Онисима наказали самоуправно за то, что дочь его нейдетъ за Матвея, убавилъ только на нѣсколько рублей безчестье, которое правилъ съ него Михайло, а остальное утвердилъ.

Пришедши домой, Онисимъ спросилъ: «Что-жъ мы теперь дѣлать станемъ? Пойдешь, что-ли Дуня?» — «Не пойду.» — «А по што не пойдешь?» — «А по то, что съ Матвеемъ жить не хочу.» — «А пошто не хошь, Дунька? А я гдѣ возьму эку суйму денегъ, убытки да безчестье платить? этого у меня нѣтъ за душой; цетвертацокъ давалъ — не берутъ; что дѣлать станемъ?» — «Иди къ управляющему въ городъ», сказала Дуня: «вотъ что; не то я сама пойду.» — «Ой-ли?» — «Право, иди; неужто нашего дѣла не разсудятъ? Ну тебѣ, батюшка, пусть и по дѣломъ маленько досталось, вѣдь не больно посѣкли, пошто было чужу душу кабалить, да *запимсы* спрашивать — «ладно-ли?» и такого нѣтъ православнаго закона, чтобъ замужъ неволить.»

Онисимъ взялъ шапку, да четвертачокъ, который сулилъ за безчестье, на дорогу, и пошелъ. Забавенъ былъ разсказъ его, когда онъ приносилъ жалобу, и все снова обращался къ тому, что онъ упрашивалъ: «поди, доцынька», а она отвѣчала: «терпи, батюшка, тебѣ не сколько терпѣть, а мнѣ вѣкъ маяться.»

Рѣшеніе состоялось такое:

Приказный староста Савуновъ и добросовѣстный Якимановъ наказали самовольно и притомъ напрасно крестьянина Онисима Егорова. Голова Мироновъ взялъ

объ этомъ, не донесъ начальству и оказалъ самоуправству этому повторство. За это Савуновъ и Якимановъ отставляются отъ должностей своихъ, съ запиской въ штрафную книгу и съ лишеніемъ права голоса на сходкахъ; головѣ дѣлается строгій выговоръ; всѣмъ троимъ уплатить тотчасъ Онисиму за обиду: каждому по полному годовому окладу податей съ одного тягла, то есть по 11 р. 32 к. сер. О случаѣ этомъ объявить въ острастку по всѣмъ сельскимъ приказамъ.

Онисимъ не вѣрилъ своему счастью. «Вотъ, доцынька, какія деньги Богъ далъ, и во снѣ мы съ тобой ихъ не видали! Вѣдь это, дай Богъ здоровье нацальнику, мы съ тобой заработали!» — Нѣтъ, «не мы», отвѣчала та смѣючись: «вся работа твоя была, батюшка; ты заварилъ кашу, ты и выхлебалъ. Вся моя работа была, что я не послушалась неразсудливаго приказанія твоего: не пошла за Матвея, да надоумила тебя идти къ управляющему.»

# ПЕТРУША СЪ ПАРАНЕЙ

— Здравствуй, Паранюшка!

— Здравствуй, другъ Петруша. Что, не скажешь ли чего добраго?

— А что я скажу тебѣ добраго, косатка моя, опричь худого? Нынѣ на свѣтѣ нѣтъ добраго. Вотъ коли ты еще любишь меня, такъ подойди поближе—людей нѣтъ близко никого, да и темно на дворѣ — и скажи ласковое слово—вотъ и добро будетъ.

— Хорошо тебѣ говорить, Петруша, да вѣдь этакъ вѣку не изживешь. Чу! слышь, опять журавля прилетѣли—вѣдь, ужь это въ третій разъ съ-тѣхъ-поръ, какъ мы съ тобой слюбились; вотъ и пасха на дворѣ, не сколько осталось, люди засылаютъ сватовъ, коли кто худого на дѣвку не замышляетъ, а кто только ославить хочетъ ее да покинуть, тотъ себѣ и молчитъ и стережетъ ее за угломъ.

— Охъ, ужь не кори меня, другъ Параня! и такъ ужь ретивое надрывается. Что жь я дѣлать стану, коли отъ стариковъ да молодыхъ просвѣту нѣтъ... Погодимъ еще, ненаглядная моя, Господь съ ними, за

то авось и насъ Онъ не покинетъ; мнѣ тошнѣй тебя: и самого-то себя жаль, и тебя жаль; и на тебя гляди убиваюсь,—а дѣлать нечего.

— Хорошо тебѣ говорить, Петруша, на тебѣ все та же шапка.. вѣдь, и у меня также отецъ, мать дома, твои — свое, а мои — свое: не вѣкъ, говорятъ, тебѣ въ дѣвкахъ сидѣть; пересидишь — ославишься, позору наведешь; на тебѣ сватаются, вотъ такой и такой — чѣмъ не женихи? выходи, не то отдадимъ, не спросимъ. А я что́ стану говорить? Тебя я поминать не смѣю... Такъ-то; вотъ видишь, Петруша, покуда солнце-то взойдетъ, анъ злая роса глаза выѣстъ...

— Паранюшка-душа, не иди за другого, на грѣхъ наведешь меня, на такой, что загублю я себя... Что́ больше му́ки примемъ, то Господь больше наградитъ насъ съ тобой... Я вотъ нынѣ опять поговорю старикамъ своимъ, какъ домой приду, что́ будетъ... авось не смилуются ли; вѣдь я у нихъ одинъ, какъ пёрстъ; не на то же они народили меня, вспоили-вскормили, чтобъ до́ вѣку, никому на радость и себѣ на горе, мяня тупой пилой измочалить.

— Ну иди, Петруша, Господь съ тобой; только — охо-хо, горько мнѣ, и не бывать добра, коли этакъ жить намъ, да все ждать-пождать...

— Параня, молись за меня, а я за тебя... Прощай, моя маковка...

— Прощай, касатикъ мой... Полно, полно; люди увидятъ... Прощай!

Пришелъ домой Петруша, сѣлъ у входа на коникъ и вздыхаетъ тяжело; не знаетъ, какъ и начать говорить про такое дѣло, гдѣ не даютъ слова сказать.

— Что́,—спросилъ отецъ:—нашатался?

— Не нашатаешься съ вами,—отвѣчалъ Петруша,—коли ложкой кормите, а стеблемъ глаза колете.. Какъ

ни придешь въ избу, все, кажись, рано, все бы бѣжалъ еще на просторъ.

— Ну, что́ жъ, вольному воля, а дураку, пожалуй, и двѣ: и своя дурь, и чужой худой разумъ. Поди; мы съ матерью тебя не на пріуздкѣ водимъ.

— Батюшка, и ты, матушка, — сказалъ Петруша, вставъ и повалившись имъ въ ноги:—такъ привяжите жъ меня къ дому, какъ у людей водится: вѣдь и ты въ мои годы ужь женатъ былъ, а я вотъ все еще по-собачьи живу... Пошлите ради праздника Христова, ради пресвѣтлаго воскресенія Господня, пошлите свата за Параней...

Отецъ, сидя на лавкѣ у стола, махнулъ рукою и отвернулся, съ трудомъ только удерживаясь отъ вспышки и брани. Мать не утерпѣла, плюнула, встала съ лавки и пошла къ печи.

— Ну, — сказалъ Петруша, быстро вскочивъ на ноги и встряхнувъ волосы:—знать, такая судьба моя... либо утоплюсь, либо... ужъ и самъ не знаю, на какой грѣхъ вы меня наведете... Эхъ, батюшка, матушка! напрасно вы меня съ нею разлучаете; не будетъ отъ этого корысти никакой, а видиму бѣду неминучую накликаете... Подумайте жъ вы по себѣ, да вспомяните и меня: отчего же вы не велите мнѣ взять за себя Парашу? Вѣдь не вамъ съ нею вѣкъ коротать, а мнѣ: вы ужь пожили свое — кто вамъ перечилъ? а намъ только-что начинать.

Отецъ и мать перебили его съ сердцемъ, сказавъ, что всѣ люди подъ-Богомъ ходятъ, а кому прежде умирать, кому послѣ — этого не угадаешь. Умираетъ-де не старый, а поспѣлый, на каждаго свой вѣкъ положенъ, а мы ничьего не заѣдаемъ. «Ты, поросенокъ, такихъ рѣчей не смѣй говорить.»

— А что́ жъ я вамъ сказалъ?—началъ опять тотъ:—я словомъ своимъ не убилъ васъ, а вы меня сло-

вомъ своимъ кореніте и губите. Мое слово — что собака на вѣтеръ взлаяла; ваше слово—что изъ тучи громъ грянетъ. Ну вы же сами, бывало, говаривали мнѣ, что пора перебѣситься, пора остепениться, пора невѣсту искать; а теперь третій годъ морите, что душа изнываючи мѣста не сыщетъ Скажите жь, какую, по вашему, надо взять?

— Вотъ это дѣло ты заговорилъ, такъ дѣло; отца, мать послушаешь—долголѣтенъ будешь. А вотъ посмотри-ка у Ивана Трофимова какая дѣвка во дворѣ, не Парашѣ твоей чета; почему бъ тебѣ ея не взять?

— Хороша она для васъ, и корить ее при васъ не стану, а что по мнѣ, такъ хоть бы ея и не было на свѣтѣ. Нѣтъ, батюшка, матушка, знать вы больно состарѣлись, что молодость свою позабыли... Не хочу я жить безъ Парани; коли вы ее мнѣ не велите взять за себя — такъ и Богъ съ вами; дай вамъ Богъ стать переживать меня, хоть съ этого часу, какъ я передъ вами стою: не завидна мнѣ жизнь ваша. За хлѣбъ за соль вашу я васъ благодарю, а самъ уйду отъ васъ, словно отъ обиды хозяйской уходитъ изъ дому чужой батракъ, сирота горемычный...

— Дуракъ ты, Петруша! Это чему Парашка твоя тебя научила? Куда ты уйдешь, куда дѣнешься? Вѣдь тебя, дурака, найдутъ да къ отцу же приведутъ, накостылявъ по дорогѣ шею! Аль ты и вправду забылъ, что у тебя есть отецъ, мать?

— Забыть не забылъ, а коли вы давно ужь отъ сына отступились, такъ ему куда жь дѣваться? И возьму грѣхъ на душу, отрекусь; пострадаю за васъ и на этомъ свѣтѣ, и на томъ.

— Ну, еще я таки я тебя, сынокъ, спрошу: чѣмъ же такъ Параша твоя такъ тебѣ показалась? чай, ребята нахвалили, да хорошо пляшетъ?

— Не хвалить же вамъ ее стать, коли меня изъ-

за нея проклинаете; да безчестить дѣвку вамъ на старости лѣтъ не приходится. Я не для нахвалу женюсь и не про кого, какъ про себя, и глаза у меня свои и свой царь въ головѣ, каковъ ни есть. Пляска пляской —да съ нею вѣка не проживешь; а съ вами, такъ не знаю, кому бы она и на умъ пошла. А хороша Параша тѣмъ, коли хотите знать, что для меня хороша; а кабы всѣмъ одна казалась, такъ, сохрани Богъ, никому бы на свѣтѣ и житья не было. Вотъ она чѣмъ хороша.

— Да кой чортъ она хороша,—сказала мать, осердясь:—у нея и складъ-этъ весь свиной; таки вотъ вся въ свою семью уродилась!

— Правда, матушка, потому что глазъ на глазъ не приходится; а какъ поглядѣлъ я въ воду на свою уроду, такъ и не сталъ другихъ хаять. Такъ бы поглядѣть и всякому на себя, какой кто красивый.

— А были красивы смолоду, — сказалъ отецъ:— и не то, что сами на себя, а ино и люди со стороны глядѣли, а теперь и свой да не глядитъ.

— Пожалуй, твоя воля теперь: тебѣ говорить, а мнѣ слушать; ты наскажешь, что молодъ бывалъ и на крыльяхъ леталъ.

— Вишь ты какой удался, что и отца хаитъ, а тебя, дурака, отъ мизинца да вотъ какого выкормилъ, что переросъ и меня.

— Да, кормилъ ты меня! Нѣтъ, батюшка, хлѣбъ твой былъ, а я все самъ ѣлъ. Вотъ матушка такъ правда, что кормила и поила; а ты, батюшка, помнишь ли, какъ я малъ былъ, въ зыбкѣ-то, бывало, бока отлежу, да и стану кричать, а ты сейчасъ шапку подъ мышку, да и вонъ; надоѣлъ, говоришь. А теперь вотъ такъ коришь, что кормилъ и пѣстовалъ, да хочешь только распоряжаться мною, какъ солдатомъ на ученьи, чтобъ по слову руки и ноги подымалъ, а безъ твоей воли не моргнулъ, не чихнулъ.

— Да, и могу тобою, дуракомъ, распоряжаться, потому-что ты сынъ мой, а я тебѣ отецъ: аль ты можетъ статься, еще этого и не слыхалъ? Вотъ, жена, полюбуйся на своего баловня: пой да корми, а выкормишь, такъ вотъ онъ каковъ наострится! Знать, ужь нынѣ вѣкъ такой пошелъ, что яйца курицу учатъ. Правда говорится: не рожденъ—не сынъ, не купленъ—не холопъ; а не вспоя, не вскормя, ворога не увидишь. Ну, сынокъ, кабы все это добрые люди слышали, такъ подѣломъ бы на насъ стариковъ подивились, да чай и тебѣ бы что-нибудь сказали.

— Извѣстное дѣло, что̀ сказали бъ, коли бъ ты привелъ своихъ: ветошь молодую траву глушитъ и дохнуть не даетъ; а спроси-ка молодую, ей то каково?

— Ну, жена, уродилось у насъ дитя! Хоть дай ему суму съ пирогами, хоть чорта съ рогами — онъ все свое троститъ. Вотъ и сказано, что дѣти удатны—отцу, матери вѣнецъ, дѣти неудатны—отцу матери конецъ. Чужой сынъ дуракъ — смѣхъ; свой сынъ дуракъ—горе. Нѣтъ, насъ отецъ не тому училъ, мы его боялись; бывало...

— Постой, батюшка, я это дѣло и самъ знаю: какъ тебя дѣдушка училъ — нѣчего врать, этого не помню; а вотъ какъ ты его училъ, такъ это было за мою память, хоть я тогда и малъ былъ, а помню, ты меня въ тѣ поры не оберегался, чай, все думалъ: глупъ еще—анъ вотъ на памяти дѣло сказалось!

— Я давно говорила, что изъ нашего сына не будетъ проку,—перебила мать, между-тѣмъ какъ отецъ замолчалъ, будто воды въ ротъ набралъ. Видно, и ему припомнилось недоброе, хоть оно ужь очень давно было; ему показалось, будто Богъ его караетъ за прошлое.—Я давно это говорила. Дуракъ ты, а не Петруша; а еще мы хотѣли тебя женить, толкуемъ, словно дѣло какое! Да какая непутная за тебя пойдетъ?

— Вы пойдете искать, такъ, можетъ статься, и не найдете; а мнѣ и искать не надо, я нашелъ давно: и путная она, и идетъ.

— Мало ли что идетъ, да тебѣ этой брать не велимъ.

— Пожалуй, что сыну бы и не велѣли; а чужому батраку, вотъ хоть бы какъ мнѣ теперь, вамъ непошто заказывать. Вы думаете, возьму я у Ивана Трофимова водовозную кобылу-то? Нѣтъ, не прогнѣвайтесь; хоть вы и говорите о красотѣ, что съ лица не воду пить, однако не на одно же это дѣло люди женятся, чтобъ жена воду возила. Голову грызть и вы горазды, а своего подбору еще же на меня въ домъ сноху возьмете, такъ мнѣ-то ужь куда отъ васъ дѣваться будетъ? Лучше жь я загодя утоплюсь. Отъ Параши два года отлучаете; я все терпѣлъ, все чаялъ, что Господь васъ надоумитъ: чему быть, тому быть, а ужь Ивана Трофимова корова не по шерсти мнѣ, не ко двору пришлась. Вотъ и согрѣшишь съ вами, и договоришься до того, что людей хаять станешь изъ-за васъ; а мнѣ что́ до нея? Богъ съ нею, ходи она въ золотѣ, да меня-то обхаживай.

— Ну что жь? а ты думаешь, только и свѣту, что въ окнѣ? На улицу выйдешь, больше увидишь; не одна твоя Прасковья, не Ивана Трофимова, такъ другая..

— Нѣтъ, батюшка, одна, на одной Богъ указалъ жениться, а не на всѣхъ. Свѣтъ Божій на улицѣ про всѣхъ, а оконце въ избѣ ты про себя вставилъ—вотъ и свѣтъ твой. Подожду я еще, что Богъ дастъ, не поминайте мнѣ только постылыхъ. Коли вѣку мнѣ укоротите—ну, ваша власть, и живите, не стану тогда досаждать вамъ; а коли кто первый изъ васъ передъ Богомъ будетъ, такъ авось святыхъ его за меня умолитъ и другого умилостивитъ.

— Ну,—сказалъ старикъ:—такъ не надо теперь ни о чемъ и хлопотать, а надо повыждать, когда бы вотъ Богъ прибралъ стариковъ; тогда, вишь, Петруша останется большакомъ въ дому, своя воля будетъ... Давайте-ка лучше ужинать, чѣмъ горохъ изъ мѣшка въ мѣшокъ пересыпать да такими рѣчами Бога гнѣвить. У меня и такъ съ вашихъ разговоровъ разломило голову. Садись, сынъ!

— Благодарю, я не хочу.

— Что такъ?

— Да будетъ съ меня, накормили, спасибо, хорошо.

— А что?

— Да такъ; проглотить-то я проглотилъ, да круто, не подавиться бы...

— То-то вотъ, видишь, ты, дуракъ, чего другому желалъ, то вотъ, того и гляди, надъ самимъ сбудется. Вотъ и прикинь на себя, каково другому.

— Объ этомъ я не тужу; давай Богъ такъ; а другимъ бы мои лѣта прожить. Объ этомъ я и самъ молю Бога, чтобъ поверстаться, чтобъ не корили меня: вспоили, вскормили да сами и сгубили. Это хороша игрушка?

— Поди-ка ты лучше да напой скотину; ты самъ не вспомнишь, словно и времени не знаешь.

— То то и дѣло, что я, знать, на одно это и годенъ вамъ; такъ я и не вру, стало-быть, коли говорю, что батракъ вамъ кабалёный работникъ, а не сынъ. Скотину я напоить напою, а самъ къ Парашѣ зайду.

— Иди; давно не видался. А что, Петруша, чай, тебѣ Прасковья твоя милѣй отца, матери?

— И всѣмъ было бъ мѣсто, коли бъ не было тѣсно: не тѣснота губитъ, а лихота.

— Однако, скажи, не стыдись: говорилъ ты много —и это договорить можно: Параша тебѣ отца, матери милѣе?

— Кто добрѣй до кого, тотъ тому и милѣй. Съ вами вотъ до конца не договорюсь, а много грѣха наберусь; а съ Парашей сойдусь—и плачу да веселюсь.

— Иди жь, иди, чтобъ не простыло. Посмотримъ, когда-то онъ воротится.

— Здравствуй, Паша.

— Здорово, Петруша. Что, знать, нѣтъ проку?

— Не тужи, Параша, терпи, авось Богъ смилуется.

— Нѣтъ, Петруша, ужь полно меня томить, а знать по судьбѣ нашей бороной прошли. Не стала бъ и тебѣ пенять, стала бъ выжидать, да вѣдь у меня волюшка-то не своя. Умолила я еще отца, мать эту святую пропустить, дать погулять мнѣ на дѣвичьей волюшкѣ, да ужь послѣдній срокъ: на Покровъ ты меня не увидишь съ русой косой — расчешутъ ее и покроютъ.

— Нѣтъ, Параша, сохрани тебя Богъ: этого и не говори?

— Да ужь такъ, Петруша, я вижу, что такъ будетъ. Два года прошло, а что проку? Отецъ мать, давно говорятъ: нечего тебѣ на него глядѣть, а надо полюбить другого.

— А я всѣмъ парнямъ скажу, что я тебя любилъ!

— А я побожусь, что неправда: любилъ бы, такъ бы и не покидалъ.

— Нѣтъ, Паша, полно; не хороша пошла у насъ бесѣда. Прежде у насъ этого не бывало. Брось все, станемъ жить по-прежнему; Богъ милостивъ... Что дѣлать, коли такая пора пришла, что другъ друга со свѣта сживаемъ?... Вотъ отецъ попрекнулъ меня нонѣ, самъ сказалъ, что я останусь большакомъ въ дому.

— Этого не поминай мнѣ, Петруша. Это что за надёжа, чтобъ намъ жить, какъ другихъ со свѣту сгонимъ!

— Никого я не сживаю, Параня, сохрани Богъ! И всѣмъ бы, кажись, просторно—а я тебѣ помянулъ только отцовскія слова... Да что я дѣлать стану, куда притулю головушку свою, коли и тамъ-то выживаютъ, да и ты еще станешь меня гнать?..

— Ну, полно, Петруша, ступай домой. Чу, вонъ ужь и пѣтухи поютъ, половина ночи прошла.

— Видно, вправду, Параня, разлюбила ты меня, что шлешь домой да стращаешь пѣтухами... Бывало, мы съ тобою до бѣла свѣта просиживали, другъ другу не надокучивали...

— Поди, Петруша, поди: тогда у насъ не было заботы никакой, не знали мы еще своего горя, а теперя такъ ужь и сердце не на мѣстѣ. Иди съ Богомъ, утро вечера мудренѣе; можетъ статься, надумаешь что, такъ завтра одинъ одному скажемъ.

— Ну, прощай, коли на то твоя воля, а моей-то ужь у меня нѣтъ нигдѣ. Помолись за меня, да чтобъ Богъ стариковъ моихъ за ночь надоумилъ.

Пришелъ Петруша домой, стучится подъ окномъ:

— Отоприте ворота, аль сыну хозяйскому черезъ тынъ лѣзть?

— Поди, старикъ, отопри, молвила старуха;—что-то сынъ нашъ больно грустно кричитъ... аль нерадостну вѣсть несетъ.

— Какой тутъ быть вѣсти,—крикнулъ отецъ, слѣзая съ печи:—кромѣ той, что мы оба ему синь-порохъ въ глазу. Чай, слышала, какія рѣчи онъ давича говорилъ... Милости просимъ, дорогой гость. Не учили, пока поперекъ лавочки лежалъ, а во всю вытянулся—не научишь. Гдѣ тебя нелегкая по ночамъ носитъ?

— Хорошо, отецъ, видно ты радъ сыну, что такъ его встрѣчаешь. Мнѣ бы въ омутѣ слаще житье, чѣмъ у тебя съ матушкою. Я, какъ пошелъ, сказался тебѣ, куда иду; тамъ и былъ; я не таюсь...

— Будь же ты проклятъ!—молвилъ отецъ:—и не ходи у меня въ избу: ложись, какъ собака, гдѣ свернешься...

— Коли ты этимъ меня порѣшилъ, такъ я по васъ Богу помолюсь, помяну отца, мать, которые когда-то были у меня, а теперь ихъ нѣтъ; остался я на свѣтѣ круглой сиротой. Коли клятва твоя правѣе—Богъ меня накажетъ, не спуститъ; коли молитва моя правѣе—помилуетъ и призритъ.

Рано утромъ Петруша пришелъ къ Паранѣ; она вышла, какъ бывало и прежде, а онъ стоитъ и не знаетъ, что говорить, самъ только тяжело что-то вздыхаетъ. Стала она допытываться, да и сама, глядя на него, перепугалась до смерти. Вотъ она и залилась вдругъ слезами и кинулась къ нему, проситъ одного: «говори, говори, за одинъ разъ дорѣзывай, что сталось?»

— А сталось то, что Богъ насъ разсудилъ; не намъ дѣла Его разбирать. Поплакать еще разокъ—не миновать, старое горе провожаючи, послѣдній долгъ отдать, да уже и полно. Отецъ и мать у меня дома оба на лавкѣ лежатъ; я и руки сложилъ имъ и по образу на нихъ положилъ.

— Что ты это говоришь, Петруша? Ты не бредишь, не рехнулся ты?

— Нѣтъ, Параня, хоть сейчасъ пойдемъ вмѣстѣ, погляди; надо звать кого-нибудь, хоть тётку да куму: надо обрядъ дать, вѣдь я въ домѣ теперь одинъ—и самъ я, Параня, хозяинъ, такъ Богу угодно было—и хлѣба старикъ, царство ему небесное, чай теперь жалѣетъ обо мнѣ—хлѣба поставилъ много; гляди, вонъ гумно наше...

— Петруша, да ты не бредишь? Какъ же они оба за ночь умерли?

— Отецъ проклялъ меня, сказалъ: будь ты мнѣ

не сынъ; мать услышала да, высунувъ голову въ окно на дворъ, молвила: «я, говоритъ, тебя не нашивала, не раживала, буть ты недобрый чужой!» Живы—были еще отецъ, мать въ избѣ этой, да ужь они мнѣ старики чужіе—не отецъ, не мать. Вотъ и сталъ круглой сиротой. Ни отца, ни матери у меня нѣтъ. Остался я на дворѣ одинъ, палъ ницъ, такъ и лежалъ, все молился, а какъ и чему молился — не помню, а просилъ Бога: не по нашему дѣлай, а по своему; а какъ утре было мнѣ идти на чужу сторону, куда глаза глядятъ, и какъ сталъ я сиротою, то и помянулъ родителей, которые были у меня, въ царствѣ небесномъ, чтобъ Господь не покаралъ ихъ за мои грѣхи... Вотъ я и сказалъ: разсуди, Господи, чья крѣпче, чья правѣе; накажи и вразуми меня, коли я виноватъ; просвѣти и помилуй, коли такъ разсудишь. Вотъ, знать, и умолилъ; утромъ просыпаюсь, хочу идти въ люди, хоть и самъ не знаю куда, а къ тебѣ хотѣлъ зайти сказать, что ужъ нѣтъ меня больше и не жди меня—пошелъ въ избу за одёжой—гляжу: отецъ одинъ съ краю лежитъ на путникѣ и будто неживой Я испугался, ощупалъ его — ужь и простылъ; я на печь, къ матери — померла и она. Вотъ я и сталъ; оглянулся на иконы, палъ на земь, все хотѣлось помолиться, да не смогу; такъ вотъ и самъ не знаю, что сталось надо мной, ровно одурѣлъ. Вотъ и мнѣ, какъ теперь тебѣ, все думается, не померещилось ли, не мана̀ ли какая нашла; оглянусь—оба лежатъ нежившые... Опять хочу молиться, да и не смогу, не знаю, какую молитву буду читать... Я перекрестился, сталъ класть поклонъ за поклономъ, всталъ опять, перенесъ покойниковъ на лавку подъ образа, далъ имъ по иконѣ святой, да вотъ и пришелъ къ тебѣ...

Вскорѣ узнали на всемъ селѣ, что отецъ и мать у Петра въ одну ночь скончались. «Знать, не захотѣлъ

Господь допустить ихъ до большого грѣха», говорили люди.—«Состарѣлись, такъ и померли», говорили тѣ, которые ничего не знали. Пришли кумы да тётки, обмыли и обрядили ихъ, какъ слѣдуетъ, а на другой день прилично похоронили. «Для чего же насъ Богъ этакъ разсудилъ», думалъ про себя Петруша, провожая родителей: «неужто бы намъ, живучи по-людски, да по-Божью, тѣсно бъ стало на бѣломъ свѣтѣ? Его святая воля!»

— Какъ же ты теперь, бѣдный Петруша, станешь хозяйство вести, одинъ какъ пёрстъ?—спрашивали добрые люди, и Петруша не обинуясь сказалъ, что одному домъ вести нельзя, а надо выждать святую да взять добрую хозяйку. Надо принимать отцовское тягло.

— Вотъ что, Петруша,—молвилъ одинъ сосѣдъ:—ты приходи-ка опосля, да спросись, сиротинка, у меня; вѣдь я, пожалуй, и сватомъ пойду отъ тебя, такъ я тебѣ на ушко шепну, какую я тебѣ высватаю невѣсту... А не то, коли захочешь, хошь и мою Настю возьми, коли пойдетъ за тебя... Да отчего жь бы ей и не пойти? Ты парень больно смирный, хорошій, самъ себѣ хозяинъ теперь, свое добро есть; слава-Богу—почему не пойти, пойдетъ!

— Петруша,—сказала теткина кума, либо кумина тетка:—вѣдь ты теперь, сердечный мой, одиночка, ты, сиротинушка, загорюешься, какъ тебѣ одному въ домутто быть? А ты бы вотъ что, послушай меня: ты бы избу-ту заперъ до поры, да перешелъ бы къ тёткѣ; она вѣдь тебѣ своя и баба добрая, знаешь, какъ тебя любитъ; она тебѣ рада будетъ. А мы съ нею сосѣди, такъ ты станешь заходить и къ намъ, самъ знаешь, у меня семья, благодаря Бога, людная и веселая и двѣ дѣвки кровь съ молокомъ, нечего Бога гнѣвить, благодарить надо, этимъ не обидѣлъ; ну, и тебѣ, сирота-

# КТО КОГО ОДУРАЧИЛЪ?

— Ахъ, онъ безмоглый хохолъ!—говорилъ Андрей Степановичъ, вставъ, въ нетерпѣніи, со стула, закинувъ руки за спину и расхаживая по комнатѣ:—ахъ, онъ баранъ барановичъ! дуракъ! Вотъ затесалась ворона въ высокіе хоромы! Да хоть-бы онъ вотъ тутъ немножко у себя постучался,—продолжалъ онъ, остановившись передъ барыней въ наборномъ чепцѣ, ударяя себя пальцами въ лобъ;—ну, неужто онъ не можетъ разсудить, что ему Маши не видать, какъ ушей своихъ? Ну, ему ли соваться ко мнѣ въ зятья?

— Все слѣпотствующая любовь, страсть необсудительная,—отвѣчала чувствительная казначейша, которая сильно начиталась страстей, съѣла зубы на Марлинскомъ и знала наизустъ всего Пушкина:—что дѣлать, простительно-съ, ей-Богу простительно; первая любовь, сами изволите знать, Андрей Степанычъ...

— Подите вы съ своей любовью. Ни первой, ни послѣдней я знать не хочу... ха, ха, ха! Да о чемъ же я разгорячился? Мальчишка, больше ничего; пустяки, вздоръ! Ну, сударыня моя, хоть вы и остереглись, правда,—не свахой отъ этого безмозглаго хохла пріѣхали,

а такъ, будто, то-есть сообщили вѣсточку, которая къ слову пришлась, а ужь не миновать вамъ того, принять отъ меня порученіе попросить своего запорожца, чтобъ онъ впередъ миновалъ крыльцо мое. Доложите ему, какъ тамъ себѣ хотите, что-де отъ нашихъ воротъ есть поворотъ, люби насъ, а ходи мимо. Такъ такъ, сударыня,—и полно.

Въ тотъ же день, распростившись съ чувствительною казначейшей, Андрей Степановичъ пошелъ къ дочери и по первому, нежданному слову заставилъ ее побагровѣть до самыхъ рѣсницъ, опустить глаза на земь и стоять передъ отцомъ молча, едва переводя духъ, съ крупными двумя слезами на глазахъ. Андрей Степановичъ, впрочемъ, долго не мучилъ ее, а считая все это, какъ самъ выражался, вздоромъ, пустяками, ребячествомъ, ограничился отеческими приличными наставленіями, стараясь возбудить въ Машѣ презрѣніе къ такому жалкому, ничтожному по чину, званію и богатству существу, каковъ былъ бѣдный заѣзжій хохолъ: затѣмъ отецъ поцѣловалъ ее, намекнувъ на женяховъ знатныхъ, съ именемъ, почетомъ и достаткомъ. Маша всему этому молча покорилась, только много плакала одна, когда отецъ ушелъ.

Андрей Степановичъ былъ вдовый, богатый и гордый столбовой дворянинъ, который считался въ этомъ отношеніи однимъ изъ первыхъ украшеній губерніи. Кромѣ благородныхъ забавъ, картъ, домашняго волокитства и охоты, онъ не занимался ничѣмъ, но зато жилъ весело и раздольно. Правда, что жизнь такая довольно-заманчива: какъ поглядишь на плотнаго, здороваго барина, который до-сыта пользуется своею независимостью и которому покорствуетъ все на пространствѣ тысячи квадратныхъ верстъ (100 т. десят.), то невольно подумаешь про-себя, по-крайней мѣрѣ, глядя со стороны, что это де несовсѣмъ худо... Но я хотѣлъ только сказать,

что Андрей Степановичъ любилъ охоту, держалъ огромную и знаменитую псарню, изъ которой, подъ страхомъ всяческихъ наказаній, ни одинъ щенокъ не попадалъ въ постороннія руки. Если имѣніе и было заложено, то, по-крайней-мѣрѣ, никто не могъ доказать, чтобъ это сдѣлано было собственно въ пользу собакъ, потому-что и другихъ неменѣе значительныхъ предметовъ расхода оказывалось великое множество. Явленіе съ чувствительной казначейшей происходило именно дня за три до выѣзда Андрея Степановича, со всѣмъ охотничьимъ поѣздомъ, въ отъѣзжее поле, недѣли на двѣ или на три, къ чему всегда приглашались всѣ окружные помѣщики, понимавшіе толкъ въ этомъ дѣлѣ, а также нѣсколько знакомыхъ стрѣлковъ изъ сосѣдняго губернскаго города; да кромѣ того еще при увеселеніяхъ этихъ былъ необходимъ вольный или невольный шутъ, дурачекъ, котораго постригали въ званіе это для потѣхи цѣлаго общества. Съ большою ловкостью вся вольница эта умѣла держать бѣдную жертву свою въ теченіе двухъ недѣль, въ назначенномъ ему положеніи и званіи; тутъ не помогало этому человѣку ничего— ни гнѣвъ, ни добродушіе, ни умъ или ловкость—коли трое говорятъ, что пьянъ, то поди и ложись; здѣсь все устраивалось и подготовлялось съ постоянною цѣлью: дурачить человѣка кругомъ и со всѣхъ сторонъ, день за день и каждый часъ; самая прислуга, которая чрезвычайно рада подобному случаю, была до того наметана и пріучена, что бѣднякъ, попавшись однажды, сидѣлъ въ тенетахъ весь, какъ онъ есть, и никакими способами не могъ избавиться отъ наложенной на него, по приговору общества или одного Андрея Степановича, должности шута. Конечно, для этого вообще избирались люди не слишкомъ взыскательные, которые должны были поставить себѣ за особенную честь самое приглашеніе и пріемъ въ такое избранное общество, гдѣ,

какъ само собою разумѣется, между прочимъ шампанское постоянно лилось рѣкой.

Когда Андрей Степановичъ успокоился нѣсколько послѣ нанесеннаго ему казначейшей чувствительнаго оскорбленія и сталъ распоряжаться по предстоящему празднеству, то ему показалось какъ нельзя болѣе кстати, опредѣлить на это время въ дураки именно того хохла, который вздумалъ (дерзость неслыханная!) влюбиться первою любовью, какъ изъясняла казначейша, въ дочь его, Андрея Степановича. Онъ такъ восхитился этою мыслью, что, сидя одинъ передъ окномъ и глядя на прачекъ, полоскавшихся подъ мостомъ, вскочилъ съ мѣста, щелкнулъ пальцами и громко захохоталъ. Человѣкъ, слуга то-есть, полагая, что баринъ ударилъ въ ладоши, вошелъ; но Андрей Степановичъ, оглянувшись и сказавъ: «ничего, дуракъ, не о тебѣ рѣчь идетъ», продолжалъ ходить съ трубкой по комнатѣ и радоваться, какъ ребенокъ своей находкѣ. Не говоря уже о томъ, что дуракъ прошлогодняго отъѣзжаго поля былъ слишкомъ вялъ и глупъ, оканчивая притомъ, иногда очень некстати, шутки свои тѣмъ, что съ утра нарѣзывался мертвецки-пьянымъ, почему и оказывался ни къ чему неспособнымъ, Андрей Степановичъ полагалъ также, что это будетъ однимъ изъ лучшихъ уроковъ для хохла, котораго онъ, мимоходомъ сказать, видно, умѣлъ хотя нѣсколько оцѣнить, предполагая, что тотъ не перенесетъ этого равнодушно и, какъ человѣкъ оскорбленный и опозоренный, унесетъ свою бѣдную голову куда-нибудь подальше отъ людей. Андрей Степановичъ свиснулъ, закричалъ: «Эй!» и хлопнулъ въ ладоши. Слуга вошелъ. «Позвать Дергалова!» Первый ловчій вошелъ. «Послушай,» сказалъ Андрей Степановичъ, улыбаясь и разставивъ обѣ ноги пошире, между тѣмъ какъ руки закинуты были за спину, подъ сюртукъ: «послушай, знай и отдай потихоньку при-

казаніе: шутомъ будетъ у насъ Кумаченко — знаешь; хохолъ этотъ, какъ его? — «Знаю-съ.» — «Ну, ступай, да смотри, одурачить его хорошенько — слышишь? Всѣ продѣлки съ нимъ выдѣлать.»

Кумаченко былъ дѣйствительно, по уму и сердцу, настоящій хохолъ: человѣкъ вовсе неглупый, даже довольно умный и разсудительный, но съ какою-то особою складкою ума, которая иногда клонилась къ чудачеству: ему также Богъ далъ на долю небольшой запасецъ замысловатости, подъ личиною простодушія, безъ чего ни одинъ малороссъ не можетъ жить на свѣтѣ, особенно между москалями; частицу лѣни, упорства, но притомъ доброе, теплое сердце, сочувствіе къ художествамъ и созерцательную наклонность; если его раздражали, что по долготерпѣнію его, случалось рѣдко, то онъ не скоро забывалъ обиду и охотно мстилъ. Заѣхавъ на службу въ отдаленную русскую губернію, онъ было скоро обжился и свыкся со многими: но по неопытности своей и наклонности сводить тѣсную дружбу при первой встрѣчѣ съ человѣкомъ, чѣмъ бы до причалу подержаться на шестахъ и опознаться, онъ уже нѣсколько разъ ожигался и все болѣе и болѣе склонялся къ одиночеству. Наружность и пріемы его, въ сущности благообразные и приличные, несмотря на это, частенько возбуждали веселость зубоскаловъ, потому что въ нихъ было что-то особенное: а южное произношеніе, при которомъ еще нерѣдко вырывались отъ полноты души родныя выраженія радости, печали, удовольствія, гнѣва или ласки, довершали въ глазахъ многихъ чудачество Кумаченка.

Любовишка его длилась уже около года, и нравъ его вовсе не склоненъ былъ къ измѣнчивости и непостоянству. Такой человѣкъ, какъ Кумаченко, могъ бы скорѣе изнывать десять лѣтъ въ безнадежной страсти чѣмъ отказаться отъ этого смѣлаго выбора убѣжденіемъ

и силою воли. Конечно, былъ онъ, по принятымъ свѣтскимъ понятіямъ, вовсе не чета Марьѣ Андреевнѣ, ни она ему; но что же вы будете дѣлать съ упрямымъ хохломъ, который предается безотчетно влеченію своего причудливаго сердца?

Маша съ своей стороны была тутъ, конечно, также не безъ вины; Кумаченко былъ не дуракъ, и потому не влюбился бы очертя голову тэмъ, гдѣ не нашелъ бы ни отвѣта, ни привѣта. Оставшись ребенкомъ сиротой, она провела десять лѣтъ до возмужалости своей въ одиночествѣ: отецъ былъ добръ къ ней, но крайне-беззаботенъ и безтолковъ, когда дѣло касалось воспитанія; мадамы разнаго вида, старыя, молодыя, плотныя, худощавыя, чередовались одна за другою и смѣнялись прежде, чѣмъ ребенокъ успѣвалъ сколько нибудь привыкнуть къ нимъ. Сначала взята была женщина въ лѣтахъ, но она вскорѣ надоѣла Андрею Степановичу, и онъ взялъ гдѣ-то молодую, очень благовидную, съ которою въ первое время уживался хорошо, но по частымъ отсутствіямъ его отъ дома, вмѣшался кто-то посторонній, а какъ дружбы самъ-третей на свѣтѣ не бываетъ, то мамзель, исправлявшая должность мадамы, должна была съѣхать; поступила третья, также очень видная, выписанная за большія деньги изъ-за границы, но та сама покинула черезъ полгода честь и мѣсто, оставивъ въ домѣ, какъ гласилъ позорный временникъ, одну только память по себѣ: какую-то полновѣсную оплеуху. Такимъ образомъ бѣдная Маша переходила съ рукъ на руки, и будучи при живомъ отцѣ истинно-круглой сиротой, выросла, возмужала; грудь ея давно согрѣлась горячимъ и нѣжнымъ сердцемъ, а у ней не было никого, въ комъ она могла бы возбудить сочувствіе, не только любви, въ смыслѣ тѣсномъ, но и въ общемъ: любви родственной и дружбы.

Случай сблизилъ ее разъ-другой съ Кумаченкомъ,

который былъ простъ и привѣтливъ въ обращеніи, въ обществѣ веселъ, пѣлъ довольно чисто и пріятно и выказывалъ всякому теплое чувство свое и какую-то обязательную задушевность. Маша была побѣждена этимъ съ перваго раза; молодые люди поняли другъ друга безъ толмача, и вскорѣ Кумаченко бродилъ, не слыша подъ собою земли, и плакалъ и смѣялся по одной только Машѣ. Онъ понималъ, что этотъ кусъ не для его устъ, но отрѣшиться отъ нея не могъ и не хотѣлъ; то отчаянно надѣялся, то безнадежно отчаивался и, нанимая жилье у чувствительной казначейши, невольно проговорился ей, потомъ привыкъ бесѣдовать съ нею о блаженствѣ и бѣдствіи своемъ и, наконецъ, сбившись вовсе съ толку и потерявъ всякое соображеніе, присталъ къ ней неотступно сватать за него Машу, съ тѣмъ-де, что пусть будетъ, что Богу угодно. Мы видѣли, какъ она исполнила это порученіе: она и подумать не смѣла о томъ, чтобъ точно сватать дочь Андрея Степановича за хохла Кумаченка, но она избрала среднюю дорогу, явившись чѣмъ-то среднимъ между свахой и простой вѣстовщицей и притомъ сдержала данное Кумаченко слово: увѣдомить Машу о порученіи друга ея.

Когда стали собираться на охоту, къ которой былъ приглашенъ и Кумаченко, какъ искони было обыкновеніе приглашать всякаго, кто считался охотникомъ, то хохолъ нашъ не хотѣлъ вовсе ѣхать, огорченный и разочарованный тѣмъ, что онъ называлъ неудачей, хотя всякій другой смѣялся этому сватовству и считалъ очевиднымъ, что тутъ никакой удачи и быть не могло. Но слухъ о распоряженіяхъ Андрея Степановича насчетъ пострижки хохла въ шуты уже распространился; молодежь перешепнулась, забѣгала и рѣшила, что Кумаченка надо вести на охоту во что бы ни стало, иначе все предположенное веселье рушится. Подослали человѣка, который успѣлъ убѣдить Кумаченко разными

доводами, что ему гораздо лучше будетъ ѣхать, особенно, чтобъ не подать повода къ сплетнямъ и пересудамъ о неудачномъ сватовствѣ, и всѣ напередъ уже потирали руки, хохотали до слезъ, воображая, какъ это будетъ весело и сколько предстоитъ имъ невинныхъ удовольствій. Наканунѣ отъѣзда зналъ объ этомъ весь городъ; ни въ одномъ домѣ не было иного разговора, какъ о томъ, какъ будутъ дурачить Кумаченка, и всѣ барыни наказывали мужьямъ, братьямъ и пріятелямъ своимъ разсказать, по возвращеніи, во всей подробности, какъ и что происходило.

Мы сказали уже, что Кумаченко былъ таки порядочный чудакъ, да кромѣ того онъ былъ на охотѣ горячъ и опрометчивъ, почему и нисколько неудивительно, особенно при такихъ всеобщихъ усиліяхъ, что его дурачили на каждомъ шагу. Началось тѣмъ, что нашколенные люди Андрея Степановича успѣли украсть у него на время ружье и вымазать саломъ; поэтому все утро перваго дня, между тѣмъ какъ повсюду раздавались выстрѣлы и зайцы сбивали стрѣлка нашего съ ногъ, онъ провелъ только въ безполезныхъ проклятіяхъ на непонятныя вспышки и осѣчки, прочищалъ, протравливалъ, разряжалъ и продувалъ ружье и снова не видалъ отъ него никакой службы, кромѣ вспышекъ и осѣчекъ, а затѣмъ, всеобщаго удовольствія своихъ товарищей.

За завтракомъ не обобрался онъ колкихъ насмѣшекъ и шуточекъ; но къ вечернему полю успѣлъ снова промыть и исправить свою фузею, такъ что по первому выстрѣлу убилъ зайца. Погорячившись затѣмъ и давъ нѣсколько промаховъ, онъ только что соображалъ, въ досадѣ своей, отчего бы это могло случиться и не *легитъ* ли ружье его, не подбиты ли зайцы? Какъ вдругъ услужливый доѣзжачій Андрея Степановича подноситъ ему почтительно зайца, испрашивая

позволенія второчить его на лошадь Кумаченка, которая стояла въ нѣкоторомъ разстояніи, подъ присмотромъ даннаго ему стремяннаго. «Это вашъ заяцъ, сударь,» сказалъ доѣзжачій, «вы изволили убить его, онъ упалъ вонъ тамъ, за кустикомъ.» Кумаченко поблагодарилъ и, разумѣется, былъ доволенъ удачей. Черезъ пять минутъ ему приносятъ другого, а тамъ и третьяго зайца, и хотя это уже показалось Кумаченку нѣсколько сомнительнымъ, но чинный и почтительный видъ прислуги, ясныя доказательства ихъ, что эти зайцы точно убиты были имъ, а пуще всего обычное всякому охотнику самолюбіе и запальчивость заставляли Кумаченка смалчивать и соглашаться. Облава кончена; все общество, какъ-будто по уговору— а условный знакъ былъ поданъ черезъ рогъ — собралось около Кумаченка; надобно ѣхать дальше; подводятъ лошадей.... и на Кумаченкиной лошади второчено уже не три, а, можетъ-быть, до тридцати зайцевъ; она черезъ силу несетъ на тебѣ гору эту, и хозяину рѣшительно нѣтъ на сѣдлѣ мѣста. Это называется *обвешать* охотника и въ строгомъ смыслѣ употребительно тогда только, когда горяченькій новичекъ, съ ружьемъ или съ собаками, начинаетъ спорить за каждаго зайца, утверждая, что онъ его убилъ или что его собака зайца поймала. Какъ бы то ни было, а начало это было довольно тягостно для Кумаченка; онъ догадался по этой шуткѣ и всеобщему веселью, что его постригли въ дураки.

Только что тронулись къ слѣдующему острову и переѣхали поле, какъ псарь подвернулся очень ловко къ Кумаченку, отставшему нѣсколько отъ шумной толпы, и, подмигивая, указывалъ въ сторону. «Что такое?» спросилъ тотъ. «Я проѣхалъ тутъ стороною,» отвѣчалъ псарь таинственно, «да заподозрѣлъ въ озеркѣ русака.... да какой матерой! Лежитъ да глядитъ на

меня; я и подумалъ: пусть проѣдутъ господа, а это баринъ добрый, дастъ на водку, ему укажу.» Хохолъ мой схватилъ ружье съ плеча и отправился за псаремъ. «Вонъ, вонъ,» повторялъ тотъ, спѣшившись, ведя за собою Кумаченка и обходя русака на кругахъ: «вонъ лежитъ, уши прижалъ...» Еслибъ стрѣлокъ мой въ это время оглянулся, то онъ бы увидѣлъ, что все общество остановилось на возвышеніи, въ нетерпѣливомъ ожиданіи развязки; но какой же охотникъ отведетъ въ такое мгновеніе глаза отъ дичи? Хохолъ приложился, убилъ русака, подхватилъ его и, оглянувшись, удивился только немного тому, что псаря уже не было: онъ за добра-ума убрался и во весь день не показывался на глаза Кумаченку, какъ это всегда водится въ подобныхъ случаяхъ. Толпа въ ту же минуту наскакала съ поздравленіями. Андрей Степановичъ, не подавая никакого вида, смотрѣлъ на все съ высоты своего величія, сидя на лошади, но услужливые блюдолизы его тотчасъ же принялись ощупывать и осматривать матераго русака и нашли у него, къ крайнему изумленію Кумаченка, спрятанную въ одно ушко записочку, въ которой заяцъ извинялся очень вѣжливо передъ нимъ въ томъ, что былъ убитъ часа за два передъ этимъ такимъ-то. Поздравленія еще усилились, и общее веселье и радость превзошли всякіе предѣлы: записочка переходила изъ рукъ въ руки и была каждымъ прочитана вслухъ.

Но всего этого мало: повторяю, коли трое говорятъ, что ты пьянъ, то молчи, иди скорѣе и ложись спать; какъ кто ни вертись въ положеніи нашего бѣднаго хохла, а найтись и отклонить отъ себя всѣ подведенныя общимъ согласіемъ мины очень трудно; остается только не шутя разсердиться и разбранить всѣхъ, что впрочемъ, обыкновенно также выходитъ довольно глупо. Нечего дѣлать, Кумаченко рѣшился терпѣть,

покуда станетъ терпѣнья, и отшучиваться, какъ Богъ на умъ положитъ. Поэтому въ этотъ и на слѣдующій день было еще много продѣлокъ съ нимъ, такъ что ему по истинѣ не давали ступить шагу безъ подготовленной къ общему удовольствію штуки, и потѣха была велика. Его подвели и заставили выстрѣлить также какъ по зайцу, по привязанному на деревѣ мертвому тетереву; убитыхъ имъ съ великимъ трудомъ пятерыхъ тетеревей подмѣнили, и подали вмѣсто того, къ общему смотру, пять лысухъ, причемъ восклицаніямъ изумленія не было конца и не могли надивиться, какимъ образомъ Кумаченко стрѣляетъ лысухъ въ бору, съ дерева; отдавали ему вечеромъ перваго дня, по общему приговору, почетъ, какъ увѣряли на охотничьихъ правилахъ, признавъ его, за три десятка убитыхъ имъ зайцевъ, царемъ охоты и постановивъ, чтобъ всякій говорилъ съ нимъ, держа шапку въ рукахъ и пр. Наконецъ, когда бѣднякъ сталъ уже очень остороженъ и шутки эти начинали ему крайне надоѣдать, выпустили противъ него изъ кустовъ живого зайца, котораго онъ и убилъ и даже самъ второчилъ, но который, къ несчастью, оказался кошкой, зашитой въ заячью шкуру; по живучести своей, она, будучи привязана къ сѣдлу за заднія ноги, ожила, принялась царапать лошадь передними лапами, а лошадь стала бить задомъ и передомъ, понесла, сбила сѣдока и изломала ружье его. Кошка эта, получившая названіе тумана, возвела удачнымъ притворствомъ своимъ всѣхъ на высшую степень удовольствія, и никто не помнилъ, чтобъ когда-нибудь было такъ весело; на слѣдующей же день, когда Кумаченко, обрадовавшись ломкѣ ружья своего, хотѣлъ отправиться домой, еще таки успѣли его удержать, потому что комедія не была кончена. Ему подали извѣстное гостиное ружье Андрея Степановича, тульской работы, которое было сдѣлано на-заказъ, съ

тѣмъ, чтобъ стрѣлокъ никогда не могъ попасть въ цѣль: оно было аршина полтора выше цѣли и вправо. Послѣ этого ужь, конечно, не мудрено было, что Кумаченко, независимо отъ большого или меньшаго искусства стрѣлять, впродолженіе цѣлаго дня не убилъ ни одной штуки, и что, слѣдовательно, по заведенному обычаю, за обѣденнымъ столомъ въ чистомъ полѣ ему поднесли, съ музыкой и торжествомъ, особенное, послѣднее блюдо: шапку, украшенную ослиными ушами.

— А, да чортъ бы васъ взялъ! — сказалъ Кумаченко, выведенный изъ терпѣнья, и вскочилъ съ мѣста:— сами вы ослы, а на другихъ шапки надѣваете... Всѣ бросились ублажать и успокоивать его, потому что такой исходъ дѣла могъ испортить всѣ шутки; но хохолъ нашъ, рѣшившись разъ высыпать обществу сердце свое, не поддавался уже ни на какія прельщенія, а отдѣлился отъ прочихъ и, когда всѣ сѣли на коней и поѣхали къ ночлегу, то онъ своротилъ въ сторону и поѣхалъ шагомъ домой, въ городъ.

Грустно, и скучно, и больно ему было, а Маша не выходила изъ ума. «Что,» подумалъ онъ, «еслибъ я теперь поѣхалъ не въ городъ, а на село къ этому мошеннику, къ Андрею Степанычу, да еслибъ мнѣ Богъ пособилъ увидаться, хоть только увидаться съ Машей... А что жь? Безъ него не выгонятъ же меня; я могу даже придумать отъ него какое-нибудь порученіе; онъ прошатается еще недѣли двѣ по окружности и, вѣроятно, даже не узнаетъ, что я у него былъ...»

Кумаченко, задумавшись крутою думою и сказавъ про себя: «что жь я буду дѣлать, коли я не могу ее забыть?»—повернулъ лошадь прямѣйшимъ путемъ, черезъ поля и горы, на усадьбу Андрея Степановича, и пустилъ ее ходою, а тамъ и рысью. Поѣхавъ, черезъ часъ, для передышки лошади, шагомъ, онъ запѣлъ свою пѣсню и пѣлъ ее до слезъ, а тамъ опять пу-

стился рысью. Довольно поздно вечоромъ онъ въѣхалъ на широкій дворъ богатаго помѣщика и струсилъ до того, что готовъ былъ опять воротиться. Но собаки залаяли, люди вышли, онъ сошелъ съ коня, сказавъ, что Андрей Степановичъ поручилъ ему провѣдать барышню на перепутьѣ. Хохлу повезло счастье: мамзель, исправляющая должность мадамы, была не совсѣмъ здорова, не одѣта, и потому не вышла; а не понимая порусски, она и не знала ни слова о томъ, что происходило за нѣсколько дней между отцомъ Маши и чувствительною казначейшей; поэтому она выслала питомицу свою въ гостиную принять гостя.

Послѣ немногихъ словъ, гдѣ оба были не въ своей тарелкѣ, Кумаченко оглянулся, замѣтилъ, что они одни, и вдругъ доискался языка:

— Сердце мое, Марья Андреевна,—сказалъ онъ:— да долго ли жь намъ такъ мучиться? Воля ваша, что хотите со мной дѣлайте, а я не вытерплю, не перенесу. Вамъ, можетъ статься, ничего: а я, ей-богу, вотъ пойду да и утоплюсь. Марья Андреевна, сердце мое, да скажите-же, хоть на прощанье, любите вы меня или нѣтъ?... да скажите, сдѣлайте милость, одно слово.... О, коли любите, такъ развѣ жь намъ можно такъ убивать себя? И за что? Боже мой! кому оно нужно все это добро?.... Богъ съ нимъ.... Слушайте, сердце мое, у меня есть свой маленькій куточекъ: хатка на рѣчкѣ, садъ... а вишень, вишень что! хатки и не видно снизу, только съ горы, вся закутана въ яблоняхъ, грушахъ, вишняхъ, черешняхъ.... душечка, Марья Андреевна, сдѣлайте жь милость, поѣдемъ туда.... Богъ съ нимъ, съ этимъ богатствомъ; поѣдемъ, Марья Андреевна, сердце мое, а ну? поѣдемъ... поѣдемъ?..»

Словомъ, неотвязчивый Кумаченко, сдѣлавъ нападеніе это врасплохъ, не отсталъ отъ дрожащей, блѣдной дѣвицы, покуда не вымозжилъ изъ нея какой-то

звукъ согласія; по-крайней мѣрѣ такъ ему показалось, онъ былъ въ томъ увѣренъ, и потому тотчасъ же простился, съ восхитательными восклицаніями, которыя умѣрялись однимъ только страхомъ осторожности. Слѣдующій вечеръ въ девять часовъ, назначилъ онъ для вторичнаго свиданія, объявивъ, что будетъ у нижней калиточки сада; и не дождавшись никакого отвѣта, который Маша и не была въ состояніи произнести, поцѣловалъ ручку ея и скрылся.

Сѣвъ на лошадь, онъ забылъ, что она уже съ утра подъ сѣдломъ; къ полуночи былъ онъ дома. Онъ пытался дорогою нѣсколько разъ затянуть веселую пѣсню, пускалъ даже для этого коня своего вскачь, потому что рысью выходила одна икотка, но нашелъ и это неудобнымъ и ѣхалъ впотьмахъ молча, рысью, во всѣ лопатки. На другой вечеръ, въ исходѣ девятаго, онъ подъѣхалъ въ коляскѣ, низомъ по рѣчкѣ, до небольшого лѣсочка подъ усадьбой Андрея Степановича; тутъ коляска, четвернею въ рядъ, остановилась, а сѣдокъ пошелъ пѣшкомъ до извѣстной калиточки; она была растворена настежь, какъ обыкновенно, а въ огромномъ саду все тихо и пусто. Воръ постоялъ, послушалъ, заглянулъ осторожно туда и сюда и прокрался подъ стѣной до главной, средней прóсади. И тутъ простоялъ онъ нѣсколько минутъ, притаившись за толстой березой и усильно прорѣзывая потьмы взорами, какъ увидѣлъ вдали что-то живое на этой дорожкѣ. Сердце его забилось такъ, что онъ быстро оглянулся кругомъ, не услышитъ ли кто. Тѣнь медленно приближалась, остановилась еще вдалекѣ и повернула опять назадъ. «Боже мой!» вскричалъ хохолъ забывшись и протянулъ обѣ руки, и тѣнь остановилась. Онъ выбѣжалъ и подхватилъ ее, и тутъ счастье не измѣнило ему, видно ужь на то пошло: это была Маша, а вокругъ нея никого. Она не помнила, какъ

ее вывели изъ сада, свели поспѣшно по тропинкѣ въ лѣсокъ, посадили въ коляску и помчали. Приходя въ себя, она дѣлалась нѣсколько разъ крайне безпокойною, вырывалась изъ рукъ, но, успокоенная ласками жениха своего, падала опять въ изнеможеніи въ объятія его. Верстахъ въ пятнадцати была приготовлена подстава; тутъ распоряжался слуга Кумаченка, Ахвтанасій, (такъ онъ называлъ себя, не желая назваться, по домашнему, Панасомъ); далѣе прискакали въ село, гдѣ нашли двухъ или трехъ пріятелей Кумаченка, ожидавшихъ ризвязку этого дѣла съ большимъ нетерпѣніемъ. «Вотъ она моя зозуленька!» сказалъ Кумаченко, обращаясь къ нимъ и указывая на Машу, которую велъ подъ-руки, «да и вамъ спасибо; на свѣтѣ-таки не безъ добрыхъ людей.»

Чету тотчасъ обвѣнчали. Какъ это могло случиться — не спрашивайте; видно такъ же, какъ случается иногда, или случалось. Андрею Степановичу въ одно время, дали знать съ усадьбы, что дочь пропала безъ вѣсти а изъ города, что Кумаченко, нежданно-негаданно, высваталъ завидную невѣсту и уже обвѣнчанъ, а на дняхъ ѣдетъ въ Малороссію. Бѣшенство Андрея Степановича ни къ чему не повело; года въ полтора онъ уходился, разсудилъ, что у него дочь однимъ-одна и что родовое имѣніе рукъ ея не минуетъ, а потому и помирился. Маша, въ новомъ положеніи своемъ, опомнилась и пришла въ себя почти также не прежде этого срока; она не понимала, какъ могло все это надъ нею статься, тогда какъ ей казалось — ни воли ея, ни рѣшимости и согласія на это не было. Кумаченко часто поминалъ отъѣзжее поле, на которомъ его постригли въ дураки, и говаривалъ: «Дай Боже здоровья умнымъ людямъ, что изъ дурака сдѣлали человѣка: не будь тогда этого случая, сидѣлъ бы я о-сю-пору въ дуракахъ!»

# ЧЕТЫРЕ БРАКА

## и

# ОДИНЪ РАЗВОДЪ

---

Въ Бухарестѣ жилъ первостатейный бояринъ — положимъ, Помеско. Съ той поры, какъ общественные обычаи тамъ онѣмечились и офранцузились, у старика въ домѣ произошло много переворотовъ, которыхъ онъ не могъ осилить, сколько ни спорилъ, ни сердился: противъ вѣтра не надуешься. Если и справедливо, что борода — трава и что ее скосить можно безъ вреда головѣ, то вмѣстѣ съ бородой нерѣдко скашивается такъ много такого, чего бы косить не должно. Изъ опыта извѣстно, что поспѣшная переимчивость чужихъ нравовъ и обычаевъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ неимѣемое глубокое презрѣніе своего родного быта, всегда влечетъ за собою растлѣніе нравовъ, или, что одно и то же — безнравственность. Это испытала, въ свое время, и та страна, о которой мы теперь говоримъ. Торопись учиться, а не торопись перенимать.

Увлекаемый общимъ стремленіемъ къ просвѣщенію, старый бояринъ отпустилъ сына своего въ вѣнскій университетъ; тутъ, конечно, нѣтъ ничего еще дурного, напротивъ, казалось бы, что это даже очень хо-

рошо; но случилось то, что весьма часто случается при такимъ обстоятельствахъ — сынъ Поместо, Евстафій, воротился какимъ-то межеумкомъ, — отъ своихъ отсталъ, къ чужимъ не присталъ, путному не научился, а съ пути сбился. Въ то время еще почти никто не ходилъ тамъ во фракѣ, а потому Евстафій и придумалъ себѣ какой-то нарядъ, средній, также межеумокъ, ни сюртукъ, ни чекмень, ни венгерку, — расчесалъ волосы, отбросивъ вовсе чалму и боярскую шапку, и обулся, при полу-широкихъ шароварахъ, въ черные сапоги. Всѣ разинули рты.

Пробывъ четыре года за границей и воротившись домой въ этомъ видѣ, Евстафій, какъ всякое новое или обновленное лицо, надѣлалъ въ своемъ кругу много шума. Свѣтскій, модный, даже новомодный молодой человѣкъ, передѣланный на этотъ новый ладъ за границей, — эта находка для дамъ и дѣвицъ, всегда скучающихъ съ земляками, со стариками, даже съ домашнею полутурецкою молодежью, — такая новая новинка для нихъ находка.

Молдаванки и волошенки влюбчивы, и это не тайна; Агланца, также изъ хорошаго боярскаго дома, молодая, пригожая, вѣтренная — она даже между земляч-ками своими, волошенками, отличалась этимъ качествомъ, и потому Евстафію не мудрено было вскружить ей голову. Отношенія между обоими полами въ княжествахъ, до этого времени, были турецкія, а потомъ стали самыя модныя, европейскія: модныя въ томъ смыслѣ, что все дурное легко перенимается, а хорошее выворачивается на изнанку. Войти и поклониться, сѣсть и стать, и растянуться, и проплясать—все это смолоду перенять можно; а душонки за границей не передѣлаешь. Агланцѣ казалось, что быть женою *модна-го* и любезнаго Евстафія — это верхъ блаженства, край благополучія; а самое замужество ставила она,

по важности и значительности, между котильономъ и мазуркой. Вы видите изъ этого, что Аглаида не отстала отъ общаго потока, отъ стремленія къ европейской образованности, и вмѣсто своей народной *мититьки*, которую, въ былое время, плясали матушка и бабушка ея, она утруждала или услаждала маленькія ножки свои только общеевропейскими танцами. Котильонъ — это было для нея пока еще важнѣйшимъ событіемъ жизни, потому-что тутъ сопрягалась чета почти на цѣлый вечеръ; вальсъ или мазурка были несравненно меньшей важности. И вотъ почему она относила супружество въ средину того и другого.

Побѣда эта польстила и Евстафію; на все, что его окружало, смотрѣлъ онъ глазами наслажденія и обладанія, не заботясь о завтрашнемъ днѣ, а думая и разсчитывая всегда только на однѣ сутки. Притомъ, поглядѣвъ на себя въ зеркало и сравнивъ себя съ земляками своими, онъ ставилъ себя выше и превыше всѣхъ ихъ на неизмѣримое разстояніе; а какъ поклонниковъ у Аглаиды было много, даже и до него, то и бѣда эта, оправдывая высокое мнѣніе его о себѣ самомъ, давала ему еще болѣе самоувѣренности и окончательно искружила голову. При такихъ обоюдныхъ отношеніяхъ довольно ясно, что изъ Евстафія съ Аглаидой должна была выйти чета, если только родительскіе расчеты этому не противились: и точно, къ добру ли, къ худу ли, но люди не успѣли оглянуться, какъ чета эта была обвѣнчана.

Сахарный и медовый мѣсяцъ мимо — это не въ счетъ. Порывы остыли, мара прошла, и недостатокъ нравственной связи между молодыми супругами былъ довольно ощутителенъ, хотя этого въ Бухарестѣ и некому было замѣтить. Миновалъ годъ; Богъ далъ сыночка. Это счастливое обстоятельство, такъ-сказать, вычинило нѣсколько худыя мѣста супружескихъ узъ;

такъ-сякъ протянулся еще годъ, и опять далъ Богъ сына. На этотъ разъ, это была ужь не новинка, а вторая радость, которая, и по качеству, и по количеству, никогда не равняется первой. Евстафій все еще могъ убѣдить себя, что теперь уже не его дѣло прельщать красавицъ и слыть самому первымъ любезникомъ по Бухаресту; и, чтобъ сказать правду, Аглаица была сама въ такомъ же точно положеніи: она не вдругъ могла отвыкнуть отъ своего свѣтскаго значенія и даже не видѣла въ этомъ никакой нужды; покуда сердце ея было, волею судьбы, занято исключительно только Евстафіемъ, потуда она, безъ всякаго насилія, довольствовалась имъ; но когда, велѣніемъ природы, по древнему мнѣнію нетерпящей пустоты, сердце это потребовало пополненія, то Аглаица безсознательно вдалась опять въ ту же разсѣянную, свѣтскую жизнь, какую вела до замужества, только еще съ большею свободой и чувственностью.

Евстафій, по мѣстному обычаю, былъ вовсе не ревнивъ; рука руку моетъ, а онъ былъ не изъ тѣхъ мужей, которые, по совѣсти, не требуютъ этого очистительнаго омовенія. Холодность и равнодушіе между супругами со дня на день возрастали; упрекъ съ одной стороны вызывалъ десять противныхъ; наконецъ, такъ какъ каждый изъ нихъ шелъ не стѣсняясь своимъ путемъ, и у каждаго сердце или чувства давно уже заняты были вовсе не супругомъ, то не знаю, кто первый изъ нихъ напалъ на умную при такихъ обстоятельствахъ мысль, спросить у самого себя откровенно: «а желалъ или желала бы я знать, для чего мы не разойдемся?» Отвѣтъ на это, самому себѣ, былъ двоякій: «вопервыхъ, дѣти; вовторыхъ: и да какъ же это сдѣлать? нѣтъ явнаго приличнаго предлога...»

Замѣтимъ мимоходомъ, что хотя жители княжествъ

принадлежатъ къ восточной церкви, но, несмотря на это, разводныя у нихъ даются такъ же легко, какъ у евреевъ. Достаточно обоюднаго желанія супруговъ, — и дѣло кончено.

Въ одинъ изъ понедѣльниковъ или въ пятницу — не помню, но только знаю, что это былъ тяжелый день, молодая чета наша была съ утра другъ другомъ крайне недовольна. Трудно сказать, что́ именно между ними произошло; это были все такія бездѣлицы, о которыхъ и говорить не сто́итъ; но гроза собралась и накопилась, едва-ли не въ одинаковой мѣрѣ, какъ на челѣ прекрасной, бѣлокурой и голубоокой Аглаицы, такъ и на широкомъ, хотя нѣсколько отлогомъ лбу Евстафія. Онъ былъ отозванъ къ обѣду въ этотъ день, а она расположилась обѣдать дома, собственно потому, что его не будетъ. «Отчего же ты не поѣдешь сегодня къ отцу?» допытывался онъ, хотя ему, по-истинѣ, не было никакого повода, ни причины спрашивать объ этомъ, ни даже особенно этого желать; и прежде много разъ случалось, что онъ уѣзжалъ къ обѣду, а она оставалась дома, или наоборотъ; но это былъ черный день... Она обидѣлась этимъ вопросамъ, также неизвѣстно почему, и надулась. Онъ всталъ, началъ ходить по комнатѣ и ворчать. Она вышла и сѣла за фортепіано, давно уже ею покинутое, потому что дѣвицы учатся играть и пѣть для жениховъ, а не для мужей. И это перенесъ онъ терпѣливо, хотя и бѣсился внутренно, и наконецъ ушелъ къ себѣ. Между тѣмъ накрыли столъ, маленькій, уютненькій, для одной только барыни, которая, приказавъ себѣ изготовить только два любимыя блюда, тѣшилась, какъ ребенокъ, тѣмъ, что будетъ обѣдать одна, а послѣ обѣда поѣдетъ гулять и заѣдетъ туда и туда. Кушанье подали; вдругъ дверь растворяется, мужъ входитъ и молча садится за столъ. Она глядитъ на него въ недоумѣніи, а онъ, назвавъ

прислужника осломъ, спрашиваетъ его, отчего хозяину нѣтъ прибора.

— Я не велѣла ставить тебѣ прибора, — сказала Аглаица съ сердцемъ. — Что ты пришелъ сюда браниться? Вѣдь ты не обѣдаешь дома?

— Нѣтъ, обѣдаю. Давай приборъ, оселъ, чего ты глаза пялишь?

— Какъ, обѣдаешь?

— Такъ, обѣдаю.

— Да что же это значитъ? я не готовила на тебя, я готовила только на себя: тебѣ тутъ нечего ѣсть.

— Я знаю, что ты всегда заботишься только о себѣ, да развѣ еще объ этомъ кривоногомъ, у котораго ядро швыркомъ между колѣнъ прокинуть можно.

— Что тебѣ вздумалось меня этимъ попрекать? Какой онъ кривоногій? Посмотри-ка сперва на себя, либо на свою Пульхерицу, такъ это лучше будетъ.

Онъ вскочилъ, вспыхнулъ, но поудержался нѣсколько, хотя и немного, и сказалъ:

— Да если вамъ это не нравится, то мы вѣдь можемъ разойтись?

— Очень рада, душевно рада! — отвѣчала она, точно отъ всей души. — Вотъ Евстафій, первое умное слово, которое я отъ тебя слышу!

— Если такъ,—сказалъ онъ:—то и я этому радъ. Въ такомъ случаѣ я поѣду обѣдать. Прощайте. Надѣюсь, что и вы не передумаете?

— О, будьте спокойны, — отвѣчала она; — вотъ вамъ рука моя: возвратившись съ обѣда, вы меня уже болѣе здѣсь не застанете.

Онъ вышелъ и поѣхалъ; слуга съ приборомъ остался въ дуракахъ. Аглаица наскоро пообѣдала и также поѣхала, взявъ дѣтей и нужнѣйшія вещи съ собой. Она объявила отцу о томъ, что случилось, и старалась утѣшить его тѣмъ, что это, во всякомъ случаѣ, къ луч-

шему; что Евстафій человѣкъ грубый, дурной, а у меня де есть обожатель, прекрасный и премилый человѣкъ, который сейчасъ же готовъ на мнѣ жениться и на котораго Евстафій налгалъ, сказавъ, что у него кривыя ноги.

Дѣло сладилось въ нѣсколько дней; но при этомъ былъ подписанъ уговоръ, чтобъ дѣти оставались только до пятнадцати лѣтъ у матери; тогда они должны были поступить на попеченіе отца.

Разъѣхались супруги, и хлѣбосольный, модный домъ молодого Помеско рушился. Поговорили объ этомъ, потолковали, обсудили, положили, что это сдѣлалось очень-хорошо, очень-дурно, прекрасно, никуда негодно, что такъ быть должно, что никакъ этому быть не слѣдовало и проч. Вслѣдъ затѣмъ заговорили о другомъ: «Молодой Помеско женится.» — «Неужели?» — «Право.» — «На комъ?» — «На такой-то, на Пульхерицѣ.» — «Вотъ хорошо, не даромъ же развелись!» — «Вѣдь, и Аглаица выходитъ замужъ!» — Что вы говорите?» — «Право; я вчера слышалъ отъ брата ея.» — «За кого же? За кривоногаго?» — «Да, за него; впрочемъ, онъ молодецъ.» — «Экая прихоть женская, подумаешь! Вотъ не по хорошу милъ, а по милу хорошъ; былъ мужъ съ прямыми ногами — такъ негодится; полюбился кривоногій!» — «Ну что ноги? это постороннія вещь...»

Прошло съ этого времени лѣтъ шесть, и Евстафій съ Аглаицей уже много остыли; а когда прошло десять, то и подавно. Они почти не видались, развѣ случайно; но сыновья бывали часто у отца, и онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ срока, чтобъ взять ихъ на свои руки. Отъ нынѣшней жены у него были дѣти, но все дѣвочки, будто на зло человѣку, который мечталъ о преобразованіи своего отечества посредствомъ воспитанія молодаго поколѣнія въ Вѣнѣ. Какъ бы то ни

было, но мать никакъ не соглашаясь отдать ему сыновей прежде срока, привыкнувъ къ нимъ и полюбивъ ихъ, хотя и у нея также были, кромѣ того, дѣти отъ второго брака.

По прошествіи двѣнадцати лѣтъ, со времени развода съ Поměско, Агланица овдовѣла. Эти двѣнадцать лѣтъ были ей хорошимъ урокомъ, потому что и кривоногій на дѣлѣ оказался не совсѣмъ такимъ, какимъ она его себѣ воображала. Между-тѣмъ, отецъ ея разорился и обѣднѣлъ, и съ этой стороны ей нельзя было ожидать подпоры; кривоногій же мужъ былъ съ хорошимъ достаткомъ, и она поневолѣ ему покорялась. Зато и онъ ее, впрочемъ, съ своей стороны не забылъ, завѣщавъ ей, при смерти, порядочное имѣніе и опеку надъ семью дѣтьми, не считая двухъ пасынковъ.

Новая жена Евстафія, съ своей стороны, также отказнила мужа своего по заслугамъ. Модница изъ модницъ, мотовка изъ мотовокъ, да еще ко всему тому и упрямая, и больная... Не слишкомъ тужила Агланица, отпѣвъ и похоронивъ своего кривоногаго; но Евстафій перекрестился, когда и его, наконецъ, судьба избавила отъ дорогой половины. Онъ то давно бы уже рѣшился на новый разводъ и ублажалъ и упрашивалъ супругу свою всѣми средствами; но, на этотъ разъ, онъ попалъ не на такую сговорчивую особу, какова была Агланица: вторая жена не хотѣла и слышать о разводѣ, увѣряя, что ей и такъ хорошо жить и что она вдовствовать отъ живого мужа не желаетъ. Евстафій встряхнулся и покатилъ провѣтриться за границу и тамъ получилъ утѣшительное извѣстіе, что супруга скончалась.

Воротившись и повидавшись съ сыновьями, онъ сталъ безъ нихъ скучать; а пятеро дѣвочекъ были вдовцу въ тягость, и онъ не зналъ, куда съ ними дѣваться. Этихъ нельзя было везти въ Вѣну, въ универ-

ситетъ, а другихъ средствъ воспитанія Евстафій не зналъ. Въ безпокойствѣ своемъ, онъ думалъ все болѣе и болѣе о сыновьяхъ, строилъ планы о ихъ будущей судьбѣ и воспитаніи, забывалъ при этомъ о дочеряхъ и не могъ дождаться условнаго срока, до котораго оставалось еще два года.

Аглаица, съ своей стороны, получивъ отъ второго мужа достатокъ, была, однакожь, покинута сиротой, съ девятью дѣтьми, безъ совѣтника и наставника, безъ надежнаго помощника для приведенія дѣлъ въ порядокъ и для присмотра за имѣніемъ. Были и тяжбы, въ которыхъ она ровно ничего не понимала, кромѣ того, что ее мучатъ или не даютъ покою и безпрерывно требуютъ съ нея денегъ. Промотавшійся отецъ былъ самымъ ненадежнымъ совѣтникомъ и помощникомъ ея, а между тѣмъ не къ кому болѣе было прибѣгнуть. Можетъ быть, въ это время уже иногда украдкою заставала ее врасплохъ и такая думка, что Евстафій-де, при всѣхъ недостаткахъ своихъ, человѣкъ дѣловой и честный; притомъ же онъ теперь уже давно перебѣсился; да ужь и я теперь не та, что была тринадцать лѣтъ назадъ: мнѣ уже почти тридцать лѣтъ (тридцать два года, подумала она такъ тихо, что и сама этого не слышала), и я ужь не та...

Евстафій заслалъ наконецъ людей къ Аглаицѣ, чтобъ убѣдить ее выдать ему до срока сыновей, чего бы ни стóило. Посланцы воротились съ положительнымъ отказомъ. Аглаица плакала, горячилась, жаловалась на судьбу свою, на сиротство, на одиночество, на безпомощность, но съ дѣтьми разстаться не могла.

— Такъ что жь это будетъ?—вскричалъ нетерпѣливо Евстафій:—не все ли равно, должна же она будетъ разстаться съ ними черезъ два года. Что жь это такое? тогда ужь, помоему, лучше опять соединиться и не дѣлать того, чего и самъ Богъ не велѣлъ дѣлать...

кротка, какъ райская Пери»... Онъ скоро одѣлся и пошелъ.

«Вотъ,» думалъ онъ дорогою, «что значитъ изящество, что неистощимая, неизсякаемая любовь... буду дня три безъ обѣда, и еще Степанъ Иванычъ цѣлую недѣлю коситься будетъ на меня за то, что я сегодня не приду въ департаментъ... и мать моя, бѣдная старушка, упрекать будетъ мнѣ въ письмѣ, что я ей не дослалъ положеннаго; а ей взять не откуда... Но что все это въ сравненіи съ этимъ восхитительнымъ чувствомъ, которое уноситъ меня за предѣлы вещественнаго міра?... А ужь букетъ будетъ; будетъ такой, какой нестыдно бы бросить и графу и князю... и кровныя, послѣднія денежки на это пойдутъ, всякую нужду перенесу, и добрая мать моя перенесетъ... О, это будетъ очистительная жертва!»

«Конечно,» продолжалъ онъ, «она, моя Пери, моя союзная душа и не узнаетъ и во снѣ не увидитъ того, отъ кого будетъ ей это кровное приношеніе, которое освятится въ рукахъ приносителя страстной и чистѣйшею слезой... Прими, о, прими эту безкровную жертву, стоющую кровавыхъ трудовъ и лишеній; прими ее только съ улыбкой, а на меня не смотри, меня не ищи въ толпѣ, ты меня никогда не увидишь, не узнаешь; никогда не услышишь ты, что есть на свѣтѣ Воркуновъ!»

Онъ замѣтилъ, что въ горячкѣ этого бреда распахнулъ плохую шинелишку свою и что нѣжный, декабрскій зефиръ пронизывалъ его тонкой струйкой и игралъ въ сборчатой манишкѣ, какъ въ бѣлой розѣ; завернувшись плотнѣе въ плащъ, Воркуновъ прибавилъ шагу, подумавъ только: «для тебя, моя Пери, все, все перенесу и даже умру съ наслажденіемъ... и никто, никто, ни одна душа въ мірѣ объ этомъ не узнаетъ, и ты спокойно и безмятежно наслаждаться будешь всѣмъ,

чѣмъ благая природа тебя одѣлила, поставивъ выше всѣхъ смертныхъ, какъ одинокая луна стоитъ выше этихъ фонарей... ты никогда не узнаешь моихъ страданій, моихъ жертвъ, моей вѣрности по гробъ; нѣтъ, я отдаю себя за тебя на всесожженіе, я не хочу возмущать твоего покоя»...

Лучшіе цвѣты были выбраны и составили цѣлый снопъ, который садовникъ осторожно завертывалъ въ тройную бумагу, обвязывая бѣлымъ лычкомъ. Воркуновъ распоряжался какъ вдохновенный, какая-то торжественность и величіе въ обращеніи съ садовникомъ, замѣнили обычную робость младшаго помощника столоначальника, и болѣе половины мѣсячнаго жалованья была отдана за снопъ этотъ, съ такимъ же точно чувствомъ, какъ человѣкъ кидается въ воду или въ огонь, жертвуя жизнью для спасенія погибающаго. Но когда садовникъ, у котораго подобные покупатели въ годину букетоманіи были всѣ на-перечетъ, спросилъ незлобно: «а для кого вы это изволите брать?», то у бѣднаго Воркунова дыханье сперлось въ гортани, и онъ, впавъ внезапно опять въ таинственную робость свою и взглянувъ на обношенную одежду, не нашелъ, что отвѣтить: «Тамъ, для одного пріятеля,»—пробормоталъ онъ заикаясь, покраснѣлъ какъ піонъ и поспѣшилъ уйти.

Весь день до вечера употребленъ былъ на уходъ за этими цвѣтами на разборку ихъ, на подборку въ три отдѣльныя связки, въ которыхъ каждому цвѣтку, согласно таинственному объясненію этого языка влюбленныхъ, придано было особое значеніе. Когда все это было готово, смыслъ трехъ букетовъ прочитанъ нѣсколько разъ, то про себя, то вслухъ, со слезой отчаяннаго восторга на глазахъ, тогда три живыя книги эти были поставлены въ рядъ, въ какихъ-то трехъ жалкихъ посудинкахъ чиновничьяго хозяйства на оди-

нокій, ветхій ломберный столикъ, который нарочно для этого торжественнаго случая былъ выдвинутъ на средину комнатки... Затѣмъ, Воркуновъ отправился въ гостиный дворъ и долго искалъ и подбиралъ, по вкусу своему, розовую ленту, только настоящаго розоваго цвѣта, и, наконецъ, купилъ почти кирпичную— до того у него съ непривычки глаза утомились этимъ выборомъ...

Насталъ вечерній часъ, и Воркуновъ снарядился, какъ женихъ. Кудри, духи, бѣлыя перчатки, лучшая манишка и батистовый платокъ—ничего не было забыто; но партикулярной пары у него не было: поневолѣ надѣлъ онъ вещь съ бархатнымъ воротникомъ и гербовыми пуговицами. Цвѣты осторожно уложены были въ корзинку, въ шесть часовъ онъ ужъ сидѣлъ на своемъ мѣстѣ, какъ великій моголъ на престолѣ, и закрытая корзинка стояла подъ креслами, въ ожиданіи своей очереди.

Это былъ бенефисъ той самой Пери, той райской птички, которою бредилъ несчастный Воркуновъ во снѣ и на яву. А чего стоило ему добиться билета на этотъ бенефисъ! Боже мой, къ какимъ пожертвованіямъ способенъ человѣкъ... Цѣлое утро пропало за билетомъ этимъ, и Степану Ивановичу предоставлено было дуться и коситься, сколько ему угодно; другая половина мѣсячнаго жалованья пропала... но билетъ добытъ, и когда онъ положенъ былъ въ карманъ, то сердце отогрѣлось, стало отходить, а потомъ запрыгало и замоталось, какъ малиновка въ вешній денекъ, между кустиками и цвѣточками...

Лишь-только Пери явилась на помостѣ, какъ грохотъ рукоплесканій заглушилъ оркестръ: не успѣла она откланяться на это изступительное привѣтствіе и ступить шагъ, какъ то же повторилось; только что она хотѣла было раскрыть уста свои, какъ третій

такой же взрывъ, клики и крики всѣхъ родовъ и топотъ ногами встрѣтили первый звукъ голоса ея, прежде чѣмъ онъ вылетѣлъ изъ гортани... Такимъ образомъ продолжалось отъ начала и до конца въ теченіе пяти безконечныхъ дѣйствій... Неистовство зрителей возрастало по мѣрѣ восторга, которому не было никакой мѣры. Воркуновъ не зналъ и не помнилъ себя: онъ такъ далеко унесся отъ всякой существенности, что не помнилъ даже въ это время, есть ли на свѣтѣ люди, которымъ принадлежитъ неотъемлемо званіе помощника столоначальника, не говоря ужъ о томъ, что въ этихъ двухъ словахъ подразумѣвалось еще недосказанное, непріятное словечко: *младшій*. Воркуновъ выждалъ свое время, выхватилъ изъ корзинки подъ креслами и пустилъ, какъ изъ мортиры, одинъ снопъ, другой, третій, и достигнувъ, наконецъ, предѣловъ своихъ томительныхъ желаній, болѣзненныхъ порывовъ и страстнаго влеченія, струсилъ безъ мѣры и поспѣшилъ выбраться, подъ-шумокъ, изъ рядовъ креселъ... Тамъ, въ переходахъ онъ перевелъ духъ, прислушивался трепетно къ неистовому реву и вызовамъ; но, услышавъ еще разъ волшебное имя, отъ котораго всѣ жилки и поджилки его приходили въ трепетъ, онъ снова ворвался въ театръ, прокричалъ громогласно завѣтное имя это, которое онъ произнесъ вслухъ, при другихъ людяхъ, едва-ли не впервые въ жизни своей, и, завернувшись въ плащъ, вышелъ и мѣрными шагами отправился домой.

Трудно было найти въ это время человѣка счастливѣе и довольнѣе собой, чѣмъ Воркуновъ; ему казалось, что онъ теперь свершилъ назначеніе свое въ этомъ мірѣ и могъ спокойно умереть. Утомленіе его отъ этого подвига было такъ велико, что, упавъ дома на одинокую, шаткую кровать свою, не зажигая даже и свѣчи, онъ пролежалъ еще часа два или три въ

какомъ-то разслабленномъ болѣзненномъ состояніи, между тѣмъ какъ волненіе крови не давало ему уснуть. Безсознательныя грезы сна сливались съ мечтательными грезами дѣйствительности, полузабытье утомленія—съ безчувствіемъ сна, и въ девять часовъ утра, блаженный Воркуновъ, лежалъ еще полуодѣтый, на своей постели; кроткая улыбка процвѣтала на устахъ его, между тѣмъ какъ одолѣвшій его подъ утро крѣпкій и тяжелый сонъ сковалъ всѣ члены его, какъ насланная спячка.

Нѣсколько повторительныхъ ударовъ въ дверь остались безъ послѣдствій, стукъ повторился сильнѣе,—Воркуновъ ничего не слышитъ. Кто-то отошелъ отъ дверей, вызвалъ дворника, началъ спорить съ нимъ, увѣряя, что Воркунова нѣтъ дома, тогда какъ тотъ утверждалъ, что впустилъ его около полуночи и что постоялецъ послѣ того не выходилъ со двора; оба вмѣстѣ отправились къ дверямъ его; дворникъ принялся стучать по-своему, поосновательнѣе, и Воркуновъ, которому снилось, будто весь театръ надъ нимъ обрушился, вскочилъ въ испугѣ и безпамятствѣ и нѣсколько минутъ не могъ опомниться. Понявъ, наконецъ, въ чемъ дѣло, онъ поспѣшилъ отворить дверь—и предъ нимъ стоялъ помощникъ экзекутора.

Разстроенный видъ чиновника, который ужь три дня не являлся въ департаментъ и стоялъ теперь растрепанный и полуодѣтый, ровно спохмѣлья, и глядѣлъ въ недоумѣніи на незваннаго гостя, между-тѣмъ какъ этотъ столько времени безуспѣшно стучался у дверей,—все это лишило нечаянное свиданіе двухъ короткихъ знакомцевъ всякой пріятности. Сухо освѣдомился одинъ, по приказанію начальства, о причинѣ неприбытія къ должности другого; а другой, такъ же сухо, но съ видимымъ замѣшательствомъ отвѣчалъ: «по приключившейся мнѣ болѣзни». Оба какъ-то не

польно оглянулись въ комнатѣ, и разбросанные, въ безпорядкѣ по окнамъ, столу, стульямъ и полу остатки щегольскаго убранства Воркунова, а также обрѣзки стеблей цвѣточныхъ и листьевъ—все это еще болѣе поразило странностью своею одного и озадачило другого. «Сегодня будете?» спросилъ помощникъ экзекутора.—«Да, буду», отвѣчалъ помощникъ столоначальника, «мнѣ сегодня получше». Первый повернулся и вышелъ, безъ поклона, а подумавъ только: «пьянъ, не пьянъ, а видно только что проспался, или спятилъ съ ума».

«Этотъ подлый народъ», проворчалъ про-себя Воркуновъ, оставшись одинъ, «подлѣйшее племя! Бумагу ѣстъ, перья ѣстъ, чернила ѣстъ, сургучъ ѣстъ, песокъ ѣстъ... а все ему мало; еще-таки и награжденіе получаютъ на ряду съ нашимъ братомъ, голякомъ, изъ остаточныхъ суммъ... А каково нашъ братъ, голякъ, вчера отличился?.. О ты, божество, Пери неземная... райская птичка!...»

Вотъ что было въ декабрѣ, а въ первыхъ числахъ мая, послѣ того какъ ледъ на Невѣ взломало, мутныя канавы прочистились и тусклое солнце только-что стало пригрѣвать аристократическую половину Невскаго проспекта, все это внезапно приняло совсѣмъ иной видъ. Судьба всего прекраснаго—смерть; а судьба смерти—выходить на покосъ, по-крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ повѣсть наша совершилась, весной, между срокомъ вскрытія рѣкъ и одеждой деревьевъ зеленью. И въ это то время внезапно разнеслась молва, что прекрасная Пери, которой подобныхъ и не бывало на нашихъ театральныхъ помостахъ, невозвратимо вянетъ, догораетъ, какъ едва тлѣющійся подъ пепломъ уголекъ.

Страданія бѣднаго Воркунова при этой нежданной вѣсти, которая составляла повсемѣстный предметъ бе-

сѣды каждыхъ двухъ или трехъ человѣкъ, столкнувшихся на улицѣ, страданія его были невыразимы; они тѣмъ болѣе угнетали и подавляли его, что онъ долженъ былъ молчать, подавить все, что въ немъ происходило, ходить скрѣпя сердце, стиснувъ зубы, и развѣ только прислушиваться къ тому, что говорятъ другіе... Въ его положеніи и, сверхъ того, еще при наслѣдственной и благопріобрѣтенной робости, ничего болѣе не оставалось, хотя томленіе это грозило душѣ и тѣлу изнеможеніемъ...

Какой это, бывало, праздникъ для бѣднаго Воркунова, когда онъ только увидитъ имя ея на афишкѣ! Какъ у него бьется при этомъ сердце! Какихъ трудовъ, заботъ и хлопотъ стоило ему иногда добиться билета въ театръ, тогда какъ народъ ломился туда, сбивая съ ногъ другъ друга, притискивая переднихъ счастливцевъ плашмя къ стѣнѣ и не обращая никакого вниманія на мазуриковъ, которые въ это роковое время смѣло очищали карманы! Какихъ лишеній стоилъ каждый билетъ, каждый рубль, который онъ отымалъ отъ насущнаго пропитанія своего и съ восторгомъ относилъ, какъ ленту свою, какъ приношеніе идолу, предъ которымъ благоговѣлъ, въ кассу театра! Съ какимъ боязливымъ ожиданіемъ стаивалъ онъ по цѣлымъ часамъ впотьмахъ, на холоду, въ ненастную погоду, у того подъѣзда, гдѣ она должна была соскочить съ лежачихъ рессоръ и впорхнуть въ храмъ свой... только увидѣть ее мелькомъ, даже только почувствовать неизъяснимымъ чувствомъ близость ея—болѣе онъ не хотѣлъ ничего, а уходилъ послѣ домой и засыпалъ въ блаженныхъ грезахъ, а на другой день смотрѣлъ на всѣхъ товарищей и сослуживцевъ своихъ въ департаментѣ, какъ на жалкихъ человѣкотварей, которымъ не дано дарованнаго ему небомъ блаженства. И никто, никто въ мірѣ не догадывался, не подозрѣвалъ даже

ничего подобнаго въ Воркуновѣ, а всѣ, въ ослѣпленіи своемъ, привыкли считать его просто чудакомъ, который, по крайнему чудачеству своему и безтолочи, иногда стоитъ на границѣ къ малоумію...

Однажды слухъ о какомъ-то великолѣпномъ драгоцѣнномъ алмазномъ ожерельѣ съ изумрудами, поднесенномъ этой Пери, заставилъ Воркунова крѣпко призадуматься. «Что», подумалъ онъ, «кабы я былъ милліонщикъ и пошелъ бы къ первому брильянтщику и выбралъ бы самую дорогую вещь, во сто, въ триста тысячъ, и вынулъ бы деньги изъ кармана, и отсчиталъ бы ихъ ему, и явился бы съ этою вещью... тсъ!.. не говори: страшно! Тогда бы ужь не было тайны, тогда бы всѣ объ этомъ узнали; такой вещи утаить нельзя; тогда бы вся столица съѣхалась смотрѣть на это и спрашивала бы: «отъ кого это? кто это преподнесъ?»—«Губернскій секретарь Воркуновъ.»—«Какой Воркуновъ? гдѣ онъ? что онъ?» Пальцами стали бы тогда указывать... А мнѣ что? пожалуй, тогда указывай; тогда бы, можетъ-статься, и мы бы не тѣмъ голосомъ хрюкали, какъ теперь...»

Подумавъ это, Воркуновъ, какъ стоялъ на ногахъ передъ окномъ своимъ, повернулся къ столику, вынулъ изъ ящика рублей тридцать асигнаціями да около цѣлковаго мелочью, положилъ все это въ карманъ, застегнулся, взялъ шляпу и вышелъ. Пройдя разъ другой по Невскому и заглядывая въ окна, украшенныя звѣздами, поручнями и подвѣсками, онъ, наконецъ, рѣшился и зашелъ въ одинъ изъ первыхъ магазиновъ золотыхъ дѣлъ. Онъ объявилъ, впрочемъ, честно, при самомъ входѣ, что ничего не купитъ и просилъ только позволенія взглянуть на разложенныя вещи. Онъ разсматривалъ ихъ съ такимъ вниманіемъ, какъ очинку пера, изготовляемаго для расписки заглавнаго листка годовому отчету: потому, замѣтимъ, что заглавный

листъ этотъ всегда писался Воркуновымъ, какъ человѣкомъ со вкусомъ и съ сочувствіемъ къ изящному. Онъ былъ очень углубленъ въ созерцаніе разсыпаннаго передъ нимъ, подъ стеклами, богатства, не обращая никакого вниманія на посторонняго человѣка, который хлопоталъ о какомъ-то невзрачномъ колечкѣ, какъ вошедшій въ лавку третій посѣтитель поздоровался съ первымъ и сказалъ: «Слышали? скончалась», и назвалъ именно ту, которую тогда оплакала вся столица... «Неужели?» спросилъ первый, «нѣтъ, я только слышалъ, что она безнадежна». — «Да», продолжалъ тотъ, «скончалась, бѣдная, сегодня утромъ. Какая потеря! Что это было за милое созданье, что за изящное твореньe—и какая художница! Послѣ-завтра, въ полдень, похороны. Я думаю, вся столица будетъ толпиться въ церкви и на Смоленскомъ...»

Воркуновъ остолбенѣлъ и съ трудомъ дошелъ домой. Ночь, проведенная въ безсонницѣ и горячкѣ, освѣтилась для него зарею убѣжденія, что такъ лучше, что этому иначе и быть не должно, что люди недостойны ея и что теперь, теперь только онъ можетъ любить ее безкорыстно, какъ безплотнаго духа, какъ истинную Пери лучшаго міра. Онъ собрался съ силами и пошелъ въ должность, не желая, при этомъ мягкомъ расположеніи души своей, быть виновникомъ косоглазія Степана Ивановича и намѣреваясь очурнуться и увильнуть отъ должности послѣ-завтра въ послѣдній разъ, хотя занятія эти угнетали и томили его до нельзя.

День похоронъ пришелъ и, какъ нарочно, Степанъ Ивановичъ былъ въ этотъ день необыкновенно придирчивъ и все брюзжалъ. Несмотря на истинно отчаянное положеніе свое, смиренный Воркуновъ пришелъ, однакожь, въ должность, съ намѣреніемъ не раздражать

на этотъ разъ никого самовольною отлучкою, а отпроситься честно, по очень нужному дѣлу, около часа, потому-что похороны, какъ онъ узналъ, назначены къ двумъ часамъ. Несмотря на всѣ старанія бѣднаго Воркунова, обстоятельства его сложились такъ дурно, что онъ могъ, наконецъ, и то съ великимъ трудомъ, окончить дѣло свое и отпроситься въ исходѣ второго. Опасеніе опоздать еще болѣе разстроило бѣдняка, и онъ поскакалъ на извозчикѣ во весь духъ къ извѣстной церкви. Издали увидѣлъ онъ уже толпу народа, безконечный поѣздъ каретъ; соскочивъ, спросилъ онъ кого-то: «Что, кончено?» — «Да, ужь отпѣли», отвѣчалъ тотъ; «вотъ, только что тронулся поѣздъ».

Воркуновъ зарыдалъ, закрылъ лицо платкомъ и поспѣшилъ догнать гробъ, за которымъ шло нѣсколько человѣкъ ближнихъ родныхъ покойницы и, между прочимъ, женщина уже въ лѣтахъ, которую вели подъ руки: вѣроятно, мать, о которой доселѣ никто не зналъ и не слышалъ. Воркуновъ былъ истинно въ отчаянномъ положеніи, почти въ какомъ-то исступленіи: все, что столько времени переполняло душу его, что сосредоточивалось въ самой глубинѣ его сердца, пожирая его внутреннимъ, черезъ силу сдержаннымъ, пламенемъ— все это теперь прорвалось наружу. И, скажемъ прямо, каково было расположеніе бѣднаго Воркунова, настроеніе духа его: отдавъ своей Пери-хранительницѣ послѣдній долгъ и память, онъ рѣшился кончить и развязаться съ этимъ ненавистнымъ свѣтомъ, перенестись туда, гдѣ она встрѣтитъ его своею ангельской улыбкой...

«Ненавистенъ холодный, себялюбивый міръ этотъ», думалъ несчастный, идя съ поникшей главой за гробомъ, «безотрадна жизнь моя: Степанъ Иванычъ....» Но онъ старался устранить отъ себя неумѣстную въ

такое время и при такихъ обстоятельствахъ мысль объ этомъ докучливомъ человѣкѣ, окинувъ его мысленно презрительнымъ и сострадательнымъ взоромъ съ высоты своего настоящаго величія. «Никто не подозрѣваетъ, что теперь во мнѣ происходитъ; никто не знаетъ, что здѣсь, за оборванными лепестками этой розы, идетъ не человѣкъ, а только трупъ его, также одни только бренные останки, которые движутся теперь въ послѣдній разъ еще сами собой, сохраняя подобіе человѣческое, но скоро, скоро и этого не будетъ: мгновенія земнаго бытія его сочтены... только одинъ разъ еще взглянуть на нее и проститься; а тамъ— простите, лечу на радостную встрѣчу—душа моя ликуетъ»...

И въ самомъ дѣлѣ, никто изъ ближнихъ, шедшихъ за гробомъ, не зналъ и не подозрѣвалъ не только замысловъ этого человѣка, но даже не зналъ его самого, ни таинственныхъ отношеній его къ покойной. И не до того имъ, признаться, было, во время проводовъ до кладбища, чтобъ заботиться о незнакомомъ, который, повидимому, принималъ такое живое, родственное участіе въ общемъ горѣ ихъ. У насъ смерть уравниваетъ всѣхъ, и гробъ покойника доступенъ всякому одинаково...

На кладбищѣ, въ церкви, бѣдному Воркунову сдѣлалось дурно, дыханіе сперлось, въ глазахъ позеленѣло, въ ушахъ зашумѣло. Онъ цѣлыя сутки былъ на ногахъ, ночью не закрывалъ глазъ, утромъ съ непомѣрнымъ усиліемъ писалъ какія-то, чрезвычайно пошлыя, въ его положеніи, бумажонки, между тѣмъ ненависть къ жизни достигла въ немъ высшей точки своей—близость гроба, въ которомъ были преданы тлѣнію лепестки райской розы его, плачъ родныхъ, торжественность обряда и—скажемъ и то—тощій желудокъ, въ которомъ цѣлыя сутки не было ничего,

кромѣ нѣсколькихъ глотковъ воды—все это вмѣстѣ ослабило плоть, и она временно изнемогла. Пашлись добрые люди, которые и тутъ не покинули чужеземца, а позаботились около него; теперь только стали спрашивать: кто это? Но никто его не зналъ, никто не могъ назвать.

Между тѣмъ, обрядъ продолжался своимъ порядкомъ, и когда Воркуновъ пришелъ въ себя и опомнился, то съ трудомъ протѣснился сквозь толпу, обступившую открытую могилу: только-что хотѣли опускать гробъ и могильщики уже успѣли разсмотрѣть назначенный для этого холстъ и перемигнуться, въ знакъ одобренія его качества, внѣ себя Воркуновъ бросился на гробъ, и умолялъ неотступно дать ему проститься; онъ судорожно обвилъ руки свои вокругъ домовины и готовъ былъ, вмѣстѣ съ нею, броситься въ могилу... Такая привязанность тронула всѣхъ, хотя и никто не зналъ ея источника, и, по ходатайству присутствовавшихъ, гробъ былъ вскрытъ... Воркуновъ бросился внѣ себя, чтобъ въ первый и въ послѣдній разъ въ жизни своей приложиться къ этой драгоцѣнной для него скудели и...

...и напоролся, неосторожно, на шитый, стоячій воротникъ одного очень почтеннаго и заслуженнаго чиновника, за гробомъ котораго онъ шелъ отъ самаго города и до кладбища. Бѣдный Воркуновъ до того былъ пораженъ этимъ неожиданнымъ превращеніемъ, что даже не въ силахъ былъ выказать своего изумленія. Похороны кончились очень спокойно, послѣ того какъ неизвѣстнаго чиновника приподняли подъ руки и отвели въ сторону. Даже друзья и ближніе покойника разсказывали, въ доказательство благородства сердца его, какъ, облагодѣтельствованный имъ, никому неизвѣстный человѣкъ отъ избытка признательности своей едва не закопался, вмѣстѣ

съ гробомъ покойнаго, въ могилу. Воркуновъ, съ своей стороны, нѣсколько дней не могъ опомниться отъ изумленія и былъ до того пораженъ и озадаченъ, что даже позабылъ о рѣшимости своей поднять на себя руку.

# БРАТЕЦЪ И СЕСТРИЦА

— Вотъ, другъ мой, Боринька, дожили мы съ тобой, по милости Божіей, и до этой радости: Наташа будетъ на этой недѣлѣ, вотъ и письмо Анны Матвеевны!

— Ну, слава Богу!—отвѣчалъ зять старушки, который только-что возвратился со службы и, мимоходомъ, отправилъ изъ передней и залы двухъ гонцовъ на кухню, чтобъ скорѣе подавали кушать.—Что же еще пишетъ Анна Матвеевна, или сама Наташа?

— И та пишетъ, и другая. Вотъ, прочитай! Хвалитъ голубицу нашу, другъ мой, вчужѣ радуется нашему счастью. Въ субботу выѣзжаютъ: ты знаешь, Анна Матвеевна, по-старинному, держится легкихъ дней, а, право, ужь нѣтъ дня легче субботы. Вотъ, другъ мой, — продолжала она: — и новыя заботы въ домъ; дочь у тебя заневѣстилась: надо будетъ ее и въ люди показать, надо будетъ и у себя принимать хорошихъ людей. Оберегай ее, какъ отецъ, да втихомолку пріискивай ей ровнюшку... вотъ, напримѣръ, какъ Илья Степанычъ...

— И, матушка,—перебилъ ее зять,—успѣемъ. Что это, еще и въ домѣ невѣсты нѣтъ, а вы жениховъ накликаете.

И, поцѣловавъ руку у старушки, Борисъ Михайловичъ опять оглянулся, услышавъ шаги человѣка въ столовой, и сказалъ:

— А что жь кушать, скоро ли?

— Подано,—отвѣчалъ молодой человѣкъ, войдя въ комнату и поздоровавшись съ хозяевами, назвавъ одного батюшкой, а другую бабушкой и поцѣловалъ у нея руку.

— А, это ты, Никандръ, а вотъ мы въ радости сегодня: Наташа ѣдетъ!

Разговоръ, все о томъ же предметѣ, сдѣлался общимъ, и мирное семейство, состоявшее изъ трехъ членовъ и ожидавшее съ такимъ нетерпѣніемъ четвертаго, пошло къ столу.

Борисъ Михайловичъ, человѣкъ почтенный и уважаемый всѣми въ томъ губернскомъ городѣ, гдѣ они жили, занималъ давно уже одну изъ высшихъ губернскихъ должностей; онъ былъ вдовъ, а Марья Ѳеанасьевна, теща его, осталась при немъ, по старой привычкѣ и изъ любви къ дѣтямъ. Впрочемъ, старушкѣ бы почти и некуда болѣе приткнуться, потому что у нея была однимъ-одна дочь. Борисъ Михайловичъ жилъ одной службой, хотя у старушки и было довольно хорошее имѣнье: она за дочерью не отдала ничего, сказавъ: «коли, дастъ Богъ, переживете меня, то все ваше будетъ; а до того времени я вамъ кланяться не хочу; будемъ жить вмѣстѣ, такъ и мои доходы пойдутъ въ ваше хозяйство, а разъѣздемся врознь, такъ мое, покуда, при мнѣ».

Но они врознь не разъѣзжались, а жили совѣтно и любовно до самой смерти жены Бориса Михайловича, которая скончалась уже лѣтъ десять назадъ. Осталась дочь, Наташа, ребенокъ лѣтъ семи, да сводный братъ ея, Никандръ, сирота, взятый въ домъ по смерти родителей его. Ему было при кончинѣ супруги Бориса

Михайловича лѣтъ пятнадцать; о немъ заботились, какъ о сынѣ; а такъ какъ онъ показывалъ хорошія способности и особенную охоту къ рисованію и черченію, то его и пристроили въ академію художествъ, откуда онъ возвратился черезъ нѣсколько лѣтъ, опредѣлившись губернскимъ архитекторомъ въ тотъ самый городъ, гдѣ жили названные родители его.

Между тѣмъ и Наташа подростала: она была на рукахъ у бабушки, но и Борисъ Михайловичъ не спускалъ съ нея глазъ. Надобно было подумать о такъ называемомъ воспитаніи ея, то-есть о приданіи уму ея свѣтской гибкости, условнаго приличія и общепризнанныхъ за необходимое поверхностныхъ свѣдѣній, а также наружности ея того французскаго лоска, для котораго теперь, можетъ быть, и самое названіе *французскаго* покажется неумѣстнымъ, потому что онъ принятъ всюду, гдѣ общество называется благовоспитаннымъ и образованнымъ. Для этого, послѣ долгихъ разсужденій, отправили, наконецъ, Наташу къ зажиточной теткѣ въ сосѣдній губернскій городъ. У тетки этой было на рукахъ три дочери и для нихъ нарочно была выписана, за дорогую цѣну, петербургская гувернантка; тетка писала объ этомъ Борису Михайловичу и убѣждала довѣрить ей, хотя года на три-четыре, воспитаніе Наташи, которая такимъ образомъ и провела время это и заневѣстилась внѣ отеческаго дома. Бабушка долго не рѣшалась разстаться съ внучкой своей, говоря, что она для нея только и живетъ теперь на свѣтѣ, но Борисъ Михайловичъ, будучи вообще доволенъ простымъ, благоразумнымъ и естественнымъ обращеніемъ бабушки съ внучкой, никакъ не могъ, однакожъ, назвать это *воспитаніемъ* въ томъ смыслѣ, какой придается у насъ этому слову, не находилъ также удобнымъ пополнить недостающее губернскими средствами, а потому и убѣдилъ старушку воспользоваться предложеніемъ тетки,

тѣмъ болѣе, что разстояніе было невелико и что разъ или два въ годъ можно было Наташу навѣщать.

Только что семья наша сѣла было за столъ, какъ загроможденная поклажей коляска вдругъ подкатила къ подъѣзду и всѣ вскочили, узнавъ прокуроршу, которая ѣздила въ сосѣдній губернскій городъ и, по обѣщанію своему, привезла Наташу. Братецъ ея, губернскій архитекторъ, встрѣтилъ ее и обнялъ первый, передалъ съ рукъ на руки отцу, а этотъ бабушкѣ. Прокурорша, объяснивъ случайныя причины этого досрочнаго прибытія, расцѣловала бабушку и, отказавшись даже присѣсть, отправилась въ коляскѣ домой.

Итакъ, Наташа, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ отсутствія, была опять дома. Времени прошло немного, но какъ все въ глазахъ ея измѣнилось! Немудрено: дѣвушка двѣнадцати и шестнадцати лѣтъ это—не одна и та же особа, не одинъ и тотъ же человѣкъ: это разъединившаяся двойчатка, изъ которой одна половина ушла назадъ, въ потемки прошедшаго, и уходитъ все дальше и дальше, а другая выступила впередъ и, опознаваясь исподоволь на новой мѣстности своей, постепенно идетъ смѣлѣе и смѣлѣе впередъ... Кукла болѣе походитъ на младенца, чѣмъ дѣвочка на дѣвицу!

Наташа бѣгло перескакивала мыслями и языкомъ съ одного предмета на другой, съ другого на третій и пятый, — столько ежеминутно раждалось въ ней ясныхъ и неясныхъ воспоминаній, столько было вопросовъ, разпросовъ и развѣдываній, а между тѣмъ рѣдко доставало ей терпѣнія выслушать до конца мѣрный отвѣтъ отца, чинный разсказъ бабушки или подробныя объясненія братца; Наташа кидалась на другое и сама бѣгала изъ покоя въ покой, по всему дому, желая навѣстить каждый знакомый уголъ: и шкапъ съ перильцами наверху и съ мѣдными шарами по угламъ, и тагильскій большой сундукъ, синій съ алыми цвѣтами,

окованный желѣзомъ, и горку въ углу, съ фарфоровыми сборными чашками, подарками отцу, покойной матери и бабушкѣ въ дни именинъ и рожденій—все это были старинные знакомые и пріятели Наташи, надъ которыми она готова была отъ радости и плакать, и смѣяться. Домъ Бориса Михайловича ожилъ и просвѣтлѣлъ съ того мгновенія, какъ Наташа въ него вступила.

Взрослый ребенокъ этотъ, какъ было уже однажды сказано о другомъ, подобномъ ему существѣ, соединялъ въ себѣ, такъ сказать, обѣ природы родителей своихъ, представляя олицетвореніе этого союза. Хотя Наташѣ и былъ всего только семнадцатый годъ и она даже, по живости своей, казалась еще моложе, не менѣе того во всемъ существѣ ея проявлялась какая-то страстная преданность — основаніе женственности, и въ то же время независимая сила и самостоятельность отца. Эту смѣсь силы и кротости, принужденіе и насиліе не могли себѣ подчинить; они только возмущали дѣвственную душу, поселяя въ ней одно исключительное чувство—негодованіе; но зато разумное убѣжденіе, а еще болѣе простая, убѣдительная просьба порабощали ее безусловно. Такимъ образомъ слабость ея заключалась именно въ этой безсознательной силѣ, которая легко и безусловно покорялась кротости и ласкѣ, будучи затѣмъ готова на безусловное самопожертвованіе, чтобъ только отмолить вынужденный природою вещей проступокъ. Стоило только выказать какой-либо доблестный поступокъ или заставить Наташу быть вольнымъ или невольнымъ поводомъ какого-либо оскорбленія, и герой ея, или притѣсненный, получали, такъ сказать, надъ нею полную власть: уваженіе, раскаяніе и состраданіе одинаково овладѣвали благородною преданностью ея и подчиняли ее постороннему вліянію.

Все выказывало въ ней природу, которая чувствовала силу и свѣжесть свою, не зная ни гордости, ни тщеславія. Обиліе жизненности вещественной и духовной сдерживалось ею только съ трудомъ въ предѣлахъ условнаго приличія, и даже глаза ея были лучисты; но эта могучесть жизни, будто сама передъ собою краснѣя, облекалась ласкою, нѣгою и кротостью. Если изъ груди ея вырывалось повременамъ звучное междометіе, или она сама себя ловила съ поличнымъ, опомнившись при какомъ-нибудь быстромъ, рѣшительномъ движеніи, то она вдругъ останавливалась, какъ тронутая волшебнымъ жезломъ, и не знала, куда дѣваться съ кипучею молодостью. Эта мнительность и осторожность, тщательно подавлявшая на каждомъ шагу упрямую природу, обозначалась какою-то кипучею воздержностью и дѣятельнымъ покоемъ, довольно любопытными для наблюдателя.

Бабушка была ласкова къ Наташѣ, не понукала и не запинала ее на каждомъ шагу, а присматривалась и прислушивалась къ ней, чтобъ сперва ознакомиться съ нею послѣ долгой разлуки и вполнѣ понять ее и изучить. Но забота о томъ, чтобъ хорошенько пристроить Наташу, не выходила изъ думки Маріи Евпасьевны, и она въ тотъ же вечеръ и опять на другой день, оставшись одна съ зятемъ, проговорила:

— Да́, Боринька, вотъ и новыя заботы: надо подумать о дочери; надо хорошаго человѣка пріискать, чтобъ былъ ей ровня...

— И, матушка!—отвѣчалъ опять Борисъ Михайловичъ:—каждому дню свое: Богъ позаботится обо всѣхъ. Придетъ время, тогда принадумаемся. Когда рожь, тогда и мѣра.

Но бабушкѣ поговорка ея вошла въ привычку, и дня не проходило, чтобъ старушка не проговаривалась. Она перебирала про себя всѣхъ жениховъ, ка-

кихъ только знала въ губерніи, и съ глубокимъ вздохомъ качала головой: «все не то!» Ей нуженъ былъ напередъ всего нравственно-безукоризненный человѣкъ—такъ высоко цѣнила она достоинства внучки своей, а затѣмъ она также требовала отъ него порядочную родословную, хорошее состояніе, уваженное положеніе въ свѣтѣ или въ обществѣ; само-собою разумѣется, что наружность и лѣта должны были всему этому отвѣчать. Словомъ, трудно было по этой статьѣ на бабушку угодить: не знаю, такъ ли причудлива будетъ со временемъ внучка.

Дни шли за днями и между братцомъ и сестрицей, губернскимъ архитекторомъ и Наташей то-есть, не было замѣтно никакой особенно тѣсной дружбы; не видавшись нѣсколько лѣтъ, они какъ-будто чуждались нѣсколько другъ друга, потому именно, какъ я уже сказалъ, что дѣвочка и дѣвица вовсе не одно и то же лицо: первой нельзя болѣе узнать во второй и старый другъ и товарищъ дѣвочки стоитъ передъ дѣвицей невольно растерявшись и не находя ладу и мѣры для словъ своихъ и обращенія съ нею. Впрочемъ, какъ братецъ и сестрица, они стали мало-по-малу опять свыкаться.

Но судьба или случай вдругъ, внезапно, измѣнили отношенія эти. Раза два-три уже случалось, что Наташа, по быстротѣ и опрометчивости перваго движенія своего, несправедливо обвинила было своего братца въ какомъ-либо словѣ или иномъ дѣйствіи, и вслѣдъ затѣмъ сильно сама передъ собой была пристыжена. Въ такой душѣ, какъ была Наташа, это сознаніе погрѣшимости своей и превосходства въ другомъ существѣ необходимо должно было произвести нѣкоторый переворотъ, и именно добровольное подчиненіе себя тому, кому не могла отказать въ уваженіи. Къ этому присоединилось еще другое обстоятельство; при постройкѣ Никан-

ромъ Петровичемъ собора, беззаботливость одного изъ подрядчиковъ и авосьничанье рабочихъ во время двухдневнаго отсутствія строителя по дѣламъ въ уѣздномъ городѣ—были причиной бѣдственнаго случая, который былъ отвращенъ одною только рѣшимостью, отвагою и присутствіемъ духа самого архитектора, который спасъ этимъ жизнь двухъ человѣкъ, обреченныхъ уже на гибель. Часть лѣсовъ внезапно обрушилась въ то самое время, когда Никандръ Петровичъ, воротившись изъ поѣздки, навѣстилъ работы; при этомъ двухъ человѣкъ на верхнихъ лѣсахъ ушибло и прижало такъ, что они не могли высвободиться. На мѣстѣ было немного рабочихъ, да и тѣ, испугавшись и потерявшись, не рѣшались ни на что, и погибающіе уже лишились чувствъ или, по крайней-мѣрѣ, голоса: они замолкли и предались своей участи Страшно было смотрѣть на нихъ снизу, какъ они висѣли на обнаженныхъ вокругъ лѣсахъ, на высотѣ нѣсколькихъ десятковъ саженъ отъ земли, а между тѣмъ къ нимъ не было никакого доступа: лѣстницы и сходни всѣ обрушились. Каждое мгновеніе было дорого. Никандръ Петровичъ бросился къ зданію, вызывая другихъ за собою, и, сунувъ въ карманъ одинъ только пучокъ нитокъ, съ опасностью жизни, счастливо одолѣвъ всѣ препятствія, взобрался изнутри на сводъ собора, а оттуда, по остаткамъ обрушившихся лѣсовъ, ловко доползъ до мѣста гибели двухъ рабочихъ. Удостовѣрившись здѣсь въ томъ, что голыми руками пособить невозможно, онъ, сидя верхомъ на бревешкѣ, спустилъ бичевку свою внизъ и закричалъ, чтобъ проворнѣе привязали къ ней пилу и конецъ веревки, которую надвязывали, по распоряженію его, по мѣрѣ того какъ онъ ее подымалъ и она приходила къ концу. Перепиливъ съ большою осторожностью брусъ, который прижалъ двухъ несчастныхъ каменщиковъ, одного за руку, а другаго поперекъ всего

тѣла, Никандръ Петровичъ, съ помощью еще одного каменьщика, который наконецъ рѣшился послѣдовать его примѣру, спустилъ бѣдствующихъ, одного за другимъ, благополучно, на-земь помощью взятой имъ снизу веревки.

Въ продолженіе этого времени вокругъ собора на шумъ и крикъ собралось множество народа; а какъ присутственныя мѣста были на той же площади, то можно сказать, что весь городъ, а въ томъ числѣ и Борисъ Михайловичъ, были свидѣтелями происшествія. Оно надѣлало много шума; не могли надивиться и нарадоваться отвагѣ и рѣшимости архитектора; и если случай этотъ увеличилъ всеобщее къ нему уваженіе, то онъ стоялъ съ этого дня передъ сестрицею, какъ баснословный герой, какъ полубогъ. Всѣ чувства ея покорились ему, и когда, на другой день, семья одного изъ спасенныхъ имъ рабочихъ, не удовольствовавшись благодарностью, изъявленною лично Никандру Петровичу, пришла еще на домъ къ нему, когда его тамъ не было, и упала въ ноги передъ бабушкой и передъ барышней, обнимая колѣни ея, то она не взвидѣла подъ собою земли отъ радости и чувства гордости—не за себя, а за своего братца.

Вскорѣ послѣ этого событія Марья Аѳанасьевна, сидя вечеромъ одна съ зятемъ, опять начала вздыхать и приговаривать, что пора подумать объ устройствѣ участи Наташи, но на этотъ разъ сказала это не совсѣмъ въ общихъ словахъ, не на вѣтеръ, а перешла къ намекамъ болѣе положительнымъ, спросивъ зятя, какого онъ мнѣнія, напримѣръ, о томъ человѣкѣ, у котораго есть имѣніе, называемое Верхніе-Сушняки?

Борисъ Михайловичъ, не обративъ сначала большого вниманія на обычныя слова тёщи, вдругъ поднялъ голову, взглянулъ на нее во всѣ глаза и спросилъ прямо:

— Какъ, развѣ онъ сватается?

— Нѣтъ, не совсѣмъ, или можетъ-быть, отвѣчала та:—но я все-таки желала бы знать заблаговременно мысли твои, Боринька, объ этомъ человѣкѣ,—и затѣмъ пустилась расхваливать его.

Зять долго слушалъ молча, потомъ сказалъ:

— Матушка, мое мнѣніе вотъ какое: вы все заботитесь о женихѣ, ищете его за тридевять земель, а передъ собою его не видите. Я думаю, если намъ не вмѣшиваться, а предоставить дѣло судьбѣ и тѣмъ, до кого оно всего ближе касается, то оно и сдѣлается безъ насъ, сдѣлается недурно.

Марья Аѳанасьевна, въ свою очередь, выпрямилась въ креслѣ своемъ и съ крайнимъ изумленіемъ смотрѣла на зятя: она не хотѣла, не смѣла понять его

— Что это значитъ, о комъ вы это говорите? я васъ не понимаю.

— А я истинно не понимаю, матушка, отчего слова мои ставятъ васъ въ такое недоумѣніе. Взгляните на молодыхъ нашихъ: я думаю, что они будутъ просить не старанія нашего, чтобъ ихъ сблизить, а одного только благословенія.

Но бабушка долго еще не могла утѣшиться и успокоиться; она ставила сотни причинъ, почему объ этомъ союзѣ и думать нельзя было, оканчивая, впрочемъ, каждое возраженіе свое тою же поговоркой: «да притомъ же, помилуй, она ему сестра!» Борисъ Михайловичъ не спорилъ ни противъ того, что Никандръ сирота, безъ роду безъ племени, что отецъ его не былъ даже записанъ въ родословную, не только въ шестую книгу, какъ этого требовала Марья Аѳанасьевна, что Никандръ былъ бѣднякъ, живущій однимъ жалованьемъ съ небольшимъ только пособіемъ отъ незначительныхъ частныхъ построекъ, что Наташа можетъ и должна составить не такую партію, и пр. Противъ всего этого

Борисъ Михайловичъ не возражалъ ни слова, считая это до времени излишнимъ, а покончилъ тѣмъ же, чѣмъ началъ, то-есть, просилъ бабушку не торопиться и не затѣвать отъ себя никакихъ переговоровъ по этимъ дѣламъ. Борисъ Михайловичъ поступилъ такъ не только потому, что будущее насущное благословеніе Наташи зависѣло отъ бабушки ея, владѣтельницы порядочнаго имѣнія, но и потому, что такое поведеніе было вообще согласно съ ровнымъ, разсудительнымъ нравомъ его, и что онъ очень уважалъ бабушку, занимавшую уже столько лѣтъ въ домѣ мѣсто полной хозяйки.

Не знаю, замѣтили-ль отецъ или бабушка какую-нибудь перемѣну въ молодыхъ людяхъ въ тотъ же вечеръ, но на другой день, къ сожалѣнію, это было уже слишкомъ замѣтно, и непріятная перемѣна эта усиливалась со дня на день и дѣлалась для отца и, въ особенности, для бабушки, невыносимою. Никандръ былъ либо въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи, либо сидѣлъ молча въ темномъ углу и просыпался, какъ со сна, когда съ нимъ заговаривали; онъ сталъ наконецъ явно бѣгать изъ дома, подъ предлогомъ дѣлъ и занятій. Наташа измѣнилась еще замѣтнѣе: куда дѣвалась торопливость ея, прежняя опрометчивость и скорохватность, куда это дѣтское простодушіе и независимость, свобода пріемовъ? Она сдѣлалась робка, пуглива, будто безпрестанно держала уши на макушкѣ и въ то же время—какое противорѣчіе!—во всѣхъ пріемахъ, въ обращеніи и рѣчи ея появилась какая-то плавность, степенность и обдуманная осторожность.

Перемѣна эта, какъ легко понять, была слѣдствіемъ дошедшихъ до молодыхъ нашихъ объясненій бабушки и отца. Горничная, лакомая до подобныхъ разговоровъ, незамѣтно подслушала все и сочла обязанностью передать слышанное любимой барышнѣ своей. Наташа, конечно, остановила бы ее и не стала бы слушать отъ горнич-

ной подобныхъ вещей, но у бѣдняжки захватило духъ съ первыхъ словъ разсказчицы, и она, подъ вліяніемъ новой для нея мысли, поразившей ее, какъ изъ тучи громъ, молча дослушала все, едва переводя духъ, и даже не отвѣчала ни слова, когда Палаша въ третій разъ уже окончила разсказъ свой и готовилась начать его въ четвертый. Къ сожалѣнію, все это было также предметомъ разговора въ людской, въ застольной, и человѣкъ, раздѣвая вечеромъ Никандра, затянулъ было, съ оглядкой и осторожностью, ту же пѣсню. Никандръ Петровичъ остановилъ его тотчасъ, заговорилъ о другомъ и отправилъ, но долго онъ не могъ сомкнуть глазъ и, не зная, что̀ именно было сказано и по какому поводу, рѣшилъ наконецъ, въ крайнемъ безпокойствѣ своемъ, заглянуть въ комнату Бориса Михайловича и переговорить съ нимъ, о чемъ онъ доселѣ еще и не думалъ. Борисъ Михайловичъ не спалъ еще, удивился появленію Никандра, но выслушалъ его спокойно и отвѣчалъ:

— До времени, любезный Никандръ, совѣтую тебѣ отложить вовсе мысль объ этомъ. Есть много причинъ, которыя затруднятъ это и, между прочимъ, вы братъ и сестра. Прими совѣтъ мой къ сердцу, позабудь объ этомъ думать.

Три дня затѣмъ, Борисъ Михайловичъ, глядя на дѣтей, молчалъ; Марья Аѳанасьевна терпѣла долго, наконецъ съ негодованіемъ и безпокойствомъ спросила.

— Такъ что̀ жъ это такое будетъ?

— Не знаю, матушка,—отвѣчалъ Борисъ Михайловичъ:—вамъ лучше знать это. Я знаю только, что Никандръ просится въ переводъ въ какой-нибудь другой губернскій городъ.

— Какъ, что̀ это значитъ?

— А развѣ вы хотите требовать, чтобъ здѣсь, при этихъ обстоятельствахъ, онъ подвергался ежеминутной

пыткѣ, чтобъ онъ то-и-дѣло казнился, глядя на... да хоть бы на всѣхъ насъ? Его держать нельзя, пусть съ Богомъ ѣдетъ.

Бабушка вздохнула и промолчала; черезъ нѣсколько дней однакожь, у нея опять лопнуло терпѣніе, и она выбрала время, чтобъ поговорить съ Наташей. Но Наташа молчала; съ трудомъ только бабушка могла заставить ее вымолвить словечко; молчала, кротко и покорно, но съ этого часа еще болѣе повѣсила головку и на слѣдующій день, безъ всякаго упрямства, но по нездоровью, не могла выйти къ обѣду.

Бабушку взяла тоска не на шутку. Никандръ уѣхалъ, напросившись на командировку, и ожидалъ перевода въ другую губернію. Это смущало бабушку въ высшей степени; она привыкла къ нему и не хотѣла-бы съ нимъ разстаться. Наташа не была похожа на себя; самъ Борисъ Михайловичъ сдѣлался малословнымъ и скучалъ. Марья Аѳанасьевна пришла вечеромъ въ покой зятя, притворила двери и залилась слезами: жизнь ей опостылѣла, въ своемъ же домѣ да и житья нѣтъ — она для дѣтей живетъ и должна видѣть несчастіе дѣтей и прочее.

— Да въ чемъ же дѣло? — спросилъ, наконецъ, Борисъ Михайловичъ:—я не разъ уже выслушалъ всѣ ваши причины и доводы и, виноватъ, не понимаю ихъ. Какъ постелешь, бабушка, такъ и выспишься...

— Такъ ты думаешь, Боринька, что можно?

— Я думаю даже, что должно.

— Боже мой! куда же дѣвались всѣ заботы мои, всѣ золотые сны... я чаяла богатаго, чаяла родословнаго, чаяла знатнаго...

— А я чаялъ добраго, благороднаго, молодого, здороваго, умнаго, работящаго...

Бабушка вздохнула, прочитала про себя короткую молитву, перекрестилась и опять спросила:

— Такъ что́ жь, Боринька, съ Богомъ, что-ли? и весело улыбалась сквозь слёзы.

— Я думаю, съ Богомъ,—отвѣчалъ Борисъ Михайловичъ. Бабушка обняла его и вышла, сказавъ:

— Ну, ужь коли такъ, то молчи: я улажу это дѣло.

Борисъ Михайловичъ отъ души поцѣловалъ старушку и охотно предоставилъ ей удовольствіе улаживать то, что давно само собой уладилось

Бабушка пришла въ свой покой, поставила на столикъ чернильницу съ перомъ, положила бумагу и послала за Наташей.

— Ну, сударыня моя, — начала она улыбаясь: — да что жь о будетъ у насъ? что вы тамъ надѣлали, кайтесь!—Наташа молчала, глядя во всѣ глаза, нѣкогда лучистые, а теперь туманные, съ поволокою.

— Куда,—продолжала бабушка:—куда и зачѣмъ ты у меня сына-то загнала, зачѣмъ онъ уѣхалъ?

Никогда еще Наташа не была въ такомъ странномъ положеніи и рѣшительно не знала, что отвѣчать.

— Садись, сударыня моя, садись же, мать моя, вотъ тебѣ перо и бумага; садись и пиши ему, пиши что и какъ знаешь, да чтобъ онъ пріѣхалъ; коли любитъ тебя, пусть пріѣзжаетъ, я васъ благословлю, и отецъ благословитъ. А сама зарыдала.

Наташа, какъ стояла передъ бабушкой, бросилась къ ногамъ ея и обняла ея колѣни. Она нѣсколько разъ всхлипывала, но когда подняла голову и смотрѣла бабушкѣ въ лицо, то глаза ея были уже сухи и опять попрежнему лучисты, а на лицѣ не было и слѣда слезъ; бабушка также вскорѣ оправилась, поцѣловала внучку, но приняла опять нѣсколько важный и степенный видъ и требовала настоятельно, чтобъ Наташа тотчасъ же писала. Нѣсколько секундъ, не болѣе того, Наташа не могла опомниться и собраться съ мыслями: положе-

ніе ея было слишкомъ странно и непривычно; но когда бабушка повторила въ третій разъ все одно и то же и, сказавъ: «пиши, матушка, пиши», указывала повелительно на бумагу, то Наташа вдругъ кинулась къ столу, схватила перо и, не призадумавшись ни на одно мгновеніе, написала:

«Любезный братецъ! не удивляй$\frac{\text{ся,}}{\text{тесь}}$ что я $\frac{\text{тебѣ}}{\text{вамъ}}$ пишу.

«Бабушка посадила меня и строго приказываетъ: «пиши!» И чтожь писать.... Пиши: пусть онъ скорѣе «пріѣзжаетъ, я васъ благословлю, и отецъ благосло- «витъ....»

Бабушка съ нѣкоторымъ изумленіемъ пробѣжала записку; она не ожидала такой сговорчивости отъ секретарши своей и такой быстрой исполнительности: бабушкѣ было очень любопытно увидѣть, какъ то она вывернется изъ этого положенія, что то она ему напишетъ—а тутъ никакихъ затрудненій не оказалось и дѣло было кончено, какъ нельзя яснѣе и короче, въ четырехъ строкахъ....

Я проѣзжалъ этотъ городъ; соборъ и новыя присутственныя мѣста, несмотря на малый просторъ, предоставленный при постройкѣ зодчему, выстроены съ большимъ вкусомъ. Но лучшій домъ въ городѣ, небольшой и вовсе не великолѣпный—это домъ архитектора, Никандра Петровича, о которомъ говорятъ, что онъ завидно хорошо живетъ съ молоденькою женою.... Живите, любовь вамъ и совѣтъ!

# МНИМООУМЕРШІЕ

Зашла рѣчь въ бесѣдѣ о мнимоумершихъ, о зарытыхъ живьемъ, каждый изъ собесѣдниковъ зналъ нѣсколько подобныхъ случаевъ, съ большими подробностями, зналъ навѣрное, что все это точно такъ было. но на повѣрку выходило, что все это было Богъвѣсть гдѣ начитано и наслышано, а изъ семи человѣкъ собесѣдниковъ ни одинъ не могъ подкрѣпить подобнаго случая своимъ личнымъ свидѣтельствомъ, ни одинъ всѣхъ этихъ страстей самъ не видалъ. «А вы же что молчите?» спросили восьмого; «не случилось ли вамъ быть на дѣлѣ свидѣтелемъ чего-нибудь подобнаго?» — «Случалось», отвѣчалъ тотъ спокойно. Всѣ обратились съ мѣстъ своихъ къ нему, уставили на него глаза, и вопросы: «какъ? гдѣ? когда?» посыпались со всѣхъ сторонъ. — «Мнѣ два раза случилось быть при подобной — какъ бы это сказать — исторіи, что ли», отвѣчалъ врачъ, «но обѣ окончились, каждая въ своемъ родѣ, довольно спокойно и безъ большихъ страстей; такъ, можетъ быть, и не стоитъ того разсказывать. Вы, кажется, сегодня пустились въ погоню за сильными ощущеніями.» — «Нѣтъ, докторъ, разсказывайте, пожалуйста, разскажите!»

«Извольте. Мы были, при самомъ окончаніи турецкой войны и во время довольно продолжительныхъ переговоровъ о мирѣ, въ Адріанополѣ. Огромная казарма, выстроенная за городомъ четыреугольникомъ, о двухъ ярусахъ, съ широкими навѣсами кругомъ на дворъ, занята была подъ госпиталь. Зданіе было такъ велико, что въ немъ помѣщалось подъ конецъ десять тысячъ больныхъ. Но какъ они помѣщались и въ какомъ положеніи находились—это другой вопросъ. Начальство наше дѣлало все, что могло, для улучшенія этого помѣщенія; но какъ вы улучшите нѣсколько сотъ палатъ, съ кирпичными полами, безъ кроватей, разумѣется, и безъ наръ, и притомъ съ красивенькими деревянными рѣшетками, вмѣсто стекляныхъ оконъ? Дѣло походное, земля, въ которой, при тогдашнихъ обстоятельствахъ, и соломки-то почти нельзя было достать, а ноябрь пришелъ въ свое время и рѣшетчатые, пустые переплеты оконъ плохо утѣшали больныхъ.

«Сперва принялась душить насъ перемежающая лихорадка, за нею по пятамъ понеслись подручники ея, — изнурительныя болѣзни и водянки; не дождавшись еще и чумы, половина врачей вымерла; фельдшеровъ не стало вовсе, то есть при нѣсколькихъ тысячахъ больныхъ не было буквально ни одного; аптекарь одинъ на весь госпиталь. Когда бы можно было накормить каждый день больныхъ досыта горячимъ да подать имъ въ волю воды напиться, то мы бы перекрестились. Между тѣмъ снѣжокъ порошилъ въ окна и вѣтерокъ подувалъ.

«При такомъ огромномъ числѣ больныхъ, которые сверхъ того, еще находились въ положеніи несовсѣмъ выгодномъ для здоровья, разумѣется, было не безъ смертности.. Вы знаете, что такое мертвая камера; это отдѣльный покой, въ который относятъ до вре-

мени покойниковъ. Въ адріанопольскомъ госпиталѣ, гдѣ всѣ безъ изъятія палаты обращены были дверьми подъ общій навѣсъ и всѣ были одинаковыхъ размѣровъ, мертвая камера тѣмъ только отличалась отъ прочихъ живыхъ палатъ, что въ ней лежали мертвые, а въ другихъ живые; по наружности никакихъ особенныхъ примѣтъ не было и она, какъ келья, шла сподрядъ съ прочими.

«Однажды, вечеромъ, приходитъ въ госпиталь нашъ посланный отъ начальства строгій ревизоръ или инспекторъ, что ли, только не изъ врачей, а по другой части; но больныхъ допрашивалъ онъ именно по врачебной части, то есть, получаютъ ли они черезъ часъ по ложкѣ. Я объяснилъ уже, въ какомъ положеніи мы находились, а потому и предоставляю судить вамъ, господа, о неудовольствіи ревизора на отрицательные отвѣты. Насчетъ пищи и питья утѣшалъ онъ больныхъ по сущей справедливости тѣмъ, что въ полѣ и жукъ мясо, что въ военное время въ непріятельской землѣ по-неволѣ приходится иногда терпѣть; но насчетъ лѣкарства онъ былъ другого мнѣнія и не могъ надивиться беззаботности нашей и непростительному небреженію. Этотъ открытый имъ безпорядокъ долженъ былъ привести его въ крайнее негодованіе, въ самое дурное расположеніе, и угрозы его на насъ грѣшныхъ возрастали постепенно, по мѣрѣ перехода изъ одной палаты въ другую, по холодному, темному и мокрому навѣсу: а палатъ было гораздо за сотню, такъ было надъ чѣмъ и сердцу порасходиться.

«Инспекторъ вступилъ въ госпиталь одинъ, тихомолкомъ, не желая, вѣроятно, дѣлать напрасной тревоги, и какъ ворота на широкій дворъ и подъ навѣсы никогда не запирались. Фельдшеровъ не было, а дежурный врачъ, сидѣвшій въ первой комнатѣ направо

отъ воротъ, ничего не зналъ о прибытіи грознаго инспектора, который повернулъ налѣво и пошелъ кругомъ этимъ порядкомъ, то онъ и продолжалъ обходъ свой одинъ, и самое это обстоятельство приписывалъ также безпорядку.

«Обойдя нѣсколько десятковъ палатъ, инспекторъ растворилъ поочереди двери въ слѣдующую палату, поздоровался съ больными—отвѣта нѣтъ. Спрашиваетъ: «получаете ли лѣкарство?» Молчатъ. «Не можетъ быть, чтобъ тутъ лежали нѣмые», подумалъ инспекторъ, который впотьмахъ едва только могъ отличать на полу лежащихъ въ два ряда по стѣнамъ больныхъ, «видно, тутъ трудные — тѣмъ болѣе надобно допытаться, заботится ли этотъ безсовѣстный народъ, доктора наши, хотя по-крайней-мѣрѣ объ этихъ больныхъ и получаютъ ли они черезъ часъ по ложкѣ».... Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, услышалъ вздохъ или стонъ, затѣмъ шелестъ по соломѣ, шаги, и кто-то въ полупотьмахъ съ нимъ столкнулся. «Кто это?» Жалкое, сиплое «я» было едва внятно произнесено въ отвѣтъ, и кто-то, протѣснившись подлѣ инспектора, по дорожкѣ въ срединѣ, между встрѣчными ногами двухъ рядовъ больныхъ, вышелъ въ двери и исчезъ подъ навѣсомъ. Посторонившись отъ этого встрѣчнаго, инспекторъ невольно толкнулъ ногой одного изъ больныхъ и удивился твердой вытяжкѣ его: онъ лежалъ, какъ исправные солдаты стоятъ во фронтѣ. Ревизоръ нагнулся, пощупалъ рукой — и отскочилъ; но наткнулся по другую сторону на другого, такого же фронтоваго. Тогда онъ выбѣжалъ изъ палаты и поднялъ тревогу. Коммисаръ и нѣсколько врачей мало-по-малу сбѣжались съ разныхъ сторонъ; принесли фонарей. Инспекторъ былъ, какъ само собою разумѣется, просто взбѣшенъ; а какъ въ подобномъ состояніи не всегда знаешь и помнишь, что говоришь,

то и тутъ, съ крикомъ и шумомъ, было высказано очень много. Мы стояли, разинувъ рты, и ровно ничего не понимали. Долго длилось это громкое негодованіе съ одной стороны и молчаніе изумленія съ другой, покуда, наконецъ, объяснилось, что ревизоръ, между прочими непростительными безпорядками, нашелъ и неслыханную законопротивность: онъ наткнулся на двухъ покойниковъ, въ палатѣ трудно-больныхъ. Каждый изъ насъ подумалъ: «быть можетъ, жизнь наша въ рукѣ Божьей; умри и теперь кто-нибудь изъ насъ на мѣстѣ, какъ стоимъ, то случится то же: будетъ одинъ покойникъ между нѣсколькими живыми. Мы поспѣшили вслѣдъ за негодующимъ, который отправился теперь, въ сопровожденіи нашемъ и двухъ фонарей, въ роковую палату, и тутъ только увидѣли и объяснили инспектору, что это была не палата, а мертвая камера; въ самомъ дѣлѣ, онъ могъ удостовѣриться при свѣтѣ огня, что два фронта эти, направо и налѣво отъ дверей, вдоль стѣнъ, болѣе не встанутъ и командnаго слова не услышатъ до роковой трубы, и отвѣта никакого не дадутъ до вторичнаго пришествія...

— Такъ это еще хуже того!—закричалъ ревизоръ, когда онъ самъ, въ свою очередь, опомнился отъ изумленія. — Я думалъ, что вы только не убираете вовремя покойниковъ, покидая ихъ между живыми; а вы, вмѣсто того, укладываете живыхъ вмѣстѣ съ мертвыми и, стало-быть, вмѣстѣ же ихъ и хороните? такъ?

Опять пришла наша очередь недоумѣвать, и мы послушно стояли въ недоумѣніи, ожидая какой-нибудь развязки.

— Да, — продолжалъ инспекторъ: — войдя въ эту палату, или, какъ я теперь вижу, въ мертвую камеру, я встрѣтилъ живого человѣка; онъ поднялся вотъ съ

этого мѣста, всталъ, простоналъ, закашлялъ, отвѣчалъ мнѣ на вопросъ мой, что это *онъ*, вышелъ въ дверь и исчезъ; стало-быть вы, разбойники, положили сюда живого человѣка—а?

Теперь мы поняли, наконецъ, въ чемъ дѣло, но не менѣе прежняго затруднялись въ отвѣтѣ. Сказать, что этого-де быть не можетъ, значило бы крѣпко разсердить и безъ того уже не милостиваго ревизора, да притомъ каждый изъ насъ долженъ былъ по совѣсти сознаться, что это дѣло сбыточное. Что дѣлать! бывали и не такіе примѣры, а здѣсь, при объясненныхъ мною данныхъ и обстоятельствахъ, ничего нѣтъ мудренаго въ подобной ошибкѣ. Одно только было сомнительно: если хворый, который уже истощенъ до такой степени, какъ были всѣ наши больные, обомретъ, то едва ли очнется на кирпичномъ полу безъ подстилки, какъ лежали покойники, при нѣсколькихъ градусахъ мороза и безъ всякой покрышки. Но спорить было нечего; приходилось молчать, и мы молчали. Пущеніе съ угрозами продолжалось, постепенно возрастая, какъ буря, которая начинаетъ маленькою погудкой, а оканчиваетъ большою. Все шло своимъ порядкомъ, какъ вдругъ единый отъ весьма немногихъ служителей госпитальныхъ, страшный запка, тащитъ въ мертвую камеру за воротъ какое-то жалкое, тщедушное, елелышащее существо, а самъ мычитъ и шипитъ и щелкаетъ языкомъ и, вдобавокъ, еще вертитъ головой. На этотъ разъ послѣдовало уже всеобщее изумленіе, поддерживаемое напряженнымъ любопытствомъ. Никто не понималъ еще, что изъ этого выйдетъ, а служитель, на бѣду, все еще щелкалъ и присвистывалъ и не могъ произнести ни слова, тогда какъ приведенный имъ больной пропищалъ въ безсиліи что-то, на повторенные со всѣхъ сторонъ вопросы, и мы все-таки не понимали, что изъ этого выйдетъ.

— Пой, пой, закричали мы служителю-заикѣ, потому что онъ, запнувшись однажды до такой степени, могъ поправиться однимъ только способомъ: если ему дозволить пѣть; въ пѣсняхъ онъ не заикался и произносилъ слова медленно, врастяжку, но понятно. И служитель мой, не упуская поличное изъ рукъ, запѣлъ самымъ заунывнымъ образомъ:

— Ваше высокоблагородіе! вотъ солдатикъ, который лежалъ въ мертвой камерѣ: онъ попалъ туда самъ-собой, ошибкой; вышедъ изъ своей, сосѣдней палаты, онъ угодилъ послѣ невзначай въ эту.

Опять перешла очередь недоумѣнія не на нашу сторону; теперь уже намъ было все очень ясно. Ревизоръ разспрашивалъ и переспрашивалъ много разъ то больного, приставляя ко рту его ухо свое, то заику, заставляя его отвѣчать на-распѣвъ, и слова его оправдались: ни покойники не были забыты между живыми, ни живой не положенъ заживо промежъ покойниковъ, ниже мертвые не оживали. Кандидатъ мертвой камеры самъ до времени туда забрелъ и, пришедъ въ себя и замѣтивъ ошибку свою, поспѣшилъ оттуда убраться и, на бѣду, встрѣтился со взыскательнымъ ревизоромъ.

Слушатели, приготовившіеся къ какой-нибудь страшной развязкѣ о заживо-схороненныхъ, разсмѣялись этой путаницѣ вздоровъ и просили доктора разсказать другой обѣщанный случай, предполагая, впрочемъ, что и второй, вѣроятно, будетъ не лучше перваго. «Ну», сказалъ докторъ, «другой-то случай поважнѣе и притомъ не шуточный, если вы не захотите признать шуткой положеніе человѣка, надъ которымъ насыпано земли въ косую сажень, и который, между тѣмъ, лежитъ въ полной памяти, ожидая своего спасителя! Дѣло было въ Россіи.

«Кантонистъ изъ евреевъ, одинъ изъ тѣхъ, что общества отдаютъ попарно двухъ маленькихъ за одного большого, нѣсколько разъ уже поступалъ къ намъ въ госпиталь съ сомнительными болѣзнями и выкидывалъ разныя штуки, чтобъ попасть въ неспособные. У кого онъ побывалъ въ рукахъ разъ-другой, тотъ его уже зналъ и вызывалъ изъ госпиталя мушками да моксами; но плутъ этотъ былъ терпѣливъ и крѣпко намъ надоѣдалъ. Однажды случилось, что, прибывъ опять въ госпиталь съ притворнымъ кашлемъ, ломотою и прочими семью недугами, онъ попалъ въ палату къ новичку, человѣку и неопытному и нерадивому. Больныхъ, сверхъ того, въ то время было много: всѣхъ наизусть не всякій могъ упомнить; такимъ образомъ, на моего Шмуля никто не обратилъ вниманія; онъ лежалъ себѣ да лежалъ, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ батальонъ получаетъ увѣдомленіе изъ госпиталя, что больной этотъ умеръ. Его исключили изъ списковъ, и о немъ ужь было забыли, какъ вдругъ изъ какого-то дальняго мѣста препровождаютъ въ этотъ батальонъ, по пересылкѣ, пойманнаго бѣглаго; призываютъ его, разсматриваютъ и—что жь бы вы думали? оказывается, что это Шмуль, тотъ самый еврей, покойникъ. При допросѣ онъ показалъ слѣдующее:

«Давно уже я страдалъ припадками, которые наводили на меня по временамъ забытье, какое-то безпамятство, но они были непродолжительны; мнѣ не вѣрили въ болѣзни моей ни въ батальонѣ, ни въ госпиталѣ; полагали, что я притворяюсь, а между тѣмъ я иногда самъ былъ болѣе мертвый, чѣмъ живой. Мнѣ дѣлалось все хуже и хуже; я по ночамъ сталъ обмирать, такъ что пролежу, бывало, цѣлую ночь какъ мертвый, но не сплю. Вотъ на меня и нашелъ однажды такой столбнякъ съ полуночи, но на этотъ разъ я поутру не очнулся; помню, какъ меня щупали

и смотрѣли, какъ больные, сосѣди мои, просили фельдшера убѣдительно приказать вынести покойника, — все это я слышалъ, но не могъ пошевелить пальца. Пришли служители, положили меня на носилки, понесли изъ дверей палаты направо, по длиннымъ переходамъ, тамъ налѣво, въ мертвую камеру, и положили на столъ. Лежу, все знаю и слышу, не могу перевести духу, не могу пошевелить мизинцомъ. Такъ проходитъ цѣлый день; входили ко мнѣ люди еще раза три, вносили другихъ покойниковъ и клали со мною рядомъ; вошелъ однажды и лѣкарь, взглянулъ на насъ и сказалъ фельдшеру: «хорошо, я ужь подписалъ записку». Понявъ, какая это записка, то-есть о томъ, чтобъ насъ похоронить, я силился страшнымъ образомъ, чтобъ закричать или поднять руку; мнѣ и казалось, что я кричалъ, но глухо, такъ что и самъ не слышалъ и другіе ничего не слышали, а вышли опять и заперли двери. Но страхъ мой былъ такъ великъ, что я сталъ вскорѣ приходить въ себя и мало-по-малу очнулся. Я сѣлъ и осмотрѣлся: семь покойниковъ лежали со мною рядомъ, я третьимъ съ краю. Къ счастью, это было лѣтомъ, иначе я бы давно окоченѣлъ. Я всталъ тихонько и увидѣлъ въ углу ушатъ воды съ ковшомъ; выпивъ немного воды, я освѣжился и сталъ думать, что мнѣ теперь дѣлать; страхъ не хотѣлось мнѣ опять на службу. Что, подумалъ я, еслибъ мнѣ теперь сказаться мертвымъ? Вѣдь ужь я зачисленъ умершимъ, изъ списковъ меня исключатъ, а я бы жилъ себѣ да жилъ, и никто бы не могъ догадаться, что я опять ожилъ.

Придумавъ, какъ бы это сдѣлать, я легъ опять на свое мѣсто въ покойники, какъ только услышалъ, что идутъ въ мертвую камеру. Служители принесли гробы, поставили и ушли. Между служителями было нѣсколько человѣкъ евреевъ, и они всегда брали погребеніе умер-

шихъ одновѣрцевъ на свое попеченіе. Я подстерегъ такую минуту, когда въ покоѣ оставался одинъ только служитель, землякъ мой, который меня зналъ; не зная, какъ заговорить съ нимъ, чтобъ не испугать его, и боясь притомъ упустить время, я наконецъ сталъ звать его шепотомъ по имени: онъ со страхомъ оглянулся, не понимая, что это значитъ, а я продолжалъ съ осторожностью, упрашивая его не пугаться, а молчать, и увѣряя, что я не померъ, а только притворился мертвымъ. Онъ опомнился, понялъ въ чемъ дѣло и хотя сначала крѣпко испугался, но вскорѣ согласился на мою просьбу и обѣщалъ подговоритъ другихъ евреевъ. Я умолялъ его со слезами. Онъ ушелъ, а я легъ опять на сво мѣсто. Вскорѣ воротился онъ еще съ двумя товарищами, меня положили въ гробъ, забили крышку и повезли съ прочими покойниками хоронить. Земляки мои сунули мнѣ въ гробъ ломоть хлѣба и аптекарскую склянку съ квасомъ и обѣщали, если можно будетъ, выпустить на кладбищѣ, а если нельзя, то придти опять черезъ часъ и откопать меня, что не могло бы возбудить подозрѣнія, потому что всякій подумалъ бы со стороны, что копаютъ новую могилу.

Страшно было мнѣ лежать въ гробу, а еще страшнѣе, какъ опустили въ яму и стали засыпать землей, но я долженъ объяснить, что товарищи не могли выпустить меня изъ гроба по причинѣ бывшихъ тутъ по близости другихъ служителей, поэтому они и уговаривали меня потерпѣть, обѣщая вскорѣ открыть. Какъ еврея, похоронили меня стоймя, а могилу приготовили такую, что голова моя или головной конецъ гроба едва только покрытъ былъ землей. Понемногу все стало стихать вокругъ меня; отпѣваніе русскихъ, которыхъ хоронили по сосѣдству, кончилось; я не слышалъ ни голоса человѣческаго, ни походки. Мнѣ стало

такъ страшно, что я то снова готовъ былъ обмереть, то хотѣлъ стучать и кричать. Начинало дѣлаться въ гробу жарко, душно, такъ что я уже почти не могъ дышать; послѣднее терпѣніе мое лопнуло, и я громко завылъ: въ то же самое время началась надо мною работа и меня стали поспѣшно отрывать. Евреи сказали прочимъ работникамъ, что приказано приготовить еще могилу, а потому они, два еврея эти, остаются на кладбищѣ; выждавъ затѣмъ только, чтобъ тѣ нѣсколько удалились, они тотчасъ же меня откопали. Я вылѣзъ опять на Божій свѣтъ, поспѣшно одѣлся кой въ какое платье, принесенное ими же; они опять закопали могилу мою, а я, простившись съ ними, пустился куда глаза глядятъ.» Покончивъ разсказъ этотъ, Шмуль только прибавилъ: «Вотъ мои похожденія; а прошатавшись три мѣсяца то тутъ, то тамъ, я наконецъ попался и присланъ сюда.»

Все это разсказано было бойкимъ языкомъ тертаго пройдохи, извѣданнаго плута, безъ запинки и безъ поправки и подчистки. Шмуля разспрашивали десять разъ и не могли надивиться необычайнымъ похожденіямъ его; но батальонный командиръ, зная этого пріятеля, какъ-то все еще сомнѣвался и не довѣрялъ разсказу его и сдѣлалъ, для вѣрности, запросъ госпиталю, требуя сводѣтельство о смерти такого-то Шмуля. И свидѣтельство прислали, и день былъ въ немъ означенъ, согласно съ показаніемъ еврея. Оставалось донести обо всемъ и предать суду виновныхъ въ показаніи живого Шмуля мертвымъ; но къ счастію, слухъ о явкѣ покойника въ батальонъ дошелъ до госпитальнаго начальства: тамъ переполошились и перепугались; начали, хоть и поздненько, строжайшее разбирательство, послѣ котораго смотритель пріѣхалъ къ батальонному командиру съ просьбой, ради Бога пощадить жену его и семерыхъ дѣтей. «Еврей вашъ вретъ, навѣрное. Дѣло по произве-

денному мною разбирательству, не могло статься по разсказу его, потому что около того времени, не только въ тотъ день, на дѣлѣ не было у насъ похоронено ни одного еврея, хотя одинъ, именно вашъ Шмуль, и показанъ умершимъ. Какъ разрѣшить загадку эту — не понимаю, хоть лобъ взрѣжь. Но Шмуль вретъ, а мы пропадемъ всѣ.»

Батальонный командиръ позвалъ еще разъ Шмуля и приложилъ стараніе свое, чтобъ онъ высказалъ правду. Тогда еврей сознался, что онъ выдумалъ и солгалъ всю исторію о мнимой смерти своей и погребеніи, а что онъ просто бѣжалъ изъ госпиталя, живой и здоровый, и съ тѣхъ поръ шатался по свѣту.

По этому признанію все объяснилось: при безпорядкѣ въ госпиталѣ, по несмотрѣнію беззаботнаго ординатора и частому отсутствію памяти у фельдшера, отсутствіе бѣжавшаго замѣтили не прежде, какъ на третій или на четвертый день; тогда прочіе больные показали, что его нѣтъ уже съ воскресенья. Фельдшеръ, во избѣжаніе отвѣтственности, надѣясь на несмотрѣнье ординатора и на безпорядки въ конторѣ, показалъ его умершимъ съ того дня, когда больной бѣжалъ. Все это прошло благополучно, и Шмуль погулялъ нѣсколько мѣсяцевъ; но когда его поймали, отправили, по его же сознанію, въ батальонъ, а здѣсь его встрѣтили восклицаніями: «какъ развѣ ты живъ, Шмуль? вѣдь ты померъ, тебя изъ госпиталя показали умершимъ и ты исключенъ изъ списковъ?....»—тогда моему Шмулю, большому затѣйнику, продувному вралю и хвастуну, пришло въ голову прикинуться хотя полумертвымъ и возбудить къ себѣ общее вниманіе и состраданіе необычайностью своихъ похожденій. Кто былъ живой зарытъ землю, подумалъ онъ, того скорѣе простятъ за вину его.

«Вотъ вамъ мои мнимоумершіе», кончилъ докторъ, «а другихъ я не видалъ». Всѣ согласились въ томъ, что оба разсказа доктора довольно плохи, потому что не идутъ къ дѣлу и не отвѣчали надеждамъ слушателей, у которыхъ уже заблаговременно волосъ начиналъ было подыматься дыбомъ.

# БОЯРЫНЯ

Въ Москвѣ, въ Лефортовской части стоялъ старинный боярскій домъ, замѣчательный, если не по наружности своей, то по крайней мѣрѣ по внутреннему расположенію и по своимъ жильцамъ. Внизу былъ цѣлый рядъ закоптѣлыхъ комнатъ, съ безконечнымъ числомъ переборокъ и перегородокъ, испещренныхъ картинками такого разбора, которыя обыкновенно прилѣпляются мякишемъ хлѣба къ стѣнѣ; тряпицы разнаго рода висѣли, перекинутыя черезъ ширмы и перегородки; мужчины, дѣти всѣхъ возрастовъ, нѣсколько собакъ и кошекъ, птицы въ клѣткахъ, крикъ и говоръ со всѣхъ сторонъ, а въ особенности нѣсколько дряхлыхъ стариковъ и старухъ, которыхъ удушливый кашель раздавался подъ сводами, — все это придавало цѣлому видъ какой-то богадѣльни; но развѣшенныя тутъ и тамъ ветхія, изношенныя ливреи и восьмидесятилѣтній швейцаръ въ передней, котораго перевязь, повѣшенная, для сподручности, на поставленную въ уголъ булаву, разсыпалась уже въ бахромчатыхъ мохрахъ, показывали, что это должно быть заведеніе иного рода: тутъ жило семнадцать семей, до семидесяти душъ дворни. Швейцаръ былъ почти слѣпой и, заставляя, повременамъ, внука своего читать вслухъ священное писаніе, надѣвалъ на

чосъ очки и глядѣлъ въ книгу только по старой привычкѣ: онъ уже буквъ не различалъ....

Во второмъ ярусѣ были такъ называемыя парадныя комнаты. Этотъ безконечный рядъ направо и налѣво растворялся, со временъ императрицы Екатерины, только нѣсколько разъ для провѣриванія и очистки. Здѣсь, уже въ царствованіе блаженныя памяти императора Павла, все было съѣдено молью и мышами, что только моль и мыши могутъ ѣсть; остальное истлѣло само собой и шелковыя занавѣсы, обои и покрышка мебели висѣли въ огромныхъ лохмотьяхъ до самаго полу. Поэтому такъ называемая уборка парадныхъ комнатъ, совершавшаяся ежегодно къ святой недѣли, представляла довольно замѣчательное зрѣлище: избранные и испытанные въ теченіе пятидесяти лѣтъ старые слуги, на которыхъ одежда была почти въ такомъ же положеніи, какъ обои на стѣнахъ парадныхъ комнатъ, съ благоговѣніемъ переступали завѣтный порогъ прадѣдовскаго жилья, осторожно обметали столы, окна и мебель, между тѣмъ какъ призванная на помощь барская барыня, также слѣпая, ходила съ молоденькою внучкою своею и подшпиливала, по ея указаніямъ, булавками висящія со стѣнъ, диванов и занавѣсокъ лохмотья. Затѣмъ, вѣрные слуги, помолившись передъ золотыми иконами въ этихъ покояхъ, чинно выходили, дверь затворялась на замокъ и круглый годъ, до слѣдующей пасхи, ничья живая нога не переступала завѣтнаго порога.

Переходимъ по старой, тяжелой дубовой лѣстницѣ въ третій ярусъ. Здѣсь одна половина, цѣлый рядъ покоевъ служитъ кладовою, самою разнообразною и пестрою изъ всѣхъ кладовыхъ, потому что барская барыня, или ключница, ужь пятьдесятъ лѣтъ сряду совала туда все, что ни попадалось ей подъ-руку, начиная отъ лишняго шкапа, кресла, хомута и ковра, и

до отопковъ или обносковъ, отъ початой бутылки вина и до початой ватрушки или пирога. Здѣсь никогда и никакой уборки не допускалось; все стояло и лежало такъ, какъ было поставлено и положено 10, 20, 30, 40 и 50 лѣтъ назадъ... На другой половинѣ этого третьяго яруса жила сама хозяйка, почтенная кавалерственная дама давнихъ—предавнихъ временъ, которая сама занимала только двѣ комнаты, родъ гостинной и спальни, между тѣмъ какъ прочіе покои стояли также впустѣ или были обращены въ дѣвичьи, въ звѣринецъ мосекъ и шавокъ, да въ подручныя, ближнія кладовыя... Хозяйка постоянно сидѣла въ своей спальнѣ, выглядывала въ гостиную рѣдко, иногда въ недѣлю разокъ или два, когда ходила осматривать свое хозяйство. Этотъ осмотръ состоялъ въ томъ, что она проходила по дѣвичьей и заглядывала въ небольшую боковую комнату, насыщенную неизъяснимымъ благоуханіемъ: тутъ содержались и доживали вѣкъ свой оставленныя за дряхлостью и болѣзнью моськи, шавки и болонки, съ особенной при нихъ прислугой. Съ ними же былъ заключенъ и сидѣлъ подъ всегдашнимъ колпакомъ, впотьмахъ, попугай, попавшій въ немилость за неосторожное словцо, выпущенное имъ какъ-то сдуру и очень некстати по случаю смерти старшаго сына почтенной хозяйки, человѣка лѣтъ пятидесяти, котораго она, впрочемъ, все еще трепала по щечкѣ, гладила по головкѣ, называя притомъ мальчикомъ и заботясь о томъ, чтобъ онъ не обкушался за обѣдомъ и не простудился, выѣзжая со двора.

Спальня старушки нашей, или просто жилая комната ея, была загромождена до потолка самою разнообразною, исключительно-старинною утварью и украшеніями, такъ что въ теченіе часа или двухъ, проведенныхъ въ бесѣдѣ со старушкою, рѣшительно невозможно было обознаться и осмотрѣться, и вы вы-

ходили отъ нея съ какимъ-то темнымъ понятіемъ о хаотическомъ смѣшеніи всѣхъ возможныхъ предметовъ. У васъ въ памяти оставался развѣ только загроможденный по уступамъ фарфоромъ и другою мелочью шкапъ, огромный, тяжелый, поселяющій невольное понятіе о постоянствѣ, довольствѣ и домовитости, да затѣмъ еще образной уголъ, гдѣ передъ иконою Всѣхъ Скорбящихъ, развѣшены были на блеклыхъ розовыхъ лентахъ приношенія усерднаго, вѣрующаго сердца, серебряныя ручки, ножки и глазки.

Но этимъ описаніе наше еще не кончено. Въ домѣ есть и четвертый ярусъ, также цѣлый рядъ покоевъ, на двѣ половины, только пониже и потеплѣе прочихъ. Тутъ вы встрѣчали на каждомъ шагу какую-нибудь вдову или безродную сироту, въ вѣковѣчной печали, во всегдашнемъ черномъ платьѣ, съ чашечкою кофейку въ рукахъ. Это были отставныя поручицы, секретарши и совѣтницы, подчиненныя вдовой и сирой маіоршѣ, которая улыбаясь перекачивалась изъ кельи въ келью, стараясь убѣдительнымъ краснорѣчіемъ своимъ помирить перессорившихся и возбудить въ нихъ признательность къ хозяйкѣ, пріютившей ихъ сиротъ подъ старость. Вы видите, что это, такъ и въ нижнемъ ярусѣ, была родъ богадѣльни, но только въ другомъ родѣ: тамъ жили дворовые, старые слуги, а здѣсь вольнопромышляющія приживалки, много пострадавшія на вѣку своемъ за отечество и успокоившіяся на хлѣбахъ благодѣтельницы. Ихъ жило тутъ постоянно до пятнадцати; но эта буйная команда толстой маіорши, не смотря на желаніе хозяйки пріобрѣсти себѣ этимъ способомъ дюжину богомолицъ, не поминала ее добромъ, какъ это само-собой разумѣется; всѣ онѣ полагали, что такая вельможа, кавалерственная дама, и притомъ страшная богачка, могла бы содержать получше заслуженныхъ, почтенныхъ, хотя и обижен-

ныхъ завистливымъ свѣтомъ сиротъ... Много проклятій раздавалось въ этихъ кельяхъ надъ головою бѣдной хозяйки дома, точно будто ихъ тутъ держали въ неволѣ, и много труда стоило начальствующей маіоршѣ помирить или хотя успокоить нѣсколько двухъ разгнѣванныхъ сожительницъ, которыя сталкивались за очагомъ съ кофейниками своими, или кидали часть одежды своей такъ неосторожно на перегородку, что подолъ либо рукава перевѣшивались къ тоскующей по убитомъ мужѣ сосѣдкѣ, которая въ неутолимой двадцатилѣтней печали своей не могла равнодушно переносить подобныхъ обидъ...

Само-собою разумѣется, что добродѣтельная хозяйка этого замѣчательнаго дома славилась въ кругу своемъ примѣрной женщиной. При заботѣ ея о заслуженныхъ, старыхъ слугахъ, о вдовахъ и сиротахъ, она, конечно, напередъ всего заботилась о родныхъ и ближнихъ своихъ, напримѣръ, о дѣтяхъ... Разскажемъ же въ нѣсколькихъ словахъ, что она сдѣлала въ этомъ отношеніи.

Богъ далъ ей во время оно до пяти дѣтей, но четверо изъ нихъ умерли уже въ дѣтствѣ; одинъ только сынъ выросъ и возмужалъ. Мы упомянули о немъ въ началѣ этого разсказа. Старина легко забывается, и потому о воспитаніи дѣтей этихъ до нашего поколѣнія дошли одни только темные слухи, или, вѣрнѣе сказать, отрывочныя свѣдѣнія.

Не жалѣя расходовъ для образованія дѣтей своихъ, вельможная боярыня приняла для нихъ нѣсколько нѣмцевъ и французовъ обоего пола; между ними были главные наблюдатели, учители, блюстители нравственности, наставники и проч.; но, любя притомъ дѣтей своихъ всею горячностью материнскаго сердца, она не предоставила ихъ произволу этихъ наемщиковъ, въ особенности же самолично чинила ежедневно судъ и

расправу, являясь для этого въ урочный часъ. Послѣдствія этого были двоякія: во-первыхъ, гувернеры и гувернантки вымѣщали немощь свою на дѣтяхъ одними только щипками и толчками, а во-вторыхъ, дѣти знали и видѣли мать свою только въ качествѣ грозной Немезиды, такъ что съ самымъ именемъ ея соединялось одно только понятіе о карательной власти. Правда, что природа вложила въ дитя невольную любовь и привязанность къ родителямъ, какъ мы это видимъ даже у всѣхъ, безъ изъятія, животныхъ; но эта безотчетная привязанность, основанная на чувствѣ самосохраненія, длится не болѣе того времени, какъ и возрастъ младенческій и отроческій, гдѣ существо слабое, несовершенное чувствуетъ безсиліе свое и ищетъ вещественнаго покровительства; далѣе остается уже одно нравственное вліяніе, котораго у животныхъ нѣтъ, почему у нихъ возмужалыя дѣти и покидаютъ родителей, не узнавая ихъ вовсе впослѣдствіи и не отличая отъ чужихъ. И если человѣкъ унизится, въ качествѣ родителя, до животнаго, ограничивъ связь свою съ дѣтьми своими только плотскими и вещественными отношеніями, оставивъ нравственныя въ сторонѣ, то ихъ и не будетъ у сына или дочери; а возмужавъ, они отпадутъ навсегда, какъ отрѣзанный ломоть.

Не баловать дѣтей было первымъ правиломъ благоразумной матери, но въ переводѣ на общій языкъ это значило перечить имъ во всемъ, даже въ самыхъ невинныхъ дѣтскихъ затѣяхъ и скромныхъ желаніяхъ, требуя отъ нихъ, чтобъ они, вопреки основнымъ законамъ природы, отказались отъ всякой свободной воли, дарованной человѣку, а жили и даже думали чужою волею. Отъ этого, какъ извѣстно, человѣкъ глупѣетъ и нерѣдко становится вовсе юродивымъ, а между тѣмъ подавленная природа силится высказаться хоть чѣмъ-нибудь, потому что ее убить нельзя, покуда жива

плоть, и слѣдствіемъ этого бываетъ нравственная уродливость, основанная на двухъ крайностяхъ: на отсутствіи нравственныхъ убѣжденій и упорномъ упрямствѣ, на отсутствіи воли и необузданности своеволія.

При многоначаліи подобнаго воспитанія, гдѣ еще, кромѣ наставниковъ и наблюдателей всѣхъ родовъ, должно вспомнить значеніе и вліяніе прислуги,—благородства, чести и откровенности быть не можетъ въ воспитанникахъ, которые невольно сродняются съ ложью и обманомъ, какъ съ ходячей монетой. Коль-скоро безразсудство воспитателя требуетъ отъ воспитанника несбыточнаго, забывая притомъ, что на желанія и помышленія нѣтъ пошлины, то неминуемое послѣдствіе этого было и всегда будетъ: ложь, утайка, обманъ, подлогъ. Вотъ чему мы учимъ дѣтей, воображая, что учимъ ихъ добру, а послѣ называемъ неблагодарными выродками!

Итакъ, четверо дѣтей боярыни нашей умерли еще въ дѣтствѣ, не смотря на то, что ихъ кутали въ хлопчатую бумагу, или даже, можетъ быть, собственно по этой причинѣ. По тогдашнему повѣрью старыхъ слугъ, ходила по крайней мѣрѣ молва, что барыня *замучила* своихъ дѣтей. Пережилъ всѣ искусы эти одинъ сынъ, выросъ и возмужалъ, но, конечно, былъ и духовно, и тѣлесно тѣмъ, чѣмъ подобное воспитаніе могло его сдѣлать.

Скорбя душой о преждевременной смерти прочихъ дѣтей своихъ, боярыня до того прилѣпилась материнскимъ сердцемъ къ своему одинцу, что берегла и стерегла его, поистинѣ, какъ зеницу ока. Въ глазахъ ея онъ не выросталъ, не возмужалъ, онъ все еще былъ ребенкомъ, который не могъ жить безъ няньки, не могъ обѣдать безъ подвязной салфекти, не могъ уснуть безъ припѣва: «баю, дитятко, баю!» Ему, по общему закону природы, стукнуло двадцать лѣтъ, потомъ

двадцать-пять и тридцать, но онъ оставался для матушки все тѣмъ же Петрушей, и она покатилась замертво съ кресла, когда кто-то вздумалъ убѣждать ее отпустить сына на службу или хоть опознаться на бѣломъ свѣтѣ, куда-нибудь за Москву-бѣлокаменную. Съ тѣхъ поръ о такихъ ужасахъ не было и рѣчи. Нашлась другая пріятельница нашей барыни, которая, зная о Петрушѣ гораздо болѣе, чѣмъ родная мать, стала намекать ей, что пора бы его женить; но послѣдствія были тѣ же: обморокъ, весьма близкій къ смерти; стало быть, кончено — и объ этомъ нельзя было поминать. Боярыня, испуганная такими ужасными предложеніями, позвала сына, привѣсилась мертвымъ узломъ на шею сго и, изъявляя изступленную материнскую любовь свою, подъ страшными заклятіями требовала отъ него троекратнаго повторенія клятвы, что онъ, не желая убить нѣжную мать свою, останется при ней на всю ея жизнь и будетъ слѣдовать во всемъ неотступно ея святой волѣ, не дозволяя себѣ даже и помышленій о волѣ собственной. Это ее нѣсколько успокоило, и она повеселѣла; въ такомъ радостномъ расположеніи, желая излить милости свои на послушнаго сына, она позволила ему отдѣлать и убрать надворную пристройку, въ которой онъ жилъ, по прихотямъ и желаніямъ его, и несчастному осталось одно только утѣшеніе: убрать свои комнаты по произволу, малиновыми, желтыми или голубыми обоями и занавѣсками.

При однихъ и тѣхъ же обстоятельствахъ прошло еще пять, а потомъ и десять лѣтъ. Петруша сталъ уже сорокалѣтнимъ мальчикомъ... Тѣ, которые знали его, увѣряли, что онъ отъ природы былъ не золъ, не глупъ, и что изъ него безъ всякаго сомнѣнія, вышелъ бы человѣкъ довольно дѣльный и порядочный, еслибъ не было этихъ необычайныхъ материнскихъ заботъ и

усилій о томъ, чтобъ вывернуть въ немъ все наизнанку. Что дѣлать! сердце матери больно.

Петруша внезапно заболѣлъ, пасмурная задумчивость его и нелюдимость (онъ стыдился людей) увеличилась, недужное тѣло стало изнемогать; врачи призадумывались, а матушка служила молебны, посылая каждые полчаса освѣдомляться о здоровьѣ сына, потому что сама она ужь лѣтъ десять не выходила изъ комнаты. Каждая изъ посылокъ этихъ, черезъ полчаса по ложкѣ, гдѣ поперемѣнно то старая ключница, то одинъ изъ старыхъ слугъ являлись предъ постелью больного съ затверженнымъ привѣтствіемъ и вопросомъ,—каждая изъ посылокъ этихъ уже сама-по-себѣ волновала кровь больного и отзывалась желчью. Онъ всегда отвѣчалъ: *лучше*; но врачи и окружающіе находили, что ему со дня на день становилось хуже. Прошло еще два дня, и природа обнаружила тайну свою: Петруша лежалъ на смертномъ одрѣ; ему приходилось скоро умереть. Кто посмѣетъ сказать это матери? Никто. Каждые полчаса докладывай ей, что ему лучше. Срокъ насталъ, часъ ударилъ и—душа молча отлетѣла. И этого никто не посмѣлъ бы сказать барынѣ, страшась внезапной смерти ея отъ такого извѣстія; но общая тревога, шумъ, суетня и вой въ цѣломъ домѣ вскорѣ заявили боярынѣ о какомъ-то необычайномъ событіи.

— Что такое?—спрашиваетъ она, позвонивъ—что тамъ сдѣлалось?

— Не знаю, сударыня.

— Такъ поди, узнай, да сходи кстати къ Петру Иванычу, что-то онъ, голубчикъ, дѣлаетъ?

Посланная поспѣшила выскочить изъ дверей и, разумѣется, не возвращалась, а повыла съ прочими на дворѣ или въ сѣняхъ и потомъ забилась куда-то за двери.

Боярыня встревожилась, не постигая, что все это значитъ, позвала и отправила другого, а затѣмъ и третьяго гонца и, наконецъ, ужь не могла никого докликаться, ни дозвониться: всякій боялся показаться на глаза; ждали священника и нѣсколькихъ ближнихъ, пріятельницъ и друзей дома, за которыми послали. Въ нетерпѣніи и изумленіи своемъ, боярыня сама поднялась съ мѣста и пошла въ дѣвичью, въ которой она бывала только по нѣскольку разъ въ году, при такъ-называемомъ осмотрѣ своего хозяйства; тутъ встрѣтила ее забившаяся за сундуки ключница, съ воемъ повалилась въ ноги и начала во весь голосъ причитывать...

Обморокъ боярыни на сей разъ длился недолго, чувство несчастной матери одержало верхъ: она приказала взять себя двумъ слугамъ подъ-руки и вести въ пристрой. Со стономъ и плачемъ, всплескивая руками и роняя голову свою то на одно плечо, то на другое, старушка наконецъ добралась до сыновнихъ покоевъ и переступила завѣтный порогъ; но, кинувшись къ трупу и упавъ въ безпамятствѣ у одра, она столкнулась съ какою-то вовсе незнакомою ей женщиною, которая, припавъ тутъ же на колѣни, выла, кричала, голосила и ломала руки. Боярыня еще не совсѣмъ опамятовалась, какъ слухъ ея поразили также дѣтскіе голоса и вопли, протяжно возвышавшіеся отчаяннымъ завываньемъ своимъ надъ голосами сосѣдки ея и прислуги. Она открыла глаза и невольно взглянула на цѣлое семейство, повидимому столь близкое къ покойнику...

— Что это значитъ, спросила она:—кто это?

Всѣ молчали, а несчастная женщина съ девятью дѣтьми бросилась ей въ ноги. Она жила ужь лѣтъ десять въ одномъ домѣ съ боярыней, а до хозяйки объ этомъ не дошло даже и слуха...

«Смерть кажетъ животы», говоритъ пословица, и въ этомъ случаѣ смерть ихъ выказала, если живое назвать можно животомъ. Боярыня лишилась послѣдняго дѣтища: она оставалась на свѣтѣ одна, какъ перстъ, переживъ и старшихъ и младшихъ и выдержавъ сына до пятидесяти лѣтъ, какъ ребенка. Покинутая имъ семья, конечно, не входила въ расчетъ нѣжной матери, но что было дѣлать?

Съ этого времени она посвятила себя благотворенію и основала въ собственномъ барскомъ дворцѣ богадѣльню, въ которой, какъ мы видѣли, ее бранятъ и клянутъ съ утра до вечера. Она окончательно удалилась отъ свѣта, не снимала печальной одежды, не переступала черезъ порогъ своей кельи, день и ночь молилась и плакала по сынѣ. Она понынѣ увѣрена, что посвятила всю жизнь свою любимому сыну и что во всѣхъ отношеніяхъ принесла себя ему на жертву. Ей и въ мысли не приходитъ, что жизнь эта соткалась изъ какой-то запутанной сѣти ханжества и неограниченнаго властолюбія и что, промаявшись восемьдесятъ лѣтъ на свѣтѣ, она жила только на муку ближнихъ. Ее, впрочемъ, очень уважаютъ и, называя женщиною святой жизни, ставятъ въ примѣръ всѣхъ добродѣтелей, не объясняя, впрочемъ, какихъ именно.

# ФОКУСНИКЪ

— А, мой драгоцѣнный! Вотъ встрѣча—истинный подарокъ, право! Куда путешествуете?

— Да я просто вышелъ послоняться немного.

— Такъ зайдемте же ко мнѣ. Но откажите хоть теперь; васъ поймать нелегко. Вы, если не ошибаюсь, даже не были у меня въ нынѣшнемъ жилищѣ моемъ, не видѣли ларовъ моихъ и пенатовъ, какъ говаривали поэты наши, лѣтъ двадцать или тридцать. А помните ли вы это время? Да гдѣ вамъ! вы ужь составляете другое поколѣніе; вы—молодецъ въ сравненіи съ нами, старичками... а согласитесь, пора была замѣчательная во многихъ отношеніяхъ. Сколько проснулось тутъ юныхъ силъ! сколько воспрянуло истиннородныхъ чувствъ, горячихъ, благородныхъ... и гдѣ же это все? Все опошлилось, все замерло въ самомъ зачатіи; снаружи не дозрѣло, а въ серединѣ ужь загнило.... знаете ли, сколько есть замѣчательныхъ анекдотовъ того времени, которое я помню еще, будто все это случилось вчера или третьяго дня?... Ну, замолчу, однако, во-первыхъ, потому, что объ этомъ нехорошо говорить вообще, въ особенности же послѣ обѣда, когда еще пищевареніе не кончено; во-вторыхъ, и потому, что объ этомъ неловко говорить на улицѣ, а

втретьихъ, наконецъ, потому, что помню предостерегательный для нашего брата-говоруна анекдотъ, извѣстный подъ заголовкомъ: *Еще одинъ казакъ остался*... Вы, конечно, его знаете?

— Нѣтъ, виноватъ, не знаю.

А между тѣмъ мы продолжали прогулку свою, причемъ правая рука моя ущемлена была локтемъ пріятнаго собесѣдника.

— Такъ послушайте: у насъ былъ — когда я еще носилъ военный мундиръ и, какъ говорится, не разъ за отечество жизнь терялъ — былъ нѣкто маіоръ Посконный, человѣкъ, впрочемъ, почтенный, даже храбрый офицеръ, но самый несносный изъ всѣхъ говоруновъ и разсказчиковъ въ мірѣ. Вотъ онъ, послѣ похода двѣнадцатаго года, бывало, засѣкалъ до смерти несчастныхъ слушателей безконечными повѣствованіями о событіяхъ, которыхъ былъ свидѣтелемъ. Надобно вамъ сказать, что человѣкъ этотъ никогда не вралъ, но правда его была хуже всякой лжи, потому что ей никогда не было конца. Любимымъ разсказомъ его была переправа войскъ нашихъ черезъ Рейнъ. Поймавъ однажды слушателя — разумѣется, за пуговицу — которому не было никакой возможности дослушать все это до конца, потому что ему необходимо было поспѣшить въ другое мѣсто, гдѣ его давно ожидали, — поймавъ этого несчастнаго, маіоръ Посконный продержалъ его за пуговицу неболѣе какихъ-нибудь двухъ часовъ, переправляя войска съ большою осторожностью, батальонъ по батальону и эскадронъ по эскадрону и, наконецъ, благодаря Богу, переправилъ ихъ благополучно, нетерпѣливый слушатель, порывавшійся во все время въ тоскѣ на просторъ, обрадовался этому — какъ я теперь этой встрѣчѣ съ вами — и, вздохнувъ, сказалъ: «ну, и слава Богу, теперь всѣ», а самъ ухватился было за шапку; но маіоръ спокойно

отвѣчалъ, не выпуская, впрочемъ, пуговицы изъ рукъ: «Нѣтъ, позвольте, еще одинъ казакъ остался»... И съ этого остального казака завязывалась рацея, которую, бывало, не переслушаешь съ утра до полуночи. Такъ вотъ, я говорю, уроки нашему брату! Ну, а вы какъ поживаете?

Между тѣмъ мы дошли до его квартиры. Я слышалъ объ отдѣлкѣ ея, о томъ, что она устроена на англійскій манеръ, въ трехъ ярусахъ дома, съ теплой и красивой лѣстницей посреднѣ. При всемъ томъ я съ трудомъ вѣрилъ глазамъ своимъ и не постигалъ чудесъ, которыя видѣлъ. Человѣкъ, безъ всякаго состоянія, безъ капиталовъ, безъ имѣнія, безъ всякихъ доходовъ, жилъ всегда, сколько люди запомнятъ, и живетъ теперь, великолѣпно, роскошно, проживая десятки тысячъ въ годъ. Ему надоѣла старая квартира не только потому, что она по отдѣлкѣ и убранству сдѣлалась уже не совсѣмъ модною, но и потому, что несчастный хозяинъ около полугода употреблялъ всевозможныя средства, чтобъ избавиться отъ жильца, который никогда не платилъ за квартиру, а умѣлъ, Богъ-вѣсть какъ, занимать ее военнымъ постоемъ; иной бы затруднился при такихъ обстоятельствахъ, но фокусникъ нашъ, напротивъ, извлекъ изъ этого еще значительную для себя пользу: онъ выбралъ другую квартиру, гораздо шире и удобнѣе старой, въ лучшей части столицы, отдѣлалъ ее по-княжески, не щадя ничего, и перебрался. Какъ это сдѣлалось, чѣмъ уплачены расходы, непосильные даже для человѣка съ состояніемъ, какимъ образомъ въ теченіе тридцати лѣтъ, то-есть со времени возмужалости своей, фокусникъ нашъ, живя постоянно въ одномъ и томъ же городѣ, всегда находитъ такой запасъ новыхъ и свѣжихъ дураковъ, готовыхъ для него разориться, — все это тайна его, какъ были свои непроницаемыя тайны у знаменитаго Пинетти и его собратій.

У входа съ крыльца въ переднюю, на половину барина, я замѣтилъ вставленное въ двери, на вышинѣ человѣческаго роста, стеклышко. Необыкновенное устройство это обратило на себя вниманіе. Замѣтивъ это, хозяинъ спросилъ: «что вы смотрите?—а! это... это такъ, для удобства, для предварительнаго знакомства съ посѣтителемъ. Ужасно много мошенниковъ всякаго рода шатается теперь по городу.» Я уже слышалъ прежде, что, вслѣдствіе такого предварительнаго знакомства съ посѣтителемъ, иному предоставлялось оборвать колокольчикъ, но дверь для него не отворялась. Мы вошли въ первую комнату этой половины: палевыя, шелковыя обои, съ бѣлыми разводами; мебель орѣховая, рѣзная, новѣйшаго вкуса; занавѣсы надъ окнами и дверьми ярко-желтаго штофа съ малиновымъ прибором; люстры и канделябры прямо изъ Парижа; картины не одинаковаго, но и не послѣдняго достоинства, о которыхъ разсказы и поясненія словоохотливаго хозяина могутъ только развѣ поспорить съ великолѣпіемъ и изяществомъ замѣчательныхъ по красотѣ своей рамокъ. Я былъ истинно изумленъ, постоянно думая о томъ, что тутъ нѣтъ ни одной нитки, за которую были бы заплачены деньги. Мы прошли еще двѣ комнаты, заглянули въ боковую, уборную, и вошли въ кабинетъ. Уборная эта была самая важная и таинственная комната въ домѣ, которая всегда показывалась только поверхностно, истинное же достоинство и назначеніе ея хозяинъ оставлялъ для посѣтителей подъ спудомъ; но молва — этотъ злодѣй всѣхъ тайнъ людскихъ и тайниковъ — знала все и разсказывала вотъ что: когда прорывался въ переднюю докучливый и грозный посѣтитель, для котораго хозяина разъ навсегда не было дома, то онъ въ одинъ прыжокъ спасался въ уборную, замыкалъ ее изнутри, вынималъ ключъ и спокойно ждалъ развязки. Для этого, во-пер-

выхъ, въ уборную было двое дверей: одна явная, изъ гостиной, и если посѣтитель требовалъ впустить его туда, то объявлялось, что баринъ, выходя со двора, ключъ отъ уборной всегда уноситъ съ собой; другая же, потайная, подъ лицо съ шпалерами и съ другими затѣями, вела туда прямо изъ кабинета. Во-вторыхъ, не только въ уборной, но и во всѣхъ комнатахъ была принята особенная предосторожность, чтобъ нельзя было пустить соглядатая въ замочную щелку: всѣ дверные замки были завѣшены небольшими ковриками прекрасной работы. Въ-третьихъ, не только великолѣпный умывальный шкафъ, стоявшій въ уборной, могъ служить, въ случаѣ крайности, довольно сноснымъ помѣщеніемъ для хозяина, но изъ уборной же вела дверь, скрытая въ подобіи шкафа, прямо на черную лѣстницу, гдѣ, насупротивъ, жилъ сапожникъ, большой пріятель нашего милаго хозяина, потому что этотъ, какъ лиса, никогда не промышлялъ по сосѣдству съ жилищемъ своимъ и у сапожника обуви не заказывалъ. Еслибъ нужно было сдѣлать о фокусникѣ по законамъ нашимъ повальный обыскъ, то всѣ отзывы о немъ — кромѣ развѣ только отзыва хозяина дома — были бы въ его пользу, потому что онъ разъ навсегда жилъ со всѣми сосѣдями въ ладахъ и умѣлъ всякаго на первыхъ порахъ обворожить и расположить въ свою пользу. Къ этому-то сапожнику спасся нашъ фокусникъ, между прочимъ, однажды, какъ гласитъ молва, когда какой-то отчаянный заимодавецъ хотѣлъ прибѣгнуть къ крайней степени преступнаго самоуправства и ворвался въ жилище фокусника, не смотря на всѣ предосторожности хозяина, съ нарочно купленною для этого случая надежною камышевою тростью.

Кабинетъ въ самомъ дѣлѣ озадачилъ меня, и я готовъ признать его кабинетомъ рѣдкостей, художества,

ремеслъ и промысловъ — словомъ, чѣмъ угодно. Гуськамъ и кронштейнамъ со статуйками лучшей работы не было конца; книгамъ, картинамъ и счету нѣтъ; а куда ни обратишься, на что ни взглянешь, — все привлекаетъ вниманіе то блескомъ, то вкусомъ, то странностью, то удобствомъ и уютностью...

Я стоялъ и изумлялся, между тѣмъ какъ хозяинъ занималъ меня очень пріятно, безъ умолку. Признаюсь, я слушалъ только краемъ уха. Я думалъ тогда про себя: «еслибъ я былъ въ такомъ положеніи, въ какомъ находился хозяинъ за нѣсколько мѣсяцевъ, что бы я сталъ дѣлать? если-бъ, то-есть, я задолжалъ во всѣ лавочки, лавки, магазины, лабазы, подвалы, винные погреба, портерныя, ликерныя и штофныя, всѣмъ сапожникамъ, портнымъ, обойщикамъ, столярамъ, даже полотерамъ, задолжалъ десятки тысячъ, то-есть гораздо болѣе, чѣмъ у меня, вѣроятно, во всю остальную жизнь мою будетъ въ рукахъ наличными... еслибъ, сверхъ того, я забралъ у всѣхъ добрыхъ пріятелей, у кого сто, у кого тысячу, у кого наконецъ, пять или десять рублей, да у ростовщиковъ, курьеровъ, вольноотпущенныхъ, крещеныхъ жидовъ и армянъ—по двадцати и двадцати пяти со ста—также десятки тысячъ... еслибъ къ этому со всѣхъ сторонъ поступали на меня взысканія, полиція ходила описывать и опечатывать гуськи, картины и кронштейны мои, отчаянные заимодавцы, скрежеща зубами, гонялись за мною съ палками... а хозяинъ выживалъ бы меня, чрезъ полицію, на улицу, и мнѣ потому только осталась бы, для преклоненія главы отъ непогоды, моя бывшая передняя; что полиція же обязала хозяина дома подпиской хранить вошедшія въ опись вещи мои, запечатавъ, впрочемъ, всѣ комнаты, между тѣмъ какъ я же былъ обязанъ подпиской отвѣчать за цѣлость печатей... — спрашиваю: что бы я сталъ дѣлать въ такомъ положеніи?.. Хо

лодъ пробѣжалъ по мнѣ отъ головы до пятокъ и встряхнулъ всѣ мои члены.... Люди находятъ одинъ только выходъ изъ этой пропасти — пулю въ лобъ!... Я опять, снова очнувшись, оглянулся вокругъ и не могъ не сознаться внутренно, что фокусникъ умнѣе насъ: онъ перешелъ изъ описаннаго мною положенія непосредственно въ настоящее... Какимъ образомъ? — Это его тайна.

Звонокъ заставилъ меня опомниться и оглянуться. Хозяинъ не показалъ въ движеніяхъ своихъ никакого участія къ этому ничтожному событію, или старался не показать его, но природа ему измѣнила: лицо его приняло выраженіе человѣка, сосредоточившаго все вниманіе свое, всѣ напряженныя умственныя силы на одинъ предметъ, и въ то же время онъ очень ловко, будто случайно, понизилъ голосъ; и сталъ продолжать разговоръ очень тихо, прислушиваясь чуткимъ ухомъ своимъ къ тому, что происходило въ передней. Я уже прежде слышалъ, что если посѣтитель фокусника принадлежалъ не къ числу желанныхъ и притомъ какъ-нибудь прорывался, не смотря на всѣ отказы и запреты часоваго, то этотъ подавалъ условленный знакъ, задерживая между тѣмъ посѣтителя по возможности громкимъ провозглашеніемъ въ залѣ словъ: «да я же вамъ говорю, сударь, что ихъ нѣтъ у себя...» И тогда хозяинъ поспѣшно скрывался, чрезъ потайную дверь, либо къ другу своему, сапожнику, увѣряя его, что съ особеннымъ удовольствіемъ наблюдаетъ, какъ тачаютъ голенища или протарачиваютъ рантъ. Съ нетерпѣніемъ ожидалъ я подобнаго явленія, но вышло совсѣмъ иное: хозяинъ вдругъ принялъ прежнюю, непринужденную и неозабоченную складку свою, опять возвысилъ голосъ и встрѣтилъ очень привѣтливо и снисходительно молодого человѣка, который съ нимъ раскланивался. «Ничего, ничего, все равно», отвѣчалъ любезный хо-

занятъ на извиненія художника, опоздавшаго нѣсколькими днями противъ обѣщанія своего и представлявшаго теперь заказанную картину на судъ знатока и своего патрона. Этотъ взглянулъ на картину, отнесъ ее подальше, опять приблизился, опять отставилъ, посмотрѣлъ въ кулакъ и, съ благодарнымъ движеніемъ головы, будто невольно вырвавшимся у знатока, сказалъ: «очень мило, очень мило; это талантъ.» Помолчавъ немного, онъ продолжалъ: «это вамъ истинно приноситъ много чести, молодой человѣкъ; очень много чести!»

— Вы незнакомы?—спросилъ онъ меня; — это молодой художникъ N. N. Вы, вѣроятно, слышали о немъ; онъ подаетъ большія надежды. Посмотрите, какъ это мило! Это, такъ-сказать, моя мысль, моя задача, и посмотрите, какъ это прекрасно исполнено. Очень хорошо, продолжалъ онъ, обращаясь къ художнику. — Вамъ слѣдуетъ... мы, кажется, условились за триста рублей?

— Двѣсти рублей,—сказалъ художникъ робко и въ небольшомъ недоумѣніи, видимо сожалѣя, что ограничился такою скромною цѣною, когда этотъ богачъ, предъ которымъ онъ теперь стоитъ, даже не помнитъ хорошенько цѣны и, повидимому, съ такою же беззаботностью заплатилъ бы триста, какъ теперь платитъ двѣсти.

— Да, виноватъ, извините, двѣсти... сейчасъ... благодарю васъ.. право, очень благодаренъ.

Онъ отошелъ къ столу; пружина машиннаго ларца отозвалась нѣсколькими ударами, въ родѣ часовъ съ репетиціею; замокъ щелкнулъ, и хозяинъ явился опять передъ нами, передавая художнику съ благодарностью деньги...

Признаюсь, я не вѣрилъ глазамъ своимъ и мысленно самъ схватился за карманъ; мнѣ казалось, что коме-

дія эта не могла быть сыграна ни для кого, кромѣ меня недостойнаго, изъ чего бы и слѣдовало заключить, что у хозяина есть какіе-нибудь виды на меня... Но я въ то же мгновеніе былъ пораженъ явленіемъ, которое могъ ожидать еще менѣе перваго: фокусникъ только далъ бѣдному художнику протянуть руку за деньгами, какъ вдругъ быстро отдернулъ ихъ; ударивъ себя другою рукою по лбу, назвалъ себя скотиной, извинился и продолжалъ.

— Боже мой! какъ я разсѣянъ, какимъ я подъ старость дѣлаюсь забывчивымъ, не повѣрите, ей-богу! Вообразите: теперь только, отдавая вамъ должокъ свой, вотъ эти двѣсти рублей, я вдругъ вспомнилъ, что обѣщалъ... (онъ поспѣшно взглянулъ на часы) ну да, славу Богу, еще не опоздалъ, часъ только... обѣщалъ сегодня непремѣнно къ двумъ часамъ отослать эти деньги.

Онъ позвонилъ, человѣкъ вошелъ; онъ подалъ ему деньги и сказалъ:

— Отослать сію же минуту эти двѣсти рублей съ Никифоромъ къ Ивану Павлычу—знаешь? Да сейчасъ же! Извините, любезнѣйшій, — продолжалъ онъ, обратившись къ художнику: — завтра же ровно объ эту пору вы получите свое — объ этомъ не безпокойтесь: картина ваша у меня на глазахъ, и я не забуду... завтра въ часъ, непремѣнно, даже, пожалуй, въ полдень, ровно въ полдень; я уже къ одиннадцати часамъ буду при деньгахъ. Тогда я попрошу васъ еще зайти ко мнѣ: у меня есть еще другая мысль, которую вы, конечно, не откажетесь исполнить и исполните съ такимъ же талантомъ, какъ эту, и, право, вамъ это впередъ послужитъ на пользу!

Бѣдный художникъ до того былъ этимъ пораженъ, что покраснѣлъ до самыхъ мочекъ ушей, раскланялся, ушелъ и — распростился съ деньгами своими навсегда:

онъ ихъ только понюхалъ. Впередъ хозяина для него никогда болѣе не было дома, а встрѣчаясь съ нимъ въ обществѣ, онъ долженъ былъ выслушать нѣсколько разъ преловкій и презабавный разсказъ фокусника о томъ, какъ онъ, фокусникъ, разсѣянъ, и какъ вотъ этотъ молодой человѣкъ спасъ его однажды, случайно, отъ непріятности не сдержать слово свое, напомнивъ такимъ-то именно образомъ о другомъ долгѣ... «Вообразите», говорилъ онъ: «и въ ту самую минуту, когда я уже протянулъ руку, чтобъ передать ему деньги, я вдругъ вспомнилъ» и прочее. Все это бѣдный художникъ долженъ былъ выслушивать терпѣливо: онъ не могъ, безъ слишкомъ грубаго нарушенія всякаго общественнаго приличія, напомнить при этомъ случаѣ, что другіе двѣсти рублей о-сю пору еще не заплачены.... А между тѣмъ, само-собою разумѣется, деньги возвратились въ шкатулку хозяина, у котораго и не бывало въ домѣ слуги, подъ названіемъ Никифора, и самое имя Ивана Павловича сказано было наобумъ и придумано въ ту критическую минуту, когда отдавалось загадочное порученіе идти туда, невѣдомо-куда, искать того, невѣдомо-кого, отдать тому, невѣдомо кому....

Художникъ, какъ я сказалъ уже, ушелъ, и я довольно разсѣянно продолжалъ слушать пріятные разсказы моего любезнаго хозяина, но зато съ истиннымъ изумленіемъ наблюдалъ всѣ дѣйствія и движенія его, уловки и непринужденные глубоко обдуманные пріемы, и разсматривалъ по временамъ всѣ окружающіе меня предметы. Чѣмъ больше я видѣлъ и слышалъ, тѣмъ болѣе изумлялся. Кончивъ презабавный и просто разсказанный анекдотъ, хозяинъ отнялъ у меня, безъ обиняковъ, шляпу, позвонилъ и приказалъ подать завтракъ. Я спокойно ожидалъ исполненія этого приказанія—виноватъ, считая его за надувательство: я зналъ очень хо-

рошо, что на фокусника, какъ выше упомянуто, вообще, по принятымъ имъ правиламъ, работали портные и сапожники самыхъ отдаленныхъ странъ; что припасы также забирались сначала въ дальнихъ лавочкахъ и магазинахъ, а въ ближайшихъ уже тогда только, когда счастіе начинало измѣнять и вскорѣ предстояло перемѣнить жилище; я зналъ, что люди его, на этомъ основаніи, бѣгали за каждой свѣчой и за кускомъ мыла изъ Морской къ Николѣ-Морскому, что и тамъ кой-какіе припасы добывались почти съ бою, а большею частью не давалось ничего; но, къ крайнему изумленію моему, черезъ десять минутъ появился балыкъ, икра, сельди въ маслѣ, маринованная форель, сыръ двухъ родовъ, вино.... Я поправился на стулѣ и подумалъ рѣшительно: «пора бѣжать: это не къ добру; тутъ непремѣнно кроются какіе-нибудь виды на меня; буду держать ухо востро.»

Заманчивая бесѣда продолжалась, и хозяинъ, вспомнивъ, что я играю на віолончели, присталъ неотступно, чтобъ назначить вечеръ и сыграть что-нибудь съ супругой его, большой любительницей музыки и искусной піанисткой. Я старался замять разговоръ, не желая завязывать такого короткаго знакомства и зная притомъ, что супруга фокусника играетъ вольно, не стѣсняясь ладомъ и мѣрой, почему и играть съ нею вмѣстѣ бѣда. Надобно также сказать, что у нихъ бывали, несмотря на это, музыкальные вечера, на которыхъ хозяйка пожинала рукоплесканія, будучи сопровождаема скрипкой или віолончелью лучшихъ здѣшнихъ солистовъ. Виртуозовъ этихъ приглашали, какъ на урокъ, по двадцати-пяти рублей ассигнаціями за часъ, съ условіемъ платить за десять уроковъ. Девять вечеровъ оканчивались благополучно, хозяева старались обворожить скрипача своею свѣтскою любезностью; но когда онъ приходилъ на десятый урокъ, то барыни не было дома;

на слѣдующей недѣлѣ случалось то же, тамъ опять то же: не отказываютъ, не приказываютъ, а въ урочный часъ нездорова либо нѣтъ дома. Между тѣмъ, взятъ уже вмѣсто скрипача віолончелистъ и день перемѣненъ; заработавъ также смычкомъ своимъ двѣсти двадцать пять рублей и натѣшивъ отборное общество, онъ приходитъ за десятымъ билетикомъ, положивъ и бумажникъ свой про запасъ въ карманъ для полученія денегъ; но господъ дома нѣтъ. «Это неловко», подумалъ онъ: «я временемъ своимъ дорожу и попрошу, безъ обиняковъ, чтобъ часъ этотъ былъ зачтенъ въ число уроковъ:...» Проси, другъ мой; было бы кого просить: тебѣ придется еще потерять много такихъ часовъ и много разъ прогуляться даромъ, если ты не рѣшишься похерить изъ своего прихода двухсотъ пятидесяти рублей и тѣмъ избавиться отъ лишнихъ и вовсе безполезныхъ хлопотъ?

Расположивъ меня окончательно любезными шуточками въ свою пользу, фокусникъ взялъ меня чуть не подъ мышку и, снабдивъ превосходной сигарой, повелъ прогуляться взадъ и впередъ по комнатѣ. Онъ искусно навелъ бѣсѣду на промышленное направленіе вѣка, коснулся неминуемыхъ злоупотребленій, изъ этого возникающихъ, отвергъ съ негодованіемъ и заклеймилъ презрѣніемъ недостойныхъ сподвижниковъ этого зла, изобразилъ яркими и теплыми красками всю пользу благомыслящаго производителя и смышленаго, оборотливаго промышленника, смѣлаго и оборотливаго, но честнаго человѣка; требовалъ отъ него, кромѣ святой добросовѣстности и страстной любви къ отечеству, также нѣсколько геніальности, а затѣмъ объявилъ мнѣ до времени въ видѣ тайны, что онъ намѣренъ основать товарищество особаго рода—добродѣтельное, благодѣтельное, общеполезное, обѣщающее, между прочимъ, ровно пятьдесятъ процентовъ ретивымъ членамъ своимъ. «Предпріятіе это», продолжалъ онъ: «вѣрное; оно раз-

считано какъ дважды два, а между тѣмъ оно и довольно ново, и можно сказать даже безпримѣрно. Чтожъ! пора же и намъ указывать путь другимъ; не все тянуться гуськомъ. Вотъ, изволите видѣть, я хочу основать дружное, тѣсное товарищество, которое мы назовемъ именно товариществомъ, а не компаніею, на зло всѣмъ нѣмцамъ,—товарищество изъ весьма немногихъ избранныхъ людей, для образованія на паяхъ артелей мирныхъ маркитантовъ. Вамъ это покажется страннымъ? Слушайте: всякому извѣстны неудобство, затрудненіе, дороговизна, заботы и хлопоты по доставленію на домъ необходимѣйшихъ, насущныхъ потребностей: воды, дровъ и пищи. То нѣкого послать въ мясные, зеленные ряды и къ хлѣбнику, то водовозъ запилъ къ празднику, то человѣкъ васъ обманулъ, то мясникъ обвѣсилъ, то дворникъ надулъ,—словомъ, объ этомъ нечего и говорить, это аксіома. Ну, я предполагаю учредить артели, за круговой порукой, какъ учреждены биржевыя артели великимъ геніальнымъ преобразователемъ Россіи, и артели эти будутъ не разносить—замѣтьте, а развозить по столицѣ, доставляя на домъ, всѣ съѣстные припасы, воду и всѣ питія. На всѣхъ улицахъ устроены будутъ особыя кружки, въ которыя каждый хозяинъ опускаетъ записку, съ поименованіемъ нужнаго ему на слѣдующій день; адресы будутъ печатные, и по этой запискѣ, съ выставкой на ней счета, въ восемь часовъ утра все принесено будетъ на вашу кухню. А? подумайте объ этомъ удобствѣ! Все это развозиться будетъ въ опрятныхъ крытыхъ рыдванахъ съ гербомъ девизомъ общества на бокахъ, съ девизомъ *честность и точность*—и вы расплачиваетесь тогда, когда кухарка ваша приметъ все счетомъ, мѣрою и вѣсомъ.... Вотъ обзоръ этого товарищества, съ подробными расчетами: видите, пятьдесятъ процентовъ чистаго барыша—это вѣрно, это цифры, факты, математика.... Если вы хотите присоединиться....»

Звонокъ раздался сильнѣе обыкновеннаго и дважды сряду: фокусникъ поднялъ ушки на макушку, пронеслись громкіе и смѣшанные звуки въ передней, говоръ перешелъ въ крикъ и явную брань.... Я не успѣлъ оглянуться, какъ хозяина моего не стало: онъ исчезъ въ моихъ глазахъ, какъ сквозь землю провалился, и крупные, рѣшительные шаги послышались въ залѣ, а за ними громкое оправданіе лакея: «Хоть сами извольте посмотрѣть, нѣтъ; вотъ и они пришли было дожидаться, да нѣтъ; видно, не скоро будетъ....»

Я ухватилъ шапку, прошелъ мимо какого-то усача съ рѣшительнымъ выраженіемъ въ лицѣ, спустился бѣгомъ съ лѣстницы и съ какою-то чадной головой пришелъ домой....

# НЕВОЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ

Бугровъ и Уключиновъ сошлись на одиннадцатомъ году возраста въ одномъ изъ казенныхъ заведеній и вмѣстѣ. Судьба свела ихъ въ одну роту и одну камеру, и даже кровати ихъ постоянно стояли рядомъ, потому что они оба были волосъ въ волосъ одного роста, такъ что по ранжиру никого нельзя было всунуть между ними. Въ теченіе шести лѣтъ то Бугровъ становился предъ Уключиновымъ, то опять Уключиновъ напередъ Бугрова, смотря по тому, кто кого въ теченіе года на полдюйма перерасталъ; но никогда нельзя было подобрать кого-нибудь въ средину между обоими. Пришедшись другъ другу по нраву, они свыклись и крѣпко сдружились. Дружба ребяческая ничего не стóитъ: она забывается, какъ вчерашній обѣдъ; но если она продлится до юношескихъ лѣтъ и успѣетъ наполнить ту страшную, отчаянную пустоту, которую чувствуетъ человѣкъ, когда въ первый разъ начнетъ постигать назначеніе свое, широко разведетъ сильныя руки, чтобъ обнять весь свѣтъ, и заплачетъ о своемъ одиночествѣ; если, говорю, дѣтская дружба доживетъ до этой поры и потребность союза пробудится одновременно въ той и другóй груди, то тамъ дружба бываетъ сильна и могуча.... Она рѣдка—это правда: мы подавляемъ, изъ

свѣтскаго приличія, это горячее чувство, заковываемъ его благовременно въ ручныя и ножныя кандалы и воображаемъ, что сдѣлали дѣло, что одержали надъ собою побѣду.... Мы ходимъ тогда по бѣлу свѣту, заложивъ руки въ карманы и смѣло приподнявъ бороду, какъ побѣдители; но, вѣрьте мнѣ, нашъ взоръ дѣлается либо мутнымъ, либо наглымъ, а чистоты въ немъ нѣтъ; осанка наша самодовольна, но внутренняго раздора намъ не укротить... Чего недостаетъ—этого мы не знаемъ, не догадываемся, а недостаетъ того, безъ чего Богъ не велѣлъ жить человѣку — друга и товарища....

Уже за годъ до выпуска Бугровъ и Уключиновъ толковали все о томъ, какъ повезутъ другъ друга знакомить у себя въ родительскомъ домѣ, какъ будутъ тамъ дѣтски веселиться, хозяйничать въ саду, ѣздить верхомъ въ полѣ, удить рыбу, пить молоко, ѣсть творогъ и масло, какъ примутъ ихъ родители того и другого, какъ имъ обрадуются сестры,—словомъ, они долго напередъ ужь бредили домашнимъ благополучіемъ своимъ, и это принесло имъ много, много пользы. Мечты такого рода, заставляющія насъ ежеминутно считать милыхъ своихъ присущими, очищаютъ помыслы наши и хотѣніе, облагороживаютъ нравственность.

Настало, наконецъ, желанное время это; оба стали готовиться къ отъѣзду и, обнимая другъ друга втихомолку (потому что имъ какъ-то совѣстно было товарищей), они повторяли, то одинъ, то другой, что едва только достаетъ силы дождаться терпѣливо этого благополучія.... Ихъ, по просьбѣ, назначили въ одинъ полкъ, они отправились вмѣстѣ, положивъ заѣхать сперва къ одному, къ Бугрову, въ Тверскую губернію, а тамъ къ другому, въ Орловскую.

Офицерскій мундиръ и первые эполеты, тряска рядкомъ на троичной телѣгѣ, чистый воздухъ, тепло и

зелень, просторъ до безконечности во всѣ четыре стороны, легкая фуражечка на головѣ, день и ночь колокольчикъ подъ дугой, ободрительные привѣты ямщика къ лошадямъ, своя волюшка, чинъ прапора и наконецъ сабля съ темлякомъ,—какое это счастливое время!

Ранымъ-ранехонько утромъ дорожные наши своротили съ большой дороги на проселочную, и у Бугрова сердце вдругъ забилось вдвое сильнѣе. Оставалось всего верстъ двадцать-пять до родной усадьбы его, гдѣ не бывалъ онъ шесть лѣтъ. Тамъ, по письмамъ, давно ужь знали и любили Уключинова и примутъ обоихъ съ криками радости.... выбѣгутъ на крыльцо, во дворъ, сестры напереди, за ними мать, а тамъ и разсудительный отецъ, который никогда и ни въ чемъ не любитъ торопиться и потому спокойно пропуститъ всю молодежь эту мимо себя, а самъ развѣ немного только прибавитъ шагу противъ обыкновеннаго, зная, что онъ не опоздаетъ....

Было еще рано, май на исходѣ, а въ маѣ хорошо... даже и въ Тверской губерніи. Легонькій туманъ, какъ будто налегшій на ночь для отдыха на землю, вяло поднимался опять въ походъ; потягиваясь спросонья по всѣмъ продоламъ и ложбинкамъ, принимая образъ, онъ кутался въ сѣрый охабень свой, сливаясь тутъ и тамъ со столбами дыма; вершины холмовъ и проснувшіеся лѣса ужь стряхнули съ себя ночное одѣяло, въ свѣжей зелени встрѣчали красное солнышко и готовились продышать денекъ среди раздолья, на радость человѣку, во славу Создателя. Жаворонокъ ликовалъ надъ гнѣздышкомъ своимъ, потряхивая лѣтками; грачи стаями тянулись вдалекѣ съ ночлега въ поле, впереди глухо раздавался равномѣрный стукъ валька какой-то ранней прачки, а ему вторилъ двойной отголосокъ. Все было празднично и чинно; даже крестьянъ не видно было

въ полѣ, потому что это было время такъ-называемаго междупарья.

«Какъ мы съ тобой счастливы!» сказалъ живой и вертлявый Бугровъ своему товарищу, который сидѣлъ задумавшись:—«какъ мы счастливы! какія радости насъ ожидаютъ, не правда ли?—«Что?» спросилъ Уключиновъ, приподнявъ брови, потому что изъ-за колокольчика не слыхалъ ни одного слова. Бугровъ принужденъ былъ возвысить голосъ и прокричать товарищу изъявленіе своего восхищенія на ухо. Тотъ кивнулъ головой, промолчалъ, а потомъ немного погодя, надумался и пожалъ товарищу руку. Бугровъ сидѣлъ, какъ на иголкахъ, оглядывался во всѣ стороны, старался узнавать и припоминать мѣстность, кричалъ, разсказывалъ и объяснялъ. Впервые еще испытывалъ онъ это чувство,—увидать послѣ первой и долгой разлуки родину свою, и не зналъ, куда дѣваться отъ восторга. Два часа прошли скоро, поднялись небольшимъ изволокомъ на взлобокъ и увидѣли еще за горой невысокую колокольню; спустились, перевалили черезъ холмистую гряду—и вотъ усадьба лицомъ къ лицу: просадь толстыхъ, старыхъ деревьевъ проѣхали мимо, потому что она когда-то посажена была вдоль и посрединѣ двора, въ томъ предположеніи, что со временемъ выстроится тутъ барскій домъ; но дѣло не состоялось: просадь выросла и заглохла, а маленькій домикъ, поставленный въ сторонѣ и назначенный современемъ подъ ухожи, все еще служилъ уже другому поколѣнію Бугровыхъ жилымъ домомъ, постепенно разползаясь въ ширину, какъ старый боровикъ; остановились противъ воротъ, путники соскочили, и Бугровъ, покинувъ своего товарища пустился бѣгомъ на крылечко, перескочилъ въ одинъ прыжокъ нѣсколько ступеней и остановился, озадаченный встрѣчею старушки въ самыхъ дверяхъ. Поглядѣвъ съ секунду на нее, онъ закричалъ: «няня Василиса!» и бросился ее

обнимать. Старуха, съ своей стороны, обнила его пріемовъ въ десять, опускаясь послѣдовательно все ниже и ниже, такъ что Бугровъ не успѣлъ опомниться, какъ она дошла ужь до икръ его и сапожныхъ носковъ.

Въ домѣ не спали, но никто почти не былъ еще готовъ для пріема такихъ дорогихъ гостей, особенно одного чужого. Отецъ, вопреки предположеній сына, явился первый и обнялъ Уключинова почти съ такимъ же отеческимъ чувствомъ, какъ своего сына. Затѣмъ вышла поспѣшно мать, приготовившись принять сына, ради гостя, съ нѣкоторымъ приличіемъ и чинностью; она ужъ вошла въ комнату съ чепцомъ на бекрень, хотѣла было начать расклапиваться, но залилась слезами и бросилась на шею сына, который обнялъ ее въ одинъ прыжокъ. Какъ только показалась старшая дочь Варвара, то братецъ ловко подсунулъ ей вмѣсто себя гостя, на котораго она и разлетѣлась со всего разгону, а самъ за него уклонился.... Она внезапно вспыхнула, когда руки ея уже коснулись плечъ мнимаго братца, который стоялъ, руки по швамъ, наклонивъ сперва почтительно голову, а потомъ какъ-будто готовый отклонить ее вбокъ или назадъ.... Братецъ, захохотавъ, выскочилъ изъ-за друга и обнялъ обоихъ въ одинъ пріемъ, а тамъ еще разъ сестрицу въ одиночку, и не успѣлъ еще выпустить ее изъ объятій своихъ, какъ въ комнату влетѣла другая сестра и втерлась между ними третьею.

«Что ты сдѣлалъ со мною сегодня?» укорялъ Уключиновъ вечеромъ своего товарища; «я во весь день не зналъ куда дѣваться, право; и самъ не знаю, что со мной, а какъ только взгляну на сестру твою, такъ бы вотъ въ землю ушелъ....»

Прошла недѣля; болѣе оставаться имъ нельзя было, и товарищи, между слезъ, благословеній, пожеланій,

снова усѣлись въ бричку, которая должна была довезти ихъ до первой станціи, и покатили....

Куда ушли всѣ радости эти? Гдѣ минута, когда Бугровъ воскликнулъ: «о, какъ мы счастливы!...» Всего прошла одна только недѣля, ничего существеннаго не измѣнилось, а горько ему было и очень тяжело на душѣ. Оставалось заѣхать еще въ Орловскую губернію къ Уключинову, погостить и тамъ съ недѣльку, и затѣмъ прямымъ и скорымъ путемъ чрезъ Днѣстръ, чрезъ Прутъ, чрезъ Дунай—и Богъ вѣсть куда дальше, куда полетитъ двуглавый орелъ.

На первой станціи, при перекладкѣ вещей въ телѣгу, встрѣтилось маленькое затрудненіе уложить вещи, хотя онѣ прежде укладывались свободно: оказалось, что старушка напекла цѣлый возъ однихъ подорожниковъ, не говоря ужь о жареныхъ индѣйкахъ и поросятахъ. Несмотря ни на какое стараніе, значительная часть этого продовольствія была снова погружена въ бричку и поѣхала при нѣжномъ, благодарственномъ письмѣ, домой. Уключиновъ, получившій позволеніе называть Вареньку также милою сестрицей, приписывалъ ей, въ этомъ званіи, нѣсколько строкъ, и сбоку, поперекъ письма, выставилъ парочку многозначительныхъ стишковъ, выбранныхъ на память изъ Жуковскаго....

Чѣмъ ближе путники наши подъѣзжали къ Орлу, тѣмъ смиреѣе и задумчивѣе становился вѣтрогонъ Бугровъ, между тѣмъ какъ Уключиновъ постепенно оживалъ и дѣлался развязнѣе обыкновеннаго. Подъ-вечеръ, въ жаркій день первыхъ чиселъ іюня, Уключиновъ сталъ мало-по-малу признавать полузабытую мѣстность: «Вотъ эту ветхую, деревянную церковь я помню; въ это село я ѣздилъ однажды съ отцомъ, но она ужь, какъ видно, упразднена, стоитъ и разсыпается, а подлѣ усердіемъ зажиточныхъ прихожанъ выстроена

каменная.... но неужели она красивѣе старой? Нѣтъ, наши старыя, даже и деревянныя церкви красивѣе новыхъ: новыя гладкія и голы. Вотъ эти три мельницы я помню: онѣ виднѣются даже съ кровли нашей голубятни.... а вонъ и разсыпной курганъ, одинокій свидѣтель никому невѣдомыхъ событій. Помню разсказы няньки о каменной бабѣ, которая стояла на немъ и пошла, разсердившись на орловцевъ, куда-то въ Тмутараканское княжество, къ татарамъ: слѣды поступи ея семь лѣтъ травой не поростали... Бугровъ, взгляни впередъ, неужто тебѣ вѣщее не говоритъ, чья усадебка будетъ вонъ — вонъ, за тѣмъ лѣсочкомъ?» Уключиновъ сдѣлался противъ обыкновенія говорливъ: онъ какъ-то ожилъ. Тамъ, за лѣсочкомъ этимъ, тянется овражекъ; по подошвѣ его прыгаетъ по камешкамъ рѣчка, небольшая, но чистая и быстрая; лѣсокъ переходитъ на ту сторону оврага, скучивается въ полугорьи густо, а деревья растутъ на этомъ мѣстѣ дружно и высоко; далѣе лѣсокъ разсыпается мелкимъ кустарникомъ, и гдѣ стоитъ во полѣ одинокій вязъ, тамъ ему конецъ.... Подъ самымъ густымъ и дружнымъ лѣскомъ стоитъ домикъ, съ широкимъ навѣсомъ въ видѣ выступа напереди; на выступъ ведутъ полукружіемъ дѣнадцать ступеней, и подъ каждой ступенькой яркими красками изображена охота: тутъ травятъ зайца, повыше стрѣляютъ куропатокъ, тамъ гоняютъ волка — помнишь? Виноватъ, ты вѣдь этого и не видалъ!.... По обѣ стороны воротъ скворечницы, на длинныхъ жердяхъ; насупротивъ, въ глубинѣ двора, голубятня, подъ скворечницами собачьи кануры, пустыя, а собаки бѣгаютъ на свободѣ; отъ крылечка идетъ чуть покатый заповѣдный лужокъ, чрезъ который нѣтъ ѣзды, и ты пускаешься къ рѣчкѣ, гдѣ съ большимъ трудомъ пріурочены два большіе куста тростника: на нашей рѣчкѣ его нѣтъ.... Мы съ тобой

поселимся на вышкѣ, о которой я забылъ тебѣ сказать: она на самой срединѣ, надъ выступомъ, низенькая, уютная и зимой нежилая; но теперь будетъ въ ней прекрасно: отъ жара, чтобъ не пропекло, нанесена двойная кровелька, и промежутокъ той и другой биткомъ набитъ птичьими гнѣздами, которыя я, бывало, потрошилъ дюжинами.... Бугровъ, видишь?» Бугровъ обнялъ товарища, подбилъ ему при этомъ случаѣ на кочкѣ глазъ вискомъ своимъ и успокоился.

Солнце по лѣвую руку собиралось садиться, когда они взяли направо за лѣсокъ и вправѣ же увидѣли усадебку, какъ ее описалъ Уключинов. Телѣга неслась по чистому, ровному мѣсту, открытому со стороны усадьбы, гдѣ, безъ сомнѣнія, услышали колокольчикъ, потому что женщина, въ розовомъ платьицѣ, быстро выбѣжала на крылечко, взглянула на ѣдущихъ и въ ту же минуту, закричавъ что-то въ растворенную дверь комнатъ, пустилась бѣгомъ чрезъ лужокъ, чрезъ кладку на рѣчкѣ, прямо на нихъ.... Покуда телѣга спускалась по объѣзду, дѣвушка ужъ перерѣзала путникамъ дорогу, и они не успѣли соскочить съ телѣги, какъ молоденькая и пригоженькая Анюта, вскочивъ будто на крылышкахъ въ повозку, лежала въ объятіяхъ брата. Тогда только ямщикъ успѣлъ повернуть лошадей немного бокомъ, противъ косогора и, остановивъ ихъ, съ улыбкой оглядывался назадъ себя на баръ. Анюта безъ обиняковъ усѣлась между двумя товарищами, слегка поздоровалась съ Бугровымъ и закричала ямщику: «пошелъ, пошелъ!»

Между-тѣмъ отецъ и мать вышли скорыми шагами на крылечко; двое маленькихъ сыновей пустились бѣгомъ на встрѣчу, также перебѣжали было второпяхъ кладку, но, увидѣвъ, что ужъ опоздали, воротились назадъ и встрѣтили телѣгу у самыхъ воротъ. Вся дворня высыпала: женщины напереди, позади ихъ

мужская прислуга, покрикивая изподтишка на бойкихъ ребятишекъ, совавшихся, ради диковинки и общей тревоги въ домѣ, подъ ноги пріѣзжимъ.

На другой же вечеръ, когда товарищи сидѣли на вышкѣ своей, простившись съ хозяевами, и собирались ко сну, Бугровъ разсыпался предъ Ключиновымъ въ самомъ короткомъ любовномъ признаніи. Онъ не хотѣлъ и слышать ни о скоромъ отъѣздѣ, ни о службѣ, ни о славѣ, которая ждала ихъ за Дунаемъ. «Я остаюсь здѣсь, у тебя», говорилъ онъ: «будь что будетъ, пусть меня исключатъ, пусть отдадутъ подъ судъ, пусть, наконецъ, казнятъ—я отсюда не тронусь ни на шагъ. Сестра твоя.... ну, я не знаю, что она изъ меня сдѣлала въ однѣ сутки — я себя не помню, не узнаю.... Весь свѣтъ мнѣ теперь вдвое милѣе, вдвое краснѣе и пригоже; все умное, добрее и хорошее вдвое умнѣе и лучше; но ужь за то всѣ глупое и пошлое вдвое глупѣе и пошлѣе. Воля твоя, а я остаюсь здѣсь, на вышкѣ этой, или, пожалуй, на голубятнѣ, и буду жить тамъ до скончанія вѣка.» Ключиновъ помалчивалъ и улыбался, отвѣчалъ на бѣшеныя объятія друга умѣренными ласками, призадумался и погасилъ свѣчу.

Рѣзвая пятнадцатилѣтняя Анюта, съ золотистыми кудрями своими и розовымъ личикомъ, почти съ первой встрѣчи не отличала роднаго братца отъ названнаго, котораго, ужь по предварительному письменному уговору, обязана была называть братцемъ, да, сверхъ-того, еще милымъ; онъ же гонялся за нею по саду, какъ за козочкой, и въ нѣсколько дней вовсе позабылъ свою сестрицу Вареньку. Между-тѣмъ недѣля ушла, прошли и еще два дня, и еще день, которые Бугровъ вымолялъ у товарища своего, какъ отчаянную, послѣднюю отстрочку, и русскій инвалидъ, прибывшій въ сельцо Помелово съ вѣстями о взятіи Браилова, едва только могъ заставить обезумѣвшаго Бугрова опомниться,

выслушать спокойно Уключинова и согласиться, что точно ѣхать пора и нельзя терять болѣе ни одного часа. При прощаніи онъ плакалъ на-взрыдъ, какъ ребенокъ и сѣлъ въ телѣгу, точно какъ приговоренный.

Прошло слишкомъ три года послѣ этого, какъ молодой подпоручикъ, съ крестикомъ, ѣхалъ въ домовый отпускъ, въ Тверскую губернію. Онъ ѣхалъ одинъ, безъ друга и товарища своего, и былъ очень похожъ на вѣтрогона Бугрова, потому что это онъ самый и есть; но подросшія бакенбарды придавали ему болѣе степенный и мужественный видъ, а въ наружности и осанкѣ его трудно было узнать бывшаго Бугрова. Велико-ли дѣло три года, а какъ они всегда измѣняютъ человѣка!

Опять лежалъ ему путь съ юга на Орелъ, но онъ и не подумалъ заѣхать къ Уключиновымъ, въ Помелово. Что ему тамъ дѣлать? Друга и товарища, въ которомъ онъ души не слышалъ, нѣтъ; названной сестры, Анюты, нѣтъ.... «О, какъ грустно жить на свѣтѣ!» думалъ онъ, сидя небрежно на чемоданчикѣ своемъ и понуривъ голову.... «Какъ мертва вся природа вкругъ меня! какъ дико каркаютъ грачи на пашняхъ! какъ уныло и однообразно звенитъ докучливый колокольчикъ!....»

Радостенъ былъ пріемъ, особенно первая встрѣча Бугрова въ тверской усадебкѣ; тамъ, какъ-будто наперекоръ всему свѣту, ничего не измѣнилось въ три года — по крайней мѣрѣ по наружности: почтенный старичокъ со старушкой немного постарѣли, но были еще свѣжи и бодры. Варенька изъ пятнадцатилѣтняго полуребенка распустилась и расцвѣла въ восемнадцатилѣтнюю дѣвицу, но грусть по другомъ братѣ, по Уключиновѣ, о которомъ писалъ Бугровъ родителямъ своимъ изъ-подъ Шумлы, такъ глубоко врѣзалась въ мягкія черты Варенькина личика, что грустно было на нее

смотрѣть. Счастіе или надежда на житейское спокойствіе будущности для обѣихъ семей этихъ было разстроено, разбито.

Уключиновъ палъ при какой-то незначительной ночной стычкѣ, а сестра его, спустя около года послѣ этого печальнаго случая, вышла противъ воли замужъ за довольно богатаго старичка, сосѣда ихъ, который, по мнѣнію родителей ея, непремѣнно долженъ былъ составить ея счастье. Вотъ какіе безбожные каламбуры, не вѣдая того, строятъ иногда старички наши, и вотъ какъ играютъ не только словами, но и самою жизнью людей! Они пристроили дочь и сами были довольны: заботы ихъ о ней миновались: какъ же не быть ей счастливою? Но, почтенные старички, какъ же вы не разсудите, что у нея не было и быть не могло вашихъ заботъ, а были и есть и долго еще будутъ свои, о которыхъ вы теперь и знать не хотите, потому-что память ваша коротка и вы давно о нихъ забыли?....

Проходитъ еще годокъ; семейство Бугровыхъ сидѣло за вечернимъ чаемъ. Поручикъ, который состоялъ въ расположенномъ около Москвы корпусѣ, былъ опять наѣздомъ дома, пріѣхавъ только на нѣсколько дней. Это было зимой; на окнахъ наросла цѣлая моховина льду и пней, къ которымъ привѣшивались снаружи хлопья снѣга; весь домишко тонулъ въ сугробахъ снѣжныхъ, и бесѣда между старикомъ и сыномъ шла о хозяйствѣ, о томъ, между-прочимъ, что у насъ, разсчитывая рабочія силы крестьянина, надо класть въ счетъ то, чего за границей и не знаютъ: сколько рабочихъ дней пойдетъ у крестьянина самымъ незамѣтнымъ образомъ, потому что онъ къ этому привыкъ, на отвалъ снѣгу при молотьбѣ отъ стожка, на ежедневную очистку ладони, на вывозъ дровъ изъ лѣса, который засыпанъ снѣгомъ, до первой развилины пней,

и, наконецъ, на самую бездѣлицу — на обрубку льда вкругъ прорубей и колодцевъ, чтобъ добыть воды... «Все это надо положить въ разсчетъ», говорилъ старикъ, не замѣчая, въ горячности разговора, что слуга стоитъ передъ нимъ въ какомъ-то томительномъ и суетливомъ ожиданіи. «Что такое?» спросилъ сынъ. «Кто-то на дворъ въѣхалъ», отвѣчалъ тотъ, «въ дорожной повозкѣ.» Оглянулись — Уключиновъ, съ мерзлыми усами, съ мохнатою шапкой въ рукахъ, стоитъ ужъ въ дверяхъ.... Общее молчаніе длилось нѣсколько секундъ; явленіе это было слишкомъ-непонятно и неожиданно; притомъ Уключиновъ измѣнился въ теченіе послѣдняго времени и, вдобавокъ, еще распухъ и раскраснѣлся отъ безсонницы и отъ морозовъ. Молодой Бугровъ перекрестился; Варенька поблѣднѣла, какъ полотно и, устремивъ взоры прямо на привидѣніе, медленно начала приподниматься со стула; но она внезапно опять присѣла, и голова ея скатилась на плечо. Мгновено все общество ожило: старики, братъ и гость — все бросилось безъ разбора къ ней на помощь, и только когда она опять пришла въ себя и подала молча руку стоявшему подлѣ Уключинову, тогда только начались восторги, привѣтствія, крики и громкія лобзанія, въ продолженіе которыхъ, впрочемъ, Уключиновъ располагалъ только лѣвою рукой своею и стоялъ на одномъ мѣстѣ, принимая постепенно въ объятія свои всѣхъ членовъ семейства.

Успокоившись нѣсколько, сѣли. На всѣхъ лицахъ написано было рѣзкими чертами радостное изумленіе и любопытство, кромѣ одного только личика, которое было въ эту минуту облечено въ сіяніе блаженства и покоя. Она была такъ счастлива настоящимъ, что въ груди ея не вмѣщалось болѣе никакого чувства; она не хотѣла знать ничего, кромѣ того, что милый ея здѣсь, предъ нею, и что она держитъ теперь его руку,

могли усомниться, чтобъ не видѣли предъ собою жениха и невѣсту.

Но старикъ Бугровъ, не смотря на это, богъвѣсть отчего, былъ какъ-то во весь день озабоченъ и даже скученъ; онъ развеселялся, только какъ-будто забывшись, а тамъ опять ходилъ или сидѣлъ призадумавшись. Наконецъ, онъ отозвалъ сына въ другую комнату и сказалъ ему вотъ что: «Послушай, другъ мой, подумайте о томъ, что вы дѣлаете: вспомните, что вамъ въ одно и то же время и шурьями, и зятьями быть нельзя; либо то, либо другое.» — «Какъ?» спросилъ молодой Бугровъ, озадаченный до того, что не могъ сообразить простаго смысла этихъ словъ. «А какъ же?» продолжалъ отецъ: «Богъ съ тобой, другъ мой, опомнись, этого нельзя, не позволяется: родство!»

Что оставалось дѣлать теперь нашимъ бѣднымъ поручикамъ, когда судьба еще разъ поставила ихъ въ самое неожиданное и отчаянное положеніе? Неужели Бугрову было противиться видимому блаженству сестры и друга, разорвать теперь этотъ неразрывный, искусившійся союзъ, и неужели ему отказаться навѣкъ отъ своего счастья, которое, послѣ такихъ, едва сбыточныхъ превратностей, ему окончательно улыбнулось? Но что же будетъ изъ бѣдной Анюты, горькой вдовы почти до ненавистнаго ей замужества, изъ Анюты, которая была все та же, по словамъ брата, и даже сказала ему, обнявъ его въ послѣдній разъ въ повозкѣ: «я не выйду, братецъ, изъ повозки твоей... вези меня съ собой, туда...»

Да, это бореніе было жестоко. Десять разъ приставала сестра къ милому брату, а женихъ ея къ другу: они не понимали, какой недобрый духъ могъ въ это блаженное время поселиться въ домѣ и заставить отца, мать, а наконецъ и сына, ходить изъ угла

въ уголъ съ такимъ стѣсненнымъ, унылымъ видомъ... Но Бугровъ упорно молчалъ; онъ ужь объяснился съ отцомъ, который обнялъ его при этомъ и на глазахъ котораго сынъ, сколько могъ припомнить, отъ-роду въ первый разъ увидѣлъ слезу... Бугровъ отказывался отъ своего счастья, отказывался отъ предположенной поѣздки въ Орелъ, и, вмѣсто того, завтра же уѣзжалъ въ полкъ... Такъ бы оно и сталось, вѣроятно, еслибъ мать не проговорилась дочери, которая, въ свою очередь, выплакала все горе это на грудь своего милаго.

Итакъ, много ли дней прошло опять съ того времени, какъ Уключиновъ вошелъ съ намерзшими усами и какъ всеобщее счастье почти каждаго изъ членовъ этихъ двухъ семействъ казалось прочно-обезпеченнымъ? А что-жь теперь. И кто пособитъ этому горю, этому бѣдствію?

Я вамъ скажу, кто пособитъ: собственная сила и воля надъ собою человѣка. Не вѣрьте, чтобъ счастье было извнѣ; оно въ васъ, внутри васъ: это—воля ваша, сила души и вѣра.

Уключиновъ не долго боролся и страдалъ; онъ рѣшился скоро. «Варенька», сказалъ онъ ей, когда они были одни: «послушай и пойми меня, другъ мой; я теперь ужь не свой; я не могу располагать ни собою, ни своею волею: я твой. Но смотри, что мы дѣлаемъ: хладнокровно, обдуманно и умышленно мы разбиваемъ на вѣкъ счастіе моей сестры и твоего брата; только этою цѣною можемъ мы искупить бракъ свой. Но, другъ мой, необходимо ли это для насъ и не будетъ ли насъ преслѣдовать навсегда угрызеніе совѣсти, когда мы будемъ осуждены смотрѣть на отравленную нами жизнь любимцевъ нашихъ? Не отравитъ ли это навсегда и нашу жизнь, и гдѣ-жь мы тогда найдемъ то, чего мы такъ жадно и продолжительно искали,—счастія?»

Лицо Варенькн постепенно свѣтлѣло; глаза ея принимали необычайный блескъ; кроткія черты становились рѣзче и переходили въ выраженіе рѣшимости и покоя; одно только бурное колыханіе груди измѣняло ей. Уключинов продолжалъ: «а еслибъ мы остались навсегда братомъ и сестрой, еслибъ всегда любили другъ друга, какъ любимъ теперь, развѣ мы бы не были счастливы?»

Варенька бросилась ему на шею и могла только проговорить: «братъ...»

Предоставляю вамъ судить о новомъ изумленіи цѣлаго семейства, когда Варенька съ женихомъ своимъ вошла рука-въ-руку и, вмѣсто ожидаемаго всѣми со страхомъ и радостью объясненія, просила отца и мать благословить—не жениха и невѣсту, а брата съ сестрой! Старики недоумѣвали, что дѣлать, какъ это принять; мать горько плакала, братъ выходилъ изъ себя и рвалъ на себѣ волосы... Одна только чета эта, Варенька съ новымъ братцемъ своимъ, стояла спокойно и безмятежно, ублажаемая чистымъ и сладкимъ чувствомъ своего мечтательнаго самопожертвованія...

Но дѣло разъигралось совсѣмъ иначе. «Дѣти,» сказалъ, подумавъ, отецъ: «я вижу, что все это такимъ образомъ добромъ кончиться не можетъ: беру грѣхъ на себя и устрою по крайнему своему разумѣнію.» Онъ разсказалъ имъ, что и какъ предполагаетъ сдѣлать, и не успѣлъ онъ кончить, какъ опять ужь всѣ обнимались съ слезами чистой радости, и не было ни одной слезинки горькой, слезы отчаянія и печали.

Чрезъ нѣсколько дней два друга опять ужь сидѣли въ повозкѣ путника и, заѣхавъ на короткое время, для двухнедѣльнаго отпуска Бугрову, въ подмосковную, помчались далѣе, въ Орелъ. «Вы меня еще помните?» спросилъ онъ, вошедши съ полукруглаго крылечка подъ навѣсомъ въ комнату, въ которой сидѣла

за работой молодая женщина, въ печальномъ платьѣ... Опять черезъ два дня Уключиновъ, устроивъ дома все нужное, несся во весь духъ на Тверь, въ усадьбу Бугровыхъ, а Бугровъ остался у Уключиновыхъ, которымъ, конечно, было и довольно времени и случая одуматься, пожалѣть о прошломъ и не противиться будущему..

Въ одинъ день и въ одинъ часъ вѣнчались двѣ четы: одна въ селѣ Радищевѣ, близъ Помелова, Орловской губерніи, другая—въ Тверской, также въ приходской сельской церкви, куда причислялась вотчина Бугровыхъ. Кто вѣнчался—объ этомъ не нужно и говорить, хотя ни та, ни другая свадьба не была *краденая*, какъ называютъ у насъ вообще всякую тайную свадьбу; обѣ происходили гласно, среди бѣлаго дня, съ соблюденіемъ всѣхъ установленныхъ церковью и гражданскими законами правилъ. Въ тотъ часъ, въ который четы эти вѣнчались, между ними не было никакой степени родства, могущей быть законной помѣхой ни для той, ни для другой.

Дай же имъ Богъ любовь да совѣтъ, жить-поживать, добра наживать; денегъ съ нужу, платья съ ношу, а дѣтокъ—что вѣтокъ!

Лицо Вареньки постепенно свѣтлѣло; глаза ея принимали необычайный блескъ; кроткія черты становились рѣзче и переходили въ выраженіе рѣшимости и покоя; одно только бурное колыханіе груди измѣняло ей. Уключинов продолжалъ: «а еслибъ мы остались навсегда братомъ и сестрой, еслибъ всегда любили другъ друга, какъ любимъ теперь, развѣ мы бы не были счастливы?»

Варенька бросилась ему на шею и могла только проговорить: «братъ...»

Предоставляю вамъ судить о новомъ изумленіи цѣлаго семейства, когда Варенька съ женихомъ своимъ вошла рука-въ-руку и, вмѣсто ожидаемаго всѣми со страхомъ и радостью объясненія, просила отца и мать благословить—не жениха и невѣсту, а брата съ сестрой! Старики недоумѣвали, что̀ дѣлать, какъ это принять; мать горько плакала, братъ выходилъ изъ себя и рвалъ на себѣ волосы... Одна только чета эта, Варенька съ новымъ братцемъ своимъ, стояла спокойно и безмятежно, ублажаемая чистымъ и сладкимъ чувствомъ своего мечтательнаго самопожертвованія...

Но дѣло разъигралось совсѣмъ иначе. «Дѣти,» сказалъ, подумавъ, отецъ: «я вижу, что все это такимъ образомъ добромъ кончиться не можетъ: беру грѣхъ на себя и устрою по крайнему своему разумѣнію.» Онъ разсказалъ имъ, что̀ и какъ предполагаетъ сдѣлать, и не успѣлъ онъ кончить, какъ опять ужь всѣ обнимались съ слезами чистой радости, и не было ни одной слезинки горькой, слезы отчаянія и печали.

Чрезъ нѣсколько дней два друга опять ужь сидѣли въ повозкѣ путника и, заѣхавъ на короткое время, для двухнедѣльнаго отпуска Бугрову, въ подмосковную, помчались далѣе, въ Орелъ. «Вы меня еще помните?» спросилъ онъ, вошедши съ полукруглаго крылечка подъ навѣсомъ въ комнату, въ которой сидѣла

за работой молодая женщина, въ печальномъ платьѣ... Опять черезъ два дня Уключиновъ, устроивъ дома все нужное, несся во весь духъ на Тверь, въ усадьбу Бугровыхъ, а Бугровъ остался у Уключиновыхъ, которымъ, конечно, было и довольно времени и случая одуматься, пожалѣть о прошломъ и не противиться будущему..

Въ одинъ день и въ одинъ часъ вѣнчались двѣ четы: одна въ селѣ Радищевѣ, близъ Помелова, Орловской губерніи, другая—въ Тверской, также въ приходской сельской церкви, куда причислялась вотчина Бугровыхъ. Кто вѣнчался—объ этомъ не нужно и говорить, хотя ни та, ни другая свадьба не была *краденая*, какъ называютъ у насъ вообще всякую тайную свадьбу; обѣ происходили гласно, среди бѣлаго дня, съ соблюденіемъ всѣхъ установленныхъ церковью и гражданскими законами правилъ. Въ тотъ часъ, въ который четы эти вѣнчались, между ними не было никакой степени родства, могущей быть законной помѣхой ни для той, ни для другой.

Дай же имъ Богъ любовь да совѣтъ, жить-поживать, добра наживать; денегъ съ нужу, платья съ ношу, а дѣтокъ — что вѣтокъ!

# РАЗСВАТЪ

У насъ говорится: сватъ на конѣ, а разсватъ на свиньѣ. Будь такъ; но бываетъ иначе, видѣлъ я и наоборотъ.

«Пора пристроить дочь», поговаривалъ помѣщикъ средней руки Махалкинъ, когда бывалъ глазъ-на-глазъ съ супругою своею, Анной Алексѣевной, и она со вздохомъ соглашалась, что пора. А почему пора—этого они другъ у друга не спрашивали. Дочери было всего лѣтъ восемнадцать, и ей, повидимому, дѣвичья воля еще не наскучила; но родители думали иначе. Она была воспитана въ столицѣ, съ большимъ трудомъ только приживалась понемногу къ домашнему быту, отъ котораго вовсе было отвыкла; прежнія подруги, съ которыми она столько мечтала, были у нея еще гораздо болѣе на умѣ, чѣмъ женихи; а выборомъ жениха трудно было на нее угодить, не столько по прихотливой затѣйливости ея, какъ по разборчивости чувствъ и понятій.

Нашелся, однакожь, сватъ, нашлась и сваха, которымъ до всего этого не было никакой надобности, а которымъ только надо было состряпать свадьбу. Машенькѣ сказали объ этомъ тогда, когда тамъ дѣло уже было покончено, разсуждая, по принятому порядку,

что дѣтямъ объ этомъ до поры говорить не годится. Она ахнула, но не сумѣла даже и испугаться этой вѣстки такъ, какъ бы ей слѣдовало, потому что не могла образумиться, не могла еще усвоить себѣ этой мысли, а ходила на яву, какъ во снѣ. Но дѣло, какъ обыкновенно, было спѣшное, всѣ торопились, всѣ радовались этой новости, всѣ поздравляли, многіе завидовали: барышни обшивали невѣсту, и родители назначили уже помолвку, пригласивъ, какъ водится, всѣхъ сосѣдей.

Гости съѣхались въ праздничныхъ нарядахъ и съ торжественными ужимками; родители не успѣвали откланиваться и отцѣловываться; но у бѣдной невѣсты было вовсе непраздничное личико и, взглядывая на нее, многіе подтягивали губы и перешептывались. Родители ея были иногда въ видимомъ замѣшательствѣ; мать ходила за нею слѣдомъ, услужливый рой любопытныхъ толпился за ними; утѣшенія, ласки, наставленія и завѣренія сыпались со всѣхъ сторонъ, но дѣвушкѣ, повидимому, не было отъ этого легче: ее выводили изъ заднихъ покоевъ въ гостиную еще болѣе блѣдною и заплаканною, чѣмъ прежде.

Гости съѣхались, какъ водится въ деревнѣ, съ самаго утра; время шло; но между тѣмъ оставалось еще часа два до обѣда. Широкая дверь гостиной была растворена въ большой садъ, и многіе гуляли по убитымъ и усыпаннымъ дорожкамъ. Туда же вышла съ подругами невѣста; ища покоя и одиночества, она отшатнулась въ сторону съ одною только близкою пріятельницею, и обѣ вмѣстѣ горько плакали. Пріятельница эта не понимала хорошенько горя Маши, привыкнувъ думать и чувствовать, какъ деревенская барышня, что молодой, видный и еще достаточный женихъ—находка; но она охотно плакала, ради тѣсной дружбы своей и думала: «Боже мой! хоть бы мнѣ такое счастье!»

Въ отчаяніи, подруга эта подозвала своего брата, который зналъ съ дѣтства невѣсту; а какъ онъ теперь самъ себѣ засваталъ дѣвушку, то принялъ къ сердцу положеніе бѣдной Маши, сталъ ее утѣшать и разспрашивать. Она открыла ему, въ отчаяніи, всю душу свою. Она была увѣрена, что бракъ этотъ долженъ ее погубить, что счастія, спокойствія отъ этой минуты ей болѣе не ожидать и не видать,—словомъ, она оплакивала сама себя, какъ покойницу. Не зная ничего дурного о женихѣ своемъ, она и не могла выставить никакой особенной причины этому, но говорила, что онъ ей постылъ и противенъ, что родители ее заживо хоронятъ.

Подумавъ немного, Малоемцевъ (прозваніе этого молодого человѣка) отправился къ жениху, съ которымъ онъ также былъ близокъ.

«Знаешь ли ты, любезный другъ, какъ невѣста твоя къ тебѣ расположена?»—«Къ несчастью, знаю. Что жь я стану дѣлать?» «Послушай, дай поговорить съ тобой разумное слово! Вотъ что: она сейчасъ сказала сестрѣ моей, что уважаетъ тебя, слыша о тебѣ одно только хорошее, но не можетъ одолѣть безсознательнаго отвращенія отъ замужества, что бракъ вашъ будетъ обоюднымъ вашимъ бѣдствіемъ, и что она бы почти была готова наложить на себя руку.»—«Сохрани меня Богъ!» отвѣчалъ женихъ, «отъ такого грѣха и бѣдствія... Да, это истинное бѣдствіе. Люди вмѣшались въ дѣло, сосватали насъ, состряпали свадьбу, и—видитъ Богъ— я тутъ ни въ чемъ не виноватъ. Когда мнѣ стали говорить впервые о невѣстѣ моей, то я ее еще и не видѣлъ; меня привезли, познакомили: она мнѣ понравилась; но правда, никакой особенной привязанности тутъ не было и мы даже не успѣли хорошенько узнать другъ друга; я не думалъ настаивать, не воображалъ себѣ, чтобъ ее стали нево-

лить, а далъ только съ своей стороны согласіе и полномочіе добрымъ людямъ, которые такъ неудачно и безбожно имъ воспользовались...»—«Хорошо», продолжалъ Малоемцевъ: «на что жь ты при такихъ обстоятельствахъ рѣшаешься?»—«Другъ мой, на что жь я могу рѣшиться, когда ужъ все рѣшено? Развѣ теперь судьба наша въ моихъ рукахъ? Добрые люди постарались за насъ, дай Богъ имъ здоровья; мы оба остались тутъ, такъ сказать, лицами посторонними. Теперь поздно; я сватался, она дала слово—дѣло рѣшено!»—«Ты правъ; но я не могу спокойно на это смотрѣть. Ты меня знаешь. Хочешь ли положиться на меня? Разрѣшаешь ли мнѣ говорить и дѣйствовать за тебя? Я не сдѣлаю ничего, за что бы намъ съ тобой пришлось краснѣть.» Женихъ обнялъ его молча и отпустилъ, а самъ побрелъ на край сада.

Малоемцевъ пошелъ къ отцу невѣсты, тамъ къ матери и представилъ имъ яркими красками бѣдствіе, которое ихъ ожидаетъ и которое они по доброй волѣ сами себѣ готовятъ, губя, съ тѣмъ вмѣстѣ, и дочь свою. Напрасно они хотѣли сослаться на Бога, который, будто бы, все это устроилъ; Малоемцевъ доказалъ имъ, что Богъ только много и долго терпитъ, а всѣ глупости дѣлаютъ одни люди. Когда же Малоемцевъ спросилъ, наконецъ, для чего жь они такъ настоятельно хотятъ выдать дочь за человѣка, котораго она не желаетъ, даже не терпитъ, и какого блага отъ этого ожидаютъ,—то мать, въ слезахъ, а отецъ, просто въ дуракахъ, отвѣчали заминаясь, что они хотѣли устроить *счастье* дочери. «А такъ какъ вы теперь убѣдились, что это было бы *несчастьемъ* ея», продолжалъ онъ: «то, конечно, сами дочери своей топить въ омутѣ не станете, словомъ, вы болѣе наистаивать не будете?» Отецъ и мать испугались этой мысли, увѣряли, что теперь ужь поздно, что безъ страшнаго

позора перевершить этого дѣла нельзя и что остается только молиться и положиться на Бога.

«Перенеситесь же на нѣсколько лѣтъ впередъ и представьте себѣ то зло, которое теперь еще въ вашей волѣ предупредить», продолжалъ Малоемцевъ; «а тогда уже, конечно, будетъ поздно. На Бога не сваливайте ничего: это дѣла человѣческія. Что, если дочь ваша чрезъ годъ явится опять въ домъ родительскій ни вдовой, ни женой, ни невѣстой?»

Старики пришли въ отчаянье и не знали, что начать. Тогда Малоемцевъ сказалъ имъ прямо: «Откажите жениху: онъ на это согласенъ; откажите прямо, по истинной причинѣ, объявивъ, что на это была воля невѣсты.»—«Но что скажетъ женихъ на позоръ этотъ, что скажутъ гости, что тетушки, сосѣдки, священьки, что весь уѣздъ, вся губернія?»—«Каждый изъ нихъ, по мѣрѣ и степени разсудка, который Богъ ему далъ, скажетъ, что ему угодно; но отъ этого участь дочери вашей и не зависитъ; поговорятъ и перестанутъ; перемелется—все мука будетъ. А женихъ, какъ я вамъ сейчасъ докладывалъ, принимаетъ все на себя.»—«Помилуйте!» завопилъ отецъ: «подумайте о томъ, что вы говорите: у насъ гости съѣхались со всѣхъ сторонъ; они званы на помолвку... все приготовлено...»—«Такъ что же?» отвѣчалъ тотъ: «развѣ вы готовы для того пожертвовать дочерью, что у васъ созваны гости и столъ готовъ? Развѣ вы обречете дочь свою на вѣковую гибель или, по крайней мѣрѣ, хотите заставить ее страдать десятки лѣтъ потому только, что у васъ уже пирогъ испеченъ и все къ этому приготовлено?»

Старики ломали руки и не знали, что отвѣчать.

«Успокойтесь же», сказалъ Малоемцевъ, «и благодарите Бога, что еще есть время и все можно исправить. Вотъ, еслибъ вы уже обвѣнчали молодыхъ, тогда бы я не сталъ васъ не усовѣщевать, ни утѣшать; а те-

перь отчаяваться не въ чемъ. Откажите жь жениху, откажите гласно, безъ слезъ и безъ отчаянья, и затѣмъ велите давать обѣдать и станемъ пировать, будто ничего не бывало.»—«Какъ, обѣдать?» завопила Анна Алексѣевна, закрывъ лицо руками... «Охъ, не до обѣда будетъ; не до пиру теперь...» «Нѣтъ, матушка Анна Алексѣевна, именно до обѣда, и прикажите подавать больше вина, да угощайте отъ души; и вамъ, и всѣмъ добрымъ людямъ будетъ о чемъ порадоваться: вы сдѣлали благое дѣло. Я у васъ разсватъ и буду потчивать и пить здоровье и кричать кромче всѣхъ. Празднуйте спасеніе дочери вашей, которую чуть было не погубили. Ручаюсь вамъ, что и женихъ, и невѣста, и всѣ гости будутъ веселы и радостны.»

Какъ ни дико, а дѣло сталось по немъ. Долго не поворачивался у отца языкъ, чтобъ вымолвить предъ гостями этотъ роковой отказъ; всѣ и безъ того уже, видя разладицу, были какъ-то не въ своей тарелкѣ, и свадьба эта, несмотря ни какое стараніе людей, знавшихъ приличіе и потому считавшихъ обязанностью хохотать и веселиться, все-таки болѣе походила на похороны, чѣмъ на свадьбу. Когда же отецъ, собравшись съ духомъ, вышелъ и сказалъ было слово, а тамъ и запнулся, а Малоемцевъ выступилъ и договорилъ за него, что-де невѣста, которой дѣвичество еще не наскучило, упросила родителей отказать жениху и дать ей свободу, а женихъ-де такъ благороденъ и честенъ, что не вступается въ свои права и отнюдь не хочетъ, чтобъ бракъ совершился противъ воли невѣсты; когда все это было проговорено, чинно и степенно, то правда, что это поразило всѣхъ: иные приподняли брови выше лба, другіе повѣсили носы ниже бороды, никто не зналъ, какъ стать и сѣсть, на кого глянуть и что говорить; но Малоемцевъ нашелся какъ нельзя лучше: онъ сталъ шутить, взявъ за ру-

ку жениха, объявилъ себя разсватомъ, настоялъ на томъ, чтобъ женихъ съ невѣстой, передъ расходомъ, подали другъ другу руку въ знакъ мировой, потомъ тутъ же громко потребовалъ шампанскаго, чтобъ выпить здоровье ихъ, расмѣшилъ всѣхъ, даже и жениха и невѣсту, которая вскорѣ развеселилась до того, что родители сами не могли на нее народоваться и налюбоваться. За столомъ, одна круговая чара обносилась за другою съ разными шутками и остротами; пили за здоровье и благоденствіе молодыхъ, и женихъ, къ счастью, также сумѣлъ найтись въ этомъ странномъ и трудномъ положеніи и держался какъ нельзя лучше и приличнѣе. Невѣста была такъ мила, что день этотъ, не напугавъ молодежи, даровалъ ей трехъ новыхъ жениховъ; кого она изберетъ—не знаемъ. Веселились далеко за полночь, и всѣ разъѣхались домой, довольные такимъ необычайнымъ праздникомъ.

# ВЫЕМКА *)

По сосѣдству съ моей деревней было сельцо *Кормиловка*, Шмаково то жъ, помѣстье вдовы, поручицы Прудниковой. Она для воспитанія внучатъ своихъ жила въ губернскомъ городѣ и наѣзжала только въ деревню по важнѣйшимъ промежуткамъ деревенскаго быта, при посѣвѣ и уборкѣ хлѣбовъ.

Усадебка стояла на видномъ и красивомъ мѣстѣ; подъ самыми окнами протекала рѣчка, по одну сторону мельница и поле, по другую — лѣсъ по угорью, а подъ нимъ чистый и ровный лугъ; съ третьей стороны, наконецъ, садъ съ вѣтвистой, живой изгородью боярышника. Земля была особнякъ; крестьяне довольно зажиточные; пять-шесть трубъ на избахъ по деревнѣ и красные коты въ праздникъ на бабахъ, — вотъ что и на первый взглядъ уже отличало деревушку эту отъ многихъ сосѣднихъ. Дороги, мостки и вообще все земство, какъ ни тяготило оно подъ-часъ Прудникову, отбывалось, однакожъ, такъ исправно, что секретарь земскаго суда былъ этимъ крайне недоволенъ.

*) Разсказъ этотъ найденъ мною въ бумагахъ моихъ, гдѣ складывались много лѣтъ запасы и присылки всякаго рода; но я не знаю теперь, чей и откуда онъ. Во всякомъ случаѣ, онъ относится къ давнопрошедшимъ временамъ.

Случился годъ отмѣнно плодородный: тридцать три копны ржи становилось на десятинѣ и копна давала умолоту болѣе тетверти: девять мѣръ верхомъ. Яровые были еще лучше.

Посреди отрѣзной земли Кормиловки было всего двѣ десятины, принадлежавшія селу Широколѣсью, котораго владѣлецъ перекочевывалъ изъ одной столицы нашей въ другую и каждый другой, третій годъ укатывалъ за-границу. У него управляли свои конторщики, а завѣдывалъ ими самъ секретарь земскаго суда, которому владѣлецъ весьма предусмотрительно предпочелъ предоставить жалованье управляющаго.

Широколѣсовцы, отправляясь на барщину къ двумъ десятинамъ своимъ, отбившимся такъ далеко въ сторону, разсуждали: «Зачѣмъ бы, кажись, экому клоку зайти въ чужой особнякъ? И что бъ было барину нашему промѣнять либо продать его, а не то и вовсе бросить! Что ему? Онъ богатъ, а это, видимо, неправедное добро должно быть какъ-нибудь отбито, а у кормиловской барыни земли немного». Кормиловцы, съ своей стороны, также ужь не разъ глядѣли съ досадой и завистью на эти наѣзды широколѣсовцевъ и часто разсуждали о томъ, что тѣхъ понапрасну пускаютъ въ чужое добро и что надо бы ихъ проучить. А какъ изъ нихъ кто-то слышалъ также толки объ этомъ широколѣсовцевъ и прибавилъ, побожившись до трехъ разъ, что тѣ и сами дивуются своей поживѣ, то кормиловская рабочая молодежь, глядя на живущихъ полоса-о-полосу съ ними широколѣсовцевъ, расходилась и закричала было: «Въ колья ихъ, ребята!» — «Не гуторьте въ колья», сказали старики: «у кола два конца; а вотъ лучше накажемъ опять барынѣ: она, намедни, вишь, не дала отвѣта; а мы доложимъ: «барыня-сударыня, землица-то эта споконъ-вѣку наша; вѣдь мы своими рухами соху держивали по ней и въ

добрый часъ подъ дождичекъ зерномъ брызгивали: такъ твоя воля, а безъ обиды будетъ, коли прикажешь намъ со своего поля хлѣбецъ снять.»

Къ обѣду помѣщица возвратилась съ поля домой, на дѣдовской линейкѣ, окруженная внучатами и пробными снопами ржи и пшеницы. Она радовалась этой благодати, разсчитывала доходъ и располагала ихъ мысленно на необходимыя нужды милыхъ питомцевъ своихъ. Увидя бѣгущихъ на нее по жнивамъ со всѣхъ сторонъ крестьянъ, она приказала остановиться и, въ недоумѣніи, ожидала прибытія ближайшихъ, чтобъ узнать, что тамъ случилось. Толпа набѣжала, и мужики, снявъ шапки, съ жаромъ и запыхавшись, одинъ въ перебой другому, старались объяснить, что «землица эта въ вашемъ клину, матушка; она споконъ вѣку была Артемьевыхъ, отъ которыхъ и перешла къ вашей милости Кормиловка, а это, сказываютъ старики, подъ съемъ брали они когда-то, да такъ, вишь, за собой и укрѣпили; а крѣпей нѣтъ никакихъ у нихъ, матушка, и землица-то наша; таперя они скосили рожь и сложили, такъ мы соберемъ со міромъ: въ другой разъ не пойдутъ они, разбойники, въ чужіе клины.»

Прудикова успокоилась, услышавъ, что крестьяне прибѣжали къ ней съ такими пустяками, а потому велѣла кучеру уѣхать, махнувъ рукой и сказавъ: «послѣ разберемъ.» Она, точно, хотѣла послѣ обѣда разобрать крѣпости свои и планы и разузнать дѣло. Мужики остановились, разинувъ ротъ, и спрашивали другъ друга: «Никакъ приказала?» Нѣсколько голосовъ подтвердили это самымъ положительнымъ образомъ и божились, что барыня приказала разобрать, то-есть поднять хлѣбъ. Староста, подоспѣвшій уже по отъѣздѣ барыни, положился на міръ и очень доволенъ былъ этимъ приказаніемъ, чтобъ-де проучить хорошенько

широколѣсовцевъ, и тотчасъ же сталъ распоряжаться. Барыня еще видѣла, что онъ жарко разговариваетъ, сбивая палкой верхушки придорожнаго мордвинника, но она была увѣрена, что онъ бранитъ мужиковъ за глупую выдумку ихъ и спокойно продолжала путь.

Передъ вечеромъ поднялась сильная гроза и пронесъ грядою крупный дождь. Кормиловцы, убравъ гумна свои, весело садились ужинать. Вдругъ по деревнѣ залились колокольчики исправника, который ихъ всегда привѣшивалъ по два. За нимъ слышался одинокій брякъ не менѣе знакомаго цѣлому уѣзду колокольчика писаря исправника. Бабы взохались, куры взлетались, а мужики поглядывали и повторяли сосѣдъ сосѣду: «смотри не выдавать!»

Но тутъ уже выдали глубокія, свѣжія колеи по мокрому полю, отъ самаго спорнаго жнива и до кормиловскихъ дворовъ. Первая баба, попавшаяся исправнику на глаза, едва выждала привѣтствія его съ приправкою надлежащей угрозы, какъ повалилась въ ноги и разсказала все, до ниточки: такъ и такъ, свезенъ хлѣбъ съ поля и вотъ какъ сложенъ по одоньямъ у всѣхъ крестьянъ, въ нижнихъ вѣнцахъ; одинъ только староста не принялъ хлѣба къ себѣ, но распоряжался и все сдѣлано съ его вѣдома.

Съ исправникомъ были понятые, десятскіе, сотскій и разсыльный. Пошло разбирательство, и тотчасъ же приступили къ выемкѣ поличнаго. Вся налетѣвшая стая мгновенно разсыпалась по деревнѣ, которая огласилась изъ конца въ конецъ плачемъ, ревомъ и крикомъ. Десятники въ особенности отличались; между тѣмъ какъ понятые широколѣсовцы раскидывали одонья и навивали снопы, тѣ бѣгали для порядка, по дворамъ и избамъ, которыя были пусты, и захватывали все, что удобно могли унести. По всему сельцу поднялся такой крикъ и вой, что бѣдная помѣщица, вмѣстѣ съ

дворней, стояла въ недоумѣніи передъ домомъ и смотрѣла на происходящее, какъ на дурной и безтолковый сонъ. Наконецъ она опомнилась и увидѣла передъ собой эту неотвратимую гибель и разореніе. Она потерялась и не знала, что придумать для спасенія; уже два раза ей самой сдѣлалось дурно, и ей подавали гофманскія капли; дѣти плакали; дворня заламывала руки и призывала Бога на помощь. Она скорыми шагами бросилась въ деревню, гдѣ безъ счета навивались снопы на телѣги широколѣсовцевъ, которые пріѣхали было поднимать рожь на своемъ клину и никакъ не угадывали, что подымутъ ее съ кормиловскихъ одоньевъ. Помѣщица собралась съ духомъ и обратилась къ исправнику съ просьбой, ради Бога пощадить крестьянъ, не разорять въ одинъ разъ трудовъ и надеждъ цѣлаго года, отъ которыхъ зависитъ все ихъ существованіе.

Исправникъ былъ занятъ распоряженіями и притомъ сильно взволнованъ, а потому и не пошевелилъ пальцемъ на вѣжливый поклонъ старой помѣщицы. Выпуская изъ-за зубовъ табачный дымъ, вмѣстѣ съ бранью на крестьянъ, онъ внѣ себя рычалъ одно: «всѣхъ въ Сибирь!»

Услышавъ еще это, Прудникова какъ-будто получила болѣе нравственной силы, по мѣрѣ увеличивавшейся бѣды; она сказала въ ту же минуту: «Милостивый государь, я прошу васъ выслушать меня: крестьяне мои ни въ чемъ не виноваты; прошу васъ вѣдаться со мною: я приказала свезти этотъ хлѣбъ.»

«Что, что, сударыня?» сказалъ исправникъ скороговоркой, вытянувшись вдругъ во весь ростъ и снявъ съ головы фуражку... Прудникова повторила опять то же, надѣясь спасти этимъ крестьянъ своихъ отъ разоренія и впослѣдствіи кончить дѣло, принявъ все на свою отвѣтственность. Она видѣла, что мужики попали въ бѣду эту чисто по глупости своей, и притомъ,

разсмотрѣвъ планы и крѣпости, нигдѣ не нашла чужого клина въ своей землѣ.

Исправникъ замолкъ, усмѣхнулся, отдалъ сотскому трубку и, принявъ важный видъ, обратился къ сторонним людямъ, прибѣжавшимъ изъ любопытства на зрѣлище это, и къ понятымъ: «Вы слышите ли», закричалъ онъ во все горло, «что госпожа помѣщица говоритъ: она призналась при всѣхъ, что сама приказала крестьянамъ своимъ грабить рожь и воровски прятать, — слышали?» — Слышимъ!» заорала толпа.

«Не воровать, не грабить, милостивый государь,» стала-было говорить Прудникова, «но забрать то, что мнѣ по праву принадлежитъ. Я отвѣчаю всѣмъ достояніемъ своимъ, если я виновата; но, Бога ради, велите остановить этотъ грабежъ...»

Исправникъ отвернулся уже отъ нея и, провожаемый толпою, скорыми шагами перешелъ на другое мѣсто. Поздно въ ночи, болѣе семидесяти широколѣсовскихъ телѣгъ, нагруженныхъ въ волю хлѣбомъ, шумно выѣзжали изъ Кормиловки; вслѣдъ за телѣгами шли мужики кормиловскіе и староста со связанными руками. Подобранные подъ голосъ два колокольчика заглушали не столь смѣлый звукъ третьяго, долго разливались по полю и смолкли уже за лѣсомъ. Въ Кормиловкѣ во всю ночь раздавался только лай и вой встревоженныхъ собакъ, плачъ дѣтей и вопли бабъ.

Проходитъ ночь и день, и еще сутки, и недѣля,— никакихъ вѣстей изъ города нѣтъ. Хлѣбъ собирается гнить на корнѣ, а что было скошено и свожено, поднято широколѣсовцами или потоптано. О крестьянахъ никакого слуха.

Въ отчаяніи Прудникова бросилась къ одному изъ сосѣдей, ко мнѣ, разсказавъ весь ужасъ своего положенія. Я хотѣлъ было скакать тотчасъ же въ губернскій городъ, жаловаться губернскому правленію, про-

сить губернатора, но разсудимъ, что ни въ какомъ случаѣ тамъ не постановятъ какое-нибудь рѣшеніе, не сдѣлавъ напередъ исправнику запроса; а оттуда до нашего уѣзднаго города было стовосемьдесять верстъ: я зналъ губернатора хорошо, служивъ съ нимъ нѣкогда въ одномъ полку и будучи съ нимъ раненъ подъ Тарутинымъ однимъ и тѣмъ же картечнымъ выстрѣломъ; но, по принятому порядку, и губернаторъ ничего не могъ сдѣлать безъ слѣдствія, а между тѣмъ отсутствіе всѣхъ рабочихъ крестьянъ въ самую страду, въ рабочую пору, должно было повлечь за собою для нихъ голодъ на цѣлый годъ, а для Прудниковой совершенное разореніе. Я поскакалъ прямо въ городъ, къ исправнику.

Пріѣзжаю. Я сказалъ уже, что это было давно: тогда не было еще становыхъ; казенныя волости составляли главную силу и рать земской полиціи; сотскіе были не простые разсыльные и конвойные, и хотя употреблялись на чистку сапоговъ и ставку самовара, но при наѣздахъ на помѣщичьи имѣнія пользовались значительнымъ самоуправствомъ; какой-нибудь сотскій или выборный, съ почетнымъ прозвищемъ *вора*, въ смыслѣ тонкаго плута, ворочали дѣлами и не худо было при нуждѣ всегда начинать снизу и сдѣлаться напередъ съ ними... Итакъ, пріѣзжаю рано итромъ, на самое Преображенье. Исправникъ бранилъ голову какой-то волости, выписавъ его для этого нарочно, и въ то же время подносилъ своеручно ерофеичу выборному вору Васькѣ, предъ которымъ дрожалъ весь уѣздъ. Въ передней снимали, между тѣмъ, допросы съ кормиловскихъ крестьянъ и записывали показанія ихъ и понятыхъ въ нѣсколько рукъ. Всѣ преступники стоятъ со связанными руками, съ воплями просятъ о помилованіи, валяются въ ногахъ у писарей. Не пускаясь въ разсужденія со мною, исправникъ пожалъ

плечами, развелъ руками и приказалъ подать мнѣ объявленіе широколѣсовскаго конторщика объ ограбленіи насильственно съ угрозами, равно съ жестокими побоями и посягательствомъ на жизнь, кормиловскими крестьянами семидесяти телѣгъ хлѣба, съ заключеніемъ о поступленіи съ виновными, извѣстными ворами и грабителями, по всей строгости законовъ.

«Чѣмъ же все это кончится?» спросилъ я исправника, который все-таки оказывалъ мнѣ лично нѣкоторое снисхожденіе, зная близкія связи мои съ губернаторомъ. Исправникъ самъ былъ столбовой дворянинъ и прежде служилъ. «Разумѣется, чѣмъ», отвѣчалъ онъ:—«Сибирью. Завтра соберу двѣнадцать человѣкъ нашихъ дворянъ для учиненія повальнаго обыска о Прудниковой; о крестьянахъ же ея, старинныхъ ворахъ и мошенникахъ, неодобренныхъ и теперь повальнымъ обыскомъ, все уже завершено. Сибирь, разумѣется, Сибирь! Законы на грабежъ и разбой потачки не даютъ.»

Я сталъ просить убѣдительно исправника, чтобъ онъ по крайней мѣрѣ отпустилъ временно крестьянъ; иначе вся деревня и съ госпожею своею останутся безъ зерна хлѣба. Онъ отвѣчалъ, что они скоро поступятъ на казенный хлѣбъ, и что въ просьбѣ моей заключается желаніе о такой потачкѣ ворамъ, на которую онъ никогда не рѣшится, какъ благородный человѣкъ, знающій свои обязанности.

Меня взяла такая досада, что я съ великимъ трудомъ удержалъ наружное спокойствіе; во мнѣ кровь кипѣла, и я почти безсознательно, видя неотвратимую гибель моей доброй сосѣдки, пересыпалъ въ руку исправника десять золотыхъ. Говорю и теперь, я не знаю самъ, какъ это сталось, какъ мы поняли другъ друга и откуда взялась въ самое это время горсточка

исправника, принявшая приношеніе. Пересчитавъ однимъ взглядомъ золотые и опустивъ ихъ въ карманъ онъ шепнулъ мнѣ на-ухо: «Почтеннѣйшій, такое казусное дѣло во всю службу разъ либо два придетъ. Это не тѣмъ пахнетъ: тысячу рублей за крестьянъ, да три тысячи за помѣщицу, что участвовала съ ними въ грабежѣ. Она сама призналась, при свидѣтеляхъ. Вы согласитесь со мною, благодѣтель мой, когда потрудитесь заглянуть въ уголовные законы.»

Какъ ни поразило меня все это, но первая мысль моя была, послѣ всего, что я видѣлъ и слышалъ, сомнѣніе въ возможности окончить дѣло домашнимъ образомъ, и я спросилъ: «А допросы и обыски, а просьба конторы?»

Исправникъ молча разсѣкъ воздухъ плоскою ладонью крестомъ, вдоль и поперекъ.

Во мнѣ вскипѣло что-то до такой степени, что едва не перешло черезъ край. Я поспѣшилъ выйти. У меня недостало духу ѣхать къ Прудниковой. Какими глазами я буду на нее глядѣть, когда скажу: «Давай четыре тысячи рублей ассигнаціями (по старому счету), которыхъ у тебя нѣтъ, или — ты нищая и мужики твои погибли!» Ѣхать въ губернскій городъ также было не за чѣмъ: однѣ только наличныя деньги могли поправить дѣло — болѣе ничто и никто.

Я послалъ надежнаго человѣка къ Прудниковой передать четко то, чего нельзя было написать, но самъ отъ посредничества отказался. Могу сказать въ похвалу исправника только то, что онъ не запрашивалъ и не торговался: онъ не спустилъ ни одной копѣйки. Помѣщица заложила купцамъ и мѣщанамъ столовое серебро, перстеньки и сережки дѣтей и внучатъ, продала за безцѣнокъ весь скотъ и часть хлѣба на

плечами, развелъ руками и приказалъ подать мнѣ объявленіе широколѣсовскаго конторщика объ ограбленіи насильственно съ угрозами, равно съ жестокими побоями и посягательствомъ на жизнь, кормиловскими крестьянами семидесяти телѣгъ хлѣба, съ заключеніемъ о поступленіи съ виновными, извѣстными ворами и грабителями, по всей строгости законовъ.

«Чѣмъ же все это кончится?» спросилъ я исправника, который все-таки оказывалъ мнѣ лично нѣкоторое снисхожденіе, зная близкія связи мои съ губернаторомъ. Исправникъ самъ былъ столбовой дворянинъ и прежде служилъ. «Разумѣется, чѣмъ», отвѣчалъ онъ:—«Сибирью. Завтра соберу двѣнадцать человѣкъ нашихъ дворянъ для учиненія повальнаго обыска о Прудниковой; о крестьянахъ же ея, старинныхъ ворахъ и мошенникахъ, неодобренныхъ и теперь повальнымъ обыскомъ, все уже завершено. Сибирь, разумѣется, Сибирь! Законы на грабежъ и разбой потачки не даютъ.»

Я сталъ просить убѣдительно исправника, чтобъ онъ по крайней мѣрѣ отпустилъ временно крестьянъ; иначе вся деревня и съ госпожею своею останутся безъ зерна хлѣба. Онъ отвѣчалъ, что они скоро поступятъ на казенный хлѣбъ, и что въ просьбѣ моей заключается желаніе о такой потачкѣ ворамъ, на которую онъ никогда не рѣшится, какъ благородный человѣкъ, знающій свои обязанности.

Меня взяла такая досада, что я съ великимъ трудомъ удержалъ наружное спокойствіе; во мнѣ кровь кипѣла, и я почти безсознательно, видя неотвратимую гибель моей доброй сосѣдки, пересыпалъ въ руку исправника десять золотыхъ. Говорю и теперь, я не знаю самъ, какъ это сталось, какъ мы поняли другъ друга и откуда взялась въ самое это время горсточка

исправника, принявшая приношеніе. Пересчитавъ однимъ взглядомъ золотые и опустивъ ихъ въ карманъ онъ шепнулъ мнѣ на-ухо: «Почтеннѣйшій, такое казусное дѣло во всю службу разъ либо два придетъ. Это не тѣмъ пахнетъ: тысячу рублей за крестьянъ, да три тысячи за помѣщицу, что участвовала съ ними въ грабежѣ. Она сама призналась, при свидѣтеляхъ. Вы согласитесь со мною, благодѣтель мой, когда потрудитесь заглянуть въ уголовные законы.»

Какъ ни поразило меня все это, но первая мысль моя была, послѣ всего, что я видѣлъ и слышалъ, сомнѣніе въ возможности окончить дѣло домашнимъ образомъ, и я спросилъ: «А допросы и обыски, а просьба конторы?»

Исправникъ молча разсѣкъ воздухъ плоскою ладонью крестомъ, вдоль и поперекъ.

Во мнѣ вскипѣло что-то до такой степени, что едва не перешло черезъ край. Я поспѣшилъ выйти. У меня недостало духу ѣхать къ Прудниковой. Какими глазами я буду на нее глядѣть, когда скажу: «Давай четыре тысячи рублей ассигнаціями (по старому счету), которыхъ у тебя нѣтъ, или — ты нищая и мужики твои погибли!» Ѣхать въ губернскій городъ также было не за чѣмъ: однѣ только наличныя деньги могли поправить дѣло — болѣе ничто и никто.

Я послалъ надежнаго человѣка къ Прудниковой передать четко то, чего нельзя было написать, но самъ отъ посредничества отказался. Могу сказать въ похвалу исправника только то, что онъ не запрашивалъ и не торговался: онъ не спустилъ ни одной копѣйки. Помѣщица заложила купцамъ и мѣщанамъ столовое серебро, перстеньки и сережки дѣтей и внучатъ, продала за безцѣнокъ весь скотъ и часть хлѣба на

корню, — дѣло было кончено и крестьяне воротились домой.

Скажу еще слово о томъ, что я узналъ послѣ. На слѣдующее трехлѣтіе меня избрали исправникомъ. Съ одной стороны, послѣ того, что я разсказалъ теперь, мнѣ какъ-то совѣстно было принять должность; но надежда быть сколько нибудь полезнымъ и собственныя дѣла—чистыя да нескончаемыя, безъ особеннаго вліянія, — заставили меня рѣшиться. Мнѣ надо было наконецъ размежеваться съ однодворцами и хотѣлось возобновить дѣдовскую мельницу, а то и другое *дальше* стоило по оцѣнкѣ много, если рѣшеніе достанется въ руки, каковъ былъ, напримѣръ, мой предшественникъ. Долго я, по неопытности своей, привыкалъ и прислушивался къ дѣламъ, и понялъ теперь, что значитъ секретарь для человѣка, который едва ли не первый разъ ступилъ ногою въ земскій судъ, когда его выбрали исправникомъ... Но рѣчь о семидесяти копнахъ ржи, и я полюбопытствовалъ взглянуть на это дѣло. Заголовокъ занималъ цѣлую страницу, съ исчисленіемъ всѣхъ ужасовъ самовольства и деннаго грабежа кормиловцевъ, при соучастіи самой помѣщицы. Затѣмъ слѣдовала просьба или заявленіе конторщика, въ которомъ, между прочимъ, не было ни слова о поступленіи съ виновными по всей строгости законовъ, а просили только о возвращеніи хлѣба. Исправникъ, какъ мнѣ объяснили, невзначай залилъ чернилами первую просьбу, а потому позвалъ конторщика изъ Широколѣсья и продиктовалъ ему очень спѣшно новую просьбу, такъ что тотъ не успѣвалъ писать со словъ его, а затѣмъ исправникъ приказалъ ему разорвать при себѣ старую просьбу. Впрочемъ, не было ни повальныхъ обысковъ, ни допросовъ крестьянъ и показанія свидѣтелей и понятыхъ, а простое постановленіе суда о томъ, что исправнику

лично выѣхать на мѣсто удостовѣриться въ справедливости просьбы и немедленно заставить удовлетворить обиженныхъ, что и было исполнено, и въ этомъ приложена росписка конторщика. Въ такомъ видѣ дѣло зачислено было покончennымъ и сложено въ архивъ.

# КРЕСТЬЯНКА

— Да ужь у насъ такъ водится, батюшка, воля ваша: коли заѣхали въ наши края, такъ и не обѣгайте насъ, а милости просимъ быть знакомымъ. Воля ваша, а въ среду ко мнѣ, хотя по крайней мѣрѣ денька на три!

Такъ говорилъ лысый, какъ голышъ, и круглый, какъ пузырь, помѣщикъ, раскланиваясь радушно и привѣтливо съ хозяиномъ и съ гостемъ его, котораго назовемъ, пожалуй, Путниковымъ. Настала среда и, «нечего дѣлать,»—сказалъ хозяинъ своему заѣзжему гостю, «поѣдемте! Вы тамъ увидите кой-кого; хоть познакомитесь съ вашими дворянами: вѣрно кто-нибудь у него будетъ.» Поѣхали.

Общество было небольшое, но и не совсѣмъ маленькое. Путниковъ, какъ чужой, не зналъ никого, а знакомился то съ однимъ, то съ другимъ, какъ случалось. Впрочемъ, лысый и пузырчатый хозяинъ заботился, съ своей стороны, сколько могъ, о томъ, чтобъ пріѣзжій дорогой гость зналъ прочихъ гостей и чтобъ они его знали; между прочимъ онъ также подвелъ его къ рослой и статной барынѣ, очень моложавой на видъ, и, представляя его, шепнулъ ему напередъ, что это-де сосѣдка моя, полковница Пышно-

ва. Она, по первой бесѣдѣ приличія, обыкновенно столь пошлой и пустословной, показалась, однакожь, Путникову женщиной очень образованною, скромною, умною и пріятною; въ особенности же поразила его простота и благородство ея обращенія.

Когда вечеромъ прогулка и игра въ лото были покончены и еще часа полтора оставалось до ужина, то гости, расположившись кунами тутъ и тамъ, довольно громко и весело бесѣдовали. Путниковъ присоединился къ тому кругу, который собрался около маленькаго дивана и круглаго столика: тамъ сидѣли двѣ барыни, изъ которыхъ одна была именно Пышнова. Разговоръ склонился какъ-то на сословія или состоянія людей, и когда Путниковъ произнесъ какое-то рѣшительное и немного рѣзкое сужденіе, то онъ не замѣтилъ вовсе, что всѣ почти прочіе собесѣдники замолкли, а иные даже вовсе прикусили языкъ. Путниковъ тѣмъ съ большимъ жаромъ и словоохотливостью продолжалъ разговоръ, что онъ, казалось, въ особенности занималъ Пышнову, умную и милую даму, и что она горячо съ нимъ спорила, доказывала и отстаивала свои мысли. Такимъ образомъ прочіе сдѣлались уже не участниками, а только слушателями ихъ бесѣды.

— Позвольте,—сказала Пышнова, кротко улыбаясь и поднявъ мягко-очерченную, одѣтую тонкой лайковой перчаткой руку:—такъ намъ нельзя спорить, потому-что мы смѣшиваемъ двѣ разныя вещи; будемъ говорить порознь о томъ и о другомъ. Я вполнѣ согласна съ вами, что возвышеніе человѣка свыше его состоянія рѣдко счастливитъ его—о! это правда; но несогласна съ вами въ томъ, чтобъ человѣкъ никогда не могъ найтись и опознаться въ новомъ положеніи своемъ, чтобъ онъ навсегда оставался не въ своей тарелкѣ,—однимъ словомъ, мѣщанинъ во дворянствѣ; кажется, это слишкомъ самонадѣянное убѣжденіе высшаго круга.

— Большею частью,—возразилъ Путниковъ:—воля ваша, но я даже опять готовъ повторить: всегда; я по крайности не видѣлъ еще противнаго, а много видѣлъ примѣровъ, оправдывающихъ мое мнѣніе.

— Но отчего-жь, — сказала Пышнова, наклонивъ мило головку, безъ малѣйшаго кокетства:—отчего же такъ? Человѣкъ одинъ и тотъ же, во всякомъ платьѣ; и если ему только дать образовать умъ и сердце— повѣрьте, по наружности онъ скоро оботрется. Эти мелочи вашего условнаго, свѣтскаго быта не такъ трудно перенять, какъ вы полагаете.—При послѣднихъ словахъ она слегка покачала головой и вздохнула.

Путниковъ не обратилъ вниманія на выраженіе: «вашего быта», и потому продолжалъ:

— Эти-то мелочи и нельзя перенять: это всего труднѣе. Я зналъ генеральшу, вышедшую въ это званіе изъ чухонскихъ кухарокъ, и двадцать лѣтъ этого высокаго сана не могли изгладить въ наружности ея ни одного пріема кухарки!

— Это опять иное дѣло,—сказала Пышнова, улыбаясь, какъ-будто съ маленькимъ самодовольствіемъ:— надобно, чтобъ природа не во всемъ отказала такой женщинѣ и чтобъ она была еще довольно молода при перемѣнѣ своего званія; съ этимъ я согласна.

— Но ничего нѣтъ забавнѣе,—продолжалъ Путниковъ,—такой случайной генеральши: каждое слово, каждый пріемъ, которымъ она полагаетъ обворожить васъ, пристали ей, какъ коровѣ сѣдло; чѣмъ она болѣе старается скрыть это, тѣмъ рѣзче выставляетъ на позорище всю неуклюжесть свою.

Слушатели начали удаляться отъ этого кружка и собираться въ такомъ разстояніи, чтобъ быть въ сторонѣ, но слышать весь разговоръ.

— Вы довольно жестоки въ приговорѣ своемъ,— сказала Пышнова, остановивъ открытый и привѣтли-

ный взоръ свой на Путниковѣ:—можетъ-быть, бѣдная генеральша иногда и вовсе невиновата въ своемъ превращеніи и впослѣдствіи горько оплакивала свое быстрое возвышеніе.

— Не вѣрьте этому!—закричалъ, разсмѣявшись, Путниковъ:—ханжатъ онѣ, если это говорятъ, притворяются; всѣ онѣ, всѣ кухарки эти такъ довольны, такъ счастливы своимъ возвышеніемъ.. .

— Кому вы говорите это?—остановила его Пышнова съ милою живостью, голосомъ душевнаго убѣжденія. — Посмотрите, — сказала она, смѣючись, какъ будто желая еще подразнить его и помучить:—посмотрите, вы разогнали всѣхъ нашихъ собесѣдниковъ: ужь нѣтъ ли между ними кого-нибудь, къ кому бы можно было примѣнить ваши слова?

Путниковъ оглянулся, растерявшись нѣсколько, потому что не зналъ, какъ понять это замѣчаніе, и сказалъ:

— Я, кажется, никого не могъ обидѣть....

— О, нѣтъ, нѣтъ! — остановила его Пышнова:— нѣтъ, я вамъ за нихъ ручаюсь. Продолжайте!

— Вы меня смутили,—проговорилъ Путниковъ;—я въ самомъ дѣлѣ замѣчаю, что я поставилъ себя въ какое-то странное положеніе, хотя, право, не понимаю, въ чемъ дѣло. Увѣряю еще разъ, что еслибъ.... еслибъ какъ-нибудь.... и онъ оглянулся въ ту и другую сторону,—то у меня, право, не было никакого намѣренія.... Я здѣсь чужой, никого не знаю, и личностей въ словахъ моихъ быть не могло....

— Да нѣтъ же, нѣтъ!—сказала Пышнова, приподнявъ и сложивъ руки:—я вамъ говорю—успокойтесь и продолжайте; я только пошутила съ вами, зная, что вы въ нашей сторонѣ чужой. Я вамъ окончательно разрѣшу загадку: я сама хотя и не генеральша.... я сама попала въ общество ваше, какъ чухонская кухар-

ка, о которой вы упомянули: я до шестнадцати лѣтъ была крестьянкой и пасла гусей.

Можно себѣ представить изумленіе Путникова. Онъ не зналъ, на какой ладъ теперь ему настроить отвѣтъ: плакать, или смѣяться; онъ готовъ былъ пасть передъ нею на колѣни. Но Пышнова проговорила все это съ такимъ неподдѣльнымъ простодушіемъ и смотрѣла на него такими спокойными, обаятельными карими глазами, такъ кротко и увлекательно улыбалась, что онъ чрезъ двѣ секунды, въ продолженіе которыхъ она добродушно тѣшилась его недоумѣніемъ, оправился, нашелся и сказалъ:

— Если вы не шутите, если въ словахъ вашихъ, которыя могутъ быть и шуткой, есть правда, то я сдаюсь безусловно военноплѣннымъ относительно второй части своего мнѣнія, которую вы у меня оспаривали. Противъ очевидности спорить не могу; первую же часть рѣшаюсь теперь отстаивать въ противномъ смыслѣ: вы счастливы въ своемъ положеніи—я въ этомъ увѣренъ.

— Вотъ видите ли,—сказала Пышнова,—какъ легко носить вашу свѣтскую маску приличія!

— Сударыня,—возразилъ Путниковъ, поставленный окончательно втупикъ, тѣмъ болѣе еще, что разговоръ этотъ обратилъ на себя всеобщее вниманіе гостей, которые теперь съ большею смѣлостью приблизились со всѣхъ сторонъ и смотрѣли, прислушиваясь, то на него, то на нее:—сударыня, я не знаю, что и сказать вамъ, чтобъ не попасть еще разъ въ дураки. Извините меня; я здѣсь чужой, не имѣю чести знать васъ. Если вы, можетъ быть, только позабавились надо мной, то, признаюсь со всею искренностью, что вы сдѣлали это очень ловко; если жъ вы не шутите, то вы пріобрѣли поклонника на жизнь и на смерть. Я вамъ удивляюсь.

Пышнова, которая съ такою неподражаемою естественностью въ положеніи своемъ умѣла держать середину, не скрывать, не стыдиться своего происхожденія, но и не тщеславиться имъ, Пышнова отвѣчала, что она сказала правду и вовсе не шутитъ, и обѣщала, при случаѣ, разсказать Путникову исторію своей жизни. На другой или на третій день случай этотъ, котораго Путниковъ такъ жадно искалъ, нашелся и она сдержала свое слово.

— Я родилась (такъ начала она) въ двадцати верстахъ отсюда, въ деревнѣ Холмахъ, принадлежащей графу Сухменеву. Родители мои — крестьяне; мать умерла давно, а отецъ живъ по-сю пору. У графа была дочь, о которой я, вопреки общаго голоса, могу сказать много хорошаго: какъ бывшая горничная графини, я знаю ее лучше другихъ; но правда, что гордость графа по наслѣдству перешла и на графиню, которая любила и умѣла напоминать при каждомъ случаѣ окружающихъ, кто она такова и какого она знатнаго рода. Въ домъ графа былъ вхожъ и даже коротокъ недавно пріѣхавшій въ отпускъ въ свои вотчины гвардейскій капитанъ, человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ изъ ряда вонъ и замѣчательный въ высокой степени по уму, по сердцу, по образованію, — словомъ, — по всему, что только составляетъ въ глазахъ нашихъ преимущество одного человѣка передъ другимъ. Онъ бѣгло и умно говорилъ на пяти языкахъ, былъ отличный пѣвецъ и музыкантъ, весьма успѣшно занимался живописью, — словомъ, образованіе его блестящимъ образомъ развило его богатыя природныя дарованія, и я не сумѣла бы указать вамъ ни на одну мелочь, упущенную при воспитаніи его, развѣ онъ только писалъ правильнѣе по-русски. Наружность его была прекрасна; глаза сверкали умомъ и добротой души, и со стороны нравственной могу назвать одинъ только, хотя,

конечно, и немаловажный недостатокъ, который былъ причиной его преждевременной гибели: это—тщеславіе. Онъ слишкомъ хорошо зналъ и цѣнилъ всѣ достоинства свои, былъ избалованъ до этого времени судьбой и начальствомъ, и товарищами; ему всегда и все удавалось; его вездѣ обожали и вездѣ носили на рукахъ; всегда и вездѣ ему льстили. А лесть и клевета, рано или поздно, возьмутъ свое.

«Вообразите же себѣ положеніе этого человѣка, когда онъ, полагая себя во всѣхъ отношеніяхъ ровней графини и считая даже себя, можетъ быть, по достоинствамъ выше ея, когда онъ, говорю, посватался и ему отказали,—отказали съ намѣреніемъ, собственно отъ имени молодой графини, наотрѣзъ, давъ замѣтить, что онъ забылся и не чета, не дружка для ея сіятельства! Онъ, гвардейскій офицеръ, за которымъ ухаживалъ весь Петербургъ, долженъ былъ выслушать подобный отказъ, который, разумѣется, въ три дня разнесся не только по сосѣдству, но и по всей губерніи! Какими же глазами могъ онъ смотрѣть на людей, которые, какъ ему казалось, смотрѣли на него съ сострадательною или язвительною улыбкой? Попранная, разочарованная страсть—онъ точно былъ влюбленъ въ графиню—и въ высшей степени оскорбленное самолюбіе овладѣли головою и сердцемъ бѣдняка, и, при всемъ умѣ своемъ и благоразуміи, онъ сдѣлалъ непростительную глупость.

«У молодой графини была горничная, молоденькая дѣвочка, недавно взятая изъ села. Она только-что начинала привыкать около госпожи своей, которая еще почасту была тѣмъ недовольна, что рабочія мозоли такъ долго держатся на рукахъ новой горничной и не даютъ ей заняться, какъ должно, тонкой швейной работой. Дѣвочка эта, которой едва минуло шестнадцать лѣтъ, кажется, была взята графиней за то, что

потому только, что въ толпѣ крестьянскихъ дѣвушекъ бросилась ей въ глаза темнорусою, богатой косой своею и карими глазами, тогда-какъ прочія всѣ почти были свѣтлорусы. Ее-то, дѣвочку эту, которую звали Грушей, несчастный заѣзжій гость видывалъ у графини, гдѣ нерѣдко проводилъ цѣлые дни, и, въ оскорбленномъ тщеславіи и самолюбіи своемъ, конечно, и самъ не зная, что дѣлаетъ, избралъ жертвою своей мести. Месть эта состояла въ томъ, что онъ, получивъ отказъ отъ гордой графини, тотчасъ же рѣшился жениться на ея горничной.

«Деньги все дѣлаютъ и дѣлаютъ, конечно, болѣе зла на свѣтѣ, чѣмъ добра. Деньги, которыхъ оскорбленный молодой человѣкъ не жалѣлъ для достиженія своей цѣли, передали испуганную на смерть Грушу въ его руки. Одна изъ графскихъ дворовыхъ женщинъ выманила ее вечеромъ за ворота, повела, подъ предлогомъ господскаго приказанія, къ колодцу, гдѣ лѣсокъ скрывалъ усадьбу; тамъ ее внезапно схватили, посадили въ коляску и примчали во весь духъ въ Зазнобово, вотчину этого молодого человѣка. Тамъ все было готово, и Груша, по-истинѣ, не успѣла опомниться, какъ ее одѣли и убрали къ вѣнцу и обвѣнчали. Когда она выходила изъ церкви, рука-въ-руку съ молодымъ своимъ, то много-много если прошло полтора часа съ того мгновенія, какъ ее подхватили у колодца и посадили въ коляску. Никто не удостоилъ даже спросить ее, хочетъ ли она идти замужъ или нѣтъ, и нравится ли ей женихъ. И къ чему было спрашивать? Какая воля у шестнадцатилѣтней дворовой дѣвчонки, которая и безъ того чрезвычайнаго случая думала о замужествѣ не иначе, какъ за кого-де господа отдадутъ, за тѣмъ и буду—ихъ воля. Нечего вамъ и скрывать, что дѣвчонка эта была—я, а женихъ или мужъ мой—Пышновъ.

«На другой день Василій Васильевичъ (такъ зовутъ Пышнова) зазвалъ во дворъ и домъ все село и далъ людямъ богатый обѣдъ и пиръ. Онъ обхаживалъ со мною подъ-руку ряды и столы; насъ привѣтствовали съ изступленною радостью. Я была еще въ крестьянскомъ платьѣ. Василій Васильевичъ приказалъ такъ одѣть меня къ вѣнцу, и я не знала, не понимала, что со мною дѣется. Арабскихъ сказокъ я тогда еще не читала и не слыхала о нихъ; но, конечно, никакое сказочное диво не могло бы поразить меня до такой степени, какъ то, что сбылось надо мною. Я ходила и отвѣчала на вопросы «да» или «нѣтъ», безъ всякаго самосознанія, и была въ безпамятствѣ: иначе я не умѣю объяснить вамъ моего положенія. Не спрашивайте же, что я думала и чувствовала тогда, была ли довольна новымъ положеніемъ, счастіемъ своимъ, или нѣтъ, какъ рѣшилась на поступокъ этотъ, и прочее. Я была не человѣкъ, а вещь; ничего не помню, не знаю, кромѣ того только, что часто дрожала въ страхѣ, а мужъ мой ласкалъ меня и успокоивалъ, и помню, что когда въ числѣ деревенскихъ свадебныхъ посѣтителей я увидѣла вѣнчавшаго насъ священника, то испугалась этого добраго старичка, какъ привидѣнія, и опять начала дрожать всѣмъ тѣломъ.

Василій Васильевичъ послалъ при запискѣ графу за меня выводное, какъ водится у добрыхъ сосѣдей, когда крестьяне берутъ женъ изъ чужихъ вотчинъ; графъ возвратилъ деньги, отвѣтивъ, что съ такихъ почетныхъ жениховъ онъ выводнаго не беретъ, а довольствуется однимъ поздравленіемъ и желаніемъ всякаго благополучія.

«Мужъ мой былъ ко мнѣ добръ и ласковъ какъ нельзя болѣе. Казалось, онъ внезапнымъ переворотомъ этимъ перенесъ всю страсть свою съ графини на меня и въ этомъ же чувствѣ утушилъ свой страшный

взрывъ оскорблённаго честолюбія, негодованія и мести. Мы уѣхали въ Петербургъ; тамъ я первые два года никуда не показывалась, употребляя все время на образованіе свое, чтобъ сколько-нибудь съ достоинствомъ нести новое свое званіе и не заставлять бѣднаго и добраго мужа моего краснѣть за меня при вводѣ меня въ общество или при встрѣчѣ съ посторонними людьми. Онъ не жалѣлъ издержекъ: у меня были учители и учительницы всякаго рода, начиная съ учителя русской грамоты до танцовальнаго и музыкальнаго. Чрезъ два года мужъ мой вывезъ меня въ свѣтъ, радуясь, какъ дитя, что успѣлъ превратить меня въ гостинную куколку, которою всѣ любовались, о которой всѣ чрезвычайно лестно отзывались потому только, что знали это необычайное превращеніе вслѣдствіе романическихъ похожденій, и что это казалось имъ ново и любопытно. Мнѣ было тогда восемнадцать лѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ столицѣ только и было рѣчи, что обо мнѣ, и лучшіе дома старались наперерывъ зазывать насъ къ себѣ, чтобъ потѣшить прочихъ гостей своихъ и показать имъ модную рѣдкость. «У насъ будетъ Пышнова»—это былъ зазывной кличъ всѣхъ тѣхъ, кто желалъ наполнить свою гостинную. Вы знаете, тамъ бываетъ мода то на человѣка въ козлиной шкурѣ, то на графиню съ птичьей головой: бѣгутъ тогда люди, какъ сумасшедшіе, сами не зная, зачѣмъ и куда, отыскивать невиданное диво, и въ цѣломъ городѣ нѣтъ больше ни о чемъ рѣчи, какъ объ этомъ небываломъ чудѣ. То же случилось со мной: на меня не могли наглядѣться и надивиться; это льстило моему мужу: онъ ожилъ опять; прежнее тщеславіе—его главная слабость—нашло новую пищу и, несмотря ни на какія просьбы и мольбы мои, мы зажили открыто, великолѣпно. То, что я предвидѣла, при всей неопытности своей, случилось; мы прожились, мода на чернобровую

крестьянку прошла,—насъ бросили и забыли. Долги тяготѣли надъ нами, а между тѣмъ двѣ или три неудачи мужа моего на службѣ, неудачи въ томъ же родѣ, какъ и самое сватовство его, снова его озлобили и до того растерзали его самолюбіе, что бѣдный помѣшался. Онъ впалъ въ непробудную задумчивость, которая была слѣдствіемъ слишкомъ пылкаго воображенія, самолюбія и тщеславія, необузданныхъ и потому обманутыхъ надеждъ,—словомъ убійственнаго разочарованія.

«Послѣ пяти лѣтъ жизни въ столицѣ, я увезла бѣднаго моего мужа въ деревню, гдѣ мы живемъ уже пять лѣтъ. Я выѣзжаю рѣдко, но иногда позволяю себѣ это, чтобъ не отвыкнуть вовсе отъ людей и нѣсколько разсѣяться и освѣжиться. Если хотите, поѣдемте вечеркомъ, хоть верхами, въ Холмы. Я охотно туда навѣдываюсь, и вамъ покажу старика, моего отца, и сестеръ.»

Разсказъ этотъ возбудилъ любопытство Путникова въ высокой степени, и онъ съ благодарностью принялъ ея предложеніе. Онъ все еще смотрѣлъ на эту прекрасную, милую и умную женщину и не могъ надивиться: ножка ея, въ тѣсномъ башмачкѣ, ручка въ обтяжной перчаткѣ, простота и благородство осанки и всѣхъ пріемовъ, которые украсили и отличили бы женщину высшаго круга и лучшаго общества,—все это до того было трудно связать съ понятіемъ о крестьянкѣ, которая до шестнадцати лѣтъ жала хлѣбъ и доила коровъ, что онъ былъ пораженъ разсказомъ прекрасной собесѣдницы своей какъ нельзя болѣе.

Вечеркомъ часть общества, въ томъ числѣ она и Путниковъ, отправились для прогулки верхами.

— Поѣдемъ въ Холмы,—сказала она:—я посмотрю тамъ на своихъ.

Всѣ съ удовольствіемъ согласились.

Когда стали подъѣзжать къ селенію, то, вѣроятно, люди, увидавъ издали конниковъ, обратили на нихъ вниманіе, а узнавъ Пышнову, сказали объ этомъ ея семейству. Изба ихъ была одна изъ крайнихъ, и они встрѣтили гостей: старикъ отперъ околицу, а двѣ сестры ея весело бросились къ ней на встрѣчу. Съ любопытствомъ глядѣлъ Путниковъ на эту картину. Отецъ поклонился ей и, подойдя, хотѣлъ поцѣловать у нея руку; она его обняла и выговорила ему вполголоса:—«На что ты, батюшка, это дѣлаешь?—сказала она:—чтожь люди обо мнѣ подумаютъ? Развѣ я когда-нибудь давала тебѣ цѣловать мою руку?»—Затѣмъ она обняла и потрепала по щекамъ сестеръ, поболтала съ ними и, на приглашеніе отца войти въ избу, предложила намъ отдохнуть четверть часика.

Въ избѣ было все довольно опрятно; видно было, что въ ней живетъ зажиточный мужикъ, но все было очень просто, какъ у крестьянина: потчивали насъ хозяева хорошимъ квасомъ, молокомъ, творогомъ, сметаной и краюхой хорошаго ржанаго хлѣба съ масломъ. Путниковъ провелъ время это чрезвычайно пріятно, какое-то новое, невѣдомое ему доселѣ теплое чувство одушевляло и согрѣвало его, когда онъ смотрѣлъ зорко во всѣ глаза на все, что вкругъ него тутъ дѣлалось, и прислушивался, не теряя ни одного словечка, къ разговору Пышновой съ отцомъ и сестрами. Съ этими она была за панибрата какъ нельзя лучше, шутила съ ними и обнимала ихъ отъ души. Всѣ трое проводили гостей опять до околицы, и они простились. Путниковъ ѣхалъ, понуривъ голову, въ какомъ-то раздумьѣ и не могъ еще отдать себѣ яснаго отчета во всемъ, что видѣлъ.

— Ну, что жь вы мнѣ скажете?—спросила Пышнова, взглянувъ на него съ кроткой улыбкой:—довольны ли вы мною?

— Я думалъ теперь, — отвѣчалъ онъ: — что мнѣ должно просить у васъ прощенія за нѣкоторыя опрометчивыя и рѣзкія сужденія свои.... Но, согласитесь, вы представляете столь рѣдкое, небывалое исключеніе изъ общаго правила, что мнѣ простительно было ошибиться....

— Это не все,—сказала она, покачавъ недовѣрчиво головою:—у васъ есть еще что-то на душѣ.

— Есть, — отвѣчалъ онъ: — и если позволите мнѣ высказать все, то я буду повиноваться.

— Говорите, пожалуйста говорите, не стѣсняясь ничѣмъ.

— Для меня тутъ одно обстоятельство несовсѣмъ ясно, — сказалъ онъ, собравшись съ духомъ: — или я не умѣю себѣ объяснить его: вы теперь живете въ богатствѣ, въ изобиліи, вы присоединились къ высшему сословію, которое, позвольте сказать, украшаете собою....

— Покорно благодарю,—перебила она рѣчь его:— но меня присоединили, а не я сама присоединилась; меня хвалить не за что....

— Все равно, вы ему принадлежите, а между тѣмъ отецъ и сестры ваши остались крестьянами...

— Что жъ?—сказала она съ живостью:—не хотите ли вы, чтобъ я ихъ также возвела въ дворянство, или—чтобы говорить не шутя—чтобъ я вырвала ихъ изъ того быта, въ которомъ они родились и выросли, а отецъ мой даже состарѣлся? Какую же вы бы отъ этого ожидали пользу? Неужто вы въ самомъ дѣлѣ полагаете, что мы, говоря вообще, счастливѣе ихъ, и что тотъ, кто уже разъ смолоду обжился съ бытомъ крестьянскимъ, будетъ счастливѣе, если его перенести въ другое, высшее сословіе? О, предоставьте мнѣ объ этомъ судить; согласитесь, что, требуя этого, я въ своемъ правѣ

«Вскорѣ послѣ моего замужества, Василій Васильичъ, не ожидая моихъ просьбъ, самъ хотѣлъ даровать свободу моему семейству; но графъ, который былъ довольно благороденъ, чтобъ не мстить этому бѣдному семейству за мою вину, не принялъ предложенія о выкупѣ. Теперь, когда столько лѣтъ прошло и многія обстоятельства измѣнились, графъ, можетъ быть, и снизошелъ бы къ просьбѣ моей, но я въ томъ не вижу никакой надобности.

«Еслибъ теперь вдругъ объявить старику моему вольную на всѣ четыре стороны, обезпечивъ притомъ еще и состояніе его, то я не знаю, какое благо могло бы для него изъ этого выйти. Всѣмъ имъ въ новомъ, непривычномъ быту ихъ была бы нужна нянька: у меня была она, благодаря Бога, въ лицѣ моего добраго мужа, но у нихъ ея нѣтъ. Сама я не могу сдѣлаться строгой наставницей моего отца, да онъ и слишкомъ старъ и необразованъ, чтобъ послѣдовать моимъ совѣтамъ. Всего вѣроятнѣе, что онъ отъ безсдѣлья сталъ бы пить и что это занятіе сдѣлалось бы главной его забавой. Взять его къ себѣ: — въ какомъ видѣ и для чего онъ бы сталъ у меня жить? Въ богадѣльню идти ему рано: онъ еще свѣжъ и работящъ — пусть же остается полезнымъ человѣкомъ. Какъ крестьянинъ, онъ едва ли не счастливѣе всѣхъ прочихъ крестьянъ, потому что онъ домовитый хозяинъ, нужды и крайности не знаетъ, всегда найдетъ у меня помощь, почтенъ и уваженъ между своими и гордится такъ называемымъ счастьемъ своей дочери. Куда я его дѣну? Въ какое положеніе пристрою, чтобъ онъ былъ такъ же доволенъ и спокоенъ, и чтобъ не зашла ему въ голову подъ старость какая-нибудь блажь?

«То же скажу о сестрахъ моихъ отъ второго брака. Имъ завидуютъ всѣ дѣвушки на селѣ, когда я подарю по ленточкѣ и по платочку, и онѣ сами не зна-

ютъ, куда дѣваться отъ радости. Не правда ли, что это называется дешево купить счастье другихъ? Онѣ считаются первыми невѣстами по вотчинѣ и, завѣдывая полнымъ хозяйствомъ своего отца, привыкли, пріучились быть хозяйками, а я всегда старалась поселять въ нихъ любовь къ своему званію и пріучала ихъ къ прилежанію, опрятности и порядку. Онѣ, дасть Богъ, не будутъ знать ни мигреней, ни другихъ причудъ и бѣдствій неестественнаго быта человѣческаго. Вы ихъ видѣли; онѣ здоровы, полны, веселы и довольны.... О, ради Бога не думайте, чтобъ счастье, какъ подагра, избирало себѣ охотнѣе каменныя палаты, чѣмъ черную избу!... Счастье—довольство, ограниченность потребностей и спокойная совѣсть; вотъ почему счастье живетъ внутри насъ, а не снаружи; мы должны создать его въ себѣ....»

Путниковъ слушалъ, осторожно переводя дыханіе и боясь проронить одно слово. Подъѣхали къ усадьбѣ круглаго, какъ пузырь, и лысаго, какъ голышъ, помѣщика, общаго хозяина. Онъ встрѣтилъ гостей восторженными криками, увѣряя, что мы пропадали безъ вѣсти едва ли не четверть сутокъ. Путниковъ взглянулъ на часы и съ удивленіемъ увидѣлъ, что онъ не шутитъ.

— Мы были въ Холмахъ,—сказала Груша:—и навѣстили моего старика, я хотѣла познакомить съ нимъ и съ сестрами вашего дорогого гостя.

Путниковъ только сталъ было прибирать слова, желая сказать ей, что встрѣчу съ нею считаетъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ случаевъ жизни своей, а самое ее—самою замѣчательною, умною и милою женщиною, какую ему когда-либо удавалось видѣть, какъ она вдругъ, бросивъ взоръ быстро въ сторону и увидѣвъ, что коляска ея уже заложена, спросила?

— Что это значитъ?—И, не давъ никому отвѣтить,

продолжала:—Боже мой, что сдѣлалось съ Васильемъ Васильичемъ?

— Ничего, ничего, сударыня, успокойтесь,—сказалъ заботливо хозяинъ: — Василій Васильичъ напроказилъ было немного, но все кончилось благополучно....

Между тѣмъ человѣкъ ея уже подошелъ; она соскочила съ лошади, разспросила его тихо и спокойно, и узнавъ, что помѣшанный поджогъ было домъ, что огонь благополучно погасили, но что все пришло отъ этого случая въ безпорядокъ, и безъ нея никто не можетъ съ бариномъ справиться, она тутъ же раскланялась съ хозяиномъ, не согласилась ни войти въ домъ, ни отдохнуть, а сѣла въ коляску свою и, кивнувъ намъ привѣтливо головою, скрылась....

конечно, и немаловажный недостатокъ, который былъ причиной его преждевременной гибели: это—тщеславіе. Онъ слишкомъ хорошо зналъ и цѣнилъ всѣ достоинства свои, былъ избалованъ до этого времени судьбой и начальствомъ, и товарищами; ему всегда и все удавалось; его вездѣ обожали и вездѣ носили на рукахъ; всегда и вездѣ ему льстили. А лесть и клевета, рано или поздно, возьмутъ свое.

«Вообразите же себѣ положеніе этого человѣка, когда онъ, полагая себя во всѣхъ отношеніяхъ ровней графини и считая даже себя, можетъ быть, по достоинствамъ выше ея, когда онъ, говорю, посватался и ему отказали,—отказали съ намѣреніемъ, собственно отъ имени молодой графини, наотрѣзъ, давъ замѣтить, что онъ забылся и не чета, не дружка для ея сіятельства! Онъ, гвардейскій офицеръ, за которымъ ухаживалъ весь Петербургъ, долженъ былъ выслушать подобный отказъ, который, разумѣется, въ три дня разнесся не только по сосѣдству, но и по всей губерніи! Какими же глазами могъ онъ смотрѣть на людей, которые, какъ ему казалось, смотрѣли на него съ сострадательною или язвительною улыбкой? Попранная, разочарованная страсть—онъ точно былъ влюбленъ въ графиню—и въ высшей степени оскорбленное самолюбіе овладѣли головою и сердцемъ бѣдняка, и, при всемъ умѣ своемъ и благоразуміи, онъ сдѣлалъ непростительную глупость.

«У молодой графини была горничная, молоденькая дѣвочка, недавно взятая изъ села. Она только-что начинала привыкать около госпожи своей, которая еще почасту была тѣмъ недовольна, что рабочія мозоли такъ долго держатся на рукахъ новой горничной и не даютъ ей заняться, какъ должно, тонкой швейной работой. Дѣвочка эта, которой едва минуло шестнадцать лѣтъ, кажется, была взята графиней за то, что

потому только, что въ толпѣ крестьянскихъ дѣвушекъ бросилась ей въ глаза темнорусою, богатой косой своею и карими глазами, тогда-какъ прочія всѣ почти были свѣтлорусы. Ее-то, дѣвочку эту, которую звали Грушей, несчастный заѣзжій гость видывалъ у графини, гдѣ нерѣдко проводилъ цѣлые дни, и, въ оскорбленномъ тщеславіи и самолюбіи своемъ, конечно, и самъ не зная, что дѣлаетъ, избралъ жертвою своей мести. Месть эта состояла въ томъ, что онъ, получивъ отказъ отъ гордой графини, тотчасъ же рѣшился жениться на ея горничной.

«Деньги все дѣлаютъ и дѣлаютъ, конечно, болѣе зла на свѣтѣ, чѣмъ добра. Деньги, которыхъ оскорбленный молодой человѣкъ не жалѣлъ для достиженія своей цѣли, передали испуганную на смерть Грушу въ его руки. Одна изъ графскихъ дворовыхъ женщинъ выманила ее вечеромъ за ворота, повела, подъ предлогомъ господскаго приказанія, къ колодцу, гдѣ лѣсокъ скрывалъ усадьбу; тамъ ее внезапно схватили, посадили въ коляску и примчали во весь духъ въ Зазнобово, вотчину этого молодого человѣка. Тамъ все было готово, и Груша, по-истинѣ, не успѣла опомниться, какъ ее одѣли и убрали къ вѣнцу и обвѣнчали. Когда она выходила изъ церкви, рука-въ-руку съ молодымъ своимъ, то много-много если прошло полтора часа съ того мгновенія, какъ ее подхватили у колодца и посадили въ коляску. Никто не удостоилъ даже спросить ее, хочетъ ли она идти замужъ или нѣтъ, и нравится ли ей женихъ. И къ чему было спрашивать? Какая воля у шестнадцатилѣтней дворовой дѣвчонки, которая и безъ того чрезвычайнаго случая думала о замужествѣ не иначе, какъ за кого-де господа отдадутъ, за тѣмъ и буду—ихъ воля. Нечего вамъ и скрывать, что дѣвчонка эта была—я, а женихъ или мужъ мой—Пышновъ.

«На другой день Василій Васильевичъ (такъ зовутъ Пышнова) зазвалъ во дворъ и домъ все село и далъ людямъ богатый обѣдъ и пиръ. Онъ обхаживалъ со мною подъ-руку ряды и столы; насъ привѣтствовали съ изступленною радостью. Я была еще въ крестьянскомъ платьѣ. Василій Васильевичъ приказалъ такъ одѣть меня къ вѣнцу, и я не знала, не понимала, что со мною дѣется. Арабскихъ сказокъ я тогда еще не читала и не слыхала о нихъ; но, конечно, никакое сказочное диво не могло бы поразить меня до такой степени, какъ то, что сбылось надо мною. Я ходила и отвѣчала на вопросы «да» или «нѣтъ», безъ всякаго самосознанія, и была въ безпамятствѣ: иначе я не умѣю объяснить вамъ моего положенія. Не спрашивайте же, что я думала и чувствовала тогда, была ли довольна новымъ положеніемъ, счастіемъ своимъ, или нѣтъ, какъ рѣшилась на поступокъ этотъ, и прочее. Я была не человѣкъ, а вещь; ничего не помню, не знаю, кромѣ того только, что часто дрожала въ страхѣ, а мужъ мой ласкалъ меня и успокоивалъ, и помню, что когда въ числѣ деревенскихъ свадебныхъ посѣтителей я увидѣла вѣнчавшаго насъ священника, то испугалась этого добраго старичка, какъ привидѣнія, и опять начала дрожать всѣмъ тѣломъ.

Василій Васильевичъ послалъ при запискѣ графу за меня выводное, какъ водится у добрыхъ сосѣдей, когда крестьяне берутъ жену изъ чужихъ вотчинъ; графъ возвратилъ деньги, отвѣтивъ, что съ такихъ почетныхъ жениховъ онъ выводнаго не беретъ, а довольствуется однимъ поздравленіемъ и желаніемъ всякаго благополучія.

«Мужъ мой былъ ко мнѣ добръ и ласковъ какъ нельзя болѣе. Казалось, онъ внезапнымъ переворотомъ этимъ перенесъ всю страсть свою съ графини на меня и въ этомъ же чувствѣ утушилъ свой страшный

взрывъ оскорблённаго честолюбія, негодованія и мести. Мы уѣхали въ Петербургъ; тамъ я первые два года никуда не показывалась, употребляя все время на образованіе свое, чтобъ сколько-нибудь съ достоинствомъ нести новое свое званіе и не заставлять бѣднаго и добраго мужа моего краснѣть за меня при вводѣ меня въ общество или при встрѣчѣ съ посторонними людьми. Онъ не жалѣлъ издержекъ: у меня были учители и учительницы всякаго рода, начиная съ учителя русской грамоты до танцовальнаго и музыкальнаго. Чрезъ два года мужъ мой вывезъ меня въ свѣтъ, радуясь, какъ дитя, что успѣлъ превратить меня въ гостиную куколку, которою всѣ любовались, о которой всѣ чрезвычайно лестно отзывались потому только, что знали это необычайное превращеніе вслѣдствіе романическихъ похожденій, и что это казалось имъ ново и любопытно. Мнѣ было тогда восемнадцать лѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ столицѣ только и было рѣчи, что обо мнѣ, и лучшіе дома старались наперерывъ зазывать насъ къ себѣ, чтобъ потѣшить прочихъ гостей своихъ и показать имъ модную рѣдкость. «У насъ будетъ Пышнова»—это былъ зазывной кличъ всѣхъ тѣхъ, кто желалъ наполнить свою гостиную. Вы знаете, тамъ бываетъ мода то на человѣка въ козлиной шкурѣ, то на графиню съ птичьей головой: бѣгутъ тогда люди, какъ сумасшедшіе, сами не зная, зачѣмъ и куда, отыскивать невиданное диво, и въ цѣломъ городѣ нѣтъ больше ни о чемъ рѣчи, какъ объ этомъ небываломъ чудѣ. То же случилось со мной: на меня не могли наглядѣться и надивиться; это льстило моему мужу: онъ ожилъ опять; прежнее тщеславіе—его главная слабость—нашло новую пищу и, несмотря ни на какія просьбы и мольбы мои, мы зажили открыто, великолѣпно. То, что я предвидѣла, при всей неопытности своей, случилось; мы прожились, мода на чернобровую

крестьянку прошла,—насъ бросили и забыли. Долги тяготѣли надъ нами, а между тѣмъ двѣ или три неудачи мужа моего на службѣ, неудачи въ томъ же родѣ, какъ и самое сватовство его, снова его озлобили и до того растерзали его самолюбіе, что бѣдный помѣшался. Онъ впалъ въ непробудную задумчивость, которая была слѣдствіемъ слишкомъ пылкаго воображенія, самолюбія и тщеславія, необузданныхъ и потому обманутыхъ надеждъ,—словомъ убійственнаго разочарованія.

«Послѣ пяти лѣтъ жизни въ столицѣ, я увезла бѣднаго моего мужа въ деревню, гдѣ мы живемъ уже пять лѣтъ. Я выѣзжаю рѣдко, но иногда позволяю себѣ это, чтобъ не отвыкнуть вовсе отъ людей и нѣсколько разсѣяться и освѣжиться. Если хотите, поѣдемте вечеркомъ, хоть верхами, въ Холмы. Я охотно туда навѣдываюсь, и вамъ покажу старика, моего отца, и сестеръ.»

Разсказъ этотъ возбудилъ любопытство Путникова въ высокой степени, и онъ съ благодарностью принялъ ея предложеніе. Онъ все еще смотрѣлъ на эту прекрасную, милую и умную женщину и не могъ надивиться: ножка ея, въ тѣсномъ башмачкѣ, ручка въ обтяжной перчаткѣ, простота и благородство осанки и всѣхъ пріемовъ, которые украсили и отличили бы женщину высшаго круга и лучшаго общества,—все это до того было трудно связать съ понятіемъ о крестьянкѣ, которая до шестнадцати лѣтъ жала хлѣбъ и доила коровъ, что онъ былъ пораженъ разсказомъ прекрасной собесѣдницы своей какъ нельзя болѣе.

Вечеркомъ часть общества, въ томъ числѣ она и Путниковъ, отправились для прогулки верхами.

— Поѣдемъ въ Холмы,—сказала она:—я посмотрю тамъ на своихъ.

Всѣ съ удовольствіемъ согласились.

Когда стали подъѣзжать къ селенію, то, вѣроятно, люди, увидавъ издали конниковъ, обратили на нихъ вниманіе, а узнавъ Пышнову, сказали объ этомъ ея семейству. Изба ихъ была одна изъ крайнихъ, и они встрѣтили гостей: старикъ отперъ околицу, а двѣ сестры ея весело бросились къ ней на встрѣчу. Съ любопытствомъ глядѣлъ Путниковъ на эту картину. Отецъ поклонился ей и, подойдя, хотѣлъ поцѣловать у ней руку; она его обняла и выговорила ему вполголоса:—«На что ты, батюшка, это дѣлаешь?—сказала она:—чтожь люди обо мнѣ подумаютъ? Развѣ я когда-нибудь давала тебѣ цѣловать мою руку?»—Затѣмъ она обняла и потрепала по щекамъ сестеръ, поболтала съ ними и, на приглашеніе отца войти въ избу, предложила намъ отдохнуть четверть часика.

Въ избѣ было все довольно опрятно; видно было, что въ ней живетъ зажиточный мужикъ, но все было очень просто, какъ у крестьянина: потчивали насъ хозяева хорошимъ квасомъ, молокомъ, творогомъ, сметаной и краюхой хорошаго ржанаго хлѣба съ масломъ. Путниковъ провелъ время это чрезвычайно пріятно, какое-то новое, невѣдомое ему доселѣ теплое чувство одушевляло и согрѣвало его, когда онъ смотрѣлъ зорко во всѣ глаза на все, что вкругъ него тутъ дѣлалось, и прислушивался, не теряя ни одного словечка, къ разговору Пышновой съ отцомъ и сестрами. Съ этими она была за панибрата какъ нельзя лучше, шутила съ ними и обнимала ихъ отъ души. Всѣ трое проводили гостей опять до околицы, и они простились. Путниковъ ѣхалъ, понуривъ голову, въ какомъ-то раздумьѣ и не могъ еще отдать себѣ яснаго отчета во всемъ, что видѣлъ.

— Ну, что жь вы мнѣ скажете?—спросила Пышнова, взглянувъ на него съ кроткой улыбкой:—довольны ли вы мною?

— Я думалъ теперь, — отвѣчалъ онъ: — что мнѣ должно просить у васъ прощенія за нѣкоторыя опрометчивыя и рѣзкія сужденія свои.... Но, согласитесь, вы представляете столь рѣдкое, небывалое исключеніе изъ общаго правила, что мнѣ простительно было ошибиться....

— Это не все,—сказала она, покачавъ недовѣрчиво головою:—у васъ есть еще что-то на душѣ.

— Есть, — отвѣчалъ онъ: — и если позволите мнѣ высказать все, то я буду повиноваться.

— Говорите, пожалуйста говорите, не стѣсняясь ничѣмъ.

— Для меня тутъ одно обстоятельство несовсѣмъ ясно, — сказалъ онъ, собравшись съ духомъ: — или я не умѣю себѣ объяснить его: вы теперь живете въ богатствѣ, въ изобиліи, вы присоединились къ высшему сословію, которое, позвольте сказать, украшаете собою....

— Покорно благодарю,—перебила она рѣчь его:— но меня присоединили, а не я сама присоединилась; меня хвалить не за что....

— Все равно, вы ему принадлежите, а между тѣмъ отецъ и сестры ваши остались крестьянами...

— Что жъ?—сказала она съ живостью:—не хотите ли вы, чтобъ я ихъ также возвела въ дворянство, или—чтобы говорить не шутя—чтобъ я вырвала ихъ изъ того быта, въ которомъ они родились и выросли, а отецъ мой даже состарѣлся? Какую же вы бы отъ этого ожидали пользу? Неужто вы въ самомъ дѣлѣ полагаете, что мы, говоря вообще, счастливѣе ихъ, и что тотъ, кто уже разъ смолоду обжился съ бытомъ крестьянскимъ, будетъ счастливѣе, если его перенести въ другое, высшее сословіе? О, предоставьте мнѣ объ этомъ судить; согласитесь, что, требуя этого, я въ своемъ правѣ

«Вскорѣ послѣ моего замужества, Василій Васильичъ, не ожидая моихъ просьбъ, самъ хотѣлъ даровать свободу моему семейству; но графъ, который былъ довольно благороденъ, чтобъ не мстить этому бѣдному семейству за мою вину, не принялъ предложенія о выкупѣ. Теперь, когда столько лѣтъ прошло и многія обстоятельства измѣнились, графъ, можетъ быть, и снизошелъ бы къ просьбѣ моей, но я въ томъ не вижу никакой надобности.

«Еслибъ теперь вдругъ объявить старику моему вольную на всѣ четыре стороны, обезпечивъ притомъ еще и состояніе его, то я не знаю, какое благо могло бы для него изъ этого выйти. Всѣмъ имъ въ новомъ, непривычномъ быту ихъ была бы нужна нянька: у меня была она, благодаря Бога, въ лицѣ моего добраго мужа, но у нихъ ея нѣтъ. Сама я не могу сдѣлаться строгой наставницей моего отца, да онъ и слишкомъ старъ и необразованъ, чтобъ послѣдовать моимъ совѣтамъ. Всего вѣроятнѣе, что онъ отъ бездѣлья сталъ бы пить и что это занятіе сдѣлалось бы главной его забавой. Взять его къ себѣ; — въ какомъ видѣ и для чего онъ бы сталъ у меня жить? Въ богадѣльню идти ему рано: онъ еще свѣжъ и работящъ — пусть же остается полезнымъ человѣкомъ. Какъ крестьянинъ, онъ едва ли не счастливѣе всѣхъ прочихъ крестьянъ, потому что онъ домовитый хозяинъ, нужды и крайности не знаетъ, всегда найдетъ у меня помощь, почтенъ и уваженъ между своими и гордится такъ называемымъ счастьемъ своей дочери. Куда я его дѣну? Въ какое положеніе пристрою, чтобъ онъ былъ такъ же доволенъ и спокоенъ, и чтобъ не зашла ему въ голову подъ старость какая-нибудь блажь?

«То же скажу о сестрахъ моихъ отъ второго брака. Имъ завидуютъ всѣ дѣвушки на селѣ, когда я подарю по ленточкѣ и по платочку, и онѣ сами не зна-

ютъ, куда дѣваться отъ радости. Не правда ли, что это называется дешево купить счастье другихъ? Онѣ считаются первыми невѣстами по вотчинѣ и, завѣдывая полнымъ хозяйствомъ своего отца, привыкли, пріучились быть хозяйками, а я всегда старалась поселить въ нихъ любовь къ своему званію и пріучала ихъ къ прилежанію, опрятности и порядку. Онѣ, дастъ Богъ, не будутъ знать ни мигреней, ни другихъ причудъ и бѣдствій неестественнаго быта человѣческаго. Вы ихъ видѣли; онѣ здоровы, полны, веселы и довольны.... О, ради Бога не думайте, чтобъ счастье, какъ подагра, избирало себѣ охотнѣе каменныя палаты, чѣмъ черную избу!... Счастье—довольство, ограниченность потребностей и спокойная совѣсть; вотъ почему счастье живетъ внутри насъ, а не снаружи; мы должны создать его въ себѣ....»

Путниковъ слушалъ, осторожно переводя дыханіе и боясь проронить одно слово. Подъѣхали къ усадьбѣ круглаго, какъ пузырь, и лысаго, какъ голышъ, помѣщика, общаго хозяина. Онъ встрѣтилъ гостей восторженными криками, увѣряя, что мы пропадали безъ вѣсти едва ли не четверть сутокъ. Путниковъ взглянулъ на часы и съ удивленіемъ увидѣлъ, что онъ не шутитъ.

— Мы были въ Холмахъ,—сказала Груша:—и навѣстили моего старика, я хотѣла познакомить съ нимъ и съ сестрами вашего дорогого гостя.

Путниковъ только сталъ было прибирать слова, желая сказать ей, что встрѣчу съ нею считаетъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ случаевъ жизни своей, а самое ее— самою замѣчательною, умною и милою женщиною, какую ему когда-либо удавалось видѣть, какъ она вдругъ, бросивъ взоръ быстро въ сторону и увидѣвъ, что коляска ея уже заложена, спросила?

— Что это значитъ?—И, не давъ никому отвѣтить,

продолжала:—Боже мой, что сдѣлалось съ Васильемъ Васильичемъ?

— Ничего, ничего, сударыня, успокойтесь,—сказалъ заботливо хозяинъ: — Василій Васильичъ напроказилъ было немного, но все кончилось благополучно....

Между тѣмъ человѣкъ ея уже подошелъ; она соскочила съ лошади, разспросила его тихо и спокойно, и узнавъ, что помѣшанный поджогъ было домъ, что огонь благополучно погасили, но что все пришло отъ этого случая въ безпорядокъ, и безъ нея никто не можетъ съ бариномъ справиться, она тутъ же раскланялась съ хозяиномъ, не согласилась ни войти въ домъ, ни отдохнуть, а сѣла въ коляску свою и, кивнувъ намъ привѣтливо головою, скрылась....

# ВАША ВОЛЯ, НАША ДОЛЯ

Полтавскому казаку Бондаренкѣ выпалъ горькій жребій! Что́ ему въ достаткѣ, что́ въ богатствѣ, коли нѣтъ ему ни угла, ни притулья, коли ему отъ злой и пьяной жены некуда дѣваться! Не онъ ее такому добру выучилъ, потому-что онъ былъ казакъ работящій, смирный; стало-быть, такова она была ужь когда въ дѣвкахъ сижено—да никто объ этомъ не зналъ, и славы такой о ней не было. Дѣвку кто разгадаетъ? Развѣ одинъ только Богъ, а не люди. А когда замужъ вышла, да въ дому стала своя рука владыка, такъ все что есть, и худо и добро, какъ изъ мѣшка и высыпала!

Загоревалъ, затужилъ Бондаренко, да что ни дальше, то хуже. Покуда жили самъ-другъ—такъ терпѣлось; а какъ еще дѣтки пошли да отъ живой матери стали сиротами, такъ тутъ бѣдному казаку пришлось хоть о надолбу головой. Люди велятъ учить жену; пытался Бондаренко и этому, такъ чуть-ли не хуже еще: Евдоха свое постъ, хоть ее на мѣстѣ убей, какъ змѣя на мужа мечется и все вымѣщаетъ послѣ на бѣдныхъ дѣтяхъ. Плачетъ мужикъ, да, махнувъ руками, бѣжитъ изъ дому, все покидая на волю Божью.

Разъ, въ позднюю, холодную осень, послѣ Покрова, Бондаренко молотилъ весь день на степномъ току, въ

полѣ; и воротился домой съ зерномъ, когда уже смеркалось. Подъѣзжаетъ къ деревнѣ—издали слышна музыка, сиплая скрипица да крики веселья: это Кульбаба праздновалъ свадьбу сына. Шагъ за шагомъ тащились волы Бондаренка по широкой улицѣ, а онъ, лежа на возу съ длиннымъ батогомъ, думалъ: «женятся же люди и страха не знаютъ! И то правда, одинокому хозяйничать нельзя: одинокому—утопиться, а женатому—удавиться! Дай же Богъ Кульбабѣ не плакаться послѣ!» Самъ снялъ шапку и перекрестился.

Подъѣзжаетъ къ хатѣ своей—все темно. Растворилъ ворота, вошелъ въ избу—а она и не топлена, ужинать не припасено ничего, и ни дѣтей, ни хозяйки нѣтъ. Закрутилъ головою бѣдный казакъ; весь день проработалъ, съ восхода солнца до самой ночи горячаго не хлебалъ, пріѣхалъ домой, у добрыхъ людей хозяйка припасла ужинать, встрѣчаетъ мужа, помогаетъ ему прибрать что нужно, да собираетъ на столъ—а тутъ ровно въ собачью закуту зашелъ! Еще спасибо, что добрые люди, сосѣди, сжалившись надъ сиротками, приглядываютъ за ними, да видно и теперь взяли ихъ къ себѣ, а то бы сидѣли, бѣдные, въ нетопленной избѣ, не ѣвши... Пойти, видно, и мнѣ горемычному на эту свадьбу, хоть теперь и не до свадьбы мнѣ, а въ ту же пору въ могилу, да ужь я знаю, что тамъ искать надо чортову Евдоху, прости Господи, гдѣ эта поганая водка есть, а больше нигдѣ.

Пошелъ. Тамъ крикъ, шумъ, смѣхъ, пляска; люди въ праздничныхъ платьяхъ, дѣвки въ цвѣтахъ, дружки гуляютъ съ ручниками черезъ плечо; музыка играетъ, вино разносятъ, гости пьютъ да гуляютъ да веселятся. А Бондаренко входитъ въ хату, чуть не задыхается: взяло его такое сердце, что вотъ убилъ бы Евдоху до смерти.

— А гдѣ моя?—спросилъ онъ у людей:—на лавкѣ

еще, или ужь подъ лавкой?—Подъ лавкой—отвѣчали люди, указавъ туда, гдѣ Евдоха, свернувшись въ безпамятствѣ клубкомъ, лежала, какъ собака на землѣ, и спала. Бондаренко свѣту не взвидѣлъ: онъ кинулся на нее, ухватилъ ее за космы, вытащилъ на средину и замахнулся...—Не тронь, не тронь, не бей!—закричали люди вокругъ:—она же сама не своя и побои твои вѣкъ не пойдутъ; потратишься по-пустому!—У Бондаренки опустились руки; онъ опамятовался; слезы прошибли его градомъ.—Будь ты не моя, не людская!—сказалъ онъ, поднявъ обѣ руки кверху: «пропадай ты, какъ пропащая; будь тебѣ недобрая доля и, какъ собакѣ, собачья смерть...»

Люди заропотали на Бондаренку и старались успокоить его и не дать ему продолжать такія проклятія. Онъ отвернулся, спросилъ сосѣдку, которую тутъ же увидѣлъ, гдѣ дѣтки его, и услышавъ, что они спятъ у нея и что бабушка дома, тяжело вздохнулъ и побрелъ домой.

Добрые люди старались привести Евдоху въ чувство и хотѣли проводить ее домой, увѣряя, что мужъ ее бить не станетъ. Она, растрепавъ космы и поводя шальными глазами во всѣ стороны, немного опамятовалась, встала, но домой идти отказалась. Она побрела къ отцу своему, гдѣ хотѣла переспать ночь, покинувъ мужа и хозяйство на произволъ судьбы. Ее выпроводили изъ хаты, и она кой-какъ по заборамъ поплелась въ третью или четвертую избу.

Отецъ встрѣтилъ ее неласково, далъ порядочнаго тумака, разбранилъ; но видя, что ей теперь, пьяной, некуда больше дѣваться, промолчалъ, когда она, также молча, полѣзла на печь. Ночь прошла, настало утро, ужь и нерано, а Евдоха все еще спитъ на печи. Сестра пошла будить ее, по приказанію отца, чтобъ выпроводить домой, а Евдоха ужъ и остыла. Пьяная,

какъ была, отдала она въ ночи Богу душу, и никто ничего объ этомъ не зналъ и не слыхалъ. Завопила сестра, подбѣжалъ, въ испугѣ, отецъ, въ хатѣ начали голосить; ребятишки отъ страха выбѣжали вонъ на улицу и также принялись ревѣть; услышали сосѣди, подошли, заглянули въ избу, и скоро вся деревня перебывала у отца Евдохи посмотрѣть на покойницу. Какъ сказалъ бѣдный Бондаренко, такъ и сталось.

Поскакалъ сотскій въ судъ съ донесеніемъ о благополучіи, и донесъ о скоропостижно умершей Евдохѣ. Судъ выѣхалъ для слѣдствія съ судовыми панычами, то-есть писарями, жилъ и пировалъ на селѣ трое сутки, разыскивалъ и собиралъ показанія. Взвели подозрѣніе на Бондаренка, что жена умерла отъ побоевъ его; такъ вся свадьба, человѣкъ тридцать, готовы были присягнуть, что онъ не билъ ее, а только вытащилъ за космы и бросилъ.—«И тутъ онъ могъ убить ее—сказалъ лѣкарь:—человѣкъ не скотина—его убить недолго.» Знали, что отецъ далъ ей добраго токмача, да объ этомъ никто не говорилъ. Стали отбирать показанія и въ томъ, не билъ ли Бондаренко жены своей когда-нибудь прежде. Онъ самъ первый повинился: «Какъ же мнѣ было не бить, не учить ея» сказалъ онъ, «когда она дѣлала то и то? Случалось, бивалъ, но не такъ же билъ, чтобъ убить ее; да и то давно было, а тутъ ужъ сама она отъ рукъ отбилась, и я ея не трогалъ.»

Извѣстно, что такая бѣда обрушается на все село: всѣ виноваты, кого зохотятъ притянуть, и всякій боится бѣды этой, какъ огня. Скоропостижно умершій, да еще мертвое тѣло—это хуже пожаровъ и конокрадовъ. Сладили, однакожъ, кой-какъ; старики собрались, потолковали между собой, накланялись до-сыта, кому слѣдовало, и вышли отъ нихъ довольные. Бондаренко не пожалѣлъ ничего: и плуга, воловъ у него какъ не

бывало. Не пожиматься стать, не таково дѣло; унеси да вынеси только Господь!

Вскрыли трупъ Евдохи. Что они тамъ смотрѣли, что видѣли, а чего не видали—Господь ихъ знаетъ; но удовольствовавшись тѣмъ, чѣмъ можно было при этомъ бѣдственномъ случаѣ поживиться, написали и подписали протоколъ такой, что умерла-де баба съ перепою, что вся насквозь пропахла виномъ, а наружныхъ знаковъ отъ побоевъ нѣтъ никакихъ.

Разошлись судейскіе господа и судовые панычи по квартирамъ, чтобъ переночевать, а утромъ ѣхать въ городъ. Борщъ съ уткою и вареники и наливки,—всего было приготовлено для нихъ вволю; да вышла какая-то размолвка между стряпчимъ и лѣкаремъ, а исправникъ придержался стороны стряпчаго. Не ладно ли они подѣлили что-нибудь межъ собою, или совсѣмъ одного обдѣлили,—не знаю, но только лѣкарь одинъ разсердился на всѣхъ, а они надъ нимъ подшучивали. Вотъ они всѣ отправились гурьбой къ богатому казаку, гдѣ въ чистой, просторной хатѣ все было для нихъ припасено, даже писаря взяли съ собой, а лѣкаря въ товарищи не приняли, приказавъ ему отвести квартиру на особицу.

Пришелъ лѣкарь на эту квартиру сердитый; кричитъ: «подавай того, другого, третьяго!»—Мужикъ кланяется въ поясъ, проситъ прощенья: ему не было сказано напередъ постоя, и онъ ничего не успѣлъ приготовить, что есть про себя, то есть—милости просимъ; а гостей не ждали—не прогнѣвайтесь.—«Какъ,—говоритъ лѣкарь:—такъ вы меня и въ пѣшку не ставите? Такъ я вамъ напочемъ? Такъ вотъ вы какъ меня боитесь—а? да вы что жь думаете? Вы думаете теперь и дѣло кончено? Нѣтъ, погоди, я жь вамъ еще всучу щетинку!»

И расходился лѣкарь нашъ, такъ-что бѣдный мужикъ не зналъ, куда дѣваться: только стоитъ у дверей

да кланяется въ поясъ.—«Поди,—говоритъ лѣкарь,—позови мнѣ фершала.»—Позвали.—«Поди,—говоритъ онъ фершалу,—спроси у писаря свидѣтельство, да принеси мнѣ его сейчасъ: надо сдѣлать поправку».—Фельдшеръ пошелъ и принесъ: судейскіе господа всѣ дружно и весело гуляли, къ нимъ въ это время не было и приступу; писарь подумалъ, да въ свою голову и отдалъ свидѣтельство. «Коли-де надо лѣкарю, такъ почему жъ не отдать, возьми.» Лѣкарь, не говоря ни слова, изорвалъ его, написалъ другое, подписалъ и отдалъ опять. Писарь положилъ его на мѣсто, заглянувъ въ него и не считая даже нужнымъ помнить объ этомъ; а когда, на другой день, всѣ пріѣхали въ судъ, проспавшись дорогою, то секретарь, увидѣвъ, что протоколъ не всѣми подписанъ, подалъ его къ подписи. Видно, господа нехорошо помнили послѣ вчерашняго вечера, что было наканунѣ; одинъ было усомнился, сказавъ:—«Да никакъ мы ужъ подписали его вчера?»—Но на отвѣтъ писаря, который ничего не зналъ, что протоколъ-де не подписанъ, двое подписали его, не читавъ; третій, у котораго видно память была потверже, прочиталъ новый протоколъ, прикусилъ губу, смѣтивъ и смекнувъ тотчасъ въ чемъ дѣло; но подумавъ, рѣшилъ, что, вопервыхъ, не стоитъ теперь заводить шумъ изъ-за такой дряни, а вовторыхъ, и поздно: стараго протокола нѣтъ, и мы первые будемъ виноваты. Въ этомъ видѣ дѣло отправлено, съ арестантомъ, въ уѣздный судъ, а тамъ и въ уголовную палату. Исправникъ, и даже самъ стряпчій, узнавъ впослѣдствіи, что они подписали, удовольствовались тѣмъ, что назвали лѣкаря, съ улыбкой, плутомъ и мошенникомъ; лѣкарь же, съ своей стороны, былъ очень доволенъ своимъ поступкомъ, полагая, что онъ какъ слѣдуетъ отмстилъ недругамъ и проучилъ ихъ.

# ВДОВЕЦЪ

На Украинѣ жилъ когда-то казакъ Охримъ Паляница, какъ живутъ тамъ казаки и доселѣ: не въ богатствѣ, такъ въ довольствѣ; а ужь не безъ пахучихъ засушенокъ надъ кивотцемъ. Добрая жена была у него и двѣ дочки; обѣ еще ни малы, ни велики, а подросточки и погодки; два плуга воловъ, верховой добрѣзжій конь, земли въ достатокъ, баштанъ, садокъ, огородокъ, чистая мазанка, съ вербами и подсолнечниками, подъ окнами, съ расписными ёлками; пѣтушками и лошадками на нихъ, по стѣнкамъ бѣлой избы; было и колодъ съ десятокъ пчелъ, неводокъ и ружьишко, висѣвшее съ бараньимъ рогомъ и волчьимъ хвостомъ надъ окошечкомъ.

Прошло жнитво, пошли бабы съ серпами въ поле; день знойный, степь прокаленая, голая, солнце печетъ снавѣсу, холодка нѣтъ. Жена Охрима, славная жница, пошла жать на *выпередки*, уморилась такъ, что языкъ засохъ, да и выпила глекъ воды. Чрезъ часъ ее схватило, смерть подступила подъ самое сердце; къ вечеру привезли ее домой на волахъ; ночь напролетъ она простонала, не смыкая глазъ, а опять къ вечеру— Богу душу отдала.

Ударился казакъ нашъ головою въ стѣну, пропла-

калъ да простоналъ съ недѣлю, а тамъ замолкъ. Коли не обнесъ Господь, такъ пить горькую чашу до дна, со смиреніемъ. Пробивалась у него еще порою слеза, когда онъ поглядывалъ на дочерей своихъ, которыя подростали безъ материнскаго призору: кто ихъ по женскому дѣлу научитъ и наставитъ? Кто вразумитъ ихъ, на возрастѣ, какъ себя держать, что годится дѣвкѣ, а что не годится? Кто будетъ имъ вмѣсто родной матери?—Тетка есть, да она не годится—пропащая солдатка, которая добру не научитъ; ее нельзя и въ домъ пускать.

Прошла кой-какъ постылая зима, и насидѣлись дѣвки самъ-другъ въ одиночествѣ, дома, при одномъ отцѣ, прядучи молча за жирничкомъ и выжидая, когда-то проснется красная весна! И вотъ она проснулась, все ожило. Охримъ день за день въ полѣ, а дочери болтаются ужь вовсе однѣ въ домѣ, занимаясь по хозяйству. Двѣ молоденькія дѣвчонки управляются самисобою: то по воду, то за скотомъ, то отцу обѣдать несутъ въ поле, то за птицей приглядываютъ, то около печи, то хату метутъ, моютъ, скребутъ да бѣлятъ, а все однѣ да однѣ. Подросли онѣ скоро, и никто не видалъ, какъ и когда сложились и вытянулись, и сами на себя и другъ на друга поглядываютъ, что хороши стали;—а все однѣ.

Вотъ и стали мимоходомъ на нихъ поглядывать кой-кто изъ добрыхъ сосѣдей, стали здороваться съ ними, а подъ-часъ и заглядываться, то одинъ, то другой. Иной хорошій человѣкъ и остановится, и зайдетъ, и заговорится—времечко уйдетъ, не знаешь куда. А почему бы иному и не зайти? Тутъ просторъ и своя воля; отца нѣтъ, матери нѣтъ, однимъ-однѣ только двѣ дѣвки. А для чего жь и имъ бѣгать добрыхъ людей? Бесѣда бесѣдой, сердцу легче, а и работа лучше спорится самъ-третей да самъ-четвертъ. Вскорѣ [illegible]

Охрима Наляныци сталъ какимъ-то сборнымъ мѣстомъ для шаловливой, праздной молодежи, и хорошіе люди стали больно на это коситься. Дѣвки-де молоды и глупы, ни худа, ни добра не смыслятъ, а славу пустятъ нехорошую. Глупость да дурость, а послѣ и съ умомъ не поправишь; надо сказать отцу.

И сказали. Малороссы дѣтей своихъ любятъ болѣе или, лучше сказать, разумнѣе нашего, и воспитываютъ ихъ нѣсколько получше, потому что у нихъ нравственная половина человѣка менѣе загрубѣла; при всемъ томъ, однако, Охримъ, страшась безчестья на свою сѣдую голову, сумѣлъ только дать свободу сердцу и огорченію своему. Онъ долго журилъ дочерей, говорилъ, говорилъ, да и самъ заплакалъ. «Что я стану дѣлать», подумалъ онъ, «коли ужь на то пойдетъ? Мнѣ ихъ не устеречь, за всѣми шатунами на селѣ не усмотрѣть. Погубятъ онѣ, дѣвки мои, мою годовушку! Оспротѣлъ я за-одно съ вами—за-одно съ вами доведется и плакать.»

Дочери обѣ заклинались и обѣщали, что впередъ этого не будетъ.

Не будетъ! Легко сказать это, исполнить очень мудрено.—«А ну васъ, подите вы, да отвяжитесь вы, да отойдите прочь—вотъ отецъ узнаетъ, бѣда будетъ.» Такъ гоняли онѣ незванныхъ посѣтителей, когда батько былъ въ полѣ; разъ-другой онѣ даже отъ нихъ уходили къ сосѣдкамъ: но—поваженный, что наряженный, и отбою нѣтъ, а на каждый часъ побранки не напасешься. Кончилось тѣмъ, что надо было имъ, и нехотя, искать себѣ защитниковъ и отстою на сторонѣ же, и что Маруся, гоняя всѣхъ, смалчивала, когда приходилъ Остапъ Витряченко; а Ганка не бранилась съ Семенчукомъ.

Узналъ отецъ и объ этомъ, и хотя былъ добрый отецъ и смирный мужикъ, но, любя дочерей и добрую

славу ихъ, побилъ на этотъ разъ обѣихъ, строго-настрого запретивъ, чтобъ безъ него ничья нога не была у нихъ въ избѣ. Остапу и Семенчуку объявилъ онъ, при сторонннхъ людяхъ, что такъ дѣлать не годится, и коли-де, храни Богъ, застанетъ ихъ у себя, то искалѣчитъ, а не то и убьетъ. Сердце на острастку мѣры не знаетъ; отстаивая дочерей своихъ, сиротъ, которыхъ любилъ и берегъ пуще глазу, Охримъ наговорилъ много и лишняго, тóлько бы запугать парней и отвадить ихъ отъ дома.

Такъ на этомъ свѣтѣ все вспоръ идетъ: одному бы хотѣлось такъ, а другому надо иначе; одинъ за порогъ, а другой поперекъ—а поглядишь, оба правы. Помнить бы намъ это, осуждая другихъ!

Ну, и гоняютъ дѣвки мои гостей строго, а они тутъ какъ тутъ; поваженый, что наряженый, а кто за этимъ дѣломъ ходитъ, тотъ и страху не знаетъ. Гдѣ и когда видно, чтобъ такихъ гостей можно было отвадить острасткой! Это запой своего рода, который излѣчиваютъ не лѣкаря наши, а развѣ только знахари и шептухи.

Приходитъ Охримъ однажды съ работы поздно вечеромъ домой. На дворѣ давно смерклось; въ окнахъ тутъ и тамъ свѣтится огонекъ — а у него въ избѣ темно. «Знать уснули дѣвки мои, соскучились, бѣдняжки», подумалъ онъ, а между тѣмъ сердце что-то захолонуло и локти и колѣни развязались, словно почуялъ что-то не доброе. Самъ не зная отчего и къ чему, онъ перекрестился и вошелъ тихомолкомъ въ хату

Дверь скрипнула подъ его рукой; по угламъ какъ будто что вашевелилось, и смолкло.—«Дѣти! Маруся, Ганна! гдѣ вы?» — Маруся и Ганна отозвались спросонья; онѣ обѣ спали и не видѣли, какъ скрала ихъ темна ноченька, которая на югѣ настаетъ не какъ у

тельскую хату, гдѣ оставался только мертвый Семенчукъ, съ неизмѣннымъ въ такихъ случаяхъ карауломъ, побрели, вслѣдъ за добрыми сосѣдями, подъ чужую кровлю!

Долго еще тянулись слѣдствіе и судъ; Охрима Паляницю отправили въ острогъ: въ уѣздный, а тамъ и въ губернскій городъ, для передопроса; тамъ сидѣлъ онъ съ грабителями и убійцами, не чая конца и развязки, не только спасенія. Наконецъ, Господь надъ нимъ смиловался: его отправили на годъ въ монастырь, на покаяніе.

Отбывъ эпитимью, бѣдный Охримъ воротился домой. Онъ пришелъ въ завѣтный кутъ свой вечеркомъ; никто его не замѣтилъ, онъ сидѣлъ уже съ часъ на заваленкѣ, предъ своею хатою, пустою и наглухо заколоченною, сидѣлъ, понуривъ голову на обѣ руки и плакалъ. Люди, мимоходомъ, смотрѣли на него въ недоумѣніи, будто не довѣряя своимъ глазамъ; глухая молва прошла по селу, народъ сошелся...

Охримъ поднялъ голову, когда замѣтилъ, что люди его окружаютъ, и двѣ статныя женщины съ воплемъ кинулись ему на шею, а Остапъ Витряченко молча припалъ къ ногамъ его.

# ВОРОЖЕЯ

Прибывъ самъ-другъ съ товарищемъ въ дѣйствующую армію нашу, подъ Силистрію, мы начали устроиваться тамъ и обзаводиться военно-походнымъ хозяйствомъ. Одна изъ первыхъ и главныхъ потребностей или принадлежностей его, для новичка, это—коюхъ и конюшенный, приспѣшникъ и кравчій, домострой и постельникъ, уходчикъ и пѣстунъ, въ одномъ и томъ же лицѣ, то есть деньщикъ. Намъ привели двоихъ малоспособныхъ для фронта пензянъ, и, послѣ недолгихъ переговоровъ съ ними, мы въ самомъ дѣлѣ убѣдились въ добросовѣстномъ выборѣ ихъ, то есть въ малоспособности ихъ во всѣхъ отношеніяхъ, не только по части фронтовой. Андрей, доставшійся, по семейному раздѣлу, на долю доварища моего, показалъ по крайней мѣрѣ съ перваго дня необычайную способность къ ѣдѣ, пожирая все безъ разбору, въ какомъ угодно видѣ и количествѣ; Степанъ же, мой несчастный и невольный прихвостень, не могъ похвалиться также и этимъ: нѣжный, брезгливый, слабосильный, вялый и визгливый, съ бѣлобрысымъ женскимъ личикомъ, съ суконнымъ языкомъ, который не умѣлъ произнести половины буквъ русской азбуки, этотъ матушкинъ сынокъ болѣе походилъ на какого-то бар-

скаго баловня, чѣмъ на солдатика; онъ всегда ходилъ неряхой, распустивъ нюни, не умѣлъ ни умыться, ни застегнуться, по крайней мѣрѣ, не любилъ ни того, ни другого, и въ оправданіе свое приводилъ то, что былъ не крестьянскій сынъ, а подкидышъ тонкаго происхожденія, которому тошно было хлѣбать деревянною ложкой. Что касается Андрея, онъ обжорливость свою оправдывалъ тѣмъ, что въ Пензенской губерніи два года сряду былъ неурожай и голодъ; а относительно неуклюжести своей сознавался откровенно, что на то была воля Господня.

Два земляка эти, поступившіе вмѣстѣ въ общее хозяйство наше, ссорились и бранились всегда и вездѣ, гдѣ только сходились, а судьба и служба свела ихъ у насъ и къ одному костру и подъ одну общую ношемку. Вникнувъ въ силу и способности каждаго, мы пожаловали Андрея саномъ конюшаго и обознаго, а Степана произвели въ дворецкіе, расходчики, ключники и приспѣшники. Андрею поручены были походныя лошади, фуражъ, вьюки и присталый болгарскій песъ; Степану, по сокрытымъ въ немъ наклонностямъ и дарованіямъ — уходъ за господами, одежда, столъ, кухня и оружіе. Въ походное время обязанность приспѣшника незамысловата: каша — мать наша, да кашица — кормилица, отвѣчаютъ за все. Но оказалось, что и эта незатѣйливая обязанность не только затрудняла бѣднаго Степана, а приводила его въ совершенное отчаяніе. Отъ близости огня у него трескались и болѣли лицо и руки, онъ не выходилъ изъ цыпокъ; первое и послѣднее блюдо наше—каша всегда пригорала, потому что онъ никакъ не могъ выучиться мѣшать ее со дна, а поваживалъ веселкомъ сверху, взбалтывая одну жижицу; притомъ онъ и боялся приступиться къ огню и дыму, даже не умѣлъ подойти къ котелку съ-нàвѣтру, а садился подъ дымъ, куксилъ

глаза и плакалъ, какъ малый ребенокъ. При всемъ желаніи сохранить въ походной семьѣ своей миръ и покой, мы за все это ссорились съ нимъ, а онъ отпискивался визгливымъ голосомъ, увѣряя, что ему и такъ уже нѣтъ мочи, что тяжкая служба вгонитъ его въ гробъ, а затѣмъ начиналъ горько плакать и попрекать Андрея, называя его обжорой и дармоѣдомъ. Предлогомъ къ попрекамъ этимъ главнѣйше служило то, что Степа варилъ на Андрея кашу, то есть что и самъ Степанъ и Андрей ѣли изъ одного общаго съ нами котла. Не было никакой возможности вразумить этого взрослаго ребенка, что напротивъ, Андрей работаетъ за него, а онъ живетъ полубариномъ, потому что у Андрея на рукахъ шесть лошадей и вся тяжелая работа. Изъ этого вскорѣ вышли взаимныя ссоры и попреки, потому что и Андрей, при всей медвѣжьей кротости и малорѣчивости своей, не оставался въ долгу передъ земляком своимъ, особенно, когда Степанъ называлъ его обжорой, божась, почти со слезами, что ненасытную утробу эту ничѣмъ нельзя наполнить, и что Андрей, въ продолженіе каждаго перехода, особенно ночнаго, пожираетъ всѣ наличные сухари и, сверхъ того, столько сыраго пшена, сколько успѣетъ украсть у дворецкаго Степана. Андрей отбранивался, бормоталъ и оправдывался двугодичнымъ неурожаемъ въ Пензенской губерніи.

По случаю подобной ссоры, Стёпа однажды провозгласилъ рѣзкимъ и плаксивымъ голосомъ на весь станъ, что Богъ накажетъ когда-нибудь Андрея за его прожорство, и что Андрей непремѣнно будетъ современемъ воромъ. На чемъ онъ такъ положительно основывалъ такое заключеніе—неизвѣстно, но Андрей, въ свою очередь, вздумалъ обидѣться такимъ пророчествомъ и напустился на Стёпу, стараясь кричать изо всей силы, хотя и ворчалъ себѣ только подъ носъ, такъ что, кромѣ

ближайшихъ сосѣдей, брани этой никто бы и не слышалъ, еслибъ Степанъ, отчаянно завывая, не повторялъ словъ Андрея напѣвомъ причитанья по покойнику. Андрей предсказалъ своему товарищу другое, а именно, что онъ будетъ повѣшенъ, какъ скаредный жидъ. За что, кѣмъ и какъ,—этого Андрей, не любившій многословія, не объяснялъ; не менѣе того, Степанъ расплакался за обиду эту и вылъ навзрыдъ, на смѣхъ и позоръ кочевыхъ обитателей всѣхъ сосѣднихъ палатокъ, а къ довершенію всего, пришелъ къ намъ жаловаться на Андрея, точно какъ семилѣтній ребенокъ на своего школьнаго товарища.

Прошло нѣсколько дней, и армія наша, внезапно снявшись, пошла на встрѣчу визирю, разбила его подъ Кулевчами, расположилась на время подъ Шумлою, опять снялась и перевалилась черезъ Балканы. Послѣ занятія Селимно, гдѣ турки стали было окапываться и притворились, будто хотятъ дать отпоръ, мы опять снялись и пошли далѣе на Андріанополь. На этомъ переходѣ, среди роскошной природы и въ прекрасный лѣтній день, мы съ товарищемъ утѣшались еще одною, весьма благотворною для насъ случайностью: мы достали въ Селимно кой-чего съѣстного; такая пожива въ это время была въ рѣдкость, и, бесѣдуя о роскошномъ столѣ, который насъ ожидаетъ на привалѣ и ночлегѣ, мы уже спозаранку облизывались. У насъ именно появился бѣлый хлѣбъ, только изъ бобовъ, копченая рыба, медъ, каймокъ и маслины. Такой роскоши мы ужь очень давно не знавали, а потому и принялись, покачиваясь рядомъ на усталыхъ клячахъ, перебирать и раскидывать на умахъ, какой именно у насъ сегодня будетъ обѣдъ и ужинъ. Мы еще спорили о томъ, раздѣлить ли припасы эти на обѣдъ и на ужинъ, или устроить, вмѣсто обѣда, легонькую закуску, въ сухомятку, и попировать за походнымъ ужиномъ въ под-

номъ раздольѣ; я отстаивалъ послѣднее, потому особенно, что на ночлегѣ будетъ подосужнѣе заняться этимъ дѣломъ: привалъ, какъ нерѣдко случалось, можетъ выпасть очень короткій, такъ что не только не успѣешь вкусить всѣхъ предстоящихъ насущныхъ благъ, но, можетъ быть, доведется расхлебать впопыхахъ недоваренную крупицу. Товарищъ мой, напротивъ, требовалъ немедленной расправы, какъ только придемъ на привалъ, утверждая, что всегда надо пользоваться настоящимъ и подручнымъ, не надѣясь на обманчивую будущность. Я возразилъ, что въ этомъ случаѣ будущность не можетъ быть названа обманчивою, потому что весь богатый припасъ нашъ везется вслѣдъ за нами Стёпой, въ пестрыхъ перекидныхъ сумкахъ.

За этимъ разногласіемъ засталъ насъ и самый привалъ; мы расположились у маленькаго кустика — все какъ будто притонъ—и вскорѣ отыскали своего главнаго конюшаго, Андрея, а Степанъ куда-то запропастился. На бѣду, у него, какъ у метръд'отеля нашего, были всѣ наши съѣстные припасы, все, кромѣ мѣшка сухарей, навьюченнаго позади Андрея. Долго мы поглядывали во всѣ стороны, не постигая, куда этотъ разиня дѣвался; долго мы искали его, то пѣши, то верхами, разсылали также во всѣ стороны Андрея, но Степанъ пропалъ, какъ сквозь землю провалился, а съ нимъ вмѣстѣ и обѣдъ нашъ, который и пришлось такимъ образомъ поневолѣ отложить до ужина. Мы спялись съ привалу впроголодь, на всемъ переходѣ продолжали искать своего Стёпу, пропускали мимо себя весь отрядъ и на рысяхъ опять вступали въ свои мѣста, разспрашивали всѣхъ деньщиковъ, всю такъ называемую нестроевую, заходну́ю силу, весь обозъ, — но никто ничего не зналъ о Степанѣ. Мы разузнали только, что онъ утромъ на выходахъ опять перебранивался съ Андреемъ, потѣшая этимъ, по обыкновенію, всю обозну́ю

силу, что расплакался, разсердился и отъѣхалъ съ своимъ вьюкомъ въ сторону; болѣе его никто не видалъ. Вечеромъ пришли мы на ночлегъ — Степана нѣтъ, и нѣтъ его по нынѣшній день: онъ пропалъ безъ вѣсти. На самые настойчивые допросы наши, Андрей ворчалъ про себя хладнокровно, что Степана турки удавили въ лѣсу; при этомъ убѣжденіи онъ остался и, повидимому, не очень скорбѣлъ о такой незавидной участи своего бѣднаго земляка и товарища.

Прошло года два или три; о Степанѣ давно забыли, какъ и о пропавшихъ съ нимъ вмѣстѣ лошадяхъ съ чемоданами и бобовымъ толокномъ и медомъ. Андрей все еще служилъ вѣрой и правдой у моего товарища; несмотря на неисправимую несуразность свою, медвѣжью стать, неутолимую обжорливость по случаю двугодичнаго неурожая въ Пензѣ и Богомъ данное тупоуміе, онъ попривыкъ жить въ домѣ по-людски, былъ тихъ и послушенъ, не пилъ, сталъ довольно памятливъ на приказанія и въ особенности прослылъ въ домѣ за честнаго человѣка; всѣ мелочныя покупки поручались ему, и никогда не было въ немъ замѣчено даже малѣйшей склонности къ поживѣ. Въ крайней простотѣ своей, онъ еще не выучился сводить самаго простаго счета, а указывая пальцемъ на каждую купленную вещь, сказывалъ безошибочно, чего она стоила. Первое время, правда, онъ вздумалъ было, для памяти, класть на купленной говядинѣ мѣтки ножомъ, вырѣзывая въ ней столько ушей, сколько, по его способу счисленія, приходилось; но когда это ему запретили, то онъ вскорѣ привелъ память свою въ такое натужное положеніе, что затверживалъ безошибочно наизустъ вѣсъ и цѣну. Глупостью своею, правда, онъ не всегда смѣшилъ, а иногда и выводилъ барина изъ терпѣнія; но гдѣ же взять деньщика-умницу, да притомъ еще и честнаго, когда уже давно сказано, даже о другихъ

сословіяхъ, повыше деньщичьяго, что умный человѣкъ не можетъ быть не плутомъ?... Если же простота и бываетъ подъ-часъ хуже воровства, то это, конечно, относится только до слона на воеводствѣ, а не до служителя: тутъ, конечно, честность и послушаніе дороже ума. Прислугѣ говорятъ: не дѣлай своего хорошаго или умнаго, а дѣлай мое худое или глупое.,.

Итакъ, Андрей жилъ и служилъ смирно и честно, соблазняя только иногда дворню моего пріятеля несуразностью своею и медвѣжьими пріемами; но и этимъ онъ болѣе тѣшилъ людей, чѣмъ досаждалъ имъ, перенося съ удивительнымъ равнодушіемъ и стойкостью всѣ ихъ придирки и насмѣшки. Даже когда онъ начиналъ ворчать и отбраниваться, то и это болѣе служило ко всеобщему увеселенію; сердиться и обижаться этою забавною воркотнею могъ только такой глупый, избалованный ребенокъ, какъ мой покойный Степа.

Но рать стоитъ въ полѣ до мира, а миръ стоитъ до рати. Въ людской моего пріятеля сдѣлалось однажды, какъ люди его выразились, большое замѣшаньеце. Послѣ суточнаго крику, брани и перекоровъ, кучеръ пришелъ къ барину въ самомъ отчаянномъ расположеніи и началъ, по обычаю, рѣчь свою словами: — «Власть ваша...» — а кончилъ тѣмъ, что отъ Андрея житья нѣтъ въ домѣ и что Андрей укралъ у него пять рублей. Баринъ очень удивился этой жалобѣ и хотя считалъ ее какою-нибудь глупою клеветою, не менѣе того сдѣлалъ домашнее разбирательство, но не могъ раскрыть ничего и побранилъ кучера за такой поклепъ на человѣка, доселѣ всегда честнаго, тѣмъ болѣе, что у кучера былъ одинъ только довольно голословный доводъ, что денегъ болѣе украсть было некому.—«Власть ваша— говорилъ разобиженный кучеръ:—а этакъ жить нельзя; а кромѣ Андрея украсть некому; притомъ Андрей и самъ сказывалъ, что другой деньщикъ и земляка его,

котораго турки гдѣ-то удавили, напророчилъ передъ смертью своею Андрею, что онъ неминуемо прокрадется и будетъ на своемъ вѣку воромъ».

Трудно опровергать доказательства и убѣжденія такого рода. Кучеръ говорилъ свое, успокоился повидимому на сутки, а тамъ опять пришелъ съ тою же жалобой и съ тѣми же на нее доказательствами. Баринъ вынужденъ былъ прогнать его окончательно, объявивъ, что болѣе объ этомъ дѣлѣ ничего слышать не хочетъ.

Прошло нѣсколько дней; баринъ думалъ, что все забыто, какъ вдругъ опять кучеръ является съ слѣдующею просьбою: приказать Андрею сходить съ нимъ вмѣстѣ къ ворожеѣ. — «Если Андрей невиноватъ, — говорилъ онъ: — то ему бояться нечего; а коли струситъ да не пойдетъ, такъ воля ваша, а онъ укралъ деньги.»—Чтобъ отвязаться отъ докуки этой и кончить дѣло, баринъ безъ слова разрѣшилъ имъ идти вдвоемъ къ ворожеѣ, въ томъ убѣжденіи, что знахари и шептуньи въ этомъ отношеніи всегда бываютъ осторожны и никогда прямого обвиненія, особенно въ глаза, никому не выскажутъ. Андрей не отказывался, и, послѣ предварительныхъ справокъ кучера, назначенъ былъ имъ день и велѣно быть на мѣстѣ съ восходомъ солнца.

Дѣло это было въ Петербургѣ, гдѣ всего довольно, даже и ворожей, хотя о нихъ, быть можетъ, и знаетъ не всякій, но кому онѣ нужны, тотъ найдетъ ихъ тамъ всегда. Ворожея, о которой у насъ идетъ рѣчь, жила въ ветхомъ домикѣ у московской заставы. Она—не застава, то есть, а ворожея—была въ то же время извѣстна не только въ кучерскомъ кругу, но и гораздо повыше. Сосѣди сказывали, что видаютъ иногда щегольскія кареты и коляски, если не у хилаго подъѣзда лачужки, то гдѣ-нибудь невдалекѣ, и что кареты эти стоятъ тутъ по цѣлымъ часамъ въ ожиданіи возвращенія гос-

подъ своихъ, пробирающихся украдкою по стѣнкѣ, то съ нахлобученной шляпой и приподнятымъ воротникомъ, то подъ опущеннымъ капоромъ и покрываломъ. Чѣмъ болѣе въ старухѣ этой выказывалось дикаго, страннаго и причудливаго, тѣмъ съ большимъ раболѣпствомъ и довѣрчивостью къ ней приближались. Она принимала посѣтителей по выбору, и то за великую милость, но ужъ зато всегда говорила одну только правду; а еслибъ ей случилось соврать что-нибудь, то, вѣроятно, этимъ бы никто не похвалился, потому-что упрямство и причуды ея извѣстны были всякому, и она, какъ давно всѣ знали, врала только развѣ съ умыслу, чтобъ дурачить нелюбого ей посѣтителя. Есть пословица, которая спрашиваетъ: давно ли ты, бабушка, стала ворожить? и сама же отвѣчаетъ: а какъ нечего стало на зубъ положить; но пословица эта, какъ увѣряли, не шла къ нашей ворожеѣ, потому-что она ни за что и ни отъ кого не принимала денегъ, а принимала только посильныя приношенія въ пользу бѣдныхъ, погорѣлыхъ, заключенныхъ, калѣкъ, вдовъ и сиротъ, также на сооруженіе храмовъ, для чего у нея и были разставлены по всему столу кружки съ приличными надписями. Кто открываетъ и выбираетъ кружки эти и куда идутъ изъ нихъ деньги—объ этомъ некому было заботиться, да и не у кого было бы объ этомъ допроситься.

Къ этой-то знаменитой ворожеѣ, которая всегда говорила одну только правду и разгадывала все, что хотѣла, кучеръ нашъ получилъ доступъ, за великую милость, по тому поводу, что наша Марина вашей Катеринѣ приходится двоюродной Прасковьей: ворожейкина кухарка и кофейница, коренная выборгская чухонка, приходилась сватьей кумѣ кучера по племяннику ея, отставному солдату, отдавшему дочь за подмастерья серебряныхъ дѣлъ.

Итакъ, пригласивъ еще съ вечера Андрея, который,

не призадумавшись, готовъ былъ идти къ какой угодно ворожеѣ, потому-что совѣсть у него чиста и онъ никакихъ ворожей не боится, кучеръ всталъ до свѣту, разбудилъ медвѣдя-Андрея, помолился и натощакъ, какъ велѣно было, отправился съ Выборгской стороны за московскую заставу. Пришли кажется во-время: солнце только-что подымается. Кумина сватья, ворожейкина кухарка, къ которой кучеръ осторожно постучался въ окно, объявила, что знахарка еще не вставала и велѣла обождать. Время стояло довольно теплое; у воротъ лачужки положена была доска на два камня, конечно, для терпѣливыхъ посѣтителей, и кучеръ съ Андреемъ присѣли рядкомъ, какъ добрые пріятели, и, въ ожиданіи роковаго суда, занялись дружеской бесѣдой. Прошло около получаса; кухарка, обѣщавшая вскорѣ позвать посѣтителей, не показывалась; кучеръ всталъ и пошелъ къ покровительницѣ своей, чтобъ справиться, въ добромъ ли здоровьѣ хозяйка и скоро ли она осчастливитъ ихъ великими милостями своими. «А вотъ сейчасъ», сказала кухарка, которая также ходила *около горячаго:* «вотъ пойду и доложу опять», продолжала она, устанавливая чашку, кофейникъ и сливочникъ на подносъ: «я ужь докладывала: обѣщала принять, хоть и поворчала немного. Вотъ, чай, позову скоро.» Кучеръ пошелъ слѣдомъ за нею изъ кухни въ сѣни, благодаря ее съ поклонами на этомъ короткомъ перепутьѣ за многія и великія милости ея, обѣщалъ не забывать ея впередъ и остановился, въ ожиданіи рѣшенія, въ сѣняхъ, передъ входомъ въ таинственную половину гадальщицы.

И въ самомъ дѣлѣ, не успѣлъ нашъ кучеръ выставить впередъ одну ногу, сложить и опустить передъ собою обѣ руки со шляпой и наклонить голову нѣсколько впередъ и на бокъ, и только-что собрался было вздохнуть и охнуть втихомолку въ этомъ выжидательномъ положеніи, какъ дверь съ жилой половины опять не-

много растворилась, и покровительница кучера, кумина сватья, выглянувъ оттуда, торопливо сказала: «идите, зоветъ!»

Кучеръ бросился опрометью къ воротамъ, призывая подсудимаго по имени—отвѣта не было. Выбѣжавъ за ворота, взглянувъ на лавочку и оглянувшись кругомъ, кучеръ выразилъ нетерпѣніе свое побранкою и продолжалъ, выходя на средину улицы и глядя то въ въ одинъ конецъ, то въ другой: «Что за недобрая! куда его теперь на грѣхъ унесло? Вотъ какъ осерчаетъ ворожейка да не пуститъ меня за это, такъ и кланяйся, и пропали мои пять рублёвъ! Экой проклятый! Андрей, слышишь, что ли? Андрей!» Долго еще кучеръ покрикивалъ Андрея, то заходя во дворъ, то выходя опять на улицу, то за однимъ угломъ, то за другимъ, — но Андрей не отзывался. Кучеръ еще оглянулся, нѣтъ ли гдѣ вблизи *заведенія*, куда бы могъ укрыться Андрей, соскучившись натощакъ дожидаться расвязки; но, не говоря уже о томъ, что въ условіи было явиться натощакъ, такого заведенія нигдѣ вблизи не было видно, а проѣзжавшій порожнемъ извощикъ, на вопросъ кучера, увѣрилъ его, что его по близости нѣтъ. Отчаянный кучеръ не зналъ, что подумать и что начать. Въ это время кухарка опять показалась въ дверяхъ лачуги и стала манить къ себѣ рукою кучера; онъ подбѣжалъ къ ней и только было собрался распустить на свободѣ незастѣнчивую гортань свою, чтобъ дать полный просторъ правдивому негодованію, какъ кухарка заставила его молчать и объявила, именемъ своей госпожи, что̀ ему не зачѣмъ ходить къ ней: она сейчасъ посмотрѣла на свои ногти и объявила это, прибавивъ, что кучеръ пропажи своей никогда не отыщетъ, пусть и не хлопочетъ: воръ бѣжалъ изъ Петербурга и бѣжалъ такъ удачно, что его никто и никогда не найдетъ.

не призадумавшись, готовъ былъ идти къ какой угодно ворожеѣ, потому-что совѣсть у него чиста и онъ никакихъ ворожей не боится, кучеръ всталъ до свѣту, разбудилъ медвѣдя-Андрея, помолился и натощакъ, какъ велѣно было, отправился съ Выборгской стороны за московскую заставу. Пришли кажется во-время: солнце только-что подымается. Кумина сватья, ворожейкина кухарка, къ которой кучеръ осторожно постучался въ окно, объявила, что знахарка еще не вставала и велѣла обождать. Время стояло довольно теплое; у воротъ лачужки положена была доска на два камня, конечно, для терпѣливыхъ посѣтителей, и кучеръ съ Андреемъ присѣли рядкомъ, какъ добрые пріятели, и, въ ожиданіи роковаго суда, занялись дружеской бесѣдой. Прошло около получаса; кухарка, обѣщавшая вскорѣ позвать посѣтителей, не показывалась; кучеръ всталъ и пошелъ къ покровительницѣ своей, чтобъ справиться, въ добромъ ли здоровьѣ хозяйка и скоро ли она осчастливитъ ихъ великими милостями своими. «А вотъ сейчасъ», сказала кухарка, которая также ходила *около горячаго:* «вотъ пойду и доложу опять», продолжала она, устанавливая чашку, кофейникъ и сливочникъ на подносъ: «я ужь докладывала: обѣщала принять, хоть и поворчала немного. Вотъ, чай, позову скоро.» Кучеръ пошелъ слѣдомъ за нею изъ кухни въ сѣни, благодаря ее съ поклонами на этомъ короткомъ перепутьѣ за многія и великія милости ея, обѣщалъ не забывать ея впередъ и остановился, въ ожиданіи рѣшенія, въ сѣняхъ, передъ входомъ въ таинственную половину гадальщицы.

И въ самомъ дѣлѣ, не успѣлъ нашъ кучеръ выставить впередъ одну ногу, сложить и опустить передъ собою обѣ руки со шляпой и наклонить голову нѣсколько впередъ и на бокъ, и только-что собрался было вздохнуть и охнуть втихомолку въ этомъ выжидательномъ положеніи, какъ дверь съ жилой половины опять не-

много растворилась, и покровительница кучера, кумина сватья, выглянувъ оттуда, торопливо сказала: «идите, зоветъ!»

Кучеръ бросился опрометью къ воротамъ, призывая подсудимаго по имени—отвѣта не было. Выбѣжавъ за ворота, взглянувъ на лавочку и оглянувшись кругомъ, кучеръ выразилъ нетерпѣніе свое побранкою и продолжалъ, выходя на средину улицы и глядя то въ въ одинъ конецъ, то въ другой: «Что за недобрая! куда его теперь на грѣхъ унесло? Вотъ какъ осерчаетъ ворожейка да не пуститъ меня за это, такъ и кланяйся, и пропали мои пять рублёвъ! Экой проклятый! Андрей, слышишь, что ли? Андрей!» Долго еще кучеръ покрикивалъ Андрея, то заходя во дворъ, то выходя опять на улицу, то за однимъ угломъ, то за другимъ, — но Андрей не отзывался. Кучеръ еще оглянулся, нѣтъ ли гдѣ вблизи *заведенія*, куда бы могъ укрыться Андрей, соскучившись натощакъ дожидаться развязки; но, не говоря уже о томъ, что въ условіи было явиться натощакъ, такого заведенія нигдѣ вблизи не было видно, а проѣзжавшій порожнемъ извощикъ, на вопросъ кучера, увѣрилъ его, что его по близости нѣтъ. Отчаянный кучеръ не зналъ, что подумать и что начать. Въ это время кухарка опять показалась въ дверяхъ лачуги и стала манить къ себѣ рукою кучера; онъ подбѣжалъ къ ней и только было собрался распустить на свободѣ незастѣнчивую гортань свою, чтобъ дать полный просторъ правдивому негодованію, какъ кухарка заставила его молчать и объявила, именемъ своей госпожи, что̀ ему не зачѣмъ ходить къ ней: она сейчасъ посмотрѣла на свои ногти и объявила это, прибавивъ, что кучеръ пропажи своей никогда не отыщетъ, пусть и не хлопочетъ: воръ бѣжалъ изъ Петербурга и бѣжалъ такъ удачно, что его никто и никогда не найдетъ.

Почесавшись, поблагодаривъ и поэхмакавъ разъ десять, разсказывая притомъ, какъ Андрей вотъ сію минуту былъ здѣсь и сидѣлъ вотъ на этой лавочкѣ, кучеръ наконецъ былъ покинутъ покровительницею своею и отправился домой. Во всю дорогу не переставалъ онъ честить Андрея всѣми почетами, какіе только приходили ему въ голову. Онъ надѣялся, однако, застать своего ворога дома, въ людской; но дома его не было, и домой, по крайней мѣрѣ, въ этотъ день, онъ не приходилъ. Андрей никогда болѣе не приходилъ. Онъ пропалъ безъ вѣсти, какъ нѣкогда землякъ его, Степанъ, только не повѣшенный турками, а прокравшись, и пропадаетъ по нынѣшній день.

# ПРОМЫШЛЕННИКЪ

Гуляевъ, поручикъ кираспрскаго полка, поселеннаго въ Новороссійскомъ краѣ, сидѣлъ подъ-вечеръ съ трубкою у окна и глядѣлъ на широкую улицу. Насупротивъ его былъ цѣлый рядъ очепъ опрятныхъ, выбѣленныхъ домиковъ, съ желтыми обводами, отдѣленными другъ отъ друга красивенькимъ заборомъ изъ сырцоваго кирпича, сложеннаго въ рѣшетку съ продушинами; кровли соломенныя, гладкія, со стрѣхою въ обрубъ, отливали яркую желтизну на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ подновлены были недавно свѣжей соломой; легонькія ворота, склоченныя изъ трехъ поперечныхъ латынъ на трехъ продольныхъ, придавали дворамъ болѣе сельскій видъ, украшаемый еще насаженною вдоль всей улицы просадью бѣлыхъ акацій. Дворы и улицы были чисто выметены и, по обширности своей, казались пустыми; по крайней мѣрѣ, не видать было ни скотинки, ни поросенка, ни дворовой птицы. Далѣе, за этимъ рядомъ хатъ, разстилалась степь, повидимому, такъ же выметенная, вычищенная и едва ли не вылощенная—только рукою самой природы.

«Экая скука!» подумалъ Гуляевъ: «хоть бы какая-нибудь корова прошла, такъ бы приманилъ ее къ окну хлѣбцемъ да надѣлъ ей, для потѣхи, пару старыхъ

сапожищевъ на рога,—такъ нѣтъ, это не у насъ, тутъ и коровы глядятъ буйволами. Давно не было писемъ отъ брата изъ Питера, что-то онъ подѣлываетъ? Да, онъ счастливѣе меня: ему далъ Богъ и судьбу, и дарованія; попписываетъ себѣ стишки — и правъ. И въ обществахъ хорошихъ бываетъ, и съ порядочными людьми знается; а тутъ одурѣешь съ тоски: глушь такая, что ни одинъ шутъ сюда не заѣдетъ... Что это? никакъ колокольчикъ? Видно, почта наша... да нѣтъ, нынче вторникъ! Такъ, видно, къ полковнику... Вотъ тебѣ разъ, мужикъ прямо указалъ на мою хату... такъ и есть, прямо сюда... Что бы это значило? Почтовая перекладная пара, а въ телѣгѣ какой-то молодчикъ въ венгеркѣ...»

Молодчикъ этотъ ловко соскочилъ съ телѣги, перевалившись бочкомъ черезъ грядку, и вошелъ въ комнату, спросивъ только мелькомъ и мимоходомъ деньщика въ передней: «А что, здѣсь стоитъ поручикъ Гуляевъ?» Раскланявшись человѣкомъ бывалымъ съ хозяиномъ и вынувъ при этомъ, изъ вѣжливости, трубку свою изо рта, пріѣзжій извинился въ причиненномъ безпокойствѣ, сказалъ, что случай и обстоятельства завели его въ край этотъ, на чужбину, и что онъ, услышавъ о пребываніи здѣсь Павла Ивановича Гуляева, не могъ отказать себѣ въ удовольствіи посѣтить брата Александра Ивановича, съ которымъ онъ столько времени былъ коротко знакомъ въ Петербургѣ, какъ товарищъ по призванію, по занятіямъ словесностью.

— Я также кой-что попписывалъ, — продолжалъ онъ;—хотя и не смѣю равняться по достоинству съ братцемъ вашимъ; но онъ былъ всегда такъ добръ и ласковъ ко мнѣ... о! онъ такъ меня любилъ и, бывало, часто говаривалъ: «Ну, Гриша, Богъ приведетъ тебѣ когда-нибудь встрѣтиться съ братомъ моимъ, то-есть съ Павломъ — извините, еще онъ сказалъ съ Павлу-

шей—то поди прямо къ нему, все равно что ко мнѣ: это такая жь добрая душа...

Гуляевъ хотѣлъ было обрадоваться и кинуться обнимать писателя и друга брата своего, Александра, но, какъ человѣкъ вообще неторопливый, онъ подумалъ: «это еще не уйдетъ, успѣемъ» и сталъ напередъ разспрашивать нежданнаго гостя своего, стоя передъ нимъ, о кой-какихъ подробностяхъ. Оказалось, что литераторъ этотъ пишетъ не подъ своимъ именемъ, и даже большею частью вовсе не подписывается подъ статьями, конечно, изъ скромности: но Гуляеву невольно пришелъ на умъ Хлестаковъ; оказалось также, что литераторъ этотъ и другъ Александра Гуляева не совсѣмъ твердо знаетъ нѣкоторыя обстоятельства, о которыхъ, однакожъ, говорилъ не запинаясь, самымъ положительнымъ образомъ; поручикъ уже осматривалъ его въ какомъ-то неудомѣніи съ головы до ногъ, какъ ямщикъ вошелъ и сталъ просить настоятельно отпустить его. Литераторъ позамялся немного, а затѣмъ вдругъ съ особенною любезностью обратился къ хозяину съ просьбой потрудиться заплатить за него два съ четвертью рубля, потому-что у путника не случилось мелочи: вся вышла.

«А!» подумалъ Гуляевъ: «теперь понимаю». Онъ выслалъ ямщика и, обратившись къ гостю своему, сказалъ:—«Послушайте, вы немножко во мнѣ ошиблись: вы не съ того крыльца зашли и этимъ путемъ не успѣете ни въ чемъ. Но если хотите, вы еще можете поправить дѣло: сознайтесь мнѣ на первый случай, что вы солгали все, что разсказывали; затѣмъ, скажите мнѣ въ трехъ словахъ всю правду, и тогда, хотя и не получите отъ меня ничего, но, все равно, я вамъ дамъ тотчасъ же случай надуть здѣсь другого человѣка. Но условіе мое: высказать всю правду; сверхъ того, я прикажу подать вамъ вечеромъ стаканъ чаю,

а вы мнѣ тогда разскажете отъ скуки похожденія свои, и къ ночи отправитесь далѣе.

Гость чрезвычайно обрадовался этому предложенію, но, изъ врожденной скромности, только улыбнулся, потупивъ нѣсколько глаза, и сказалъ:

— Точно, вы правы; я виноватъ передъ вами.

— Ну, это моя правда,—позразилъ Гуляевъ:—а ваша гдѣ?

— Очень долго разсказывать,—отвѣчалъ тотъ:—я, заѣхавъ сюда, сталъ освѣдомлятся, нѣтъ ли здѣсь кого-нибудь изъ прежнихъ товарищей моихъ, услышалъ ваше прозваніе, заключилъ по отечеству, что вы братъ извѣстнаго писателя Гуляева...

— Съ которымъ вы вовсе незнакомы?

— То-есть, извините, я конечно знаю его, но не такъ коротко...

— Неправда, сознайтесь, вы его вовсе не знаете?..

— То-есть, я дѣйствительно не имѣлъ удовольствія бывать у него, не былъ ему представленъ, ей-богу, но я встрѣчалъ его въ обществѣ...

— Довольно на первый случай,—перебилъ его Гуляевъ:—вы, однако, забываете уговоръ нашъ: говорить одну правду. Будьте же со мною откровенны, если желаете себѣ добра. Увѣряю васъ, не шутя, если вы еще разъ солжете мнѣ, то мы съ вами простимся, и очень сухо и круто: я ужъ такой человѣкъ.

Землепроходецъ раскланивался, умильно улыбаясь, и извинялся.

— Эй!—продолжалъ поручикъ:—Степанъ неси сюда, что есть поклажи въ телѣгѣ. У васъ есть что-нибудь съ собой, вѣроятно?—Да призови ямщика.—Такъ денегъ у васъ нѣтъ ничего?

— Ни копѣйки.

— Ну, коли вы заѣхали сюда безъ денегъ, то, конечно, какъ-нибудь спровадить васъ отсюда надо. И

такъ, я на первый случай заплачу ямщику, вы оставите здѣсь чемоданчикъ свой—то-есть, я, разумѣется, посмотрю сперва, есть ли въ немъ что-нибудь; вы сами знаете, случается, что въ такомъ чемоданѣ лежитъ только клокъ сѣна да для вѣсу два кирпичика. Потрудитесь раздѣлать его. Потомъ я васъ отправлю къ одному доброму человѣку и научу васъ, какъ у него добыть хоть немного денегъ. Между тѣмъ Степанъ поставитъ самоваръ; воротившись, вы честно расплатитесь со мною, потому-что я ни за кого не плательщикъ. Мы побесѣдуемъ, вы потѣшите меня своими похожденіями, а затѣмъ поѣдете дальше. Вы куда собираетесь?

Пришлецъ пожалъ плечами и, не смѣя солгать, затруднился въ отвѣтѣ.

— Ну, это все равно,—продолжалъ поручикъ:—пожалуй, тогда вмѣстѣ посовѣтуемся, увидимъ.

Въ чемоданчикѣ, къ удивленію поручика, нашлась новая пара платья тонкаго, чернаго сукна, двѣ цвѣтныя жилетки, пара лаковыхъ сапогъ, двѣ пары разноцвѣтныхъ перчатокъ, двѣ тонкія манишки, складная шляпа въ футлярѣ и не болѣе трехъ или четырехъ штукъ бѣлья; затѣмъ, щеточка, гребенка, духи, помада, и нѣсколько колодъ картъ.

— Однако жь, — сказалъ Гуляевъ: — у васъ тутъ щегольская пара съ полнымъ приборомъ?

— Да-съ,—отвѣчалъ тотъ:—вѣдь порядочному человѣку безъ этого нельзя; нынче свѣтъ таковъ, что дѣлать! въ иномъ мѣстѣ, безъ этого, сами изволите знать, въ порядочный домъ не пустятъ... Прикажете мнѣ одѣться теперь?

— Нѣтъ, этого не нужно, не безпокойтесь: платье ваше до времени останется у меня, а къ пріятелю моему вы можете идти и въ венгеркѣ.

Землепроходецъ, какъ вѣроятно читатели уже за-

мѣтили, сдѣлался чрезвычайно скромнымъ; онъ молча слегка поклонился и съ веселымъ лицомъ ожидалъ дальнѣйшихъ распоряженій своего обязательнаго и правдолюбиваго хозяина.

— Теперь,—сказалъ этотъ:—идите къ прапорщику Левкадіеву, деньщикъ васъ къ нему проводитъ. Это нашъ полковой пінта, въ которомъ бездна самолюбія и ни на грошъ дарованія; но ему, послѣ многихъ тщательныхъ попытокъ, удалось напечатать въ одномъ изъ плохихъ журналовъ никуда негодные стишонки свои—такъ я, по крайней мѣрѣ, полагаю, хоть я въ этомъ дѣлѣ не знатокъ—и съ тѣхъ поръ онъ подкатилъ разъ навсегда очи подъ лобъ и ходитъ, какъ юродивый. Вамъ надо знать, что знаменитое стихотвореніе это, которое стоило бѣдному Левкадіеву послѣднихъ крохъ ума, называется *«Къ небосклону»*, но онъ его переименовалъ послѣ того въ *«Лиру поэта»*, прожужжалъ всѣмъ намъ уши этимъ новымъ заголовкомъ и, во что бы ни стало, хочетъ напечатать его вторымъ изданіемъ, для вящаго утѣшенія читателей. Левкадіевъ, изволите видѣть, хвалился еще вчера, что узнаетъ настоящаго поэта по первому взгляду, по рѣчамъ, по осанкѣ, по пріемамъ и походкѣ: пусть же онъ узнаетъ васъ. Желаю вамъ поставить западню свою на Левкадіева удачнѣе, чѣмъ на меня. Вотъ вамъ данныя; остальному, я полагаю, учить васъ нечего: вы, вѣроятно, сумѣете найтись лучше меня.

— Понимаю,—отвѣчалъ тотъ:—и благодарю; стало-быть, вы дозволите мнѣ назваться именемъ вашего почтеннаго братца, пріѣхавшаго къ вамъ въ гости?

— Какъ такъ? О, да вы, какъ я вижу, далеко опередили всѣ мои предположенія! Васъ учить не только излишне, но даже опасно. Пѣтя, почтеннѣйшій, ужъ лучше оставьте моего брата въ покоѣ; вамъ легко будетъ придумать чье-нибудь другое имя, все равно,

лишь бы былъ извѣстный человѣкъ. Левкадіевъ всѣхъ ихъ знаетъ наперечетъ. Имя брата моего, сами видите, для васъ несчастливо; вы съ нимъ попались на первыхъ порахъ. Ну, съ Богомъ, идите, пора. Степанъ, укажи ему избу Левкадіева.

Гуляевъ походилъ съ трубкою взадъ и впередъ по комнатѣ, разсмѣялся про себя вполголоса и сказалъ:

«Вотъ Богъ послалъ потѣху!» Онъ остановился передъ чемоданомъ. «И есть же такіе люди на свѣтѣ! Кого, прошу покорно, онъ не надуетъ? Вотъ все достояніе его, весь промыселъ и убѣжище; фракъ и жилетъ—рабочій, промышленный снарядъ его, какъ у добраго плотника топоръ и долото; день пришелъ, такъ и ѣсть принесъ; день прошелъ—заботу унесъ. А чуть было не надулъ и меня; да нѣтъ, я по первымъ пріемамъ увидѣлъ, что дѣло нечисто, что потѣшникъ мой на одну ногу хромаетъ. Нечего дѣлать, дадимъ ему стаканъ чаю да побалагуримъ!

— Степанъ, попроси-ка ко мнѣ Ивана Петровича; сбѣгай проворнѣй, скажи, что тутъ веселый гость пріѣхалъ и часика два пробудетъ; а воротившись, ты поставишь самоваръ.

Другой поручикъ, Иванъ Петровичъ, пришелъ, обрадованный нечаянностью этого важнаго событія, которое обѣщало пеструю страничку въ однообразной жизни. Гуляевъ сказалъ ему:

— Вотъ, братецъ, пройдоха пріѣхалъ, да какой! Послушаешь его... Да вотъ онъ ужь и идетъ! Ну, что благополучно, что-ли?

— Покорно васъ благодарю: десять цѣлковыхъ получилъ!

— Какъ же вы разыграли комедію?

— Да я назвался такимъ-то извѣстнымъ писателемъ, сказалъ, что по дружбѣ съ братомъ вашимъ...

— Опять-таки съ братомъ! Кой чортъ васъ мучитъ, что вы брата не можете оставить въ покоѣ.

— Помилуйте, нельзя же! Я только сказалъ, что, по дружбѣ съ братомъ вашимъ, заѣхалъ по пути, къ вамъ, узналъ случайно, что здѣсь обитаетъ знаменитый Левкадіевъ, который «Небосклономъ» своимъ свелъ съ ума весь Петербургъ; при этомъ я, разумѣется, прослезился, всплеснулъ руками, просилъ позволенія обнять его и потомъ разсмотрѣть черты его хорошенько, и прочее. Ну, а тамъ и пошло... Деньги и, по несчастію, потерялъ и теперь нахожусь въ самомъ критическомъ положеніи. Онъ еще много извинялся, что теперь самъ не при деньгахъ, приглашалъ меня погостить у него, обѣдать завтра...

— Нѣтъ, почтеннѣйшій,—перебилъ его Гуляевъ:— прошу не забывать нашего условія: вы ѣдете сегодня, къ ночи.

— Очень хорошо-съ, какъ угодно.

— А что,—сказалъ Гуляевъ, ощупывая безъ обиняковъ слегка карманы своего гостя:—не соблазнились вы тамъ чѣмъ нибудь, какою-нибудь бездѣлушкой? Такъ вѣдь этого у насъ въ уговорѣ не было!

— Помилуйте, — отвѣчалъ тотъ: — за кого же вы меня принимаете?

— Ну, ну, ладно!—возразилъ Гуляевъ:—садитесь-ка, вотъ и товарищъ послушаетъ васъ: должно быть поучительно и занимательно. Ну, разсказывайте, да чуръ не врать! Ей-богу, поймаю на первомъ словѣ и тогда нессоримся, и чаю не дамъ. Вамъ передъ нами чиниться нечего. Кто вы, какъ и что съ вами было, гдѣ и чѣмъ промышляли, и какъ сюда попали?

— Я воспитывался..., въ такомъ-то заведеніи, — началъ тотъ: — но по наклонностямъ своимъ къ простору никакъ не могъ ужиться. Много извели на меня толиковъ и, наконецъ, еще до выпуска, уволили на под-

ножный кормъ. Куда мнѣ дѣваться? Отца нѣтъ, мать изъ милости живетъ гдѣ-то за Тамбовомъ, братъ закабалился вѣковѣчнымъ канцелярскимъ служителемъ, — вотъ и всѣ! Не спорю, что я чистаго аттестата не заслуживалъ, но куда же мнѣ было дѣваться съ такимъ, гдѣ прописано было все почти съ такою же откровенностью, какой вы вотъ теперь изволите отъ меня требовать?... Я поселился было у одного полутоварища, вышедшаго еще до меня въ гражданскую службу, но онъ меня не сталъ долго держать. Промаялся я нѣсколько времени такъ, ночуя то въ разныхъ заведеніяхъ, то въ домѣ Вяземскаго, Полторацкаго, коли была гривна для уплаты за ночлегъ; свелъ дружбу съ однимъ вольноотпущеннымъ и тутъ только увидѣлъ, какъ хорошо люди живутъ на счетъ другихъ, коли умѣютъ; вѣрите ли, не занимаясь ничѣмъ, онъ истинно жилъ бариномъ, даже держалъ прекрасный экипажъ! Я рѣшился попробовать заняться тѣмъ же.

«Напередъ всего надо было одѣться: это стоило мнѣ большихъ трудовъ и опасностей. Я досталъ кой-какія вещицы, часики, табакерку, хорошую бронзовую лампу; но все это надо было сбыть. Мнѣ указали наконецъ портного, который, подъ залогъ вещей этихъ, одѣлъ меня прилично, и я, принявъ къ себѣ въ услуженіе товарища, пріискалъ на Литейной прекрасную квартиру съ полнымъ устройствомъ отъ хозяина, и назвался богатымъ помѣщикомъ, по крайней мѣрѣ, наслѣдникомъ, который пріѣхалъ въ столицу по тяжебнымъ дѣламъ своимъ. Рублей пятьдесятъ, собранные съ трудомъ, я роздалъ тутъ же дворнику и прислугѣ въ домѣ, чтобъ они прославляли богатство и тароватость мою. Первымъ слѣдствіемъ этого было, что такъ называемому слугѣ моему стали отпускать изо всѣхъ окружныхъ лавокъ съѣстные припасы на счетъ, а вы сами согласитесь, что это не бездѣлица. Такимъ обра-

зомъ мы жили нѣсколько времени прекрасно; виноградъ и арбузы были у насъ ничочемъ, хоть и частенько недоставало мяса, котораго въ лавочкахъ нѣтъ, а до мясныхъ рядовъ слава моя, какъ богатаго наслѣдника, не распространялась. Когда я замѣчалъ, что лавочники мои начинали сомнѣваться, то я пускалъ послѣднюю добытую копѣйку ребромъ, задаривалъ дворниковъ и отправлялъ ихъ въ лавочку прославлять имя мое; въ то же время я дѣлался вдвое взыскательнѣе относительно доставляемыхъ мнѣ съѣстныхъ припасовъ, браковалъ ихъ, отправлялъ обратно, требуя лучшаго и угрожая, въ противномъ случаѣ, что не стану брать больше здѣсь, а обращусь въ другую лавку.»

— Но вамъ все-таки необходимы были иногда деньги, хоть бы, напримѣръ, для уплаты за квартиру, для покупки вещей, которыхъ нѣтъ въ лавочкѣ; откуда жь вы ихъ добывали? — спросилъ Гуляевъ.

— Это, въ такомъ положеніи, какъ я тогда былъ, не слишкомъ трудно, хотя и хлопотно иногда, и притомъ въ теченіе времени средства истощаются, такая добыча, сидя на одномъ мѣстѣ, непродолжительна: тутъ и тамъ начинаютъ догадываться, и довѣренность упадетъ; но сначала это легко. Во-первыхъ, всегда находишь людей — вы не судите по себѣ—у которыхъ можно призанять что-нибудь, и другихъ, съ которыми, можно призаняться, то-есть напустить на нихъ 52 разбойника и выковать за вечеръ что-нибудь на зеленомъ станкѣ. Во-вторыхъ, пріятели и помощники мои, которые приходили всегда съ большою осторожностью и подъ видомъ чиновниковъ и ходаковъ и тяжбѣ моей, подносили мнѣ такъ называемый *клей*, то-есть, пріобрѣтенный ими товаръ, а у меня, какъ у богатаго наслѣдника, занимающаго прекрасную квартиру, никому не приходило въ голову искать вещей этихъ; онѣ по-

немногу сбывались, и выручка дѣлилась пополамъ. Случилось мнѣ раза два нападать въ трактирахъ на такихъ олуховъ, которыхъ, разумѣется, подводили, и которые проигрывали мнѣ въ вечеръ до тысячи рублей. Но мнѣ захотѣлось получить вдругъ поболѣе и ускользнуть куда-нибудь. Положеніе мое дѣлалось опаснымъ. Для этого я осмотрѣлъ въ одномъ магазинѣ золотыхъ товаровъ, часовъ и драгоцѣнныхъ камней на большую сумму, выбиралъ и прихотничалъ долго, справляясь по заготовленному списку, совѣтуясь съ хозяиномъ и насказавъ ему, что въ домѣ отца моего, богатаго помѣщика, готовятся вдругъ три свадьбы, а мнѣ поручено здѣсь заготовить и отправить приданое и подарки, какъ женихамъ, такъ и невѣстамъ... Изъ предосторожности, я даже заказалъ нѣкоторыя вещи съ вензелями и далъ сто рублей задатку, прося оставить отобранныя вещи за мной. Въ назначенный мастеромъ срокъ я сказался больнымъ, просидѣлъ дня три дома и послалъ товарища своего въ магазинъ просить, чтобъ вещи принесли ко мнѣ на домъ, потому что я нездоровъ. Хозяинъ приходитъ; его встрѣтили двое слугъ въ ливреяхъ, ввели въ залу, заставили подождать съ четверть часа и провели ко мнѣ въ кабинетъ. Я сидѣлъ въ креслѣ, обвязанный. Съ большимъ участіемъ разспрашивалъ нѣмецъ меня о болѣзни моей и очень-очень сожалѣлъ. Я разсмотрѣлъ вещи, былъ вообще ими доволенъ, возвратилъ ему только нѣкоторыя бездѣлушки для передѣлки по моему вкусу; мы свели счетъ, и я, отомкнувъ шкатулку и порывшись тамъ, подумалъ немного, посмотрѣлъ въ календарь, разсчитывая вслухъ, когда долженъ быть отвѣтъ на письмо мое въ Тамбовъ, и сказалъ хозяину, что ему придется, на первый случай, унести вещи эти, потому что я теперь отдать денегъ не могу, а получу ихъ черезъ пять дней, во вторникъ. «Хотите, такъ

возьмите у меня, для вѣрности, еще цѣлковыхъ сто— которыхъ у меня не было — въ задатокъ, а во вторникъ, послѣ полудня, приходите и приносите вещи: получите деньги непремѣнно.» Разумѣется, онъ не принялъ задатка, былъ чрезвычайно вѣжливъ, радуясь такой значительной покупкѣ, и оглядываясь по комнатѣ, какъ-будто разсматривалъ, каково-то я живу, былъ какъ-то въ нерѣшимости. У меня все было убрано такъ прилично, что я этого осмотра не боялся. Я позвонилъ и приказалъ подать себѣ и мастеру по чашкѣ кофе. «Развѣ вотъ что», предложилъ я, когда кофе подали: «я бы, пожалуй, предложилъ вамъ взять съ меня заемное письмо, срокомъ на пять дней; но, впрочемъ, для меня это все равно: лучше возьмите свои вещи и пріѣзжайте во вторникъ.»

«Мастеръ мой видимо былъ въ самомъ затруднительномъ положеніи; не хотѣлось ему оказать мнѣ, такому дорогому покупщику, малѣйшую недовѣрчивость, не хотѣлось также и нести цѣлую связку вещей опять домой, но и не рѣшался онъ ихъ оставить. Извиняясь съ крайнею вѣжливостью, что онъ не можетъ отдать вещей этихъ изъ рукъ, не удовлетворивъ въ то же время посторонникъ мастеровъ и хозяина нѣкоторыхъ взятыхъ имъ каменьевъ, онъ завернулъ все, собралъ и, нерѣшительно раскланиваясь, еще разъ спросилъ: навѣрное ли я полагаю, что получу деньги во вторникъ? Я увѣрилъ его въ этомъ, но только не настаивая, впрочемъ, на томъ, чтобъ онъ оставилъ товаръ, а, напротивъ, находя самъ, что лучше принести его во вторникъ и разсчитаться на наличныя деньги: «только ради Бога не забудьте исправить замѣченныя мною бездѣлушки», прибавилъ я, и отпустивъ его, самъ не зналъ, что мнѣ дѣлать съ нимъ, когда онъ придетъ во вторникъ.

«Нѣмецъ мой вышелъ въ раздумьѣ, а между-тѣмъ

официанты мои и даже дворники не зѣвали; на бѣду онъ вздумалъ посовѣтоваться съ ними и разспрашивать обо мнѣ: они насказали ему такихъ вещей, что онъ въ ту же минуту воротился, просилъ доложить о себѣ и, вошедъ ко мнѣ снова, принялся извиняться и просилъ меня лучше оставить вещи у себя и дать ему нѣмное письмо на пять дней срокомъ. Маклера тотчасъ призвали, и въ полчаса дѣло было кончено. Въ ту же ночь я исчезъ — и ни хозяинъ квартиры, ни лавочники, ни нѣмецъ мой съ векселемъ на 16,000 рублей серебромъ, не видѣли меня болѣе въ глаза.

«Нанявъ двѣ маленькія квартирки и прописавъ не свой, а чужіе паспорты, я жилъ то на Охтѣ, то въ Галерной Гавани, проводя впрочемъ большую часть времени въ срединѣ города и не возвращаясь никогда на ночлегъ домой, не развѣдавъ предварительно черезъ лазутчиковъ о надежности этого пріюта Вещи сбывалъ я исподоволь, съ большою осторожностью, и нѣсколько мѣсяцевъ жилъ себѣ бариномъ. Я довольствовался своей добычей и не пускался во все это время ни на какія опасныя дѣла; но запасъ мой истощился, не только потому, что я проживалъ иногда многонько, но и потому, что надобно было продавать все за треть цѣны, да еще дѣлиться съ другими и удѣлять часть на тѣхъ, у кого глаза нехороши, то-есть, вы понимаете, кто знаетъ много, но молчитъ и глядитъ сквозь пальцы, покуда это ему выгодно. Вотъ и пришла опять такая пора, что хоть волкомъ выть, и признаюсь въ своей неосмотрительности: это сдѣлалось какъ-то вдругъ, и на мнѣ остался одинъ только плохой сюртучишко. Какъ быть? Послѣ кой-какихъ попытокъ я вспомнилъ, что встрѣчался въ одномъ порядочномъ домѣ съ молодымъ художникомъ, который мнѣ показался добрымъ и довѣрчивымъ. Я вспомнилъ также, что онъ показывалъ тамъ картину свою и цѣ-

нилъ ее въ пятьсотъ рублей. Отправляюсь къ нему, нанявъ для этого коляску, за которую нечѣмъ было заплатить, и говорю, что хочу ему услужить: князь какой-то желаетъ купить картину его, о которой отъ меня слышалъ, и безъ всякаго сомнѣнія дастъ пятьсотъ рублей. Онъ съ радостью отдастъ мнѣ ее, завернувъ въ простыню, и мы вмѣстѣ уставили ее въ коляску; здѣсь только я взглянулъ на себя и сказалъ художнику: «Послушайте, вы одного роста со мною, дайте мнѣ, пожалуйста, фракъ вашъ: вы видите, въ какомъ я неблагобразномъ видѣ; черезъ часъ возвращусь съ деньгами и отдамъ вамъ фракъ.» Разумѣется, что онъ мнѣ въ этомъ не могъ отказать, и извинялся только, что у него фракъ не совсѣмъ хорошъ. «Ничего», сказалъ я: «все-таки въ немъ приличнѣе ѣхать къ князю, чѣмъ въ моемъ сюртукѣ.» Я прямо отправился въ заведеніе храненія громоздкихъ движимостей и получилъ подъ залогъ картины сто рублей. Но за мною уже слѣдили; розыски по прежнимъ дѣламъ возобновились, узнали, что я въ городѣ—и настала пора проститься съ Петербургомъ. Я вышелъ изъ Московской заставы пѣшкомъ, составивъ напередъ планъ для нескончаемаго похода своего.

«Товарищи мои, однокашники, были разсыпаны по всей Россіи, и я былъ увѣренъ, что нѣтъ полка, ни батальона, гдѣ бы не нашлось ихъ нѣсколько человѣкъ. Итакъ, я направилъ путь свой разными извилинами, отъ сѣвера на югъ, предложивъ идти все мѣстами расположенія войскъ, начиная отъ новгородскихъ поселеній. Такъ я и сдѣлалъ, и спасибо, вездѣ находилъ кусокъ хлѣба и хоть на сутки пріютъ, да сверхъ того, меня передавали или пересылали съ рукъ на руки то на своихъ лошадкахъ, то на подводахъ, то при запискахъ, изъ полка въ полкъ, изъ батальона въ батальонъ. Я разсказывалъ, что, послѣ постигшихъ

меня бѣдствій, иду домой, за наслѣдствомъ, и даже сочинилъ самъ къ себѣ нѣсколько писемъ, съ увѣдомленіемъ объ этомъ и вызовомъ поспѣшить на мѣсто. Гдѣ встрѣчалъ я разгульную компанію, тамъ перекидывалъ иногда направо, налѣво; гдѣ случалась по пути ярмарка или иной съѣздъ, тамъ подстерегалъ олуховъ да матушкиныхъ сынковъ; такимъ образомъ, я прошелъ и проѣхалъ зубчатымъ путемъ все пространство отъ Петербурга, чрезъ новгородскія поселенія, войска, расположенныя вокругъ Москвы, тамъ на Курскъ, Воронежъ, потомъ направо въ Харьковъ, и наконецъ, вотъ благополучно добрался до васъ.»

— Разскажите жь что-нибудь.—сказалъ Гуляевъ:— о замѣчательнѣйшихъ похожденіяхъ вашихъ на этомъ пути: вѣдь вы проѣхали слишкомъ двѣ тысячи верстъ!

— Да чтожь вамъ разсказать? Вотъ, напримѣръ, въ одномъ полку удалось мнѣ славно попировать съ недѣлю, и на рукахъ меня носили, потому-что полковникъ считаетъ себя литераторомъ—онъ, въ чинѣ прапорщика, попписывалъ стишки—и сильно покровительствуетъ своимъ братьямъ, писателямъ, а я, разузнавъ это, явился въ полкъ *Рахманнымъ*, то есть объявилъ, что это я пишу подъ этимъ именемъ; раза три пили мое здоровье шампанскимъ. Случалось раза два, проѣздомъ въ деревнѣ, назваться лѣкаремъ и принять чувствительную для меня благодарность помѣщика, у котораго я спасъ отъ смерти дочь или жену. Сходило съ рукъ, а съ ногъ — какъ говорится, хоть собаки тащи. Къ старухамъ-хозяйкамъ и скопидонкамъ я какъ-то особенно удачно подъѣзжаю, и онѣ меня любятъ до времени безъ ума. Ну, долго не засиживаешься, разумѣется чуть сметишь, что дѣло немножко неладно, то и дальше. Для хозяекъ этихъ у меня всегда готовъ запасъ разныхъ секретовъ, и что больше врешь имъ, то онѣ тебя дороже цѣнятъ. Не-

большая сноровка только нужна тутъ, чтобъ не вздумали повѣрить тебя на дѣлѣ, либо самого заставить сдѣлать опытъ: пріѣхалъ зимой, такъ толкуй о лѣтнемъ хозяйствѣ, а лѣтомъ—о зимнемъ; вотъ она себѣ и записывай, сколько хочетъ, и переспрашивай хоть двадцать разъ.

«Удалось мнѣ одну хорошую штуку выкинуть проѣздомъ въ Курской губерніи, подъ Фатежемъ. Тутъ жила порядочная помѣщица, о которой я зналъ кой-какія подробности чрезъ племянника ея, который воспитывался со мною вмѣстѣ, былъ, какъ видно, любимцемъ ея, даже надѣялся быть современемъ наслѣдникомъ, а между тѣмъ попалъ невзначай въ сибирскіе линейные батальоны. Отправлялся онъ туда при мнѣ, прямо изъ Питера, а изъ дома отданъ былъ по десятому году; такъ и я разсчиталъ, что если только онъ въ послѣдніе четыре года не бывалъ у тетки, то она его почти не можетъ знать въ лицо, а мы были съ нимъ, хоть не то, чтобъ похожи другъ на друга, да оба довольно смуглы. Надобно вамъ сказать, что я въ это время былъ въ самомъ отчаянномъ положеніи, безъ гроша денегъ, въ отдаленіи отъ расположенія войскъ, и сидѣлъ верстъ за восемьдесятъ отъ Фатежа, не зная, какими способами подвинуться хоть туда, хоть сюда, въ какую-нибудь сторону Вотъ, вспомнивъ о тёткѣ этой, я сталъ о ней разспрашивать, но могъ узнать только, что она еще жива и точно живетъ въ своей деревнѣ. Нанимаю извозчика прямо туда съ тѣмъ, чтобъ расплатиться на мѣстѣ и, выѣхавъ рано утромъ, поспѣлъ какъ-разъ къ деревенскому чаю. Въ сосѣдней деревушкѣ удалось мнѣ еще-таки разспросить двороваго человѣка и узнать отъ него кой-какія подробности, какъ, напримѣръ, имена названныхъ сестеръ моихъ, а также, что племянника съ тѣхъ поръ, какъ увезли его въ Питеръ, дома не бывало. Пріѣзжаю: домишко

старенькій, но жить можно; хлѣба на гумнахъ довольно — а это лучшая примѣта для голоднаго. Я соскочилъ, прибодрился, пошелъ смѣло да прямо, напроломъ, и встрѣчную чумичку сбилъ было съ ногъ; тетушка сидитъ съ дочерьми за чаемъ; я какъ взвою: «Тетушка! узнали ль вы бѣднаго Алешу?» да такъ-таки гирей на шею ей и привѣсился. Удивленіе, радость, разспросы—перецѣловалъ и перемиловалъ разъ по десяти сестрицъ, а у тетушки все ручки цѣлую. Она, старуха, земли подъ собою не слышитъ, свѣту не взвидѣла отъ радости; весь домъ коромысломъ поднялся, чтобъ угостить любимаго племянника; и въ этотъ и на другой день то вечеромъ къ огню меня подводятъ, то днемъ къ свѣту, разсматриваютъ и находятъ, что, конечно, много я измѣнился въ двѣнадцать лѣтъ, но что узнать еще можно, похожъ на мать... и на отца похожъ... нѣтъ, особенно похожъ на покойную бабушку!

«Словомъ, разсказавъ похожденія свои, и какъ меня понапрасну обидѣли, какъ я пострадалъ за товарища, котораго не хотѣлъ выдать, и за это попалъ въ линейные батальоны, какъ я горе мыкалъ, терпѣлъ нужду, вспоминалъ день и ночь любезную тетушку и милыхъ сестрицъ, какъ, наконецъ, отличіемъ своимъ загладилъ предъ начальствомъ мнимый поступокъ свой, произведенъ въ подпоручики, вышелъ въ отставку, пріѣхалъ за тетушкинымъ благословеніемъ, и прочее, а теперь ѣду вновь на службу въ конницу,—я такъ разжалобилъ слезливую тетушку и милыхъ сестрицъ, которыхъ желалъ бы цѣловать весь свой вѣкъ, что прожилъ двѣ недѣли какъ въ раю, и жилъ бы, можетъ быть, тамъ еще донынѣ, кабы не проклятое письмо отъ настоящаго племянника, присланное изъ Омска... Вотъ некстати человѣкъ расписался! Отовравшись какъ-какъ, что я же самъ и писалъ письмо это, а, одна-

кожь, видѣлъ, что не могъ ничѣмъ успокоить тревожнаго сомнѣнія тетушки, которая рѣшительно стала втупикъ.

«Въ самомъ дѣлѣ, старушка съ дочерьми, какъ теперь вспомню, была поставлена въ самое странное положеніе: трудно было вѣрить мнѣ послѣ всѣхъ разсказовъ моихъ, несогласныхъ съ содержаніемъ письма, на которомъ было выставлено такое число, въ какое я, по разсказамъ своимъ, былъ въ Петербургѣ; притомъ племянникъ ни слова не писалъ объ отставкѣ, а просилъ, напротивъ, прислать ему денегъ въ Омскъ; а между тѣмъ, какъ же и не повѣрить человѣку, который самъ на-лицо, обжился уже въ домѣ у тетушки, на *ты* съ сестрицами своими, разсказываетъ многія подробности своего дѣтства, хотя въ этомъ отношеніи память у него оказалась и нѣсколько слабою, да коли онъ, сверхъ всего этого, самъ пріѣхалъ, отыскалъ тетушку въ захолустьѣ и даже похожъ на отца и мать и покойную бабушку?...»

— Чѣмъ же все это кончилось?—спросилъ поручикъ.

— Да тѣмъ и кончилось,—отвѣчалъ землепроходецъ,—что я благополучно убрался, уѣхалъ. Признавъ полезнымъ за добра-ума убраться, я простился со слезами, снабженный подорожниками и печеньями разныхъ родовъ, небольшими деньжонками и нѣжными поцѣлуями милыхъ сестрицъ.. Какъ у нихъ дѣло развязалось—не знаю; я обѣщалъ опять пріѣхать черезъ полгодика, но, видно, подождутъ и подолѣе.

— Куда жь вы теперь собираетесь, честной господинъ?—спросилъ Гуляевъ.—Гость признался, что онъ еще и самъ этого не знаетъ, а полагалъ уѣхать туда, куда кто нибудь изъ господъ поручиковъ дастъ ему письмо. Оба захохотали, а Гуляевъ, вставъ и выколачивая трубку свою, сказалъ:—не на тетушку вы тутъ

напали, почтеннѣйшій: тутъ сами съ усами. Я вамъ далъ понадуть, для шутокъ, нашего шута и, сверхъ обѣщаннаго стакана чаю, попотчивалъ васъ еще трубкой табаку; ночь на дворѣ, ѣхать вамъ пора, спасибо за потѣху—и прощайте. А куда вы поѣдете, успѣете надуматься, когда вывезутъ васъ за заставу. Эй, Степанъ! вели подавать лошадей этого барина; да сѣнца подложить въ телѣгу, чтобъ можно было ему вздремнуть.

Гость молча вздохнулъ, всталъ, улыбаясь раскланялся, благодарилъ и, садясь въ телѣгу, обратился къ проводившему его до крыльца Гуляеву, сказавъ: «Ну, поручикъ, признаюсь, я еще такого человѣка, какъ вы, не встрѣчалъ. Что еслибъ вы пошли... еслибъ судьба повела васъ по той дорогѣ, по которой я пошелъ—вы ушли бы далеко!»

# САВРАСКА

Отецъ мой былъ родомъ швейцарецъ, изъ Санъ-Галена, а въ Россіи принадлежалъ къ осколкамъ великой арміи... Послѣ разныхъ переворотовъ, онъ наконецъ поселился вблизи Петербурга, на Выборгской сторонѣ; здѣсь купилъ онъ десятинъ пятьдесятъ землицы, обзавелся скотомъ и сталъ торговать молокомъ и сколами, а въ особенности масломъ. Дѣло шло порядочно, и мы, къ сожалѣнью, начали жить хорошо, то есть нѣсколько лучше, чѣмъ слѣдовало.

Мнѣ было лѣтъ тринадцать, какъ мы однажды вечеркомъ съ однимъ добрымъ пріятелемъ отца моего сидѣли у воротъ и смотрѣли на проѣзжихъ и прохожихъ. День былъ воскресный; хмѣльная чухна на одноколкахъ своихъ возвращалась домой изъ столицы, и тутъ было много смѣшного и забавнаго. И пѣсню веселаго чухонца нельзя слышать безъ грустнаго смѣха, потому что пѣсня эта, а еще болѣе пріемы поющаго выражаютъ какую-то дикость, смирившуюся подъ гнетомъ нужды и суровой природы. Одинъ лежалъ съѣжившись въ тележонкѣ, спалъ непробуднымъ сномъ, а вожжи тащились по землѣ; другой, невольно уступая дорогу встрѣчной колескѣ, съ такимъ же спокойствіемъ вывалился въ придорожную канаву, какъ бы

соскакивалъ у воротъ родной избенки своей, пріѣхавъ благополучно на мѣсто; третій сидѣлъ верхомъ на упряжной клячонкѣ; ноги его, или по крайней мѣрѣ сапоги, задѣвали носками за каменья или неровности каменистой дороги, а голова поматывалась направо и налѣво, смотря по толчкамъ; иной гналъ во весь духъ и кричалъ дикимъ и сиплымъ голосомъ; другой брелъ пѣшій, держа вожжи въ рукахъ, небрежно подставлялъ шаткія ноги свои то подъ лошадь, то подъ телѣгу, и даже не замѣчалъ, когда колесо одноколки прокатывалось черезъ широкую лапу его.

Въ числѣ этой дикой, веселой братіи, между прочими, ѣхалъ также чухонецъ, сидя верхомъ и скорчась уточкой, потому что ногами уперся онъ въ оглобли; въ одноколкѣ его лежалъ жеребенокъ, подымалъ голову отъ каждаго толчка и, поровнявшись съ нами, жалобно заржалъ. Я вскочилъ и ребячески вскликнулъ: «Дядюшка (такъ привыкъ я называть нашего пріятеля), дядя, купи жеребенка!»

Чухонецъ, услышавъ возгласъ мой, остановился и, продирая усильно заволакиваемые хмѣлемъ глазки, повторилъ: «Купи жеребенка!» Дядя вразумилъ было меня, что это пустая затѣя; для чего покупать и куда дѣвать недѣльнаго жеребенка, которому пришлось бы еще нанять кормилицу; но чухонецъ уже свалился кулемъ съ лошади, подошелъ къ намъ и сталъ приставать, какъ банный листъ, повторяя: «купи!» Дядя, желая отдѣлаться отъ неотвязнаго, махнулъ рукой и пошелъ во дворъ; но тотъ послѣдовалъ за нами, повторялъ неотступно свое, и наконецъ дружески поймалъ дядю за полу. Я также продолжалъ упрашивать, и дядя, чтобъ отвязаться, спросилъ: «А что проспишь?»—«Да что дашь?»—«Четвертакъ.»—«Давай деньги!» И прежде чѣмъ мы успѣли опомниться, чухонецъ передалъ мнѣ жеребенка съ рукъ на руки.

Дядя отдалъ четвертакъ, чухонецъ уѣхалъ, а я, въ восторгѣ, понесъ жеребенка къ матушкѣ. Она до крайности изумилась и стала бранить дядю за эту выдумку, но онъ разсказалъ ей, какъ было дѣло, что вовсе не желалъ и не думалъ покупать находки этой, что она навязалась ему невѣдомо какъ, и что я всему этому былъ главный виновникъ. Матушка баловала меня; отецъ пріѣхалъ домой, сперва было нахмурился, но, убѣжденный разными доводами и случайностью этого событія, почти неотвратимаго, также сдался на общія просьбы наши и позволилъ пріобщить рокового жеребенка къ домашней скотинѣ. Матушка опредѣлила въ кормилицы къ нему особую корову, и жеребенокъ зажилъ въ холѣ.

Я не могъ нарадоваться этому забавному животному, которое вскорѣ стало тѣшить все семейство наше и весь домъ. Жеребенокъ вышелъ савраснымъ и потому получилъ кличку савраски. Онъ привыкъ къ рукамъ, какъ собачонка, шелъ на кличку, приходилъ за хлѣбомъ и сахаромъ въ комнаты, взбѣгалъ по ступенямъ крыльца, прыгалъ, рѣзвился, срывалъ по слову шапку съ головы, подавалъ поноску, какъ легавая, служилъ какъ моська, ласкался и терся, какъ кошка, и шаловливо лягался, если его называли чухонцемъ.

Такимъ образомъ прошло два-три года, и савраска, къ общему удивленію, все еще оставался жеребенкомъ. Минуло ему и четыре года; онъ бойко и послушно ходилъ у меня подъ сѣдломъ; словомъ, лошадка вошла во всѣ года, а росту не прибываетъ: она осталась прехорошенькимъ и презабавнымъ карликомъ, маштачкомъ.

Дядя вздумалъ объѣздить ее, и отецъ подарилъ мнѣ на елочку нарочно сдѣланную по савраскѣ упряжь и бѣговыя саночки. Савраску заложили, и оказалось, во-первыхъ, что объѣзжать его не нужно: онъ сразу

пошелъ, какъ будто вѣкъ ходилъ въ хомутѣ; во-вторыхъ, что онъ былъ отличный рысачокъ и мчался въ саночкахъ вихремъ. Савраску стали закладывать чаще, и я катался на немъ въ одиночку день за день; при небольшой поѣздкѣ это вышелъ такой бѣгунъ, что на рысистомъ бѣгу, на Невѣ, обгонялъ многихъ, и всѣ дивовались. Вообразите же лошаденку въ аршинъ съ четвертью, которая мчитъ за собою красивенькія салазки и легко обгоняетъ четырехвершковыхъ бѣгуновъ! Савраску стали замѣчать; охотники останавливались на улицахъ и смотрѣли за нимъ вслѣдъ; крошка мой не разъ тѣшилъ и забавлялъ праздную, гуляющую толпу Невскаго проспекта.

Однажды дядя поѣхалъ на савраскѣ въ городъ, за дѣломъ, по хлопотамъ матушкинымъ: отецъ мой ужъ скончался въ это время, и разныя дѣла, денежныя и долговыя, крѣпко заботили бѣдную мать. Я упомянулъ уже, что мы пожили уже широконько; отецъ скончался и покинулъ намъ одни долги. Дядя забавлялся, на обратномъ пути, пропуская мимо себя ухорскихъ ѣздоковъ разнаго рода, обгоняя ихъ затѣмъ шутя, осаживая и давая себя объѣхать и снова опереживая ихъ. Савраска отличался; всѣ прохожіе и проѣзжіе не могли на него налюбоваться.

Вотъ, между прочимъ, ѣдетъ парная, щегольская колясочка, пара вороныхъ въ дышлѣ несется крупною, красивою рысью; кучеръ съ бородою во всю грудь, въ свѣтлозеленомъ кафтанѣ съ галунами и въ золотомъ кушакѣ, сдерживаетъ ихъ бѣлыми, какъ снѣгъ, шелковыми вожжами; бѣлизна и блескъ ихъ почти не уступали блеску серебрянаго набора упряжи. Дядя пропустилъ коляску мимо себя и мигомъ обогналъ ее; баринъ внимательно смотрѣлъ на савраску и сказалъ что-то кучеру, который слегка оглянулся. Вскорѣ коляска опять объѣхала савраску, который былъ пущенъ ма-

гомъ, и вслѣдъ затѣмъ онъ опять помчался во всѣ лопатки: и баринъ и кучеръ глядѣли зорко на нашего котенка; шелковыя вожжи ослабли, вороныя постепенно прибавляли рыси, начинали ужь фыркать и покручивать головой; но савраска ушелъ отъ нихъ, какъ отъ стоячихъ.

Дядя далъ ему опять вольно вздохнуть и ѣхалъ шагомъ. Коляска, нагнавъ его, скромно взяла поправѣе, кучеръ не кричалъ: «пади-ди, берегись-ся!» а молча старался проѣхать нѣсколько саженъ рядомъ съ савраской, шагомъ. Наконецъ баринъ, облокотясь на поручень коляски и глядя на дядю, поднесъ руку къ шляпѣ, кивнувъ головою и спросилъ: «Чья это лошадь?»—«Моя.»—«А что она стоитъ!—«Четвертакъ.»—«Дуракъ!»

Этимъ бесѣда на этотъ разъ кончилась. Дядя пріѣхалъ къ намъ, разсказалъ похожденія свои, и мы много смѣялись тому, что ему, какъ часто на свѣтѣ бываетъ, за правдивое слово сказали дурака. Разсудивъ, однакожь, все спокойно, мы начали жалѣть о крутомъ, хотя и правильномъ отвѣтѣ дяди. Я сказалъ уже, что объ эту пору отца уже не было на свѣтѣ; матушка была очень озабочена и стѣснена мелочными долгами, не порѣшенными сдѣлками и расчетами. «Можетъ быть», сказала матушка: «баринъ этотъ и въ самомъ дѣлѣ далъ бы за савраску деньги, а намъ его скоро и дѣвать некуда; скотъ продается хорошо, а еслибъ случился покупщикъ на землю...» «Какія жь это деньги» сказалъ дядя, «которыя вамъ выручилъ бы савраска? Да за него и тридцати цѣлковыхъ не дадутъ!»—«Что жь», отвѣчала озабоченная матушка: «и тридцать рублей—деньги; прежде сто рублей были большія деньги: это только со времени нашего счета на серебро, что тридцать цѣлковыхъ стали нипочемъ!»

Чрезъ нѣсколько времени дядя опять ѣздилъ въ

городъ на савраскѣ и воротился съ вѣстью, что его не шутя торгуютъ. Кучеръ въ зеленомъ кафтанѣ съ галунами, отколѣ ни взялся, выслѣдилъ пристанище дяди въ городѣ и явился туда съ вопросомъ отъ барина: «Чья лошадь?» — «Моя», отвѣчалъ дядя. «А чего она стоитъ?» — «Четвертакъ.» — «Нѣтъ ужь вы, пожалуйста, скажите безъ шутокъ», просилъ кучеръ: «баринъ безпремѣнно приказалъ узнать, сдѣлайте милость!» — «Да я и не шучу», отвѣчалъ дядя: «она стоитъ четвертакъ: за эту цѣну я ее купилъ жеребенкомъ.» — «А вы-то что за нее возьмете?» — «Это другое дѣло; непродажному коню и цѣны нѣтъ». Кучеръ разспросилъ, гдѣ найти савраску и хозяевъ его, и ушелъ.

Только что успѣлъ дядя воротиться къ намъ и разсказать новыя приключенія свои, а матушка потужить и пожалѣть, что онъ опять слишкомъ сухо обошелся съ покупателемъ и не торговался съ нимъ, какъ щегольская парная коляска съ зеленымъ кучеромъ и бѣлыми шелковыми вожжами остановилась у нашихъ воротъ. Мы бросились къ окну: дядя узналъ своего покупщика и вышелъ, взявъ на себя дѣло.

Савраску, по желанію посѣтителя, привели. «Что жь ему цѣна будетъ?» спросилъ онъ. «Я вамъ сказалъ истину», отвѣчалъ дядя: «четвертакъ.» По тому было не до шутокъ; большіе господа не всегда любятъ это. Онъ посмотрѣлъ на дядю, сморщился было, но, вспомнивъ зависимость свою или причудъ своихъ отъ воли незамысловатаго шутника, принялъ опять спокойный видъ и сказалъ: «За моремъ телушка—полушка, да рубль провозу. Что вы возьмете за клепера?»— «Непродажному коню и цѣны нѣтъ», отвѣчалъ дядя пословицей на пословицу. «Какъ же такъ», продолжалъ тотъ: «неужто жь вы въ самомъ дѣлѣ не возьмете никакихъ денегъ за эту лошадку»?—«По крайней

мѣрѣ, торговаться не стану. Я сказалъ вамъ, что она не продажна.»—«Однако?»—«Шестьсотъ цѣлковыхъ!» отвѣчалъ дядя съ рѣшительнымъ взглядомъ, но несовсѣмъ рѣшительнымъ голосомъ; ему самому показалось, что онъ въ запросѣ превзошелъ всякую мѣру. Незнакомый обратился къ запяточнику своему и сказалъ ему: «возьми савраску и отведи его домой», полѣзъ въ карманъ, досталъ бумажникъ, вынулъ и отсчиталъ деньги и, подавая ихъ дядѣ, сказалъ: «пожелайте, чтобъ ко двору пришлась.» Мы не успѣли опомниться, какъ коляска ужь скрылась изъ виду.

# ИВАНЪ НЕПОМНЯЩІЙ

Отрядъ нашъ назначенъ былъ, какъ говорятъ казаки, въ секретную партію, для наказанія хищныхъ горцевъ. Когда все было приготовлено, около заката солнца, и небольшая передовая сила наша сѣла на коней, то еще никто не зналъ, куда мы идемъ. Въ авангардѣ копыта конскія обмотаны было онучами и шашки заложены подъ ляжки, чтобъ ничего не бряknуло; велѣно идти какъ можно тише, чтобъ скрасть непріятельскіе караулы. Отрядъ тронулся, прошелъ по дорогѣ поболѣе часу и повернулъ вправо, перешелъ вбродъ быстрый горный потокъ и поднялся прямо на крутую гору. Прихвативъ на подъемѣ гривки, мы вскорѣ очутились на плоской возвышенности, гдѣ сумерки казались немного порѣже и полумракъ выказывалъ намъ въ отдаленіи гористую и, какъ казалось по очеркамъ, частью лѣсистую, а частью каменистую полосу, къ которой таинственный вожакъ нашъ, въ буромъ башлыкѣ и папахѣ, протянулъ руку; онъ указывалъ на отдаленный раздолъ, куда намъ лежалъ путь. Отрядъ собрался, оправился, выстроился и снова тронулся въ путь.

До разсвѣта остановились мы только на четверть часа въ глухомъ и темномъ оврагѣ того самаго указ-

дола, который видѣли предъ собою съ вечера, верстахъ въ тридцати; тутъ команда «стой!» передана была почти шопотомъ и приказано еще разъ осмотрѣть и поправить оружіе. «Съ Богомъ, маршъ!» сказалъ вполголоса начальникъ отряда и повелъ за собою извивавшуюся змѣйкою по оврагу конницу. Замки на ружьяхъ и пистолетахъ были осмотрѣны, каждый еще разъ увѣрился въ исправности своего ружья, попытавъ даже, не слабо ли ходитъ шашка въ ножнахъ и не туго ли засѣлъ въ нихъ кинжалъ. Всякій зналъ, что когда идутъ на вырѣзку аула, то дѣло легко можетъ дойти и до пожей.

Не съ бо́льшимъ часъ прошли мы еще доброй ходой, какъ восходъ обозначился блѣдною полоской просвѣта, такъ что въ эту сторону купы деревъ стали оттѣняться темнѣе и отдѣляться рѣзче. Вскорѣ вожакъ отъѣхалъ съ начальникомъ отряда немного въ сторону, остановился и, какъ бы прижимаясь къ чему-то въ бокъ, осторожно указывалъ нагайкой внизъ по косогору. Тутъ едва замѣтно бѣлѣлись сакли съ плоскими, темными, взъерошенными кровлями: это былъ аулъ, на который мы острили зубы и когти.

Отрядъ молча раздѣлился на три части: одна пошла правѣе, спускаясь по косогору; другая взяла влѣво, въ обходъ по гребню горы: третья осталась на мѣстѣ, съ приказаніемъ подвигаться медленно впередъ, когда загорится дѣло, и образовать заводную силу. Весь отрядъ шелъ въ такой мертвой тишинѣ, что, казалось, каждому слышался одинъ только перебой сердца въ груди: оно стучало вслухъ. Такъ же тихо и мертво было все впереди и вокругъ насъ; все спало въ аулѣ мертвымъ сномъ; ни души не было слышно, ни видно. Правый отрядъ подходилъ уже вплоть, и нѣкоторые изъ старыхъ и бывалыхъ солдатъ стали приглядываться, прилегая къ лукѣ и щурясь противъ слабаго

разсвѣта; они зорко глядѣли на какую-то черноватую, нешырокую полоску, которая тянулась предъ ними грядою поперекъ. Видъ этотъ показался имъ знакомымъ, хотя они и не бывали никогда въ этихъ мѣстахъ... Но они не ошиблись: лишь только дано было приказаніе атаковать аулъ, и развернувшійся лавою отрядецъ съ гикомъ понесся впередъ, какъ вдоль всей черной полоски внезапно блеснулъ огонь, будто по ней пробѣжала молнія, и густой залпъ встрѣтилъ озадаченныхъ всадниковъ. Чуетъ кошка, чье мясо съѣла: въ аулѣ видно ждали этого нападенія, и сдѣланные наскоро завалы заняты были стрѣлками.

Часть нашего отряда быстро спѣшилась и бросилась въ шашки; между тѣмъ отрядецъ, пошедшій въ обходъ, влѣво, по гребню, спустился съ противоположной стороны, кинулся на аулъ съ другого конца, и посыпавшіеся тамъ горохомъ выстрѣлы вызвали громкое ура всего отряда; резервъ также отозвался, и мы перекликнулись братски съ трехъ сторонъ. Горцы увидѣли, что они окружены и что нѣтъ спасенья: можно только продать жизнь свою дороже или дешевле. Завалы были взяты сразу, рукопашный бой длился нѣсколько времени въ садахъ и улицахъ, если только неправильные промежутки между избами и огородами можно назвать улицами; солнце разсыпало первыя блестки свои и насталъ день. Большая часть окруженныхъ отрядомъ нашимъ горцевъ легла на мѣстѣ; бѣглецы кинулись по двумъ дорогамъ, влѣво на перешеекъ гребня и прямо на резервъ нашъ, и тутъ и тамъ наткнулись они на сильную засаду. Солнце освѣтило уже покончепную работу; захваченный скотъ и нѣсколько плѣнниковъ, почти все раненые, сданы были подъ караулъ и тотчасъ же двинулись обратно; встрѣчу имъ выступилъ, по пятамъ нашимъ, небольшой свѣжій отрядецъ, назначенный

именно для пріемки воинской добычи и для покрытія нашего тыла. Нашему отряду дано было на роздыхъ не болѣе полутора часа, а затѣмъ велѣно было тотчасъ выступить обратно. Долѣе оставаться было бы опасно.

И съ нашей стороны было не безъ потери, потому что мы наткнулись на засаду завала; но потеря эта была незначительна, сравнительно съ полнымъ пораженіемъ врага. Аулъ былъ сожженъ, но не прежде какъ при самомъ выступленіи нашемъ въ обратный путь, чтобъ дымъ не послужилъ знакомъ общей тревоги для всей округи. Два офицера были ранены; ихъ усадили на смирныхъ, надежныхъ коней, придавъ каждому по два человѣка на помощь; убитыхъ офицеровъ не было ни одного, но по сборѣ отряда оказалось, что не досчитывается поручика Невѣдомскаго, Ивана Непомнящаго, какъ онъ бывало самъ себя называлъ, Ивана Павловича, какъ звали его солдаты и всѣ добрые люди. Пустили голосъ по отряду: *поручика Невѣдомскаго къ полковнику!* Кличъ повторялся до ста разъ, огласивъ всю окрестность, и замолкъ безотвѣтно: никто на него не отозвался, послали разъѣзды по всему аулу, по всей цѣпи заваловъ, по садамъ — нѣтъ его нигдѣ, и ни слуху, ни духу о немъ.

Послѣ двухчасоваго поиска, который положительно удостовѣрилъ огорченнаго начальника и всѣхъ товарищей, что Невѣдомскаго тутъ не было ни въ живыхъ ни въ мертвыхъ, отрядъ долженъ былъ воротиться, оплакивая безъ вѣсти пропавшаго. Нельзя даже предположить, чтобъ онъ какимъ-нибудь несчастнымъ случаемъ могъ попасться въ плѣнъ: аулъ былъ такъ хорошо и тѣсно окруженъ, что съ минуты перваго натиска едва ли могла уйдти изъ него хотя одна душа; какимъ же образомъ допустить, чтобъ офицеръ могъ быть взятъ незамѣтно въ плѣнъ и уведенъ, также не

будучи никѣмъ замѣченъ? Казаки перехватили даже разбѣжавшихся ребятъ, не только вершниковъ. Невѣдомскаго видѣли въ послѣдній разъ на самомъ приступѣ, когда наши бросились въ шашки; въ рукопашномъ бою, гдѣ каждый поневолѣ занятъ былъ только тѣмъ, что у него подъ носомъ, его болѣе никто не замѣтилъ, а спохватились его уже по окончаніи всего дѣла, послѣ сбора. Какъ бы то ни было, но Невѣдомскій пропалъ, и не было въ цѣломъ отрядѣ ни одного человѣка, который бы, соображаясь съ обстоятельствами, могъ сдѣлать на этотъ счетъ какое-нибудь сбыточное предположеніе. Скажемъ болѣе: если офицеръ попадется въ руки горцевъ, то объ этомъ всегда узнаютъ скоро, какъ чрезъ лазутчиковъ, такъ и прямо отъ тѣхъ, которые надѣются получить за него выкупъ; о Невѣдомскомъ же никогда и никакихъ слуховъ не было, и горцы сами говорили, что въ дѣлѣ этомъ не плѣнили у насъ ни одного человѣка.

— Вотъ судьба! — сказалъ одинъ изъ товарищей пропавшаго безъ вѣсти, когда всѣ они, благополучно воротившись на спокойный бивачный ночлегъ, сидѣли съ трубками вкругъ костра, за общимъ чаемъ:— вотъ судьба! Явился человѣкъ на свѣтъ неизвѣстно откуда; прозваніе дано ему неизвѣстно кѣмъ, и оно называетъ его невѣдомымъ пришельцемъ; подъ этимъ прозваніемъ онъ служилъ, дослужился чиновъ и отличій, и само правительство не знало, кого оно жалуетъ и награждаетъ; и сошелъ онъ со свѣту какъ Невѣдомскій, никому невѣдомо какъ и куда. Что скажете на это, господа, какъ прикажете это объяснить?

— Онъ, кажется, былъ изъ воспитательнаго дома? —спросилъ другой:—такъ, помнится, сказывалъ кто-то.

— Такъ вы не знаете похожденій нашего Ивана Непомнящаго?—спросилъ первый.

— Нѣтъ, онъ не изъ воспитательнаго дома, и про-

исхожденіе его еще загадочнѣе этихъ безродныхъ пріемышей правительства. Я знаю въ подробности все, что объ Иванѣ Павлычѣ было извѣстно, и коли хотите, разскажу странныя событія, при которыхъ бѣднякъ явился на свѣтъ:

«Въ одной изъ столицъ нашихъ жила, вовсе неизвѣстная въ высшемъ обществѣ, повитуха; но въ среднемъ и чиновничьемъ кругу ее очень любили. Она была женщина порядочная, добросовѣстная, но жадная на деньги и въ дѣлѣ своемъ бралась своими руками за все сама, не брезгая ничѣмъ, не требуя никакой прислуги. Эта обрусѣлая нѣмка жила себѣ скромно и тихо, съ одною кухаркой, съ которою обжилась и не разставалась много лѣтъ. Сама она, по роду занятій, большую часть дней и ночей проводила внѣ дома, и кухарка эта, Аннушка, была столько же хозяйкой въ маленькомъ хозяйствѣ этомъ, сколько сама Марья Ивановна. Въ маленькой, укромной квартирѣ своей принимала она иногда и у себя, если родильница почему-либо этого желала, и Аннушка пріучена была къ этому уходу.

«Однажды вечеромъ позвонили. Вошелъ молодой, ловкій, весьма хорошо одѣтый мужчина — князь или графъ, какъ Марья Ивановна увѣряла; робко, но торопливо потребовалъ онъ хозяйку, спѣшно вошелъ и, поклонившись, спросилъ: «Можно ли здѣсь разрѣшиться одной пріѣзжей дамѣ, которая заѣхала сюда одна, безъ родныхъ и безъ знакомыхъ, задержана была дѣлами и нездоровьемъ долѣе, чѣмъ разсчитывала и, настигнутая рокомъ своимъ, теперь не знаетъ, куда дѣваться?» На утвердительный отвѣтъ, за которымъ хозяйка намѣрена была спросить: въ какой день, или около какого времени она должна ожидать эту гостью, посѣтитель тотчасъ раскланялся, сказавъ, что роженица будетъ чрезъ полчаса. Застигнутая вѣстью этою

врасплохъ, Марья Ивановна съ Аннушкою захлопотались и едва только успѣли припасти самое необходимое, какъ карета простучала по двору, звонокъ подалъ голосъ, и тотъ же молодой человѣкъ ввелъ въ комнату молодую, рослую, прекрасную собой женщину, одѣтую богато и съ большимъ вкусомъ. Много лѣтъ спустя, Марья Ивановна съ какимъ-то изумленіемъ и подобострастіемъ разсказывала объ этомъ нежданномъ для нея явленіи, припоминая, какъ плавно и твердо эта женщина вошла, какъ спокойно и привѣтливо поздоровалась и съ какою вѣликолѣпною простотою прошлась по комнатѣ, въ черномъ шелковомъ платьѣ, въ головномъ уборѣ, будто прямо съ бала, а между тѣмъ чрезъ часъ времени уже все было кончено, и новый гражданинъ этого міра вступилъ на свое мірское поприще.

«Черная дама, по словамъ Марьи Ивановны, едва дозволила себѣ во все время нѣсколько вздоховъ вслухъ: ни одного стона, не только крика, не было слышно. «Такого нечеловѣческаго мужества», говорила Марья Ивановна: «я не видывала во всю жизнь свою; а чрезъ мои руки переходило въ годъ не менѣе сотни родильницъ, и принимала я тогда уже болѣе двадцати пяти лѣтъ. Дѣло привычное; но мнѣ и Аннушкѣ, среди этого мертваго молчанія, даже сдѣлалось страшно.»

«Менѣе часа, какъ увѣряетъ Марья Ивановна, таинственная роженица оставалась на постели, вдругъ сама встала, блѣдная, но твердая и свѣжая, не слушала никакихъ убѣжденій и будто не слыхала ихъ, отказалась даже, къ ужасу заботливой Марьи Ивановны, отъ неизбѣжнаго въ такихъ случаяхъ рокового ромашковаго чаю; прямо съ одра своего подошла она твердою поступью къ зеркалу и стала оправлять на себѣ волосы... Отъ изумленія растерявшаяся Марья Ивановна даже не смогла остановить смѣлую руку своей таинствен-

ной гостьи, когда она потомъ подошла къ окну, гдѣ, для домашняго обихода, стоялъ графинъ съ водою, налила полный стаканъ и выпила его разомъ.

«Дама присѣла, попросила позвать изъ другой комнаты своего провожатаго, который бросился со слезами цѣловать ея руки, сказала ему что-то, и онъ спѣшно удалился. Обратясь къ хозяйкѣ, она благодарила ее, отдала ей готовый пакетъ, въ которомъ оказалось пятьсотъ рублей, и просила ее оставить у себя младенца хоть до завтра, просила также найти тотчасъ хорошую кормилицу, обѣщая прислать за ними на слѣдующій день. Марья Ивановна слушала все это, какъ во снѣ, не понимая, какъ можетъ роженица уѣхать въ этомъ положеніи, и спросила: «Развѣ вы не останетесь у меня, по крайней мѣрѣ, до девятаго дня?» Но та съ кроткою улыбкой отвѣчала, что не можетъ оставаться и девяти минутъ, встала и вышла сама съ тѣмъ же молодымъ человѣкомъ, который, между тѣмъ, привелъ извощичью карету. Онъ заботливо проводилъ жену — сестру — подругу, Богъ знаетъ, кѣмъ и чѣмъ ему была она — проводилъ только подъ руку, по лѣстницѣ съ третьяго жилья, оба сѣли, и карета покатилась. Марья Ивановна и Аннушка смотрѣли только другъ на друга, не могли опомниться отъ изумленія и не знали, что говорить. Прибравъ на-скоро все, онѣ, по обычаю, послѣ такихъ ночныхъ трудовъ, принялись за самоваръ и кофейникъ.

«Взглянувъ еще разъ на ребенка, Марья Ивановна присѣла отдохнуть и успокоиться, пожала плечами, покачала головой, откусила крошку сахару съ булавочную головку и сказала, прихлебывая:

«— Ай, ай, Аннушка! смотри, какія дѣла на свѣтѣ дѣлаются — а?

«— Да какая хорошая, — сказала Аннушка: — да богатая да знатная! Вѣдь и мнѣ, вотъ что пожаловала,

и статная, и даже, вотъ вошла, такъ ничего не замѣтно, все равно, что мы съ вами, Марья Ивановна. Съ нею, бѣдною, что-нибудь да приключилось, и разодѣтая; чай, дома сказала, на вечеръ куда уѣхала... Ахъ, Марья Ивановна, случай какой!

«— Богъ съ нею, Аннушка; не наше дѣло это. Мы свое сдѣлали, все благополучно покончили, и она не оставила насъ.

«— Ужь подлинно, что не оставила, — прибавила та:—и, вѣстимо, матушка, что дѣло не наше: про то Богу вѣдомо; а барыня прекрасная и презнатная; салопъ какой, соболій весь, крытъ зеленымъ бархатомъ, дорогой, предорогой!

«— Да,—продолжала Марья Ивановна:—знатнаго, княжескаго рода. Такихъ серегъ я и не видывала. Ну, Аннушка, прибирай, отдохнемъ. Богъ вѣсть, много ли еще дадутъ мнѣ уснуть эту ночь; въ нашей работѣ только въ два или три лѣтніе мѣсяца и выспишься, а съ августа по май вѣдь ни одной ноченьки не дадутъ соснуть. Утромъ иди скорѣе за кормилицей, да приведи хорошую—слышишь? Жалованья тутъ не пожалѣютъ и разодѣнутъ, знаешь какъ?

«На утро пріѣхалъ тотъ же молодой человѣкъ, освѣдомился о ребенкѣ, о кормилицѣ и просилъ бабку оставить ихъ еще на время у себя, обѣщая много благодарности и хорошую плату за всѣ труды и хлопоты. Говоря это, онъ все оглядывался кругомъ, искалъ чего-то съ безпокойствомъ и очень обрадовался, когда Марья Ивановна подала ему забытый вчера роженицею платокъ, шитый, батистовый и кружевной, вѣроятно, мѣченный, хотя наша бабушка, въ простотѣ своей, и не догадалась осмотрѣть уголковъ. Кормилица была нанята и расположилась съ питомцемъ своимъ въ гостиной комнатѣ Марьи Ивановны.

«Чрезъ нѣсколько времени явился опять тотъ же

молодой человѣкъ и просилъ бабку не поскучать воспитаніемъ ребенка, положивъ сверхъ платы кормилицѣ, по пятидесяти рублей въ мѣсяцъ и выдавать деньги за полгода впередъ. Для небогатой женщины это была находка. Посовѣтовавшись съ Аннушкой, хозяйка согласилась; самое ея никогда почти не было дома, Аннушка по цѣлымъ суткамъ скучала одна и рада была новымъ домочадцамъ.

«Послѣ нѣсколькихъ недѣль, нечаянно вечеромъ, вдругъ опять явилась мать ребенка, въ такомъ блескѣ и величіи, что Аннушка готова была присягнуть за нее, что она перваго княжескаго рода; но она пришла пѣшкомъ, одна одинехонька, и никто не зналъ, откуда она взялась. Казалось, она пріѣхала съ самаго великодѣннаго бала.

«Порадовавшись сыночку, она подарила ему нѣсколько дорогихъ, прекрасныхъ игрушекъ, претонкаго бѣлья, платья, одарила бабку, кормилицу и Аннушку, и отдала деньги за второе полугодіе. Замѣчаніе Марьи Ивановны, что младенца пора крестить, она предупредила отдачею записки, въ которую завернутъ былъ золотой крестикъ, деньги на крестины, съ надписью: *Иванъ Павловъ Невѣдомскій*, родился тогда-то. Слова эти написаны были, видимо, искаженною рукою. Бѣлье и пеленки помѣчены были И. Н.

«Марья Ивановна, пожавъ плечами, покачавъ головой и потолковавъ обо всемъ этомъ съ своею наперсницею, Аннушкой, продолжала ходить за ребенкомъ и заботиться о немъ, какъ о родномъ. Прошелъ годъ, наступилъ и другой; мать навѣдывалась раза три, молодой человѣкъ также временемъ заходилъ; опять одарилъ всѣхъ, заплатили условную цѣну впередъ и скрылись. Аннушка, вслѣдствіе тайнаго, семейнаго совѣта, побрела было разъ слѣдомъ за барыней, когда она вышла отъ нихъ и пошла пѣшкомъ черезъ дворъ;

хотѣлось было узнать, куда поѣдетъ эта загадочная гостья, въ собольемъ салопѣ своемъ на рытомъ бархатѣ, по десяти цѣлковыхъ аршинъ—а и эта расцѣнка была уже сдѣлана, въ томъ же семейномъ совѣтѣ — но осторожная княгиня оглянулась нѣсколько разъ, проходя по двору, и, замѣтивъ Аннушку, робко, издали остановившуюся, пригрозила ей пальцемъ, приворожила ее этимъ къ мѣсту, и спѣшно скрылась. Пристыженная Аннушка воротилась съ неудачнаго поиска своего въ большомъ страхѣ и пересказала Маръѣ Ивановнѣ обстоятельно обо всемъ.

«Мальчику исполнилось два года, и въ день его рожденія мать навѣстила его въ послѣдній разъ: никто болѣе не навѣдывался о немъ, и затѣмъ ни о матери, ни о провожатомъ ея не было никакихъ слуховъ. Марья Ивановна утѣшала себя и Аннушку тѣмъ, что не заболѣла ли бѣдная мать, не уѣхала ли куда на время, или не сталась ли какая помѣха для отлучекъ изъ дома; но вскорѣ Марья Ивановна очень была озабочена подростающимъ питомцемъ своимъ, за котораго никто не вносилъ болѣе платы: куда съ нимъ дѣваться, какъ его воспитать и пристроить? Ей, женщинѣ бѣдной и занятой по ремеслу, гдѣ день, гдѣ ночь, такой воспитанникъ былъ въ большую тягость. Притомъ она все еще считала его чуть не владѣтельнымъ княземъ; полагала, что родные явятся, потребуютъ отчета, и что она обязана держать и воспитать его, какъ барина. Но годъ проходилъ за годомъ, и никто о немъ не заботился. Сколько Марья Ивановна ни старалась разузнать что-нибудь о загадочныхъ родственникахъ его—все напрасно. Одинъ только разъ, и то ужь давно, она встрѣтила въ гостиномъ дворѣ ту самую молодую, прекрасную и богатую женщину, которая покинула у нея своего ребенка: она была не одна, съ нею шла еще другая, такъ же богато-одѣтая

дама. Марья Ивановна замѣтила, что несчастная мать узнала ее, сильно встревожилась и спѣшно скрылась въ другую лавку; скромная Марья Ивановна не сочла приличнымъ преслѣдовать ее, но и не желала упустить этотъ нечаянный и, можетъ быть, послѣдній случай обезпечить будущность ребенка; она подошла къ красивой каретѣ съ гербомъ, постояла, оглядываясь, и наконецъ спросила у ливрейнаго лакея: «чья эта карета?»—«Господская», отвѣчалъ тотъ громко и отвернулся. Кучеръ разсмѣялся остротѣ этой и на обращенный къ нему вопросъ не далъ никакого отвѣта, а глядѣлъ въ противную сторону. Въ это самое время княгиня или графиня подошла скорыми шагами къ каретѣ, бесѣдуя съ своею подругой; дверцы скоро растворились, опять затворились, подножка хлопнула, и карета укатила прежде, чѣмъ бѣдная Марья Ивановна успѣла опомниться; а когда она вздумала сѣсть на извозчика и догнать ее, то по пустому издержала двугривенный, а кареты не нагнала. Ваня росъ; Марья Ивановна заботилась о немъ, какъ о сынѣ, сколько могла, держала даже для него дорогихъ въ столицѣ учителей, но, наконецъ, выбившись изъ силъ, пристроила его въ одно изъ низшихъ военныхъ заведеній, куда мальчикъ, понимая положеніе свое, самъ убѣдительно просился. Онъ вышелъ оттуда, по бойкимъ способностямъ своимъ, очень молодъ, топографомъ, былъ назначенъ сюда, на Кавказъ, чрезъ нѣсколько лѣтъ отличился и произведенъ въ офицеры, получилъ еще затѣмъ, какъ всѣмъ вамъ, господа, извѣстно, два креста и два чина, былъ любимъ и уважаемъ всѣми нами, и товарищами и солдатами.»

Кто была мать его, эта прекрасная и богатая, знатная женщина? Зачѣмъ она скрыла ребенка? Зачѣмъ забыла его, или отказалась отъ него, будучи еще жива и находясь все еще въ той же столицѣ?

Прибавимъ къ этому, что Невѣдомскій пропалъ со свѣту навсегда, никому невѣдомо какъ и куда. О немъ не было никакихъ болѣе слуховъ. Какъ бѣднякъ явился, такъ и исчезъ, — безъ слѣда и безъ вѣсти.

# ГЕНЕРАЛЬША

Не въ глуши и вовсе не въ Саратовѣ, а на пространствѣ между обѣими столицами и въ трехъ только верстахъ отъ большой дороги, есть сельцо, въ которое я попалъ случайно, проѣзжая вмѣстѣ съ тамошнимъ уѣзднымъ предводителемъ въ сосѣднюю съ сельцомъ этимъ усадьбу.

— Зайдемте, пожалуйста, къ одной изъ помѣщицъ этого сельца,—сказалъ онъ мнѣ:—вы познакомитесь съ лицомъ, извѣстнымъ у насъ въ уѣздѣ подъ именемъ *генеральши*, потому-что она, говоря о себѣ охотно въ третьемъ лицѣ, сама себя иначе не называетъ. Я задержу васъ только на часъ или полтора; но вы этимъ подарите мнѣ три дня, потому-что мнѣ, вѣроятно, пришлось бы ѣхать сюда нарочно. Думаю, что и вы не пожалѣете потеряннаго часа, потому что увидите лицо довольно замѣчательное и, вѣроятно, будете свидѣтелемъ не менѣе значительнаго объясненія.

— Съ удовольствіемъ. Что жь, вѣроятно у васъ и здѣсь также небольшія ссоры и мировыя между сосѣдями?

— Ужь не говорите! Пять владѣльцевъ въ одномъ сельцѣ, да на бѣду еще въ этомъ числѣ три бабы, и всѣ пятеро постоянно проживаютъ въ своихъ по-

мѣстьяхъ! Вѣрите ли, дошло до того, что исправникъ и становой объѣзжаютъ сельцо Подымалово, какъ чуму; каждую почту въ земскій судъ приходитъ отсюда по пяти просьбъ, то-есть отъ каждаго владѣльца по одной, и просьбы эти пріобщаются къ особому *наряду*, который надписанъ: «нарядъ просьбамъ и жалобамъ владѣльцевъ сельца Подымалова.» Каждыя двѣ-три недѣли приходятъ жалобы на имя губернскихъ властей, и вотъ оттуда-то порою сваливаются они и на меня, заставляютъ, хоть ради позора, укрощать и усовѣщивать почтенныхъ владѣльцевъ, но безуспѣшно. Вотъ вы увидите сами образчикъ такой попытки моей. Лѣтъ не болѣе двѣнадцати, Подымалово было въ однѣхъ рукахъ: четыреста душъ, земли довольно, лѣса и воды свои, крестьяне зажиточные, хозяйство въ порядкѣ; хоть покойникъ и жилъ широконько, но впередъ не заживался, чужого не прихватывалъ; хозяйственныя заведенія разнаго рода были у него устроены хорошо и прочно, по мѣркѣ на вотчину въ четыреста душъ. Перечетверите да перепятерите все это, и что̀ тутъ останется? Куда одному изъ наслѣдниковъ дѣваться со скотнымъ дворомъ на сто головъ, когда онъ не въ силахъ прокормить и десяти? Куда другому съ житницей на пять тысячъ четвертей, когда у него ихъ налицо не бываетъ болѣе пятидесяти? Что̀ третьему дѣлать съ птичникомъ и обширнымъ овиномъ на каменныхъ столбахъ, коли сверхъ-того и овинъ и птичникъ еще остались за межой, на чужой землѣ? Вотъ посмотрите: барская усадьба, за сносомъ всѣхъ сносимыхъ частей съ разными владѣльцами, еще-таки разгорожена заборомъ пополамъ: дворы, садъ, огородъ, не только самый домъ, все размежевано, и двѣ закоснѣлыя непріятельницы живутъ подъ одной общей кровлей, размежевавъ и чердакъ, и подвалъ и сталкиваясь всюду для смутной вражды и брани. Остальные три

владѣльца расположились по разнымъ концамъ сельца: одному изъ нихъ досталась теплица, которая разсыпалась бы, еслибъ ее стать переносить; она осталась на старомъ мѣстѣ, на чужомъ усадѣ; новый хозяинъ поддерживать ее не въ силахъ, а взялъ; пробившись съ нею нѣсколько лѣтъ и разорившись на нее, онъ теперь забрался въ нее самъ, всѣмъ дворомъ спричь хорóмъ, и процвѣтаетъ тамъ, вмѣстѣ съ ананасами. Лѣсъ, вода, луга—все размежевано клиньями да полосами: каждый лоскутъ, по качеству, отдѣльно размежеванъ на пять полосъ, чтобъ никому не досталась борозда къ своему загону; жадность и зависть все располосовали на тесьмы и ленты,—ну просто никому нельзя курицы выпустить, чтобъ она не зашла въ чужую межу... Вотъ, поглядите, кровли раскрыты: ихъ истравили зимой на барскій скотъ; лошаденка найдется развѣ въ десятомъ дворѣ, коровенка едва ли и на десять дворовъ одна; «у насъ скота держать нельзя», отвѣтитъ вамъ здѣсь каждый мужикъ на вопросъ объ этомъ: «на межахъ живемъ, и сохи на своей полосѣ не заворотишь; у насъ скотину со двора займутъ, не только съ улицы, а выгнать и курицы некуда; семерыхъ въ одинъ кафтанъ согнали.»

— Отчего жъ,—спросилъ я:—помѣщики ваши не сдѣлаются какъ-нибудь добромъ, не разверстаются землями къ одному мѣсту, не скупятъ имѣнія, хоть по частямъ, въ однѣ руки?... Вѣдь нельзя же имъ не убѣдиться на дѣлѣ, что при нынѣшнемъ порядкѣ всѣ они лишаются своихъ доходовъ?

— Говорите вы! ужь мало ли мы съ ними бились? Какъ дѣло дойдетъ до разверстки, то у каждаго изъ нихъ одна забота, чтобъ кому изъ прочихъ не досталась полоса получше. Въ чужихъ рукахъ ломоть великъ: какъ ни разводи ихъ, все зависть претитъ, все несогласны—ну и межуютъ каждый клокъ порознь и

поровну. Вонъ у нихъ всѣ полосы, въ длину версты, а въ ширину сажени, всѣ въ лапшу искрошили; ни одинъ нейдетъ на размѣнъ безъ барыша, то-есть не обидѣвъ и не обдѣливъ другого; а какъ вдалекѣ обоимъ нельзя взять больше и надуть другъ друга, то и мѣны быть не можетъ; и лежатъ, какъ песъ на сѣнѣ—ни себѣ, ни другому. А чтобъ скупить клочки въ однѣ руки, то на это бы всякій изъ нихъ готовъ, на это бы всѣ они лакомы, да купила-то ни у кого не хватаетъ, а въ долгъ ни одинъ не уступаетъ ни одной бороздки, будучи самъ готовъ принять въ вѣдѣніе свое всѣ сосѣднія имѣнія, съ платою за нихъ заемными письмами. Всѣ они въ этомъ отношеніи такъ хорошо знаютъ сами себя и другъ друга, что даже одно предложеніе посредника о подобной сдѣлкѣ считаютъ личною обидой. Вотъ они и сошлись тутъ самъ-пятъ, сидятъ въ кучкѣ, а глядятъ врозь, стерегутъ лоскутья свои и подстерегаютъ другъ друга въ потравѣ, не давая покоя ни себѣ, ни добрымъ людямъ.

Между тѣмъ мы подошли къ старой усадьбѣ, разгороженной во всю длину пополамъ; перегородка эта во всю длину чистаго, чернаго и скотнаго дворовъ усажена была по гребню рогатками, какъ бы раздѣляя два непріятельскіе стана. У господскаго дома было два подъѣзда, съ каждаго конца по одному, но оба, очевидно, кой-какъ пристроены были новыми зодчими, между тѣмъ какъ первоначальный подъѣздъ и входъ посединѣ дома былъ упраздненъ: дверь была заложена и крыльцо сломано. Одна половина лицевой стороны дома была не такъ давно подмазана вохрой, другая, напротивъ, носила на себѣ всѣ слѣды десятилѣтняго пребыванія въ исконномъ видѣ своемъ, такъ что только одна половина заложенной посреди дома двери, сломаннаго подъѣзда и крыльца была захохрена домашними средствами, на половинѣ генеральши, а дру-

гая оставалась нетронутою, со времени послѣдняго домашняго переворота. Генеральская же половина крыши чинилась, и по этому поводу вся кровля размежевана была чрезъ конекъ поперекъ веревкою, на самой границѣ владѣній.

Мы вошли. Мальчишка, сидѣвшій въ передней, приказалъ намъ обождать, покуда онъ позоветъ *дядюшку*, и чрезъ нѣсколько минутъ явился, кажется, съ дѣдушкою—со старымъ, дряхлымъ слугой, на котораго, для пополненія нищенскаго наряда его, оставалось только навѣсить суму. Старикъ привѣтливо поклонился спутнику моему, назвавъ его по имени и отчеству, извинился, просилъ тотчасъ же войти, а самъ пошелъ съ докладомъ къ генеральшѣ. Вскорѣ, въ сосѣдней комнатѣ послышались стоны, безъ которыхъ хозяйка никогда и никого не принимала. Насъ просили войти.

На длинномъ диванѣ, въ одномъ углу его, на высиженномъ въ теченіе многихъ лѣтъ мѣстѣ, въ глубокой ямкѣ, сидѣла довольно тучная старушка, съ лицомъ ничтожнымъ до пошлости: несмотря на выкатившіеся глаза, первые пріемы ея показали, что она помнитъ и уважаетъ чинъ свой, но иногда умѣетъ быть снисходительною. Предводителю говорила она: «Ты мой батюшка, мой голубчикъ, отцы наши покровители», на меня же не обращала никакого вниманія; раза два только, вначалѣ, она съ осторожностью на меня покосилась, взглянувъ бочкомъ не въ лицо мнѣ, а на мою одежду: изношенный, дорожный сюртукъ мой, повидимому, успокоилъ ее, и она уже болѣе на меня не глядѣла, будто меня тутъ и не бывало. Спутникъ мой не счелъ за нужное представить меня, и я пользовался всею свободой отсутствующаго. Я оглянулся кругомъ: мебель ветхая, но старой, хорошей работы, а обивка на ней въ мохрахъ и лохмотьяхъ.

На окнахъ — такъ называемый поповскій цвѣтникъ: бальзамины, капуцины и герань; на шаткомъ полу, въ двухъ противоположныхъ углахъ, разсажены были врозь двѣ чумички, вязавшія непомѣрно грязные чулки; въ дверяхъ стояла и по-временамъ выглядывала къ намъ украдкой еще дѣвка, босая, тиковая, плотная; ее, казалось, очень затрудняли естественные законы статики, потому что она, тиковая дѣвка эта, держалась для равновѣсія обѣими руками за дверь и ложилась впередъ всѣмъ тѣломъ, желая получше разсмотрѣть гостей. Далѣе не было видно, ни слышно ничего; но ею передавались по временамъ позадь себя кому-то какіе-то телеграфическіе знаки.

Послѣ первыхъ привѣтствій, хозяйка наша закричала, чтобъ Никитѣ Иванычу, то есть спутнику моему, подали кофе. Приказаніе это было передано далѣе вѣстовымъ женскаго пола, кончившимся въ дверяхъ, а исполнено вскорѣ еще инымъ должностнымъ лицомъ, женщиной въ лѣтахъ, съ плавной походкой и въ старомъ платьѣ съ барскихъ плечъ, которыя были почти вдвое шире плечъ распорядительницы кофейнаго угощенія, довѣренной особы, которая собственно *ходила около горячаго*. На меня не обращали никакого вниманія, и на мою долю не досталось ничего. Спутникъ мой только по временамъ косился на меня улыбаясь, и продолжалъ бесѣду свою съ хозяйкой.

— Сдѣлайте милость, ваше превосходительство, покончимте дѣло это добромъ. Не хорошо для васъ, право не хорошо.

— А мнѣ что, мой батюшка! помилуй, куда же мнѣ дѣваться? не со свѣту же отъ нихъ бѣжать! вѣдь житья нѣтъ—вонъ, послушай, слышь? Это милая сосѣдка моя стучитъ, гвоздь въ стѣну колотитъ, и все это мнѣ на зло. Вѣдь ваше дѣло наѣздное, голубчики мои, покровители наши; вѣдь вотъ ты послушалъ да и поѣхалъ,

а мнѣ-то каково, горемычной? Вѣдь она, чай, всю стѣну у себя, на зло мнѣ, исколотила гвоздями — слышишь? Машка, поди, дура, скажи Филипычу (старому слугѣ, который насъ принималъ), скажи, чтобъ онъ унялъ эту озорницу, безстыдницу; скажи, что вотъ-де гости у генеральши, самъ предводитель.... ну, пошла же! Вотъ все такъ, батюшка, день деньской: а ужъ какую-нибудь пакость да придумаетъ. Вотъ хоть бы это дѣло, покровители вы наши, о которомъ изволишь говорить. Вѣдь толкуешь, а дѣла не знаешь, не такъ бы говорилъ. А ты лучше послушай меня, чѣмъ обижать сироту безвинно: я тебѣ разскажу все, какъ есть, не утаю ничего.... (стукъ за стѣною раздался еще сильнѣе....) Слышишь ли? видишь ли? Что скажешь на это, отцы наши? И такъ вотъ она все дѣлаетъ, простоволосая; а она и чепецъ-то незаконно носитъ, ей-богу, незаконно—да!... Ну, вотъ слушай? курицу мою, хохлушечку, изволишь видѣть, обварила она кипяткомъ—вотъ злоба какая, прости Господи!—за то, что та, бѣдная, подошла къ ней подъ окно, только подошла да на антихристку эту поглядѣла; вотъ съ чего, батюшка, и дѣло то у насъ началось. Ну, за что жь она курицу мою обварила, разсуди же ты самъ? Ну, дворянское ли это дѣло? Вотъ дѣвчонка моя, увидавъ скверность такую, заступилась за барыню свою, за генеральшу, — вотъ эта, вонъ, что въ углу сидитъ. Негодная она, покровитель ты мой, сегодня и рядовъ не прошла по уроку — я вотъ еще раздѣлаюсь съ нею—да, а за добро мое заступилась, за обиду: а во дворѣ у нея объ эту пору баба случилась, съ села, грибковъ принесла кузовочекъ, сколько слѣдовало ей тамъ поставить на барскій дворъ. Проклятая-то и кричитъ бабѣ: «Поймай сейчасъ дѣвчонку эту», и обругала ее, «поймай сейчасъ да потаскай ее порядкомъ», а сама еще приговариваетъ, въ окно глядя: «еще прибавь, еще хорошенько!» Такъ

моя Палашка насилу вырвалась изъ-подъ этой потасовки, вся избитая ко мнѣ прибѣжала; реветъ, батюшка: вѣдь больно, вѣдь тоже человѣкъ. «Ахъ ты, згинь передо мной!» подумала я, «что я стану дѣлать бѣдная я, горемычная сирота?» Послала за старостой и накрѣпко наказала ему какъ нибудь поймать бабу эту, да порядочно ей попомнить дѣло это, чтобъ она впредъ знала одно свое свиное рыло да кривое веретено, а не смѣла бы рукъ подымать на генеральскихъ крестьянъ. Вотъ, покровители мои, старостиха моя и зазвала какъ-то бабу эту къ себѣ, и досталось ей тамъ таки порядкомъ; что жь, не подѣломъ, скажешь батюшка, что ли? Ну, слушай же, слушай все: не прошло трехъ дней, какъ бурнаевскій староста, по приказанію барыни своей, вотъ, почтенной сосѣдки моей, озорницы, какъ староста ея поймалъ на улицѣ мою старостиху; та въ крикъ, благимъ матомъ, такъ нѣтъ, сударикъ ты мой, затащили ее силою, какъ вотъ сущіе разбойники, въ избу и отбузовали ее такъ, что вѣдь сле-еле жива осталась. Ну, мой отецъ, тутъ-то что прикажешь дѣлать—а?

Напрасно предводитель старался вразумить генеральшу, что и сама она въ дѣлѣ этомъ не права, что враждѣ этой и взаимной мести конца не будетъ, если обѣ стороны станутъ продолжать подобную расправу, что самоуправство было тутъ обоюдное, и что, по русской пословицѣ: первая брань лучше послѣдней, надо это бросить и покончить,—все напрасно: хозяйка, среди самой жаркой бесѣды своей и самыхъ горькихъ жалобъ, вспомнила вдругъ, что гость ея охотникъ до земляники и думала хоть этимъ склонить его въ свою сторону; она отрядила Сашку, чтобъ позвать Машку, Машку послала за Палашкой, а Палашкѣ велѣла сказать ключницѣ, чтобъ подала для дорогого гостя земляники, а между тѣмъ стала охать и вздыхать, помина покро-

вителей своихъ, смотрѣла на гостя съ какою-то недовѣрчивостью, будто хотѣла спросить: «да ужь ты, мой батюшка, не купленъ ли окаянною злорадкою моею?» При потчиваніи земляникой, она опять сдѣлалась довѣрчивѣе и на всѣ убѣжденія предводителя непоколебимо отстаивала право и правоту свою, требуя одного: отеческаго совѣта и наставленія, чѣмъ и какъ бы теперь отомстить Бурнаевой. «Будь другъ и благодѣтель», продолжала она, «приставь голову къ плечамъ, научи ты меня, горемычну, какъ бы мнѣ отвадить ее, какъ бы ей всучить щетинку, да чтобъ она вѣкъ меня помнила?»

Между тѣмъ и онять остался за штатомъ: мнѣ не дали и земляники. Предводитель сдѣлалъ еще попытку примирить генеральшу съ другимъ сосѣдомъ ея, жившимъ въ особой берлогѣ, на другомъ концѣ селенія. Тутъ дѣло началось не съ курицы, а съ пѣтуха: діогеновскій пѣтухъ этотъ, двуногій и безперый, безпутный и взбалмошный племянникъ одного изъ пяти владѣльцевъ Подымалова, который былъ приглашенъ и принятъ разбитымъ параличемъ дядей для помощи по управленію имѣніемъ, не выходилъ со двора безъ хлыста и шатался по селу чуть не круглые сутки для полицейской расправы. Въ особенности строго наблюдалъ онъ за потравою, загонялъ лично крупную и мелкую скотину и даже птицу къ дядюшкѣ на дворъ, для полученія выкупа, а виновныхъ, даже и людей генеральши, наказывалъ изъ своихъ рукъ, по усмотрѣнію. По поводу такого событія, задорный пѣтухъ этотъ, преслѣдуя какого-то потравщика со двора генеральши, самъ позабылъ всѣ грани межи, и перескочилъ, въ горячности своей, въ огородъ, перетопталъ что ни попало ему подъ ноги и, кромѣ этихъ безпорядковъ и убытковъ, произвелъ въ чужомъ владѣніи возмущеніе... между овцами; преслѣдуемый думалъ

укрыться въ овчарнѣ, а преслѣдователь ворвался за нимъ по горячимъ слѣдамъ, растворилъ настежъ загонъ и распустилъ овецъ, которыя всю ночь пропировали въ генеральскомъ огородѣ. Вотъ причина другой вражды, вслѣдствіе которой сдѣланъ былъ ночной набѣгъ, распоряженіемъ старосты генеральши, на огородъ берложнаго жителя, а занятые имъ гуси отбиты силою. Съ той и другой стороны поданы были просьбы, множество побочныхъ обстоятельствъ запутало и испестрило дѣло это, и предводитель, ради позора, хотѣлъ прекратить его мировою. Но всѣ старанія и тутъ также были тщетны и не повели ровно ни къ чему. Почтенная генеральша никакъ немогла понять самыхъ простыхъ и ясныхъ истинъ, точно будто бы съ нею говорили по-китайски. Она все продолжала разсказывать свое горе, свое сиротское житье, обиды сосѣдей, и въ десятый разъ снова пускалась во всѣ подробности то того, то другого событія, обвиняя во всемъ всѣхъ, кромѣ себя и своего генеральскаго старосты. «Чѣмъ бы попотчивать тебя, дорогой ты мой гость?» продолжала она, покачивая привѣтливо головою и глядя искательно въ глаза ему, не обращая притомъ никакого вниманія на мои любознательные взоры: «и клубнички-то ты ужь нынче не хочешь кушать у меня—о-о-хо-хо? миротворцы вы наши, отцы-покровители! Вѣдь скверный человѣчишко онъ, и съ названнымъ племянникомъ своимъ, вотъ что, поплевка онъ не стоитъ, и не заступаться бы тебѣ за него....»

— Такъ удостойте же его снисходительно хоть этого: плюньте да покиньте дѣло, памятуя высокій санъ свой и чиновное достоинство....

— Заступникъ, заступникъ и покровитель, да только не вдовъ и сиротъ, какъ Богъ и Государь велятъ, а вотъ какихъ людишекъ!...

— Помилуйте, сударыня, за что же вы извозите

обижать меня?.. Я забочусь обо всѣхъ, а болѣ всего о васъ; я желалъ бы избавить васъ отъ непріятной огласки, отъ безполезныхъ хлопотъ, непріятнаго для васъ безпокойства, которымъ вамъ теперь угрожаютъ....

— Угрожаютъ, батюшка,—перебила она:—угрожаютъ. Всѣ на меня, на сирую вдовицу, всѣ вы кормильцы на сиротъ, а за нихъ-то кто, отцы мои? Одинъ Богъ!

— Матушка Аграфена Абрамовна, ваша правда да вы напередъ выслушайте меня: вѣдь не за худомъ, а за добромъ было я къ вамъ пріѣхалъ. Ну, положимъ, что дѣло ваше вотъ хоть съ Бурпаевой, вначалѣ правое, да разсудите же, ради Бога, вѣдь по самоуправству, на которое сосѣди ваши жалуются, и сами вы несовсѣмъ правы: вѣдь драться-то Богъ и государь также не велятъ; а зазвать бабу и обойтись съ нею такъ—это, воля ваша, вовсе не годится. Ну коли дѣло пойдетъ въ ходъ, то что жь тутъ будетъ добраго для васъ? Нельзя же, чтобъ васъ за это оправдали! Старосту вашего потянутъ въ судъ, мужиковъ поведутъ туда жь свидѣтелями; на селѣ пойдутъ розыски; васъ станутъ день за день безпокоить, да вѣдь и самихъ васъ запросы не минуютъ,—ну пріятно ли вамъ все это будетъ?

Я написалъ всю рѣчь предводителя въ одинъ духъ, но она сказана была, и то съ трудомъ, въ разбивку и въ десять пріемовъ, потому что Аграфена Абрамовна перебивала ее на каждомъ третьемъ словѣ; она не умѣла ни слушать, ни понимать такихъ рѣчей, а умѣла только возражать и отвѣчать на каждое сказанное слово; на слова: «положимъ, что ваше дѣло правое», она отвѣчала съ жаромъ, перебивая рѣчь: «да ужь тамъ власть ваша, хоть кладите, хоть не кладите, а вѣстимо, что правое»; на замѣчаніе о самоуправствѣ—что ее вотъ никакъ ужь въ озорники пожаловали, что вонъ нынѣ уже ни одного подлеца пальцемъ тронуть нельзя, а надо терпѣть все,

и что вотъ какія времена пришли, и прочее. Словомъ, тутъ нѐпочто было терять слова, и хозяйку нашу вразумить не было никакой возможности.

Спутникъ мой вздохнулъ, покосился на меня, пожалъ плечами, между тѣмъ какъ генеральша наша продолжала соболѣзновать о сиротскомъ положеніи своемъ, о горемычномъ житьѣ-бытьѣ и беззащитности бѣдной вдовы, которую всякій обижаетъ; продолжая плакаться на озорничество злорадцевъ своихъ, которые вездѣ находятъ покровительство и защиту, она вдругъ оглянулась въ сторону и дала окрикъ на одну изъ вязальщицъ: «чего ротъ разинула чушка?» и закончила тою же простодушною просьбою, какою начала бесѣду: «не откидывайся ты отъ меня, защитники и покровители вы наши; вѣдь я пріѣзду твоему, какъ слѣпецъ прозрѣнію, обрадовалась; не откажись, дай совѣтъ: какъ же мнѣ теперь съ недругами своими управиться, что́ бъ мнѣ такое надъ ними сдѣлать?»

Предводитель, въ самомъ забавномъ отчаяніи, опустилъ голову, вздохнулъ съ удержаннымъ нетерпѣніемъ, всталъ и сказалъ:

— Вотъ я какъ засидѣлся у васъ въ пріятной бесѣдѣ, а намъ съ товарищемъ давно пора ѣхать; я и его позадержалъ. Позвольте хоть на прощанье представить вашему превосходительству: статскій совѣтникъ Н.

Хозяйка вытянулась, приподняла брови надъ уставленными въ меня большими, безжизненными глазами. Она никакъ не ожидала, чтобъ статскій совѣтникъ, чуть не генералъ, просидѣлъ такъ скромно и спокойно на стулѣ у дверей въ продолженіе цѣлаго часа, между тѣмъ какъ за круглый диванный столъ, гдѣ сидѣла хозяйка съ другимъ гостемъ, подавали кофе и земляннику.

— Ахъ мой отецъ и благодѣтель, заступникъ вы мои!—сказала наконецъ, собравшись съ духомъ, хо-

зяйка, уважавшая чины и санъ:—хороши же мы съ тобою, нѣчего сказать! Палашка, зови скорѣ Машку! Машка, вели скорѣе ключницѣ кофе подать! Милости просимъ, не откажите, очень рада вамъ! А вы гдѣ изволите служить, при какой должности?

— Я служу профессоромъ, сударыня, при университетѣ.

— Профессоромъ, — повторила она, видимо успокоившись: — да, такъ, я знавала... Да вотъ и тутъ у насъ, недалеко, также былъ... какъ бишь его? нынѣче, слышно, и по учительской должности иные дослуживаются и въ люди выходятъ... А не вы ли, батюшка, ѣздили тутъ по близости — какъ-то во дворѣ у меня сказывали — имѣньеце смотрѣть? Видно также купить желаете?

— Нѣтъ, сударыня, я имѣній не покупаю, а смотрю на нихъ волей и неволей, и то со стороны, и за этимъ не ѣзжу.

— Такъ, — сказала она со вздохомъ недоумѣнія: — а въ краяхъ нашихъ стало-быть, проѣздомъ?

Товарищъ мой сталъ вторично раскланиваться, сказавъ, что пора и честь знать. Мы извинились за безпокойство и спѣшно удалились. Такъ какъ оказалось, что этотъ статскій совѣтникъ былъ профессоръ, то и приглашеніе на кофе и земляничку не повторилось.

— Ну что? — спросилъ меня Никита Ивановичъ, когда мы вышли на просторъ,—какова?

— Ничего, — отвѣчалъ я: — Коробочка въ своемъ родѣ.

— Я съ намѣреніемъ потѣшилъ наблюдательность вашу, оставивъ васъ въ покоѣ, на стулѣ у дверей, чтобъ дать вамъ случай увидѣть и послушать ее на просторѣ. Вотъ къ кому насъ приставляютъ пѣстунами; прошу тутъ управиться, прошу вразумить ее и наставить!

— Никита Ивановичъ, батюшка!... — раздался за нами сиплый, рѣзкій голосъ. Я оглянулся и увидѣлъ, что изъ окна другой половины разгороженнаго пополамъ дома, той именно, которая осталась неокрашенною и гдѣ властвовала самоуправная же сосѣдка генеральши,— что изъ окна этого выглядывала голова въ чепцѣ; но опытный спутникъ мой ухватилъ меня за руку и, прибавивъ шагу, сказавъ: «Не оглядывайтесь: тутъ бѣда будетъ, не отдѣлаемся. Будетъ съ васъ, поѣдемъ. Объ этой, хоть она и не генеральша, поразскажу вамъ дорогою. Подражая чиновной генеральшѣ, она величаетъ себя *сосѣтницей*; если жъ спросите ее когда это нужно бываетъ знать, напримѣръ, при подписи бумагъ, какая она совѣтница, то она извиняется безпамятствомъ и незнаніемъ чиновъ и проситъ писать ее по чину просто совѣтницей. Она, изволите видѣть, не статская, а титулярная, да и то пополамъ съ грѣхомъ, какъ намекнула намъ гордая соперница ея, генеральша. Но сядемте сперва и уѣдемъ: намъ издали грозитъ еще третье привидѣніе—одинъ изъ здѣшнихъ помѣщиковъ. Это также лицо довольно замѣчательное: онъ уже тридцать лѣтъ какъ собирается основать монастырь, не получивъ на это, впрочемъ, никакого разрѣшенія, и постоянно собираетъ для этого приношенія и вклады. Взгляните: онъ уже стоитъ за воротами съ кружкою, глядитъ сюда и, безъ сомнѣнія, ждетъ только отвѣта гонца своего, посланнаго впередъ на развѣдку и пустился поперекъ, чтобъ намъ отрѣзать дорогу. «Пошелъ!» закричалъ Никита Ивановичъ ямщику: «да смотри, не останавливайся, не слушай никого, гони впередъ!...»

Владѣтели сельца Подымалова выходили на крылечко или стояли въ окнахъ, справа и слѣва, когда мы проѣзжали по улицѣ, махали привѣтно руками и кричали: «Никита Иванычъ, батюшка!» Но спутникъ мой

раскланивался съ ними въ обѣ стороны и только пограживалъ изподтишка ямщику, который вопросительно на него оглядывался, въ готовности осадить лошадей.... И Богъ вынесъ насъ благополучно...

# ПРАДѢДОВСКІЯ ВЕТЛЫ

— Что рыло-то рукавомъ утираешь, сынокъ, аль уморился?—спросилъ старикъ, сидя на лавкѣ по одну сторону большого угла, между тѣмъ какъ сынокъ его, Василій, у котораго все лицо горѣло добродушною радостью, сидѣлъ по другую сторону и, отдуваясь, возилъ рукавомъ рубахи по всему лицу.

— Уморился, бачка, — отвѣчалъ тотъ, отставивъ руку и глядя смѣючись прямо въ глаза отцу.

— Экъ ты, поросенокъ!—продолжалъ этотъ, привѣтливо кивая бородой,—помотался парень туда-сюда, ужь и уморился! И знать, что первинка тебѣ; а вотъ кабы баушка заставила тебя еще по двору борону таскать, такъ и узналъ бы ты тогда, каково это дѣло. И расхохотался самъ остротѣ этой. — Нѣтъ, Вася, хоть и сбѣгалъ ты разъ десятокъ другой, то за тѣмъ, то за семъ, на село, да помотался взадъ и впередъ промежъ избы да бани, на посылкахъ, да сбѣгалъ еще на погостъ къ попу за молитвой, а уморился ты, чай, не съ этого.

— А съ чего-жъ?—спросилъ сынъ, глядя все также на отца.

— А съ того, — продолжалъ тотъ, облокотясь на столъ,—что сердце у тебя не спокойно было, что душа

болѣла. Вѣдь я знаю тебя, сынокъ: молоду жену ты любишь, человѣкъ ты жалостливый и къ чужимъ, не то токма что къ своимъ; ну, и выболѣло сердце, и захватило духъ; а тебѣ чаится, что уморился.

Василій, не говоря ни слова, опять накрылся рукавомъ и сильно разъ другой всхлипнулъ, опять утерся и опять глядѣлъ на старика весело и покойно.

— Пожалуй, что и поборонилъ бы,—сказалъ онъ:—кабы ей сердешной отъ этого легче стало; ужь вотъ какъ поборонилъ бы!—И, сжавъ кулакъ, положилъ его на столъ, съ трудомъ опять удерживаясь отъ рыданій. Онъ хотѣлъ было прибавить: «жаль больно было Насти» да ужь и промолчалъ, что бъ пуще себя не разжалобить.

— Ну, Вася,—сказалъ старикъ:—теперь молись: благодаря Бога, все кончено. Вотъ ты меня и въ дѣды пожаловалъ; спасибо тебѣ. Теперь новыя заботы тебѣ: припасай, что нужно на размывку рукъ, на кашки, на крестины.

«Вася! — послышался слабый голосъ молодой матери:—дай, голубчикъ, водицы испить, да студененькой, слышь, не стоялой.—«Заразъ, Настюшка,»—отвѣчалъ этотъ, и опрометью кинулся вонъ.

— Экой прыткій онъ у тебя, сношенька!—молвилъ старикъ радушно, поправивъ лучину на свѣтцѣ и оборотившись лицомъ къ кутнику.—«Твоя кровь, свекорушко — отвѣчала та привѣтливо: — еще чай самъ ты въ перегонки съ нимъ пустишься, коли на то пойдетъ.» И старикъ умильно и самодовольно расхохотался: ему какъ-то люба казалась выдумка снохи, чтобъ ему бѣжать взапуски съ сыномъ. «А что жь!» сказалъ онъ: «почему не бѣжать, поколѣ Господь грѣхамъ терпитъ? Вѣдь и то, восей за мошенникомъ, за бродягой этимъ, погнались, такъ вѣдь я, даромъ что старикъ, напередъ всѣхъ выбѣжалъ, такую угонку ему далъ, что онъ и въ часъ не отпыхался.»

Въ эту минуту вошелъ Василій съ ведромъ воды

въ одной рукѣ и съ какимъ-то свертком въ другой, прижавъ его къ груди; а свертокъ этотъ взжалъ, ровно какъ скучаетъ несчастный закинутый щенокъ. Это явленіе до того изумило старика, что онъ, только вытаращивъ глаза, могъ проговорить: «Господь съ тобой, съ нами крестная сила», а Настя кинулась къ лежащему съ нею рядомъ младенцу, будто спутавшись съ памяти своей и не понимая, откуда ребенокъ ихъ взялся съ улицы. Василій поставилъ ведро и, поглядѣвъ свѣтлымъ мѣсяцемъ на старика своего и на испуганную жену, сказалъ: «Глядите-тка, вотъ что намъ еще Богъ послалъ! Глядите: живой вѣдь! Я иду отъ колодца, и много ли пройти-то, Настя, и всего-то вѣдь только повернуться, иду съ ведромъ, да вѣдь чуть было не раздавилъ его, сердешнаго, Господь меня спасъ. Только вотъ что: туда бѣгъ—ничего не было, слышь, а оттуда иду—что молъ такое подъ порогомъ? глядь, анъ вонъ что!» Послѣ первыхъ страховъ и удивленій, всѣ трое стали было спрашивать другъ друга, что дѣлать съ этимъ и какъ быть? Но молодая мать, потребовавъ младенца къ себѣ, тотчасъ уложила его рядомъ съ своимъ и объявила, что у нея теперь двойни, что Богъ послалъ этого безприютнаго, какъ Богъ же послалъ имъ и перваго, что надо вспоить и вскормить обоихъ. Василій на все соглашался, хоть и потужилъ было, что Настѣ ужь больно тяжело будетъ; а старикъ и подавно. «Вотъ, сношенька, не было ни гроша, да вдругъ алтынъ!»—«Ну, вѣстимо, куда жь его дѣвать? Божья воля; вѣдь не слѣпой щенокъ это, а душа человѣческая: надо порадѣть, Христа ради, да помоливши, Ему славу воздать! Все молись, сынокъ, что ни пошлетъ Богъ; и хорошее пошлетъ, молись, и худое пошлетъ — все молись. Мы вѣдь глупы, Вася, мы и худа отъ добра не распознаемъ; а Господь старый Чудотворецъ: все знаетъ; на Него и полагайся.»

— Надо сбѣгать къ сотскому сказать, да выборному, — молвилъ, спохватившись, Василій: — чтобъ не сталъ браниться становой.

— Ну что жь, сбѣгай...—отвѣчалъ старикъ, подошелъ къ снохѣ и прочиталъ еще наставленіе о томъ, какъ должно бояться Бога и во всякое время молиться.

Сводные двойники крещены были однимъ именемъ «Киріакомъ» по времени рожденія, въ концѣ сентября, священникъ прибралъ имъ имя это; а для различія родного всегда называли Кирюшей, а подкидыша — Кирей. Крестины отпраздновали очень весело и шумно, потому что люди много глумились надъ добродушнымъ Васильемъ, у котораго, на диво всему народу, оказался свой сынъ, какъ у жены его свой, что видно у нихъ съ женою за споромъ дѣло стало. «Гдѣ ты выборонилъ сынка?» спрашивалъ одинъ. «Да вишь не хотѣлъ уступить женѣ», отвѣчалъ за Васю другой; а всѣ заканчивали шутки эти завѣреньемъ, что за доброе дѣло ихъ Господь не покинетъ и что станутъ они жить благословенно. Баушка-повитуха изготовила мужу Насти такую ложку каши, что у него было очи на лобъ вылѣзли: тутъ было болѣе соли и перцу, чѣмъ каши. Все это не мало способствовало общему веселью; а дѣдушка, опередившій всѣхъ, какъ восей догоняли бродягу-конокрада и давшій ему такую знатную угонку, проплясалъ цыганскую съ ложками, объявивъ, что будетъ плясать еще на свадьбѣ обоихъ внучатъ своихъ, а тамъ ужь и полно.

Тяжеленько было семьѣ этой выращивать двойней, но Настя кормила обоихъ одинаково, то грудью, то рожкомъ, а дѣдушка, у котораго былъ свой маленькій достатокъ, помогалъ имъ по временамъ то нужной скотинкой, то хлѣбцемъ, то наймомъ работника въ страду. Кирюша и Киря росли такъ, что и отецъ и мать забыли о всякой разницѣ между ними, называли и счи-

тали ихъ обоихъ родными дѣтьми своими, двойнями, а за Кирей было у нихъ даже болѣе хлопотъ и заботъ, чѣмъ по родномъ сынѣ, потому что Киря выдался гораздо похилѣе названнаго двойничка своего, и за нимъ было болѣе ухода.

Парнишки стали подростать родными братьями и вышли преудатными ребятами; но пріемышъ Киря отставалъ и въ ростѣ, и въ дородствѣ отъ двойничника своего, и дѣдушка былъ этимъ очень недоволенъ, пѣняя почасту на сноху, «что люди-де со стороны корить станутъ, скажутъ, плохо кормишь его».—«Его воля», отвѣчала Настя, у которой послѣ первенца не было вовсе болѣе дѣтей: «не пайкомъ отпускаемъ, не съ вѣсу», и вслѣдъ затѣмъ принималась уговаривать Кирю, чтобъ больше ѣлъ. Въ доброй крестьянской семьѣ и дѣти удатны бываютъ, и самое безтолковое воспитаніе идетъ впрокъ. Знаете ли отчего это? Оттого, что господствующимъ вліяніемъ на дѣтей бываетъ любовь и благодушіе, а преобладающимъ примѣромъ—миръ и кротость. Вотъ въ чемъ заключается вся тайна воспитанія. Все, что за симъ будетъ упущено или искажено, большею частью исправляется само собою исподоволь, когда бывшій ребенокъ начинаетъ входить въ года и, постепенно мужая, наживаетъ свой-разумъ. Поэтому мы и видимъ постоянно, что хорошіе и дурные крестьяне родомъ ведутся, какъ хохлатыя курицы дворомъ и, назвавъ крестьянскую семью, всегда можно сказать о ней, какова она, вообще, а рѣдко придется дѣлать рѣзкія изъятія для нѣкоторыхъ ея членовъ.

Пришла Святая; семья наша воротилась изъ церкви, помолилась еще разъ передъ домашнимъ образомъ, перехристосовались снова и принялись разгавливаться. Кажется, день этотъ, глядя на него со состоны, такой же, какъ и всѣ дни; нѣтъ въ немъ никакихъ стихій-

ныхъ примѣтъ и отличекъ, а между тѣмъ, кому не кажется онъ, несмотря ни на какое ненастье, днемъ свѣтлымъ, радостнымъ и праздничнымъ, которому въ году нѣтъ ровни, ни дружки? А въ крестьянскомъ быту, въ хорошей семьѣ, и подавно: всѣ заботы, всѣ насущные труды и суеты покоятся, нѣтъ на душѣ ничего, кромѣ ясной и свѣтлой радости; сброшены съ плечъ тяжелая, а съ нимъ и черствая вещественность, нужда настоящая и забота о будущемъ. Богъ далъ дожить до свѣтлаго праздника—и на селѣ встрѣчаешь одни только спокойныя, радостныя, беззаботныя лица. Мужикъ, съ окладистою бородою, забывъ степенство свое, ладитъ для молодежи качели и, сѣвъ на нихъ самъ первый, для опыта, до того расходился, что не хочетъ слѣзть и дуритъ съ малыми ребятами и дѣвками, которые стаскиваютъ его за ноги и за полы; сѣдой какъ лунь, дѣдушка съ трясучею головою, не только въ чистой, но и въ новенькой рубахѣ съ иголочки, стружитъ и правитъ лубочекъ, съ котораго внучки снанутъ катать яица; а внучки мечутся вокругъ него кувыркомъ, другіе скачутъ пробками на одной ногѣ, съ дикими припѣвами, и только одна скромная дѣвочка стоитъ передъ нимъ смирно, уставивъ глаза на лубочекъ, засунувъ большіе пальцы обѣихъ рукъ по самую ладонь въ ротъ, а средніе персты въ оба уха. Затыкая и оттыкая ихъ въ скорой перемежкѣ, она забавляется этимъ, вслушиваясь въ нестройный крикъ прочихъ дѣвченокъ и ребятишекъ...

Нашъ дѣдушка, однакожъ, схвасталъ, когда обѣщалъ плясать на свадьбѣ внуковъ: лубочекъ онъ бы, можетъ статься, еще и согнулъ бы кой-какъ, а ужъ качелей бы не поставилъ и въ дѣло никуда болѣе не годился. Двадцать лѣтъ на-кости, къ пятидесяти, много горба прибавятъ и навыпередки ужъ больше не побѣжишь ни съ кѣмъ. Послѣ разговѣнья и завтрака за-

хотѣлось ему сказать слово семьѣ, и онъ велѣлъ всѣмъ опять присѣсть. Вотъ слово его:

— Приведъ мнѣ Господь еще разъ съ вами, дѣтки, разговѣться, да чу, въ послѣдній. И пора! Ты не мигай, сношенька, не страшно умирать; это не лапти ковырять: легъ подъ образа да выпучилъ глаза—и все тутъ. Какъ велъ меня Господь путями своими, такъ и приметъ. Его милосердію предаюсь. Плакать не по што, дѣтки, Богъ не безъ милости, а пора мнѣ опрастывать мѣсто на печи: часомъ посушиться да погрѣться надо и другому. Ну, въ покойники я не напрашиваюсь.—Его святая воля; жить мнѣ съ вами и куда какъ было хорошо! всѣ вы меня покоили, всѣ вы меня берегли; а все заживаться не слѣдъ. Вы, Кирюша да Киря, смотри у меня, любить да почитать отца-мать; не то и молитвы не приметъ отъ васъ Господь и моихъ грѣховъ не замолите: такъ мнѣ тяжко будетъ на томъ свѣтѣ, и буду я страдать долго.

Кирюша съ Кирей встали и повалились дѣду въ ноги.

— Ну, Господь васъ благословитъ: вставайте, садитесь, да слушайте, къ чему я рѣчь веду. Вы, Вася съ Настей, живите по-людски да по-божески, и все молитесь, что бы ни послалъ Господь, все молитесь: потому, видишь, что мы глупы, и добра отъ худа и худа отъ добра не распознаемъ, а онъ все строитъ по своему, никого не слушаетъ; вотъ ты и подавайся по волосамъ—легче будетъ головѣ. Все молись, а не споруйся. Въ Покровъ жените парней — пора. Берите снохъ смирныхъ, чтобъ въ избу глядѣли, а не вонъ. Ты, Вася, оставайся большакомъ, а ихъ не распускай на отдѣлъ; пуще всего не давай снохамъ ссориться: такъ не изъ чего будетъ расходиться; мужики-то поладятъ; семь топоровъ вмѣстѣ подъ лавкой лежатъ, а двѣ прялки врозь. Это твое дѣло, Настя, смирныхъ выбери да держи любовно. Доживу, самъ благословлю,

не доживу, такъ не прогнѣваются. Рѣчи мои слышали; теперь, вставши помолимся да и ляжемъ охдохнуть, а свѣтлый день передъ нами. Съ нами Христосъ!

Еслибъ дѣдъ прожилъ послѣ этого еще долго, то слова его на большую половину были бы забыты; но какъ онъ умеръ спокойно на Ѳоминой, напомнивъ еще всѣмъ о томъ, что наказывалъ, то рѣчи его врѣзались въ память каждаго и поминались то тѣмъ, то другимъ, при всякомъ случаѣ. Старикъ оставилъ сыну рублей съ триста, да устроенное общими силами хозяйство.

Къ Покрову пріисканы были невѣсты и благополучно засватаны, а свадьбамъ, разумѣется, быть въ одинъ день. Настя стряпала это дѣло и выбирала осторожно невѣсть смирныхъ, да условилась съ мужемъ, чтобъ обѣихъ невѣстокъ, по вводѣ въ домъ, заставить вмѣстѣ помолиться и приложиться къ образу, что ссориться и наговаривать другъ на друга мужьямъ не станутъ, а потомъ велѣть поцѣловаться и поклониться отцу-матери; затѣмъ и сыновьямъ помолиться и, побратавшись передъ образомъ, обмѣняться тѣльными крестами.

Все это было хорошо, да вышла небольшая помѣха. Къ осени, какъ выражаются крестьяне, царскій колоколъ прогудѣлъ на всю Россію: сказанъ наборъ. Вѣсть эта сперва и не смутила было Василья, потому что онъ считалъ себя одиночкой, какъ отецъ съ однимъ сыномъ, не подумавъ о томъ, что Киря, какъ узаконенный пріемышъ, приписанъ былъ къ семьѣ по народной переписи, а потому и все равно, сынъ ли онъ, племянникъ, братъ ли, чужъ ли чуженинъ,—онъ вошелъ въ счетъ работниковъ, и отъ тройниковъ одного отдать придется. Въ общихъ и ни на чемъ не основанныхъ словахъ: «кажись, семья моя молода, есть постарше», заключается вся надежда нашего крестія-

нина, и только немногіе, большесемейные, стоящіе на первой очереди, либо вообще болѣе толковые и заботливые, знаютъ очередь свою напередъ и ждутъ ее; большую часть застигаетъ она врасплохъ.

Такъ случилось и тутъ. Собрали валовую сходку и прочитали учетный списокъ, въ коемъ семьи всей волости писаны сподрядъ, по старшинству очереди; выслушали человѣкъ десятокъ, кои сомнѣвались, почему они стоятъ выше такой-то семьи, которая, кажись, старѣе; растолковали имъ дѣло и затѣмъ вызвали по сему списку коренныхъ, подставныхъ и запасныхъ, объяснивъ каждому, въ которую голову онъ идетъ въ ставку, осмотрѣли ихъ, подвели подъ мѣру, объявили, когда опять собираться для отвоза въ городъ и ставки, и распустили сходку. Семьи, оставшіяся подъ очередью, быстро, весело и шумно собрались и разъѣхались и разошлись первыя; за ними потянулись и запасные, въ надеждѣ, что очередь до нихъ не дойдетъ, и тѣ изъ подставныхъ, которые бойко слѣдили за осмотромъ и отмѣткою коренныхъ и также разсчитывали, по числу годниковъ, что и ихъ не должна хватить очередь. Остались въ отсталыхъ коренные, которымъ все еще казалось, будто они не все растолковали начальству, что до положенія ихъ семьи относилось, и будто есть семьи и постарѣе ихней. Въ этомъ числѣ былъ и Василій съ Кирюшей и Кирей. Постоявъ на сходкѣ, перетолковавъ между собою все и похлопавъ нѣсколько разъ руками о полы, пошли они въ приказъ и Василій рѣшился выступить впередъ и подойти къ начальнику.

— Какъ такъ, ваша милость, семьѣ моей сказана очередь? Я всего вотъ самъ-другъ съ сыномъ, а это у меня чужой, только принятъ въ домъ, то-есть только и вины моей, что я выкормилъ его.

Тотъ отыскалъ семью въ учетномъ спискѣ и объ-

[illegible] Василью, что семья его тройниковая, а по сложности лѣтъ 42, стоитъ на первой очереди, въ коренныхъ, между такими-то двумя семьями, по такимъ-то причинамъ учетныхъ правилъ; что родной и неродной сынъ считается такимъ же ратникомъ; а какъ обоихъ [illegible], то старшій бы долженъ идти въ первую ставку; но какъ они и однихъ лѣтъ, то надо имъ кинуть жребій, и вызвалъ отца сдѣлать это сейчасъ.

— Жребій кидать нечего, — отвѣчалъ Василій: — [illegible] не выходитъ въ мѣру, онъ коротышъ.

Начальникъ взглянулъ еще разъ на списокъ и сказалъ:

— Правда твоя, я не досмотрѣлъ. Стало-быть, пойдетъ твой [illegible]. Миновать нельзя.

— А когда бы того не было, подкидыша-то, такъ мнѣ бы не отдавать и сына?

— Конечно, нѣтъ; тогда бы вы были двойниками на правахъ одиночекъ.

— Какъ же такъ? сказалъ Василій со вздохомъ:— что приняли мы подкидыша съ улицы, такъ въ этомъ мы и виноваты стали? А подкидышъ не доросъ, такъ [illegible] отдать будетъ родного сына—вѣдь онъ у меня одинъ только и есть...

— Жаль тебя, Василій, а дѣлать тутъ нечего, дѣло законное. Ты слушай да пойми меня: семью Маленкова знаешь? Ну, у него одинъ же сынъ, Сергѣй— [illegible] да племянникъ Иванъ приписанъ, который [illegible] гдѣ-то и дома не живетъ, и Маленковъ также тройникъ и отдаетъ теперь сына послѣдняго. Такихъ найдется много; гдѣ по переписи три работника, тамъ одного отдай. Понялъ?

Василій вздохнулъ и молчалъ. Говорить было нечего.

— Ты же,—продолжалъ тотъ:—коли сдѣлалъ богоугодное дѣло, принялъ, вспоилъ и вскормилъ безрод-

наго, такъ неужто ты теперь объ этомъ пожалѣешь?

Василій взглянулъ на начальника почти тѣми же радушными глазами, какъ глядѣлъ на отца въ тотъ вечеръ, когда утирался рукавомъ, полагая, что уморился, то есть за полчаса до того, какъ найденъ и принятъ былъ Киря.

— Нѣтъ,—молвилъ онъ:—сохрани Богъ отъ грѣха, жалѣть не стану. Да и ровны они мнѣ оба; обоихъ хозяйка выкормила разомъ, двойни они мои...

— Говори, говори, Василій,—сказалъ ему начальникъ, видя, что онъ замолкъ, не досказавъ всего.

Слеза прошибла Василья, но онъ продолжалъ:

— Разумѣется, что два сына у меня, вотъ они. Старикъ отецъ на Ѳоминой померъ—царство ему небесное!—такъ и умирая, наказывалъ: «Ты, говоритъ, все молись, Василій; и хорошо придетъ — молись, и худо придетъ—все молись; потому, говоритъ, что мы глупы, и худа-то отъ добра и добра отъ худа не распознаемъ.» Вотъ что!

Кому случалось видѣть на дѣлѣ, какъ рекрутство отправляется у насъ въ разныхъ полосахъ государства, тотъ, конечно, былъ пораженъ тѣмъ, какъ разнообразно, по внѣшности, по крайней мѣрѣ, проявляются впечатлѣнія этой повинности и притомъ, какъ будто только смотря по исконному мѣстному обычаю. На югѣ, напримѣръ, заведено, что по первымъ слухамъ о наборѣ, всѣхъ очередныхъ берутъ подъ стражу, нерѣдко сажаютъ и въ кандалы; и безъ этого нельзя обойтись: они бы всѣ разбѣжались. Но будучи разъ отданы, они смиряются и покоряются своей судьбѣ. На сѣверѣ и на востокѣ это было бы мѣрой почти неслыханной: тамъ держатъ подъ присмотромъ только отдаваемыхъ за дурное поведеніе, не въ очередь; а очередныхъ, по осмотрѣ, распускаютъ, съ приказаніемъ не отлучаться. Изъ числа 200 — 300 рекрутъ

или очередныхъ, случается иногда, что одинъ или два человѣка скроются, а большею частью и ни одинъ. Нигдѣ нѣтъ столькихъ побѣговъ отъ помѣщиковъ, какъ въ Малороссіи, а между тѣмъ помѣщикъ тамъ вынужденъ сажать очередныхъ тотчасъ въ колодку: иначе бы ихъ не доискались. Порча также водится только мѣстами, какъ бы гнѣздами. Въ одной семьѣ введены порубы, хотя это бываетъ рѣже: въ другой насыпаютъ мышьяку или сулемы въ ухо; въ третьей очень ловко растравляютъ язву на ступнѣ или голени, отчего кожа приростаетъ послѣ къ кости и образуется безобразный рубецъ; самые закоснѣлые напускаютъ на себя притворную падучую, а простоватые ограничиваются тѣмъ, что натираютъ лицо и другія части бадягой, образуется опухоль и отекъ; иные искусно вздуваютъ кожу. Эти средства обыкновенно бываютъ неудачны. Но вообще подобные случаи рѣдки, и бываетъ ихъ, напримѣръ, по Нижегородской губерніи, одинъ или два въ наборъ, на 36 тысячъ душъ удѣльныхъ крестьянъ; очереднымъ, безъ всякаго опасенія, объявляется объ очереди ихъ, и они распускаются по домамъ; нерѣдко даже, въ случаѣ крайней надобности, имъ выдаются еще срочные виды, для отлучки съ обязательствомъ явиться къ ставкѣ, и въ этомъ случаѣ всегда почти являются они сами къ сроку.

Также точно отъ мѣстнаго обычая зависитъ и то, какъ вѣсть объ очереди принимается въ семьѣ и какъ провожаютъ очереднаго. Вообще можно сказать, что населеніе чисто-земледѣльческое чуждается и боится солдатчины гораздо болѣе, чѣмъ населеніе промысловое, почему между первымъ и охотники или наемщики довольно рѣдки, тогда, напротивъ, какъ ихъ въ послѣднемъ довольно, лишь бы нашлись хозяева, готовые дать парню погулять самымъ неистовымъ, буйнымъ образомъ два-три мѣсяца; послѣ этого онъ смиряется

и самъ проситъ, чтобъ его скорѣе поставили. У обрусѣвшей мордвы и другихъ чудскихъ племенъ, обрусѣвшихъ мѣстами до того, что и признаковъ ихъ происхожденія почти не осталось, бабьи заплачки и причеты сохранили, однакожь, свое значеніе, и безъ нихъ не можетъ обойтись ни одно важное событіе въ крестьянскомъ быту: тутъ оплакиваютъ солдата гласно, на улицѣ, съ дикимъ однообразнымъ воемъ, на заведенный тоскливый голосъ въ семь нотъ, изъ которыхъ послѣдняя растягивается и переходитъ въ верхнюю октаву; въ коренныхъ же русскихъ селеніяхъ этого нѣтъ, а провожаютъ рекрута и прощаются съ нимъ довольно разумно и спокойно, какъ бы прощаясь со всякимъ семьяниномъ на дальнюю и долгую разлуку.

Нашъ Василій принадлежалъ къ чисто земледѣльческому разряду крестьянъ нагорныхъ уѣздовъ. Онъ не могъ принять вѣсть объ отдачѣ сына въ солдаты съ такимъ спокойствіемъ, какъ это обыкновенно дѣлается въ волостяхъ заволжскихъ, промысловыхъ. Сколько ни утѣшалъ онъ себя и Настю тѣмъ, что надо же кому-нибудь служить великому Государю, что Богъ его и тамъ не оставитъ, что отецъ не велѣлъ роптать ни на что, а велѣлъ только молиться,—а конецъ концовъ все-таки былъ тотъ, что надо разставаться съ одинцомъ своимъ навсегда. Кирюша съ Кирей повѣсили носы и молчали; второй, надумавшись какъ-то, сталъ было робкимъ голосомъ плакаться на судьбу свою, что вотъ изъ-за него отдаютъ теперь названнаго брата въ солдаты, что лучше бы ему было утопиться, чѣмъ взводить такое горе на отца-мать, кормильцевъ своихъ; но Настя первая зажала ему ротъ, сказавъ: «Молчи, молчи, Господь съ тобой, не грѣши, Божья воля; нешто ты не дорось по своей волѣ? Божья воля, дитятко, молчи!» А Кирюша, сидя кулемъ на лавкѣ и свѣсивъ головушку, прибавилъ: «Про это что толко-

вать, Киря? ужь тебѣ ли, мнѣ ли, а кому-нибудь идти надо.»

Вошелъ въ избу сосѣдъ, также хорошій мужикъ, посмотрѣть, что дѣлается у Василья да потужить съ нимъ. «Что, Василій», спросилъ онъ, помолившись: «какъ думаешь?»—«Да что думать тутъ?» отвѣчалъ тотъ: «видно снаряжать Кирюшу да благословлять.»—«А что бъ тебѣ, Василій, понанѣдаться въ Борисово; тамъ, намолчка была какъ-то, Иванъ Верзилинъ—чай Верзилиныхъ знаешь?—былъ слухъ, что продаетъ онъ квитанцію.»

Василій взглянулъ было радостно во всѣ глаза на сосѣда, который навелъ его на новую думку, не бывавшую у него до сего и въ головѣ; но потомъ, вздохнувъ, сказалъ: «Что жъ, квитанція, чай, не по мнѣ придется.»—«Однако», продолжалъ тотъ: «понавѣдался бы, Богъ милостивъ; я человѣкъ не замочный, самъ знаешь, а коли ребята твои на годъ пойдутъ въ кабалу ко мнѣ, по пятидесяти дамъ—вотъ и сотня.»

Настя кинулась просить мужа послушаться этого совѣта; парни молчали. Не чая успѣха, Василій, однакожъ, сказалъ большое спасибо сосѣду, а самъ, не откладывая дѣла, всталъ, взялъ шапку, перекрестился и пошелъ. Часа черезъ три онъ уже и воротился; но добрыхъ вѣстей не принесъ. Верзилинъ поставилъ, года три назадъ, охотника, и квитанціи береглась у него до очереди; между тѣмъ у него выбылъ одинъ работникъ, умеръ племянникъ, а самъ онъ вышелъ изъ лѣтъ, то есть исполнилось шестьдесятъ; такимъ образомъ квитанція стала лишнею, и онъ продавалъ ее, но не отдавалъ ниже 600 серебромъ, за наличныя. У Василья отцовскихъ денегъ было сотни три, да одна своя, прикопленная, да сто давалъ сосѣдъ, за годичную кабалу, а одной не хватало и добыть ее негдѣ. Какъ ни раскидывали на умахъ, а нѣтъ ея! Продать, кромѣ

одной лишней лошадки, коли сыновья дома пахать не станутъ, нечего; взаймы никто не дастъ, опасаясь въ такомъ случаѣ, что мужичокъ, отдавъ послѣднее и распродавъ все, падаетъ въ быту своемъ и дѣлается несостоятельнымъ. Потолковали еще на другой и третій день, и рѣшили, что знать такъ Богу угодно, а Кирюшѣ судьбы своей не миновать.

На улицѣ послышались голоса толпы, и Василій, оглянувшись позади себя въ окно, увидѣлъ цѣлую ватагу костромскихъ шерстобитовъ, съ Ветлуги, которые остановились съ оружіемъ своимъ, полутора-саженными лучками, прямо противъ двора его, поглядывали и что-то толковали. Вслушавшись, Василій, однако, не могъ понять въ чемъ дѣло. «Чаво», говорилъ одинъ. «нѣтъ, не пятьдесятъ, а выйдетъ и цѣла сотня; ты гляди, четвертей по 20 будетъ, вотъ что».—«А дуплясты», замѣтилъ другой.—«Ну, дуплясты,» сказалъ третій: «такъ сотни не выйдетъ, а все безъ малаго.» Что они далѣе говорили, того Василій и вовсе не могъ понять, потому-что бесѣда ихъ продолжалась уже не на русскомъ, а на вовсе незнакомомъ Василью языкѣ. Потолковавъ шерстобиты спустили лучки свои однимъ концомъ съ плечъ на землю, какъ бы для отдыха, а одинъ изъ нихъ пошелъ въ избу Василья.

Надобно знать, что этотъ народъ, костромскіе шерстобиты, ходятъ съ лучками своими по всей Россіи, не исключая и Сибири, на заработки, и нерѣдко занимаются, гдѣ случится, и другимъ промысломъ: они же телѣжники, санники, колесники и дужники. У нихъ свой, придуманный ими языкъ, какъ у владимірскихъ, тверскихъ и костромскихъ офеней или коробейниковъ, но только другой, то есть слова у нихъ большею частью другія. Такъ, напримѣръ, скоро, у офеней: *рыкло*, у шерстобитовъ *шатрово* или *башково*; вѣникъ, у офеней *пленальникъ*, у шерстобитовъ—*било*; сноп,

у офеней *зябликъ*, у шерстобитовъ *ломежъ* и проч. Вотъ почему Василій не могъ понять ни слова, какъ только шерстобиты заговорили по-своему.

Итакъ, одинъ изъ нихъ вошелъ, помолился и проговорилъ бывалымъ землепроходцемъ: «Богъ на помочь въ окно глядѣть, безъ пироговъ не садиться, безо щей не ложиться, безъ красныхъ невѣстъ жениховъ не держать! Дома ль хозяинъ?»—«Благодаримъ покорно, я хозяинъ», обозвался Василій: «съ чѣмъ Богъ принесъ?»—«Ну», продолжалъ краснобай: «хозяину гумно гора горой, хозяюшкѣ свѣту полны воробья, полны коробья, добрымъ молодцамъ по бархатну чапану, а тебѣ, честной хозяинъ, подносимъ бархатну шапку—въ простой ходить тебѣ не годится. Берешь, что ль?»

Хоть и не до веселья было теперь бѣдному Василью, однако ветлужанинъ разсмѣшилъ его. «Бай, что ли», сказалъ онъ, «а я не дамъ толку твоимъ рѣчамъ.»—«А вотъ что», продолжалъ тотъ: «три ветлы стоятъ на дворѣ у тебя; онѣ чай не завѣтныя; постоятъ еще годъ-другой—знать ужь и такъ больно переспѣли—да и надъѣстъ ихъ дупло, а вѣтромъ повалитъ, храни Богъ убьетъ кого. Мы дужники, поработаемъ тутъ около нихъ, и деньги дали бъ хорошія. Можно ль посмотрѣть да обухомъ ударить: есть дупло, такъ скажется.»

Василій всталъ и вышелъ съ нимъ на дворъ; вся артель, приставивъ лучки свои къ избѣ, окружила три огромныя ветлы, посаженныя когда-то, никакъ лѣтъ тому восемьдесятъ, прадѣдомъ Василья. Тогда воткнуто было съ десятокъ хворостинъ, три изъ нихъ уцѣлѣли и стояли теперь, красуясь въ дымчатой листвѣ своей и покрывая увѣемъ полъ-двора и полъ-улицы. Пни ихъ были четвертей по двадцати въ обхватѣ. Постучавъ обухомъ тутъ и тамъ, увѣрившись, что дупла нѣтъ, и покричавъ на своемъ, никому незнакомомъ

языкѣ между собою, они подошли къ хозяину, и артельщикъ спросилъ Василья, что возьметъ онъ за три ветлы эти на срубъ, и съ тѣмъ, чтобъ выработать дуги у него на дворѣ, а за хлѣбное-де плати особо. Пожалѣлъ было Василій прадѣдовскихъ ветлъ своихъ и сказалъ: «Нѣтъ, не хочу, не дамъ рубить.» Вся артель напала на него и божилась, что вотъ только стоять имъ до первой бури, а тамъ и свалитъ ихъ, и еще, сохрани Богъ! кого придавитъ. «Ну», сказалъ артельщикъ, протянувъ руку: «пятьдесятъ цѣлковенькихъ взялъ, что ли?» Василій выпучилъ глаза: не слышалъ онъ, чтобъ такія деньги давали за три ветлы. Однако онъ крѣпился. «Нѣтъ, не беру.» Съ шумомъ, крикомъ и божбой заставили его противъ желанія подставить руку артельщику, между тѣмъ какъ тотъ все набавлялъ и билъ сгоряча по рукѣ его, и дошелъ наконецъ до семидесяти пяти цѣлковыхъ. Какой-то говоръ пробѣжалъ по артели, и большакъ, отдернувъ руку свою, молвилъ: «Ну, Богъ съ тобой! Ой да, пойдемъ, братцы.» Василій остановилъ ихъ и послалъ Кирю за сосѣдомъ, который бралъ ребятъ въ кабалу. «По рукамъ», сказалъ сосѣдъ: «и не думай больше. Давай гнѣдого своего на придачу къ парнямъ—вѣдь опять на двѣ сохи пахать станешь—купишь, а теперь онъ у тебя будетъ въ лишнихъ. Богъ съ тобой, Василій, человѣкъ ты и сосѣдъ добрый: доплачу остатки, двадцать-пять цѣлковыхъ за тебя, и шестая сотня полна. Бери денежки да бѣги къ Ивану, въ Борисово, чтобы кто не перебилъ. Дастъ Богъ здоровья, наживете больше. Вотъ, парней-то женишь нынѣ, анъ двѣ работницы въ домѣ; а дѣвки тѣ хорошія, работящія.»

Василій перекрестился, получилъ деньги съ шерстобитовъ, получилъ и съ сосѣда: Кирюша съ Кирей отвѣсили ему по низкому поклону, глядѣли ему въ глаза, чтобъ, въ чемъ нужно, прислужиться, а сами во

могли отбиться отъ докучливой слезы. Настя обняла и его, и дѣтей; досталъ онъ свою денежку про черный день, счелъ все—шестьсотъ гладко, опять перекрестился, пошелъ и воротился еще засвѣтло съ квитанціею. Ветлужцы храпѣли въ повалку подъ своими ветлами.

— Вотъ оно и выходитъ такъ,—сказалъ Василій за ужиномъ, среди радостной семьи своей:—что надо всему молиться. Что ни придетъ, все молись. Господь, старый Чудотворецъ, знаетъ что строитъ.

# ЖЕНИХЪ

Тарантасъ во весь духъ подкатилъ къ станціонному дому; сѣдокъ выскочилъ изъ него въ одинъ прыжокъ, и бранный крикъ, звонкій и голосистый, полился тутъ же на всѣ стороны, точно будто продолженіе только-что замолкшаго колокольчика. Опытный смотритель, выглянувъ изъ-за косяка въ самый край оконнаго стекла, схватилъ поспѣшно книгу и исчезъ съ нею во внутреннія покои, то-есть въ третью комнату, съ выходомъ на заднее крыльцо; ямщики, показавшіеся было тутъ и тамъ, остановились въ отдаленіи, глядя на проѣзжаго и не рѣшаясь, приступить ли ближе и спросить, не велятъ ли смазать, или ужь лучше не соваться и переждать грозу.

Проѣзжій бросился на перваго встрѣчнаго и, ухвативъ его за воротъ, съ лютою назойливостью и угрозами требовалъ лошадей; баба высунулась изъ окна и, заревѣвъ на весь бѣлый свѣтъ, кричала: «Господь съ тобою, не бей его! это не здѣшній: онъ ничего не знаетъ.» Проѣзжій кинулся къ бабѣ, и «нездѣшній» (хотя это и былъ одинъ изъ ямщиковъ) бросился во дворъ и скрылся. Баба, въ свою очередь, исчезла у окна, и проѣзжій остался было въ недоумѣніи; но, оглянувшись и увидавъ, что все было вокругъ пусто,

что даже привезшій его ямщикъ, отложивъ наскоро лошадей, куда-то пропалъ, принялся снова кричать и гаркать, бросился во дворъ и подъ навѣсъ, въ конюшню; здѣсь онъ только-что успѣлъ увидѣть, что отъ вступительныхъ его привѣтствій толпа ямщиковъ бросилась вонъ, въ заднія ворота; посреднѣ стояла покинутая, до половины охомученная тройка. Проѣзжій зарыкалъ въ неистовствѣ. Голосъ какого-то старика обозвался наконецъ гдѣ-то въ темномъ углу: «Полно, баринъ; лошади готовы; гляди, вотъ вѣдь ты самъ разогналъ ямщиковъ. Иди съ Богомъ, приведемъ сейчасъ.»—«Что?» заревѣлъ этотъ, будто его что ужалило: «грубить? и ты грубить? Постой, гдѣ ты тамъ?» и кинулся въ ту сторону, откуда слышалъ голосъ. Но подъ ноги попался ему мальчишка, ростомъ вполчеловѣка, съ дугой и вожжами «Что, и ты ямщикъ?» закричалъ проѣзжій голосомъ, будто взялъ въ плѣнъ англичанина: «и ты ямщикъ?» Мальчишка повернулся бокомъ, вывернулся какъ-то послѣ первой встряски, бросивъ тутъ же дугу и вожжи, и кинулся бѣжать. Храбрый непріятель насѣлъ было на него въ одинъ прыжокъ; но этотъ, видно, также не совсѣмъ розиня, очутился подъ телѣгой и только шелестъ соломы, вскорѣ также затихшій, убѣдилъ наступника въ томъ, что мальчишка скрылся въ неприступную твердыню— въ темный и грязный уголъ, подъ ворохъ саней и ломаныхъ телѣгъ.

Растерявшись нѣсколько въ незнакомой ему мѣстности, проѣзжій сталъ оглядываться среди залповъ проклятій своихъ, но не могъ опознаться, изъ какого именно закоулка слышался ему, до послѣдняго приключенія, голосъ старика. Конюшня опустѣла; ни души не видно; лошади, съ полунадѣтыми на нихъ шлеями, стоятъ; дуга и вожжи лежатъ на землѣ. Скорыми, машистыми шагами пустился онъ на дворъ и въ избу

отыскивать смотрителя. Изба оказалась пустою; онъ только слышалъ толкотню и хлопанье дверей впереди себя за двѣ и за три комнаты, но не могъ никого настигнуть: комнаты вели, черезъ сквозныя сѣни, кругомъ. Употребивъ военную хитрость и оборотившись вдругъ среди настойчиваго преслѣдованія своего въ противную сторону, храбрый налётъ едва не столкнулся со всего разгону съ тою же бабой, которая уманила его въ окно отъ перваго ямщика; онъ до того обрадовался этой встрѣчѣ послѣ столькихъ безуспѣшныхъ поисковъ, что совсѣмъ было вцѣпился въ добычу свою обѣими руками, но, озадаченный обезображеннымъ видомъ ея, остановился: шлыкъ на боку, полкосы растрепано; дикій взглядъ и такая попытка, будто бѣдная баба уходила по зрячему отъ медвѣдя. «Что жь лошадей? Смотритель гдѣ? Что жь мнѣ лошадей?» кричалъ онъ голосомъ, отъ котораго баба тщетно старалась уклониться то вправо, то влѣво. «Что жь лошадей?» продолжалъ онъ и, зная за собою неумѣстную въ этомъ случаѣ слабость, положилъ, изъ предосторожности, обѣ руки въ карманы, и тогда только, наконецъ, замѣтилъ, что онъ тромбономъ своимъ покрывалъ и заглушалъ отвѣтъ испуганной хозяйки «нездѣшняго» ямщика, что-де оглянись, батюшка, да поѣзжай съ Богомъ: лошади давно готовы. И въ самомъ дѣлѣ, ямщики будто того только и ждали, чтобъ сердитый баринъ вышелъ изъ конюшни, а можетъ быть и спасшійся на задній дворъ смотритель ускорилъ дѣло: лошади были заложены.

Проѣзжій выбѣжалъ, какъ угорѣлый, и, продолжая изрыгать проклятія и угрозы, далъ своему тарантасу сразбѣгу такого немилосерднаго толчка, что кузовъ крякнулъ и закачался; потомъ обошелъ съ другой стороны и сдѣлалъ то же, къ крайнему изумленію и очевидному удовольствію собравшихся теперь въ полной

наличности зрителей, ямщиковъ и другого народа. Это, извольте видѣть, капитанъ производилъ какой-то дорожный опытъ прочности и остойчивости своего тарантаса. Наконецъ онъ сѣлъ и поѣхалъ. Никто не безпокоилъ его просьбой на водку, а смотритель поглядѣлъ только изъ-за оконнаго косяка.

Оправившись нѣсколько на сидѣньѣ, прокричавъ: «пошелъ!» съ приправой доморощенной соли, и оглянувшись самодовольно во всѣ стороны, капитанъ вдругъ затянулъ сильнымъ и звучнымъ, хотя и дикимъ голосомъ, какой-то романсъ; костоломный толчокъ внезапно прекратилъ голошенье это, съ значительнымъ укушеніемъ языка. Но романсъ до того укротилъ неистоваго воина, что онъ только воспользовался этимъ невольнымъ перемежкомъ для разгульнаго подстрекательства ямщика, съ присвистомъ и даже обѣщаніемъ на вино. Остальную часть перегона капитанъ пытался пропѣть съ чувствомъ хотя одно четверостишіе или колѣнцо, отъ кочки до кóчки, отъ толчка до толчка, но какъ и это оказалось неисполнимымъ, то онъ замолкъ, пережевывая укушенный языкъ свой, хотя, какъ храбрый офицеръ, иногда не обращалъ большого вниманія на какую-либо тѣлесную боль. Вскорѣ ямщикъ пустилъ во всѣ лопатки и осадилъ лошадей, протащившихъ тарантасъ на возжяхъ отъ подъѣзда станціи до угла забора.

Здѣсь проѣзжій нашъ будто переродился. Онъ не выскочилъ кувыркомъ изъ тарантаса, не ворвался опрометью въ домъ, не разсыпался проклятіями и угрозами, а вошелъ съ извѣстной осанкой, вытянулся, охорашиваясь, вошелъ скромно, хотя и твердымъ шагомъ, въ домъ и, встрѣтивъ человѣка въ сюртукѣ почтоваго вѣдомства, полюбопытствовалъ узнать, для порядка, онъ ли смотритель. На утвердительный отвѣтъ капитанъ принялъ видъ строгаго, но на сей разъ спи-

сходительнаго начальника, и сказалъ голосомъ и ударе-ніемъ, недопускавшими ни отговорокъ, ни возраже-ній: «Вы мнѣ самоварчикъ; да почиститься и помыться надо; да вели братецъ... прикажите обмыть хоро-шенько дорожный экипажъ мой: я въѣзжаю въ городъ и притомъ, пожайлуста, распорядись.» Потомъ капи-танъ вошелъ въ слѣдующую комнату и растянулся.

И на станціи, съ которой уѣхалъ путникъ нашъ, вслѣдъ за нимъ ямщики долго еще скоморошили на на всѣ лады, показывая поочередно передъ хохочащею навзрыдъ толпою, какъ проѣзжій выскочилъ, какъ вбѣжалъ, бѣсновался въ припрыжку, торопился са-женными шагами, не зная куда и зачѣмъ, какъ онъ давалъ угонки каждому встрѣчному и, наконецъ, вызвавъ мальчишку, заставили его показывать въ лицахъ, какъ онъ ушелъ отъ сердитаго барина на карачкахъ, подъ складъ телѣгъ и саней, какъ баринъ на него за-рился, а онъ, впотьмахъ и подъ костромъ телѣгъ, по-казывалъ ему языкъ. Все это многихъ и долго потѣ-шало.

Между тѣмъ, укрощенный близостью города и пріятнаго общества, герой брился, мылся, стригся, чистился, буквально съ ногъ до головы; изъ занятой имъ комнаты только и раздавалось на весь домъ: «эй, воды!» и вслѣдъ затѣмъ вода эта выплескивались изъ тазовъ и рукомойниковъ въ окно, и опять раздавалось рѣзко и отчетисто, какъ командныя слова: «эй, воды!» Бѣдная смотрительша сбилась съ ногъ и бѣгала взадъ и впередъ, приговаривая: «ахъ ты, Господи, что это за напасть!» но не хотѣла огорчить и разсердить пріѣзжаго позднимъ отказомъ, чтобъ не лишиться зара-ботаннаго уже, по ея расчету, хорошаго вознаграж-денія за свѣтъ, за тепло, за воду, за посуду, за са-моварчикъ и за безпокойство. Наконецъ, чистка кон-чилась, дверь во внутреннія покои растворилась на-

стежъ и капитанъ предсталъ во всемъ блескѣ красоты своей и величія. Тогда былъ внесенъ и раздѣланъ чемоданъ, а изъ тарантаса взятъ своеручно поставецъ, отъ котораго ключикъ оказался на шеѣ хозяина; изъ поставца достали стклянку съ золотымъ ярлыкомъ, и началось кропленіе, спрыскиваніе и натираніе духами не только личности или особы капитана, но и всей одежды и даже бѣлья въ чемоданѣ. Нестерпимое благовоніе разлилось не только по всему дому, но повалило клубомъ въ растворенныя окна и перегородило поперекъ улицу. Прохожихъ, съ непривычки, сильно ошибало, а капитанъ Пѣтушковъ съ усладою дышалъ и плавалъ въ этой околицѣ. Вымытому за-ново тарантасу не досталось ни одного пинка.

По отъѣздѣ капитана съ этой станціи, дѣла представились въ слѣдующемъ видѣ: смотритель стоялъ на крыльцѣ и вертѣлъ въ пальцахъ гривенникъ, разглядывая его съ такимъ вниманіемъ, будто ему попалась въ руки вещь незнакомая, загадочная, и притомъ такихъ крошечныхъ размѣровъ, что ея почти между пальцевъ не видно. За нимъ, сбоку стояла смотрительша съ засученными рукавами и жалобно пищала, что она бы давно плюнула да отошла, кабы знала, какого пера соколикъ этотъ; что она и ногъ подъ собою не слышитъ, и руки отшибла, и плечи отмахала ему въ услугу, а онъ, безстыдникъ этакой, вонъ что дѣлаетъ! Передъ смотрителемъ стояла толпа ямщиковъ и шарила за умомъ-разумомъ въ затылкахъ своихъ. Они обмывали и окачивали тарантасъ и также увѣряли, что работы за этимъ дѣломъ было много. «И грязь-то невѣсть отколь на немъ завезена», замѣтилъ одинъ, для болѣе рѣзкой выставки заслугъ своихъ: «такъ и въѣлась.» Оставимъ ихъ въ этомъ недоумѣніи и послѣдуемъ за своимъ героемъ.

Вечеръ; свѣчи поданы. Капитанъ сидитъ нѣсколько

на отшибѣ среди общества обоего пола и самодовольно улыбается. Онъ какъ-то держитъ ушки на макушкѣ, нетерпѣливо выжидая большой затиши въ бесѣдѣ, готовый крякнуть, какъ только приличіе это позволитъ, и принять также участіе въ разговорѣ. Его выписала въ городъ этотъ старуха-тетка, ввела въ домъ и предоставила ему искать своего счастья ловкостью обращенія и изяществомъ бесѣды

— А горло у васъ не болитъ, сударыня? — спросилъ онъ, наклонившись нѣсколько впередъ, одну изъ дѣвицъ, дочь хозяйки.

— Нѣтъ, не болитъ, — отвѣчала та, не понимая куда это вопросъ клонится.

— И у матушки вашей не болитъ?

— Нѣтъ, не болитъ?

— Ну,—продолжалъ тотъ, щелкнувъ языкомъ, голосомъ, изъявлявшимъ крайнее сожалѣніе: — а у меня есть превосходное средство отъ горла; отъ насморка и отъ колики есть...

На гостя покосились, но разговоръ продолжали попрежнему. Выждавъ приличную минуту, капитанъ опять крякнулъ и сказалъ:

— Я хотѣлъ вамъ доложить, что я пріѣхалъ сюда, или, то есть прискакалъ въ тридцать семь часовъ. Года три тому, какъ я былъ переведенъ въ Малиновскій полкъ, я прискакалъ въ сутки.. позвольте чтобъ не соврать...

Онъ призадумался, наморщилъ брови и началъ про себя считать версты на умахъ, но общій говоръ занялъ и отвлекъ всѣхъ отъ этого замысловатаго счета и отъ счетчика, такъ что докладъ этотъ остался неконченнымъ. Капитанъ передернулъ плечами, но пріятная и самодовольная улыбка не сплывала съ лица его. Онъ пріосанился, оглянулся, и ему показалось, что онъ напрасно присѣлъ въ двухъ шагахъ отъ остальъ-

него, дружнаго общества. Пододвинувъ стулъ свой поближе, онъ опять, улучивъ время, крякнулъ и въ недоумѣньѣ, или, лучше сказать, въ увѣренности занять всѣхъ пріятнымъ разсказомъ, началъ такъ:

— Разъ я, сударыня, былъ на цѣпи...

Невольный хохотъ послышался тутъ и тамъ, и одна изъ дамъ спросила:

— Какъ, на цѣпи? Кто жь васъ посадилъ на цѣпь?

— Нѣтъ,—продолжалъ капитанъ Пѣтушковъ:—то есть я хотѣлъ сказать въ цѣпи, въ застрѣльщикахъ.

— Да, это другое дѣло,—отвѣчала дама:—вы насъ простите, мы этого дѣла не понимаемъ.

И опять кто-то вмѣшался въ бесѣду, и капитанъ остался за штатомъ. Нисколько не унывая, онъ окинулъ потолокъ глазами, потомъ, не измѣняя благообразнаго лица своего, окинулъ всѣхъ собесѣдниковъ радушною улыбкою, подобралъ самодовольно подбородокъ и съ невозмутимымъ терпѣніемъ выждалъ своей очереди.

— Когда мы задавали феферу туркѣ,—началъ онъ...

И опять уже, противъ всякаго чаянія и желанія, долженъ былъ покончить на этомъ небольшомъ отрывкѣ разсказъ свой, потому-что дамы не поняли, что такое онъ задавалъ, а въ продолженіе объясненій его, рѣчь зашла уже о другомъ и никто его не слушалъ.

Словоохотливый капитанъ Пѣтушковъ не разъ на вѣку своемъ пріятно занималъ общество, и потому, конечно, не безъ причины считалъ себя такимъ собесѣдникомъ, которому не стыдно явиться въ любое собраніе. Итакъ, онъ въ себѣ не сомнѣвался, а между тѣмъ неудача становилась и для него самого довольно очевидною.

«Эка задача!» подумалъ онъ: «по новому знакомству, не зная людей, конечно, съ разу не угадаешь, чѣмъ ихъ потѣшить, видно здѣсь не привыкли къ нашему брату, военному, а пробавляются въ бесѣдахъ, вотъ

какъ и теперь, между собою, все больше пустяковиной. Что жъ, мы не ударимъ въ грязь лицомъ и на этомъ. Постоимъ за себя. Можно пустить этакъ скандачка съ язьіка и на другой ладъ.»

И за словомъ или за думкой этой онъ привсталъ, обтянулъ на себѣ мундиръ, принялъ почтительное положеніе и сказалъ:

— Можетъ быть, сударыня, вамъ угодно сыграть въ фанты...

Эта несчастная, хотя и вполнѣ невинная выходка, окончательно подрѣзала бѣднаго Пѣтушкова. Все общество, отъ мала до велика, такъ или иначе, выразило, хотя и не словами, убѣжденіе свое, что гость этотъ не шутя сидѣлъ гдѣ-нибудь на цѣпи и по недосмотру сторожей своихъ сорвался Незадача — какъ называлъ онъ самъ впослѣдствіи вечеръ этотъ — не ушла даже и отъ его проницательности. Не потерявъ нисколько самоувѣренности, онъ, однакожъ, очутился какъ-то не въ своей тарелкѣ, не пытался болѣе занимать общество, которое привыкло къ одной *пустяковинѣ*, прошелся нѣсколько разъ звучно по комнатѣ, крякалъ, ничѣмъ не стѣсняясь, думалъ было еще предложить, не угодно ли приказать ему спѣть романсъ, но разсудилъ, что лучше оставить припасъ этотъ въ запасѣ до другого раза, тѣмъ болѣе, что ему сегодня незадача. Расшаркавшись очень живописно и шумно на всѣ стороны, поднявъ этимъ по-неволѣ всѣхъ на ноги и сказавъ почти каждому что-нибудь пріятное, капитанъ Пѣтушковъ отправился домой къ теткѣ.

Ночью онъ видѣлъ весьма нехорошій сонъ, отъ котораго всталъ утромъ не въ духѣ, но былъ кротокъ и тихъ, какъ приличествуетъ въ чужомъ домѣ. Это вынужденное созерцательное положеніе навело его на умъ. Когда тетушка встала, кофе былъ поданъ, и онъ приложился къ рукѣ и разузналъ обстоятельно, каково

тетенька изволила почивать, то, не любя откладывать дѣла, онъ сказалъ напрямикъ:

— Незадача мнѣ, тетенька, у Гужовыхъ, да и не нашъ край; это, воля ваша, пустяковина: примѣромъ сказать, не тѣ люди. Я не боюсь, тетенька, то есть могу сказать, что не боюсь пройтись по какому угодно обществу; а тѣмъ паче, что касается... я самъ это всегда любилъ — сами знаете; видѣли мы и свѣтъ, и людей и въ полку считались отборными. А лучше тетенька, потолкуемте по купеческой части, то есть потрудитесь высватать у Веретенниковыхъ.

Тетенька согласилась на это съ удовольствіемъ и черезъ часъ отправилась самолично въ этотъ домъ, о которомъ ради выбора ему говорила, объяснивъ, что у Гужовыхъ надо ему напередъ заискивать самому, тамъ за глаза не отдадутъ, а у Веретенникова, по старому простому обычаю, дѣло легко покончить и достаточно познакомиться на смотринахъ. Лукавый подбилъ капитана Пѣтушкова сунуться напередъ туда, гдѣ предстояло брать грудью; это, конечно, и приличнѣе храброму офицеру, но послѣ незадачи, пустяковины и нехорошаго сна, онъ передумалъ.

Послѣ первыхъ привѣтствій, тетенька у Веретенниковыхъ сочинила масляные глазки и объявила, что пріѣхала за дѣльцемъ. Груню выслали вонъ; но, само собой разумѣется, что она стала за двери и прислушивалась, между тѣмъ какъ двѣ дѣвки во все время терлись то за тѣмъ, то за семъ, въ гостиной. У Веретенниковыхъ было жениха съ два на примѣтѣ, и одному изъ нихъ, который передъ ними всѣмъ взялъ и даже нравился невѣстѣ, сегодня вечеромъ назначено было смотрѣть ее, но не гласно, а тайкомъ; она видывала его хоть въ окно, а онъ не зналъ ея еще въ глаза. Но осторожные родители не сочли благоразумнымъ отгонять *добрыхъ* людей, доколѣ дѣло не было,

еще рѣшено и могло разстроиться. Они просили подумать, потому что дочь еще молода, но, узнавъ, что думать нельзя, по короткому сроку отпуска капитана, просили сперва познакомиться. Настояніе тетеньки, чтобъ знакомство это послѣдовало сегодня, нѣсколько ихъ было затруднило; но и тутъ родители разсудили, переглянувшись, что одно дѣло другому не мѣшаетъ, согласились и на это, и просили пожаловать къ вечернему чаю.

Капитанъ Пѣтушковъ пропѣлъ за это тетенькѣ новый романсъ, положенный, какъ онъ выразился, на маршевую музыку, и принялся душиться. Водки онъ не пилъ, и погребчикъ или поставецъ его былъ весь наполненъ стекломъ этого разбора. Лаванъ, колонь, амбре и разныя помады занимали порядочный ларецъ. Въ ожиданіи столь пріятнаго вечера, Пѣтушковъ потѣшалъ тетеньку весьма замѣчательными бесѣдами. Онъ, между прочимъ, объяснилъ ей въ подробности, какой мошенникъ былъ у нихъ каптенармусъ, а между тѣмъ онъ былъ любимецъ полковника; какое дивное средство у него есть отъ горла и отъ колики есть, и называлъ его за это «фактомъ»; еще сообщилъ ей, что приклады новыхъ ружей у нихъ чрезвычайно круты, почему ихъ неудобно держать подъ прикладъ и полагалъ, что англичанинъ подкупилъ мастера и далъ за это милліонъ. «Что ему значитъ милліонъ?» прибавилъ онъ, когда тётушка отъ изумленія всплеснула руками: «милліонъ ему ничего не значитъ»—и, въ доказательство, вздернулъ и опять опустилъ плечи, крякнулъ и запѣлъ трубнымъ голосомъ другой романсъ, еще лучше перваго, но положенный не на маршевую, а на простую музыку.

Въ такой пріятной бесѣдѣ время прошло скоро и стало близиться къ шести часамъ, къ смотровой порѣ. Собрались и пошли съ тетенькой подъ-ручку и, на-

всякій случай, съ тетрадкой отборныхъ, списанныхъ стишковъ въ карманѣ.

У Веретенниковыхъ встрѣтили жениха чинно и радушно и все упрашивали садиться и не безпокоиться, приговаривая: «помилуйте!» Сидѣли въ гостиной; дверь въ жилыя комнаты была притворена; шла пріятная бесѣда, въ которой здѣсь никто не описалъ капитана, да и онъ не спотыкался: рѣчи лились рѣкой. Вдругъ двери распахнулись настежь и вошла хозяйская дочь, очевидно, къ этому торжественному случаю нѣсколько подготовленная; она была въ бѣломъ платьѣ со множествомъ огромныхъ розовыхъ бантовъ, въ ладонь шириною, и въ алмазныхъ сергахъ. Нѣтушковъ вскочилъ, подошелъ къ ручкѣ, шумно представился ей, какъ тётенькинъ племянникъ, и, упросивъ ее садиться, тотчасъ же продолжалъ:

— Какой пріятный городъ это! Вы давно изволите въ немъ проживать?

— Мы не выѣзжали; я здѣсь родилась.

— Много чести для города и должно быть очень пріятно... А мы, такъ вотъ все шатаемся, конечно, очень понимая насчетъ высокой цѣли... Можетъ быть, вамъ, сударыня, неизвѣстно, что я едва не погибъ во цвѣтѣ лѣтъ?

Въ то время женщина, явившаяся въ дверяхъ внутреннихъ покоевъ съ какими то тревожными, таинственными знаками, вызвала хозяйку, которая тотчасъ же увела за собою дочь, между тѣмъ какъ капитанъ продолжалъ съ большимъ одушевленіемъ и молодецкими ухватками объяснять хозяину опасныя похожденія свои. Оставимъ ихъ и послѣдуемъ за невѣстой.

Со двора приставленные люди дали знать, что пришелъ женихъ, которому обѣщано было сегодня показать подъ рукою невѣсту. Негласные смотрины эти происходили такимъ образомъ: женихъ введенъ былъ

въ сѣни и поставленъ въ темномъ углу, подъ лѣстницей; невѣста вышла съ двумя провожатыми, у которыхъ были свѣчи; одна изъ женщинъ шла впереди, другая позади невѣсты,-смѣло освѣщая ее съ ногъ до головы, потому что въ невѣстѣ этой не было никакого видимаго изъяна или порока—ни хромоты, ни бѣльма, ни косаго бока. Она подошла къ большому шкапу, отперла его и стала тамъ перебирать что-то по хозяйству, минуты черезъ двѣ заперла его и шествіе тѣмъ же порядкомъ возвратилось въ покои.

Но, не смотря на непорочность невѣсты, прихотливый женихъ, не говоря ни слова, вышелъ изъ сѣней, какъ-только продѣлка эта кончилась, и скорыми шагами отправился было со двора. Здѣсь добрые люди перехватили его, требуя привѣта и отвѣта. Упрямый женихъ, какъ видно, нѣсколько разочарованный смотринами, либо ужь опытный въ дѣлахъ этого рода, махнулъ только рукой и хотѣлъ продолжать путь. Ему заступили дорогу, убѣждая объясниться и обдуматься, не обижать добрыхъ людей такимъ недобрымъ уходомъ, а въ то же время старый приказчикъ успѣлъ уже потолковать съ хозяиномъ и, выскочивъ изъ дома, молвилъ вполголоса (вообще и вся бесѣда эта велась скромно и тихо), что де хозяинъ походу кладенъ: онъ пять тысячъ прибавляетъ къ пачкѣ, изъ уваженія къ тому только, что сама невѣста предпочла его прочимъ соискателямъ. Молодой человѣкъ какъ будто призадумался въ нерѣшимости, но видимо склонялся на выгодное предложеніе; старый приказчикъ, послѣ нѣсколькихъ зазывныхъ поклоновъ, взялъ его почтительно подъ руку и ввелъ опять съ задняго крыльца въ домъ. Тутъ провели его тихонько въ небольшой покойчикъ, гдѣ его встрѣтилъ и усадилъ хозяинъ; дѣло кончено было въ немногихъ словахъ. Веретенниковъ подтвердилъ условія, назначилъ на все приличное время и сроки,

обнялся трижды съ будущимъ зятькомъ своимъ и, проводивъ его до крыльца, возвратился опять въ гостиную.

Здѣсь капитанъ Пѣтушковъ, не обращая никакого вниманія на весьма замѣтную суматоху, на чередной уходъ то матери невѣсты, то отца, ни на шопотъ ихъ и разные въ семейномъ кругу понятные знаки, продолжалъ раскидывать врозь, въ живописномъ, хотя и угловатомъ порядкѣ, всѣ члены свои и порывисто, звучнымъ голосомъ, опрастывался постепенно отъ приключенныхъ на сей вечеръ достопримѣчательностей. Построивъ на столѣ батарею, онъ съ такимъ жаромъ объяснялъ разницу между кюветомъ и барбетомъ, что не взвидѣлъ передъ собою свѣта и столкнулъ со стола свѣчу. Этотъ нечаянный случай заставилъ его нѣсколько опомниться и угомониться; онъ освѣдомился объ Аграфенѣ Тимоѳеевнѣ, дочери Веретенникова, которая съ тѣхъ поръ, какъ мать ее вызвала, болѣе не показывалась. «Должно быть, у нея маленько головушка побаливаетъ», отвѣчалъ старикъ: «чутъ ли она ужь и не прилегла ли.» Этотъ отвѣтъ послужилъ смѣтливой тётенькѣ не только прямымъ намекомъ на то, что пора имъ убираться изъ гостей домой, но и былъ принятъ ею, какъ рѣшительный отказъ племяннику, что и подтвердилось при объясненіяхъ ея съ хозяйкой на слѣдующее утро.

Капитанъ Пѣтушковъ тутъ ничего не понималъ, а былъ случаемъ этимъ озадаченъ еще болѣе, чѣмъ первымъ. Въ самомъ себѣ онъ былъ увѣренъ какъ нельзя болѣе, и вѣры этой не могла поколебать никакая неудача; потому онъ всю вину свалилъ на неспособную къ такимъ тонкимъ дѣламъ тётеньку и выѣхалъ изъ маленькаго городка точно въ такомъ же расположеніи духа, въ какомъ былъ на той станціи, гдѣ кормилъ тарантасъ свой пинками. Весь первый перегонъ про-

скакалъ онъ стоя, погоняя во все время ямщика; на станціяхъ оралъ и бѣсновался съ такимъ неистовствомъ, что къ вечеру сдѣлался вовсе безъ голоса и бѣсѣдовалъ уже не иначе, какъ подымая то правый, то лѣвый кулакъ выше головы, въ родѣ телеграфа.

# ДЫШЛО

Ремесла за плечами не носишь, а съ нимъ добро. Конечно, ремесло ремеслу рознь; но всякое знаніе и умѣнье кормитъ человѣка, а находчивость спасаетъ.

Вотъ, сударь мой, какіе для примѣра бываютъ случаи. Небольшого чина военный человѣкъ, свойственно и прилично званію своему былъ горяченекъ, срывчивъ, что говорится, скоръ на руку. Случилось ему какъ-то переправляться на перевозѣ, и довелось сѣсть въ лодкѣ самъ-третей съ чиновникомъ, также въ каскѣ и съ краснымъ воротомъ, да только не военнаго, а другого вѣдомства, и съ какимъ-то купцомъ. Какая у нихъ ссора на водѣ вышла—этого достовѣрно не знаю, должно быть за непочтительность; но ужь лодка стала подплывать къ противному берегу, какъ военный, не говоря худого слова, хвать своего сосѣда всей пятерней повыше краснаго воротника. На лодкѣ поднялся крикъ, суматоха; перевозчикъ чуть не выронилъ изъ рукъ весель; между тѣмъ проходитъ берегомъ, либо стоитъ и ждетъ переправки аудиторскій писарь. Увидѣвъ такое причинное дѣло и понимая всю важность его, онъ, какъ опытный въ такихъ дѣлахъ человѣкъ, тотчасъ спохватился—какъ же и не помочь своему брату, военному — и кричитъ во весь голосъ

на лодку: «Ваше благородіе, что вы это дѣлаете? вѣдь бѣда будетъ, бейте скорѣе въ рожу купца-то ради прикосновенности, чтобъ не годился въ свидѣтели!»

Вотъ, сударь, кабы этотъ добрый человѣкъ не подоспѣлъ со стороны во время и кстати, чтобъ научить молодого офицера уму-разуму, такъ бѣдному могло бы быть и худо: перевозчикъ да купецъ, два сторонніхъ, неприкосновенныхъ къ дѣлу и неотводныхъ свидѣтеля, еслибъ они сдѣлали подъ присягой согласное показаніе, составили бъ этимъ полную и законную улику, на основаніи которой судъ былъ бы вынужденъ обвинить военнаго; а какъ одинъ только свидѣтель, перевозчикъ, не винитъ еще передъ судомъ обвиняемаго, а другой отводится и не можетъ быть допущенъ къ присягѣ, будучи и самъ истцомъ, то судъ могъ развѣ только оставить обвиняемаго въ подозрѣніи. Не сообрази человѣкъ всего этого второпяхъ, да не поправься, поколѣ еще было время — ну, и пропалъ бы, что называется, ни за грошъ.

Правда и то, что коли о всякомъ дѣлѣ говорятъ, что оно мастера боится, то о дѣлахъ этого рода, гдѣ все виситъ на тонкостяхъ, и подавно надо разумѣть то же. Надо всѣ эти тонкости знать; надо быть большимъ законникомъ и держать наготовѣ всѣ приправы и уловки, чтобъ не попасться. А ловкій законникъ, смышленный подъячій и стряпунъ, тертый приказный — куда какъ ину пору вертитъ дѣлами, бѣда, да и только; вся власть въ его рукахъ. И черно — бѣло, и бѣло — черно, и красно—пестро; словомъ, ровно добрый плотникъ: что захотѣлъ, то и срубилъ; за всякое дѣло какъ за дышло берется: куда хочетъ туда и воротитъ.

Вотъ, сударь, была у насъ этакая хорошая шутка, какъ секретарь гражданской палаты, у котораго, кромѣ пера съ махалкой, не было никакихъ родовыхъ вотчинъ — продалъ съ тысячу десятинъ лѣсу да еще и строеваго.

Лѣсъ этотъ продалъ онъ больно дешево, потому что онъ былъ чужой, но зато продалъ его крѣпко, все одно то-есть, что обвѣнчалъ, и денежки сполна получилъ и во владѣніе ввелъ. Ловкій былъ человѣкъ на эти дѣла, дока!

Вишь, одинъ помѣщикъ покупалъ у другаго имѣніе, да долго не сходились въ цѣнѣ да въ условіяхъ. Покупщику хотѣлось купить вотчину ту съ лѣсомъ—а лѣсъ былъ знатный, особнякъ. Продавецъ дорожился и дорожился именно по своимъ расчетамъ за лѣсъ. «Ну», говоритъ, «такъ изволь купить имѣніе мое безъ лѣсу; покиньте его мнѣ». А опричь лѣсу, вишь, они въ цѣнѣ сходились. «Нѣтъ», говоритъ тотъ: «безъ лѣсу купить бѣ не хотѣлось. Что ужъ мнѣ козла въ огородъ пускать, держать сосѣда въ особнякѣ; лучше уступите да отдайте и съ лѣскомъ, такъ будемъ сватами.» Ну, вотъ они и съѣхались по уговору вечеркомъ для этого дѣла, чтобъ, то-есть, поступившись другъ другу тѣмъ-сѣмъ, сладить, порѣшить да написать условія для купчей. Съѣхавшись, да и пригласили къ этому дѣлу, какъ человѣка свѣдущаго, секретаря гражданской палаты. У него же въ рукахъ будетъ и дѣло это вершиться, такъ оно ужь одно къ одному и кстати.

Сошлись, толковали долгонько, а все какъ-то ихъ толкъ-отъ не беретъ. Одинъ опять гнетъ въ свою сторону: «Давай, говоритъ, куплю съ лѣсомъ», другой воротитъ въ свою: «Коли 25 тысячъ не дашь за лѣсъ, такъ покинь его, торгуй вотчину по себѣ, а лѣсъ пусть будетъ за мною». Дѣло то все какъ-то и не клеится.

Тѣмъ временемъ продавецъ на часокъ вышелъ, а секретарь, оглянувшись, и говоритъ вполголоса покупщику:

— Вамъ больно хочется купить вотчину ту съ лѣсомъ?

— Да,—говоритъ:—очень бы желательно, да доро-

жится; этой цѣны дать нельзя, а безъ лѣсу что-то неохота пускаться.

— Такъ покупайте скорѣе имѣніе безъ лѣсу, да молчите и не хлопочите ни о чемъ: лѣсъ будетъ вашъ.

— Какъ же такъ?

— Лѣсъ вы у меня купите, я вамъ его продамъ. Что дадите?

— Да какъ же его продадите? Я что-то не пойму.

— И не ваша забота понимать, это мое дѣло, продамъ да и только, и будетъ вашъ. Что дадите?

— Да не знаю, право, какъ это....

— Чего вамъ знать? Толковать долго нѣкогда; вотъ воротится продавецъ, такъ и кончены торги наши. Хотите купить, такъ и покупайте—будетъ крѣпко.

— Что просите?

— Нынѣшній хозяинъ не отдаетъ ниже 25 тысячъ, и скидываю 15 тысячъ, дорожится не хочу; но ужь меньше ни копѣйки.

— Да какъ же вы продадите чужой лѣсъ?

— Опять таки! Говорю вамъ, что это не ваша забота; коли продамъ, такъ будетъ не чужой, а вашъ; впередъ не возьму ничего, для вѣрности можно раздѣлить задаточекъ такъ, чтобъ моя половина безъ вашей не годилась въ дѣло.

Сладили и ударили по рукамъ.

Продавецъ воротился. «Ну», говоритъ покупщикъ, «видно съ вами не сладишь—безъ лѣсу, такъ безъ лѣсу, давайте писать условіе. Не вѣкъ жить изъ-за этого дѣла въ городѣ: пора и ко дворамъ.» Секретарь живо настрочилъ, къ обоюдному удовольствію, всѣ условія, толкъ короткій, примѣрную купчую, а объ лѣсѣ ни тутъ, ни тамъ нѣтъ и помину. «Дѣло объ лѣсѣ», сказалъ секретарь на ушко покупателю, «особь статья; ее мы обдѣлаемъ утре. Утро вечера мудренѣе».

На другой день живо и безъ всякой задержки перепи-

сали набѣло купчую, засвидѣтельствовали, какъ слѣдуетъ, еще разъ толкомъ прочитали, записали въ крѣпостную книгу.... Покупщикъ все поглядываетъ на секретаря, видя, что дѣло подходитъ къ концу, а объ лѣсѣ нѣтъ и рѣчи; а секретарь только мигаетъ и киваетъ ему на всѣ лады, чтобъ только угомонить его и увѣрить, что дѣло будетъ сдѣлано. Дрогнула было рука у покупщика напослѣдокъ, какъ пришлось расписываться въ книгѣ, за подписью продавца, въ полученіи подлинной купчей; но секретарь опять-таки его сумѣлъ кой-какъ успокоить и дѣло кончилось благополучно; раскланялись и разошлись.

Этого покупщикъ ожидалъ съ нетерпѣніемъ и тотчасъ же, проводивъ продавца, воротился въ палату, чтобъ потребовать отчета у секретаря.

— Будьте, пожалуйста, спокойны,—сказалъ тотъ:— дѣло ваше идетъ своимъ порядкомъ, какъ нельзя. Приходите ко мнѣ на домъ тотчасъ послѣ присутствія, да готовьте деньги.

Покупщикъ, выждавъ съ большимъ нетерпѣніемъ урочное время, приходитъ, и съ какимъ-то тягостнымъ недоумѣніемъ глядитъ секретарю-продавцу въ глаза, не понимая, чѣмъ теперь дѣло это кончится.

— Ну,—началъ тотъ:—такъ вамъ желательно пріобрѣсти лѣсъ, а владѣлецъ упрямится, не продаетъ: и продадимъ и купимъ безъ него, не обезпокоимъ. Пожалуйте купчую, гдѣ она у васъ? Въ купчей этой лѣсу нѣтъ?

— Вы сами знаете, что нѣтъ.

— Ну, стало быть, она намъ и не годится!

И за словомъ изорвалъ ее въ клочки. Покупщикъ испугался было этого невиданнаго способа покупки лѣса и кинулся на свою купчую; но тотъ, отвернувшись рѣшительно въ сторону, покончилъ свое дѣло.

— Теперь, — продолжалъ онъ: — у васъ и купчей

нѣтъ: она затеряна: вы подадите завтра же просьбу объ этомъ въ палату—вотъ она и просьба готова; вы требуете копію съ крѣпостной книги: это будетъ такая жъ купчая, она ей во всемъ равносильна; а тамъ-то, изволите видѣть, въ крѣпостной книгѣ, лѣсъ-то есть, и включенъ онъ въ одну цѣну.

— Какъ такъ?—спросилъ озадаченный покупщикъ, все еще не ясно понимая въ чемъ дѣло.

— Я вамъ говорю, что, за утратою подлинной купчей, выдадимъ вамъ другую, списавъ ее съ крѣпостной книги, а тамъ лѣсъ вписанъ; вѣдь въ книгѣ-то оба вы съ продавцомъ росписались, не прочитавъ записки; на это-то я и билъ. Готовьте другую половину бумажекъ, да подписывайте-ка вотъ просьбу.

Замѣчаніе о другой половинѣ бумажекъ относится къ тому, что, заключивъ между собою *законное* условіе о продажѣ и покупкѣ чужого лѣса, пріятели другъ другу не довѣряли, а потому покупщикъ и разорвалъ условную сумму пополамъ, раздѣливъ ее такимъ образомъ, что одному достались однѣ верхнія, другому нижнія половинки. Такъ у насъ колютъ пополамъ и бирки съ зарубками, для вѣрнаго взаимнаго счета.

Покупщикъ подалъ просьбу въ палату о томъ, что потерялъ свою купчую, и просилъ о выдачѣ довѣреннаго списка, изъ книги. Дѣло это обычное, бывалое; никто въ палатѣ не обратилъ на это большого вниманія, и списокъ былъ выданъ, вѣрный отъ буквы до буквы съ подлинникомъ, потому что статья въ крѣпостной книгѣ составляетъ настоящій документъ. Въ спискѣ этомъ, какъ обѣщалъ секретарь, оказался и лѣсъ, о коемъ идетъ рѣчь, съ подробнымъ обозначеніемъ межъ и граней. Покупщикъ, по совѣту секретаря, помѣшкалъ нѣсколько, протянулъ время, подалъ просьбу о вводѣ во владѣніе, выждалъ сроки, и сталъ безспорнымъ владѣльцемъ купленной вотчины и лѣса. Бывшій вла-

дѣлецъ, узнавъ объ этомъ, когда уже пошла рубка въ лѣсу и полѣсовщики его были высланы, закричалъ было, какъ говорится, въ свинъ голосъ, зашумѣлъ; но когда ему растолковали дѣло и показали въ крѣпостной книгѣ четкую подпись его, то онъ содрогнулся отъ ужаса при мысли о такой неслыханно-наглой продѣлкѣ, смирился поневолѣ и сталъ усердно совѣтовать всѣмъ знакомымъ и незнакомымъ, другу и нѣдругу, читать со вниманіемъ все, что они подписываютъ, даже готовые документы, записываемые при куплѣ и продажѣ въ крѣпостную книгу, чего нынѣ почти никто не дѣлаетъ, довольствуясь обычно тѣмъ, что читаютъ и перечитываютъ самый актъ. Никому не приходитъ въ голову, что можно совершить подложный актъ, а въ книгу, другимъ подлогомъ, записать другое, и что, при утратѣ купчей, крѣпостная книга рѣшаетъ дѣло.

Вообще, довольно опасно не читать того, что подписываешь. Я зналъ секретаря, который, приходя съ докладомъ, всегда приносилъ съ собою небольшой запасъ безсмысленныхъ бумагъ, подписанныхъ въ задумчивости или въ часъ недосуга начальникомъ; бумаги эти служили острасткой и пугаломъ, если начальникъ упрямился и не хотѣлъ чего-либо подписать или уступить въ чемъ секретарю. Каждая изъ такихъ бумагъ выкупалась новой жертвой, новою уступкой, и затѣмъ уничтожалась; но какъ начальнику не было извѣстно, какъ великъ былъ этотъ грозный запасъ подписанныхъ имъ беззаконій, то онъ и не выходилъ изъ кабалы у своего письмоводца.

# ПАМЯТКА

Ѣхалъ баринъ семьей въ большомъ рыдванѣ на своихъ лошадяхъ шестерикомъ. Было это въ глуши, въ Костромской, дремучими лѣсами, по такимъ мѣстамъ, гдѣ въ тѣ времена ѣзжали только днемъ. Тутъ живали такіе молодцы, что стеречь подъ мостомъ проѣзжихъ было для нихъ обиходнымъ дѣломъ, хлѣбомъ насущнымъ.

Лошади позамаялись, случилась еще и небольшая ломка—разсчитывали въ двѣ упряжки проѣхать боръ, а пришлось ночевать на перепутьѣ. Посовѣтовавшись съ людьми своими, помѣщикъ рѣшился пристать въ ославленной издавна деревнѣ, которая лежала въ глуши, на пролѣскѣ по 25-ти верстъ на обѣ стороны отъ жилого мѣста. «Ничего, сказалъ старый бывалый кучеръ, Богъ милостивъ, не бойтесь; теперь не прежнія времена, хоть и шалятъ ино да ужь не такъ; пристанемъ къ Кузьмѣ; онъ это дѣло давно покинулъ.»—Заѣхали.

Изба большая, просторная, но одна съ хозяевами, чистой нѣтъ. Семья крестьянская, съ большими и малыми, душъ подъ 15; невѣстка, молодая проворная бабенка, мотается туда и сюда, подаетъ пріѣзжимъ то молока, то масла, накормила и людей и свою семью, да и понесла подавать ужинать кому-то

на полати. «Что ты это, матушка, спросилъ помѣщикъ, кого кормишь тамъ?»—«А дѣдушка у насъ тамъ лежитъ, отвѣчала она,—безъ ногъ, такъ ему и подаю.» Слово за словомъ, дѣдъ обозвался, подползъ къ краю палатей, выказалъ богатырскую, бѣлокурую голову свою и поздоровался.

— Что ты, дѣдушка, аль неможется?

— И не знаю, баринъ, какъ и сказать; здоровъ я лежать, здоровъ ѣсть, и здоровъ бы совсѣмъ, да ногъ нѣту; такъ вотъ и лежу.

— Что жь такое сталось съ тобой? Давно?

— Да ужь побольше двадцати годовъ будетъ; а что сталось—Богу извѣстно: Онъ казнитъ насъ за грѣхи наши, и меня не обнесъ. Какъ заслужилъ, такъ и терпи; дѣлать нечего, Господь даромъ не накажетъ.

— Что жь ты такъ, можетъ статься и клеплешь на себя, дѣдушка? Смиреніе годится, конечно,—молись да надѣйся, да спроси знающихъ людей, авось помогутъ.

— Нѣтъ, батюшка баринъ, на меня давнымъ давно лопата выросла—да вишь, и земля не принаетъ. Ты, видно, баринъ добрый, есть вотъ у тебя и хозяюшка, и дѣтки—тебѣ можно сказать все; да что, тапть-то нечего: Богъ разсудитъ меня, а не люди. Всѣмъ вѣдомо у насъ, что надо мною сталось, а коли слушать станешь, такъ разскажу.

— Сдѣлай милость, дѣдушка, пожалуйста.

— Даромъ что я теперь на полатяхъ сижу, а я слышу и вижу все: я знаю, что вы вотъ со страхомъ Божьимъ пристали ночевать къ намъ—слухомъ земля полнится; деревня хороша да слава худа. Прошло то время, батюшка-баринъ; спите, что у Христа за пазухой, и съ Богомъ заутре поѣдете. Вотъ что.

«А лѣтъ тому двадцать пять было не то. У насъ на кругу была очередь по дворамъ, въ какой день кто

прибудетъ, то ужь никто, кромѣ очередного, на дворъ пускать не смѣетъ; а тотъ примай да и раздѣлывайся, какъ знаешь. Кому какое счастье выдастся. Бывало какой-нибудь запоздалый голышъ на дворъ—поглядишь да и отворотишься; а прикатитъ съ полной кисой, такъ за нимъ и ухаживаешь да, выпроводивъ за село, тамъ и обработаешь.

«Вотъ, батюшка баринъ, говорю все передъ тобою, какъ передъ Богомъ—вотъ и была изба моя на очереди Пріѣзжаетъ на саночкахъ какой-то изъ военныхъ, одинъ одинешенекъ; баринъ молодой, веселый. Указываютъ ему мой дворъ—я вишь былъ на очереди; я вышелъ, растворилъ ворота, глянулъ на него, и думаю: хоть бы ты провалился; хлопотъ-то будетъ съ тобой, а поживиться ужь нечѣмъ

«Вошелъ онъ въ избу, попросилъ отпрячь лошадь, да убрать ее, все разговариваетъ, требуетъ себѣ того, другого, привередничаетъ, — я отвернулся, пошелъ, думаю: кабы зналъ ты, у кого гостишь, такъ бы потише сталъ. Онъ видитъ, что у меня не скоро какъ-то поворотились, да и говоритъ: «что жь вы, ужь не думаете ли, что я не заплачу вамъ? Не бойсь, хозяинъ, отблагодарю, только накорми да напой чайкомъ хорошенько; я промерзъ; ты чай думаешь нечѣмъ и расплатиться мнѣ? Вотъ, гляди, слава Богу, есть чѣмъ—было бы за что». — Да и сталъ пересыпать цѣлую горсть золота! «Вотъ, говоритъ, привезъ изъ походу, да ѣду теперь домой; товарищъ-то у меня захворалъ дорогой, такъ я и остался одинъ съ лошадкой....» У меня на него глаза такъ и разгорѣлись: вотъ-де не думано не гадано—а что добра! Тотчасъ послужилъ ему, чѣмъ Богъ послалъ, и не отходилъ во весь вечеръ отъ него—такъ вотъ и подмываетъ: жду, не дождусь, чтобъ заснулъ.... Уснулъ онъ. Что, говорю, тутъ что ли его порѣшить? — «Нѣтъ, батюшка, говоритъ старшій

сынъ—царство ему небесное—того гляди хлопотъ наживешь, либо кровь, либо что, слѣды останутся; такъ лучше за яромъ.» Ну, ладно.

«Далъ я ему соснуть часа два, и бужу: пора-де вамъ ѣхать. Онъ поглядѣлъ въ окно—«рано, хозяинъ: еще темно, ни зги не видать, поспѣю.»

«Я обождалъ еще съ часокъ мѣста, да выслалъ сына, велѣлъ заложить двое дровней, проѣзжать подъ окномъ да покрикивать; бужу опять, говорю: пора, баринъ, нынѣ зима, свѣту не дождешься, а вонъ ужь мужики наши въ лѣсъ по дрова поѣхали. Онъ поглядѣлъ опять въ окно, послушалъ — «и то такъ; ну давай съ Богомъ собираться, закладывай, хозяинъ, мою лошаденку.»

«Разсчитались мы—хоть ужь и не до счету мнѣ было, и не хотѣлъ я брать, да принудилъ: возьми, говоритъ, все, что слѣдуетъ, возьми. Сѣлъ онъ, поблагодарилъ и поѣхалъ. Я съ сыномъ кинулись на дровни, пустились проулкомъ да окольной дорожкой лѣсомъ, выѣхали ему въ встрѣчу и дожидаемся. Ѣдетъ. Мы, какъ слѣдуетъ, подскочили и лошадь его подъ узцы, а сынъ.... сынъ-то у меня, баринъ, былъ молодецъ, вотъ что головой подъ матицу доставалъ, и вотъ какой въ плечахъ—вотъ!... Сынъ его за воротъ.— «Это что? Кто это? Хозяинъ, да это ты?... — «Да ужь такъ, баринъ, въ полѣ съѣзжаются, родомъ не считаются; подавай деньги всѣ сполна, а тамъ молись Богу, ужь коли узналъ, такъ тебѣ живу не быть.

«— Охъ, старикъ, старикъ, — закричалъ онъ: — и этому ты сына учишь? Самъ какъ-то увернулся, соскочилъ съ саней, да хватитъ чѣмъ-то сына—онъ, сердечный, какъ стоялъ, такъ и сгорѣлъ съ ногъ, какъ снопъ. У меня сердце подкатилось, руки такъ и обмерли; а онъ подходитъ ко мнѣ, ровно вотъ какъ къ доброму

кому идетъ, а я стою, самъ не свой, и рукъ и ногъ не разведу; взялъ онъ меня за вихоръ, потянулъ на себя, ровно парнишку какого, да и говоритъ: «а тебя, стараго чорта, надо проучить порядкомъ, чтобъ ты на такое дѣло дѣтей не водилъ.» Да раза три какъ вытянетъ меня по спинѣ—и Господь его знаетъ, какъ и чѣмъ, только я весь обомлѣлъ: на своихъ ногахъ стою, а спина ровно перешиблена и головы не слышу.... Покинулъ онъ меня, я и упалъ; онъ пошелъ, привелъ дровни мои, а самъ все читаетъ да приговариваетъ, да меня коритъ; взялъ онъ меня впоперекъ, взвалилъ навзничь на дровни, а руки и ноги переплелъ подвязками; пошелъ да взялъ сына моего, взвалилъ его на меня, вотъ, говоритъ, тебѣ наука; ступай домой! Самъ нахлесталъ лошадь, да и пустилъ назадъ по дорогѣ.

«Пошла лошадь домой, стала у воротъ; на деревнѣ еще рано и у меня дома спятъ, а у самого нѣтъ силъ, ни выбраться да встать, ни закричать. Лежитъ, сердечный, на мнѣ сынъ, и слышу я, что ужъ онъ не живой. Подъ конецъ очнулся я маленько, застоналъ; тутъ стало свѣтать; гляжу сыну въ глаза—а онъ взвалилъ его на меня лицомъ къ лицу—гляжу на него, такъ и и есть: Богу душу отдалъ!

«Вышли у меня со двора, ахнули, глядя на насъ, сняли и меня; сына похоронили, меня подсадили на полати—да вотъ, батюшка баринъ, съ тѣхъ поръ я уже съ нихъ и не слѣзалъ!...

«Вотъ оно каково, баринъ; Богъ и долго терпитъ, да больно бьетъ; вотъ мнѣ проѣзжій памятку и задалъ. Господь съ тобой, баринъ, съ хозяйкой и съ дѣтьми твоими; опочинь, какъ у Христа за пазухой, да съ Богомъ утре и поѣдешь.»

Во все время этого разсказа всѣ односемьяне и домочадцы старика занимались каждый своимъ дѣломъ, не обращая большого вниманія на слова его, видно,

они уже имъ прислушались..:. Но у проѣзжихъ, во время разсказа, не разъ волоса подымались дыбомъ и морозъ подиралъ по кожѣ. Впрочемъ, они переночевали спокойно и благополучно выѣхали.

# МЕДВѢДИ

— Знаете ли вы «Сергачскаго боярина»? А знаете ли «Сморгодскаго студента»?—Одного-то знаю, а другого не вѣдаю.—Все одно. Въ Сергачскомъ уѣздѣ, Нижегородской губерніи, обучаютъ медвѣдей и ходятъ съ ними дармоѣдничать по всей восточной Руси; и въ Сморгонахъ, въ Бѣлоруссіи, поставляютъ ихъ же на всю западную Русь. Тамъ называютъ ихъ «сергачскими боярами», здѣсь же «сморгонскими студентами». И тутъ и тамъ вожаки берутъ ученаго звѣря напрокатъ у хозяевъ, а также изъ оброку у своихъ господъ, и шатаются съ ними по бѣлому свѣту. Въ южной Россіи вожаки нерѣдко бываютъ изъ цыганъ, а медвѣдей достаютъ либо изъ Бѣлоруссіи же, либо черезъ Молдавію, изъ-за Карпатскихъ горъ.

Многіе изъ васъ, я думаю, когда-нибудь слышали быль, какъ вожаки съ медвѣдями спасли небогатаго помѣщика, или, вѣрнѣе, хуторянина, отъ разбойниковъ и убійцъ, но немногіе быть можетъ знаютъ подробности этого происшествія, которое случилось въ 1806 году, въ Екатеринославской губерніи, Бахмутскаго уѣзда, неподалеку Лугани.

Хуторянинъ этотъ, человѣкъ уже не молодой, жилъ себѣ особнякомъ и обработывалъ пашню наемными ра-

ботниками; въ домѣ же у него было немного людей,— всего мужикъ да двѣ бабы. Рѣчь шла объ немъ, что онъ скупъ, и что у него есть деньги, которыя однако жъ запрятаны гдѣ-то, такъ что никто ихъ не найдетъ: кто говорилъ, что онѣ состоятъ изъ серебра и золота, зарыты у него въ кувшинѣ подъ печкой — а хата его была, какъ обыкновенно въ тѣхъ мѣстахъ, мазанная, съ битымъ, глинянымъ поломъ; иные толковали, что деньги его, все ассигнаціи, защиты у него въ подкладку халата. Хуторъ его лежалъ версты полторы въ сторонѣ отъ проселочной дороги и притомъ въ небольшомъ оврагѣ, при двухъ колодцахъ съ журавлями, изъ которыхъ одинъ окруженъ былъ хорошо поддержаннымъ плодовымъ садомъ. Съ дороги только виднѣлись очепы колодцевъ. Хозяинъ, между прочимъ, держалъ много дворовой птицы.

Вожаки съ медвѣдями, какъ извѣстно, ходятъ обыкновенно артелями, по нѣсколько человѣкъ; расходятся, по уговору, тутъ и тамъ по разнымъ дорогамъ и потомъ сходятся. Подъ Луганью собрались, однажды, такимъ образомъ, пять человѣкъ съ медвѣдями; день вечерѣлъ, было пасмурно, а тамъ пошелъ и дождь. Вожаки отправились въ ближайшую деревеньку, но несговорчивая помѣщица выгнала ихъ оттуда, ни за что не соглашаясь принять на ночлегъ пятерыхъ медвѣдей, хотя цыгане очень красиво разсыпались передъ нею и обѣщали было ей показать самыя лучшія штуки. Медвѣди кланялись въ поясъ, взапуски съ своими вожатыми; но несмотря на эти звѣриныя вѣжливости, старуха все-таки ихъ не впустила.

Пустившись по дорогѣ дальше, цыгане увидѣли въ сторонѣ, сквозь мелкій дождь, очепы двухъ колодцевъ. Обрадованные этимъ, они тотчасъ же своротили туда и, подойдя черезъ четверть часа къ окраинѣ оврага, увидѣли передъ собой небольшой садъ и бѣ-

лую мазанку, съ немногими надворными строеніями. Они спустились, подошли къ окнамъ хаты, у которыхъ стоялъ хозяинъ, и низко кланялись взапуски съ медвѣдями, просились къ нему ночевать. Старикъ отвелъ имъ одинъ изъ надворныхъ сарайчиковъ, съ тѣмъ только уговоромъ, чтобы они не разводили тамъ огня и не курили трубокъ. Цыгане еще разъ поклонились въ поясъ и расположились ночевать.

Около полуночи одинъ изъ цыганъ проснулся отъ какого-то шуму и услышалъ, что курицы подняли страшный крикъ. Какъ человѣкъ опытный въ этомъ дѣлѣ, онъ заключилъ, что кто-нибудь забрался въ куратникъ и переполошилъ птицу; оглянувшись на собратовъ своихъ и на медвѣдей, онъ убѣдился, что тутъ всѣ на лицо; но въ то же время ему бросился въ глаза какой-то глухой крикъ и необыкновенный свѣтъ: окна хозяйскаго дома были освѣщены. Цыганъ всталъ, изъ любопытства подошелъ потихоньку къ окнамъ—и со страхомъ глядѣлъ на то, что дѣлалось въ домѣ: четыре разбойника держали раздѣтаго и связаннаго старика-хозяина и тащили его на брошенный посреди пола горящій пукъ соломы; раскачивая его на рукахъ и поджаривая, они допытывались, гдѣ у него лежатъ остальныя деньги, не вѣря ему въ томъ, что онъ уже отдалъ имъ всѣ.

Цыганъ кинулся, сломя голову, къ товарищамъ, разбудилъ ихъ и позвалъ, съ медвѣдями, за собою. Трое изъ нихъ стали вокругъ дома подъ окнами, четвертый у задняго крыльца, а пятый, съ самымъ надежнымъ воспитанникомъ Сморгонъ, подошелъ къ переднему крыльцу. Разбойники приперли дверь. Цыганъ стукнулъ своею дубинкою въ двери — воры опѣшили, но не отпирали. Тутъ по слову: «А ну, Потапычъ, подсунь-ка вотъ сюда лапу!» — медвѣдь подсунулъ лапу свою въ щель подъ двери, высадилъ ее

безъ большой натуги и съ ужаснымъ ревомъ вошелъ въ комнату, приготовляясь къ пляскѣ, а цыганъ вторилъ ему своимъ дикимъ крикомъ; прочіе ревѣли, кричали и стучали подъ окнами. Разбойники отскочили въ страхѣ—такихъ понятыхъ не ожидали; двое кинулись было къ окнамъ, но и здѣсь встрѣтила ихъ мачихина-лапа и чуть не причесала по модѣ. Вошли и остальные цыгане съ медвѣдями, который въ двери, а который въ окно; самый отчаянный разбойникъ, опомнясь немного, хотѣлъ пробиться на проломъ, но «красная барышня», какъ одинъ изъ цыганъ называлъ свою медвѣдицу, не надорвавшись, осилила и поборола этого молодца. Словомъ, всѣхъ четырехъ перевязали и представили въ Бахмутъ, а старика спасли, хотя онъ не скоро вылежался послѣ значительныхъ обжоговъ.

Работникъ и одна баба, бывшіе на хуторѣ, были найдены также связанными, а другая женщина успѣла скрыться впотьмахъ, и она-то, забравшись со страху въ сосѣдній съ сараемъ курятникъ, надѣлала первую тревогу.

Тутъ собесѣдники стали припоминать множество разсказовъ о медвѣдѣ: какъ медвѣдь, укралъ куль муки, снесъ ее на рѣчку и думалъ тамъ заварить саламату да расхлебать ее лапой, и какъ сердился онъ, что вода болтушку уноситъ; какъ у соннаго сергачевца медвѣдь въ лѣсъ ушелъ, отыскалъ тамъ двоихъ товарищей и поставилъ было вожака съ козой втупикъ, пока этотъ, наконецъ, со страху не догадался ударить въ барабанъ, заиграть въ дудку да пустить впередъ мальчишку, по обычаю, одѣтаго козой, выступить на поляну: какъ только медвѣдь заслышалъ эту пѣсню да увидѣлъ всѣ снаряды и приборы,—то, заревѣвъ, поднялся на дыбы и пошелъ поворачиваться, какъ его въ старые годы учивали... Дикіе медвѣди ушли, а этотъ дался въ руки. Наконецъ разсказывали также—не то

былъ, не то сказку, — о томъ, какъ медвѣдь съ крестомъ въ деревню пріѣхалъ. Мужикъ поѣхалъ зимою въ лѣсъ, по дрова: медвѣдь, котораго, видно, кто-то поднялъ съ берлоги и который поэтому бродилъ, сердитый и голодный по лѣсу, подошелъ сзади къ дровнямъ,—между тѣмъ какъ мужикъ рубилъ въ сторонѣ хворостъ, — и кинулся прыжкомъ на лошадь; та дернула впередъ, понесла, и тамъ Мишка не попалъ на лошадь, а попалъ на дровни. Испуганная лошадь мчала его, сломя голову, а онъ, оглядываясь по сторонамъ, струсилъ, не рѣшаясь соскочить, и потому ревѣлъ и безуспѣшно хватался лапами за кусты. Лошадь промчала его черезъ старое кладбище, и мишукъ со страху хотѣлъ было ухватиться за наклонившійся крестъ, но крестъ остался у него въ лапахъ, и Мишка, въ недоумѣніи, оборачивая его во всѣ стороны, пріѣхалъ съ нимъ прямо къ крестьянину на дворъ. Къ этому прибавляютъ, будто нашъ Мишка этимъ нечаяннымъ происшествіемъ такъ былъ озадаченъ, что мужики успѣли его окружить и навсегда отучить отъ продѣлокъ.

# ОХОТА НА ВОЛКОВЪ

Въ молодости, въ полномъ здоровьѣ и силѣ, иногда весело бываетъ порыскать на просторѣ, по горамъ и угорьямъ, по нивамъ и по равнинамъ, по густымъ борамъ, прислушиваясь къ токованью глухаря, и скрадывая его, когда онъ самъ себя заслушается и ничего не слышитъ и не видитъ,—то мочажинами по чистой полянѣ, гдѣ чуткая собака дѣлаетъ мертвую стойку на молчанку или бѣлокуприка, котораго у насъ принято называть нерусскимъ именемъ дупеля, — то чистокустьемъ, молодымъ березнякомъ, гдѣ слука или боровой куликъ, самый лакомый кусочекъ сластоѣжекъ, извивается передъ тобою столбикомъ, со своимъ особеннымъ, густымъ свистомъ и бульканьемъ, — то, закинувъ гончихъ въ островъ, стоять, притаясь на лазу, слѣдить ухомъ за отчаяннымъ, заливнымъ лаемъ ихъ, болѣе похожимъ на голосистый, пѣвучій вой; го-го-го! вторитъ имъ усердный псарь—голосъ его обращается сюда, въ эту сторону — лай и завыванье слышатся сквозь трущобу ближе и ближе — ясно узнаешь каждую гончую по голосу: вотъ *дошлая*, заливается плачемъ, будто боится упустить добычу, вотъ *турка* вторитъ густымъ ободрительнымъ ревомъ, вотъ *ширяй* отрывисто подхватываетъ, а *мухартая* разливается колокольчикомъ: ай, ай, ай, ай!

Грудь на просторѣ широко дышитъ, суетныя заботы покинуты на время тамъ, далеко, въ душномъ городѣ; въ этомъ муравейникѣ мелочныхъ страстишекъ, дрязговъ и суетъ человѣкъ на время отрѣшился отъ всего, что гнететъ и томитъ, онъ одинъ съ природою, глазъ-на глазъ, и будто ему ни до чего въ мірѣ нужды нѣтъ... Но и это не надолго: онъ разсыпаетъ избытокъ тѣлесныхъ силъ своихъ по полямъ и горамъ, онъ освѣжаетъ духъ свой, придавленный одною умственною дѣятельностью, онъ будто въ знойный, удушливый день выкупался въ безграничномъ морѣ, кинувшись беззаботно, торчмя головой, въ бездну его; и освѣжась и укрѣпясь живительною силой природы, бодро возвращается опять къ своему долгу. Работѣ время, досугу часъ.

Была сказана охота на трое сутокъ: первый день на зайцевъ, другой на тетеревей, третій на волковъ. Эти охоты, кои называются отъѣзжимъ полемъ, гдѣ кочуютъ станомъ и сходятся въ урочный часъ на урочныхъ мѣстахъ, теперь становятся рѣдки, а въ былое время всю осень, съ Семена-дня (сентяб.) и до пороши, охотники проводили гурьбами въ отъѣзжемъ полѣ.

Подъ угорьемъ Урала, въ самой Башкиріи, жилъ баринъ во всемъ краѣ томъ извѣстный владѣлецъ. Дѣдъ его купилъ у башкиръ сотню тысячъ десятинъ чернозему, лѣсу, горъ, рѣкъ и озеръ, со всѣми угодьями, среди испочатой дикой природы, переселился туда съ цѣлымъ полкомъ крестьянъ, породнился черезъ женитьбу съ татарами, взялъ въ приданое большое татарское село, и все поколѣнье этого рода славилось въ краѣ богатствомъ, хлѣбосольствомъ и гостепріимствомъ. Этимъ-то барномъ сказана была охота, какъ всегда водилось, на полномъ угощеніи радушнаго хозяина. Это дѣлалось очень просто: онъ давалъ знать

немногимъ окружнымъ помѣщикамъ и въ Оренбургъ, что въ Ташлахъ охота, сборъ съ вечера, такого-то числа; и кто могъ отлучиться отъ дѣлъ или службы, являлся на мѣсто, проскакавъ слишкомъ 200 верстъ на башкирскихъ лошадкахъ съ лычною упряжью. Случалось, что и первый приступъ этотъ стоилъ иному коли не головы, то руки или ноги: верховыхъ, одичалыхъ коней, не бывавшихъ въ упряжкѣ, хватали съ паствы, цѣлая деревня сбѣгалась для закладки ихъ, башкиръ, отроду не правившій возжами, не только тройкою, вскакивалъ на облучекъ, между тѣмъ какъ толпа окружала и держала лошадей, стараясь угомонить ихъ то лаской, то угрозой, путникъ садился въ кузовъ, и за словомъ: пошелъ! вся толпа разомъ, съ крикомъ и гикомъ отскакивала въ сторону; изумленная тройка съ мѣста подхватывала во весь духъ и мчалась, ни разбирая ни пня, ни колоды, до мѣста; тутъ опять выбѣгала на встрѣчу такая же безалаберная, шумная толпа запрягальщиковъ, которая съ трудомъ останавливала разлетѣвшуюся тройку, между тѣмъ какъ другіе кидались опрометью въ поле, хватать укрюкомъ первыхъ попавшихся имъ лошадей.

Съѣздъ былъ изрядный; веселый хозяинъ ходилъ по всѣмъ комнатамъ, гдѣ расположились гости, шутилъ, смѣялся, иногда и подсмѣивался, а вокругъ всѣ были заняты пересмотромъ ружей, насыпкой пороховницъ и дробницъ; а болѣе также веселой болтовней; тутъ былъ и памятный доселѣ въ томъ краю, всѣми любимый записной охотникъ, не унывавшій никогда, нигдѣ и ни при какой невзгодѣ, и умѣвшій смѣшить всѣхъ самыми пустыми и пошлыми остротами: онъ стрѣлялъ слуку по сарафану, утку по салону; онъ зайцу задавалъ прыску вдогонку, а убивъ его, никогда не забывалъ отдать ему послѣднюю честь, приложивъ руку къ козырьку,—словомъ, какъ я сказалъ,

пошлыя ничтожности выходили у него до того забавны, что даже Пушкинъ, познакомясь съ нимъ въ Оренбургѣ и попарившись у него въ банѣ съ росписаннымъ охотою передбанникомъ, прислалъ ему послѣ своего Пугачева, но забывъ прозванье его, написалъ: «Тому офицеру, который сравнивалъ вальдшнепа съ Валенштейномъ». Былъ тутъ и необходимый при всякомъ подобномъ случаѣ охотникъ, на котораго будто судьба наложила обязанность невольно забавлять собою общество, не смѣшить его, какъ тотъ дѣлалъ, дешевыми остротами, а странностями и чудачествомъ своимъ, опрометчивостью и неудачами.

Вскорѣ послѣ шумнаго ужина всѣ улеглись — завтра вставать до зари—лишь нѣсколько отчаянныхъ кузнецовъ проковали всю ночь въ четыре кулака по зеленой наковальнѣ, или, какъ выражался острякъ, занимались руководствомъ шайки пятидесяти двухъ разбойниковъ, т. е. играли въ карты. Всѣ мы до зари вскочили бодрые, веселые, полные надеждъ на великіе охотничьи подвиги, а эти несчастные ковали, не смыкая глазъ во всю ночь, бродили блѣдные, растрепанные. Послѣ перехватки на скорую руку, всѣ усѣлись на тарантасѣ, по просту на дроги, гдѣ помѣщается человѣкъ до двѣнадцати, и радостно понеслись въ поле. Тутъ всѣхъ развезли по шалашамъ, подали знакъ рогомъ, и конные загонщики тронулись въ ходъ со всей округи.

Дѣло это устраивается такъ: тетерева съ ранней весны разсыпаются врозь по всему простору мелкаго лѣса, березовыхъ колковъ полей, гдѣ и вьютъ на землѣ, въ травѣ и подъ кустами, гнѣзда; въ это время они такъ ловко прячутся, что матки почти не удается видѣть, а развѣ только наткнешься иногда на косача, т. е. пѣтуха. Высидѣвъ цыплятъ, отъ 10 и 20, тетерка водитъ ихъ, какъ курица, и въ іюлѣ хорошо стрѣляетъ

молодыхъ изъ-подъ собаки; выростивъ цыплятъ, тетерева начинаютъ стаиться, днемъ летаютъ на кормевку стаями на хлѣба, особенно когда хлѣбъ уже въ копнахъ, а къ ночи отлетаютъ въ ближніе лѣса; на зимовку же, когда въ этихъ мѣстахъ, столь привольныхъ по осени, все покрывается снѣгомъ, и зерна съ земли не добудешь, они подаются далѣе въ глушь, въ дремучіе хвойные лѣса, гдѣ клюютъ хвою и хвойныя шишки. Вотъ во второй-то промежутокъ времени, когда они держатся въ мелкихъ лѣсахъ большими стаями, ихъ бьютъ на чучела: ставятъ въ открытыхъ мѣстахъ на полянахъ сухое или очищенное отъ листвы дерево, на которое вообще птица охотно садится, сажаютъ на дерево это чучело тетерева или грубое подобіе его, сшитое изъ сукна и набитое сѣномъ, либо такой же, окрашенный деревянный болванъ, а шагахъ въ двадцати отъ него ставятъ соломенный шалашъ, гдѣ укрывается охотникъ; пролетая взадъ и впередъ, особенно коли ихъ въ другихъ мѣстахъ сгоняютъ, тетерева, принимаютъ безобразное чучело это за своего брата, присѣдаютъ къ нему сбоку, и охотникъ стрѣляетъ свою добычу, подбирая ее послѣ за одинъ разъ подъ сухимъ деревомъ. Эта охота бываетъ удачна по зарямъ, потому что тетерева днемъ отлетаютъ, какъ сказано, на хлѣба, а въ лѣсахъ только ночуютъ.

Я сѣлъ себѣ въ просторный, вязанный пучечками соломенный шалашъ, прорѣзалъ охотничьимъ ножемъ окошечко вершка въ два, противъ чучела, осмотрѣлъ еще разъ исправность ружья, и прилегъ бокомъ, въ ожиданіи прилета живыхъ чучелъ.

Воробей, подумалъ я, не похожъ на умнаго человѣка, а между тѣмъ много хитрѣе этого простака. Тетеревъ, онъ же березовикъ, полевой тетеревъ, палюкъ, палянсъ или пальникъ, будто бы оттого, что любитъ паленыя, горѣлыя мѣста—сторожекъ, человѣка

на выстрѣлъ рѣдко подпуститъ, но въ обманъ дается на всѣ лады: не только попадаетъ онъ въ снопахъ въ пленки, силки, не умѣя отпутать петли отъ ноги, не только кроютъ его всей стаей, шатромъ, большою сѣтью, онъ валится даже въ корзины и верши: ставятъ въ полѣ ивяную плетушку, съ крышкой на чебурахѣ или на перечалѣ, т. е. которая перевертывается, опрокидывается; вершу эту обставляютъ снопами, цѣлая стая падаетъ на поддѣльную кошу, а кто попалъ на крышку, тотчасъ проваливается; крышка опять устанавливается, и ближайшій сосѣдъ погибшаго, не чая худа, пользуется просторомъ и садится на его мѣсто — гдѣ его постигаетъ та же злая участь! Да чего, дѣло строится еще проще: ставятъ плетенку, долгую, узкую кверху, съ отверстіемъ по гребню во всю длину, не шире четверти; вдоль этого отверстія протягиваютъ бичевку, обвитую соломой, и всю плетенку обставляютъ снопами: тетерева смѣло и не задумавшись съ разлету садятся на продольный жгутъ, который, перевертывясь у нихъ подъ ногами, роняетъ ихъ въ плетенку, а слѣдующіе собраты погибшаго спѣшатъ занять его мѣсто! Такимъ образомъ случалось, что вся корзина набивалась до верху птицей, и остальнымъ глупышамъ уже не опасно было сидѣть, потому что некуда было проваливаться. Но еще забавнѣе, это стрѣльба на чучела: безобразный суконный болванъ, въ которомъ едва узнать можно подобіе птицы, съ красными суконными бровями и цѣлой заплаткой на боку—это для нихъ приманка, тогда какъ для всякой другой птицы это могло бы служить только пугаломъ...

Сильный внезапный шорохъ, будто градовая туча разразилась надъ моимъ соломеннымъ шалашемъ, заставилъ меня вскочить на колѣни—я припалъ глазомъ къ оконцу; цѣлая стая тетеревей покрыла собою обомъ-

стительное чучело, сухая береза словно ожила, ни сучечка свободнаго, косачи и пеструхи (курицы) обсѣли всю—а надъ головою моею что-то переступало по соломѣ, очевидно, что и тамъ усѣлась часть вереницы. Я легонько высунулъ дуло ружья въ оконце—и три тетерева на зарядъ пали, глухо грянувшись о земь.

Такъ шло дѣло еще часика два, и я слышалъ частую перестрѣлку во всѣхъ окружныхъ шалашахъ, разставленныхъ на полверсты ближе одинъ отъ другого. Пора лёту прошла, и по часамъ было время идти на сборное мѣсто; я подобралъ 28 тетеревей, лежавшихъ грудой подъ сухой березой, и они мнѣ порядочно оттянули плечи.

На стану уже издали слышались крикъ и шумъ, и хохотъ, между тѣмъ тутъ же раздавались выстрѣлы, и послѣ каждаго, заливной хохотъ веселой братіи усиливался; оказалось, что проказникъ и невольный потѣшатель нашъ выпустилъ уже восемь зарядовъ по сидящему на высокой соснѣ косачу и спѣшилъ снова заряжать ружье; между тѣмъ тетеревъ сидѣлъ себѣ преспокойно, не удостоивая смертельнаго непріятеля своего никакого вниманія. Это было нарочно для такой потѣхи посаженное чучело, а молодой, горячій стрѣлокъ до того распалился, что ничего не видѣлъ и не слышалъ; общій же хохотъ принималъ онъ лишь за насмѣшку надъ тѣмъ, что онъ не попадаетъ въ птицу!

Когда всѣ сошлись, то начался смотръ: на двухъ жердяхъ, въ головѣ разставленнаго на землѣ обѣда, красовались, ожидающія приговора, награды: дубовый вѣнокъ и шапка съ ослиными ушами, искусно сдѣланная изъ лапушника, чертополоха и тому подобныхъ миловидныхъ растеній; первый назначался *царю поля*, тому, кто всѣхъ обстрѣляетъ, вторая—послѣднему по искусству или по счастью. Безспорно первымъ ока-

зался нашъ балагуръ, хорошій, ловкій стрѣлокъ, который опытнымъ глазомъ выбралъ себѣ лучшее мѣсто, шалашъ на перелетѣ; послѣднимъ же—на бѣднаго Макара шишки валятся—*Кипяченый*, какъ его прозвали, который, какъ мы сейчасъ видѣли, не смогъ убить неживой тетерки! Съ нимъ, сверхъ того, случилось еще другое дивное приключеніе: при счетѣ дичи у каждаго, общимъ обходомъ, по кучкамъ, въ числѣ пятка тетеревей, у *горячаго* оказалась лысуха; откуда она взялась — этого никто не зналъ или не говорилъ, но она была тутъ, на лицо, въ одной связкѣ съ тетеревами—лысуха, дрянная болотная птица, которой никто не стрѣляетъ, и сверхъ того, убитая замѣсть кочаса, на деревѣ!

Въ такомъ братствѣ смѣхъ дешевъ, и повальному хохоту не было конца. За плохую удачу, да еще за подлогъ, *горячему*, по общему приговору, поднесена была почетная шапка съ ушами.

Эта шутка вскипятила *горяченькаго* такъ, что сердце чуть было не перекипѣло; вотъ правду говорятъ наши пословицы: всякую шутку къ себѣ примѣняй, и шути, покуда краска въ лицо не выступила! Но любимецъ нашъ, балагуръ, мигомъ все дѣло поправилъ, успокоивъ одного и потѣшивъ всѣхъ: «ну, что ты белендрясничаешь, сказалъ онъ, эка невидаль! Ну, давай мѣняться, бери мою шапку, давай свой колпакъ!»—«Давай,—отвѣчалъ тотъ сгоряча, забывъ, что онъ отъ своего лопушника отрекся;—только съ тѣмъ, чтобы ты его надѣлъ!»—«А ты бы какъ думалъ, возразилъ этотъ, вѣдь не во-щи жь его крошить, разумѣется надѣну—ну да ужь и ты же надѣвай свой!» Теперь уже тому никакъ неловко было снова отказываться и оба, ко всеобщей потѣхѣ, обмѣнявшись наградными знаками, наложили ихъ на головы.

— Господа,—сказалъ, хозяинъ:—чинъ празднества

нашего немного измѣнился, надѣюсь, не въ убытокъ намъ, вѣдь день-то великъ, до вечера долго, что жъ мы будемъ на боку лежать? Тдемъ сейчасъ на зайцевъ, все готово, а къ сроку опять всѣ будемъ по шалашамъ!

На русака ордою ходить неудобно, развѣ растянувшись порядкомъ, ровняться, идучи наудачу; русакъ лежитъ розно и притомъ на степи или въ полѣ, всегда на чистомъ мѣстѣ; но на бѣляка, который почти одинъ только и есть въ тѣхъ мѣстахъ, хорошо ходить и многимъ вмѣстѣ: съ одной стороны вкругъ лѣсного калка или острова становятся стрѣлки за кусты или деревья и по опушкѣ, а съ противной стороны заходитъ облава, цѣпь загонщиковъ, и проходитъ сквозь лѣсомъ насквозь, или въ островъ закидываютъ гончихъ, а стрѣлки провожаютъ ихъ по обѣ стороны, опушкой, а борзыхъ, коли онѣ есть, держатъ на сворахъ въ отдаленіи, подхватывая то, что уходитъ изъ-подъ ружей.

Только что что гончихъ спустили со смычковъ и псарь запорскалъ, какъ выстрѣлы посыпались горохомъ. Заяцъ лисьихъ уловокъ не знаетъ: отлеживается до-нельзя, а вскочилъ, такъ побѣжалъ зря, на кого наткнулся. У русака есть еще кой-какія смѣлыя, отчаянныя хитрости, а бѣлякъ простъ. Русакъ иногда поводитъ сперва собакъ накороткѣ, какъ бы испытывая бойкость ихъ, такъ что не знаешь, кто кому даетъ угонки, собаки ли зайцу, заяцъ ли собакамъ; поумявъ же ихъ порядкомъ, какъ поддастъ прыти, да какъ пойдетъ стрѣлой напрямикъ, такъ только его и видѣли! Другой же дастъ собакамъ натечь во весь духъ, подпуститъ ихъ вплоть, вотъ только ухватить щипцомъ, да мигомъ припадетъ: всѣ собаки черезъ него перенесутся, а ужь онъ гдѣ—примехонько назадъ себѣ удираетъ; собаки размечутся врозь, еще скоро ли возрят-

ся опять! А еще лучше штука у него есть вотъ какая: разгонитъ онъ собакъ во весь духъ, а потомъ маленько отдастъ, тѣ приблизятся вплоть, вотъ ужь облизываются—а онъ прыжка кверху, аршина на четыре — собаки тѣ всѣ подъ нимъ прометнутся, а онъ какъ палъ на землю, такъ во всѣ лопатки назадъ!

Да, русакъ въ отчаянномъ случаѣ и смѣлъ, и находчивъ. Разскажу вамъ про инвалида, искалѣченнаго на войнѣ съ зайцемъ, одинъ на одинъ, такъ что дѣло это почти можно назвать поединкомъ или единоборствомъ!

Охотникъ, котораго несчастнѣе не знавалъ я во всю жизнь, потому что онъ въ минуту спуска курка всегда вздрагивалъ и опускалъ дуло, и никогда ничего не убивалъ,—охотникъ этотъ однакоже былъ неутомимъ на ходьбу, необычайно зорокъ, такъ что усматривалъ почти каждаго зайца на логвѣ — что очень трудно—и потому, не смотря на зарокъ послѣ каждой попытки, все-таки опять ходилъ на охоту. Прошлявшись однажды зимою цѣлый день, стрѣлявши по двадцати зайцамъ и не убивъ ни одного, онъ шелъ, въ отчаянномъ расположеніи, домой. Подходя къ городу, гдѣ были огороженные плетнями капустники, онъ однакоже не могъ утерпѣть, чтобы не подойти къ нимъ и не поглядѣть черезъ плетень; по первому взгляду острый глазъ его наткнулся на русака, спокойно лежавшаго въ бороздѣ... «Постой, подумалъ онъ, этотъ отъ меня не уйдетъ», и обойдя напередъ весь огородъ кругомъ, онъ отыскалъ худое мѣсто, гдѣ заяцъ, какъ и по слѣдамъ видно было, пролѣзъ, задѣлалъ мѣсто это и забилъ снѣгомъ, а потомъ, не трогая заваленной сугробомъ калиточки, перелѣзъ черезъ плетень, справилъ ружье, прицѣлился разъ, другой въ кочку — кажется, я очень вѣрно прикладываюсь и выдерживаю— авось попаду»! Онъ подошелъ близехонько, выма-

лилъ, заяцъ вскочилъ, и пошелъ въ огородѣ на кругахъ... Отчаяный стрѣлокъ ударилъ ружье обземь, но оно въ мягкомъ снѣгу уцѣлѣло. Зарядивъ его снова, онъ подбирался къ зайцу, которому некуда было выскочить, со всѣхъ сторонъ и на всѣ лады,—все хотѣлось поближе—и стрѣлялъ еще раза два—нѣтъ, не беретъ! Увидавъ въ это время прохожаго мальчишку, онъ подозвалъ его и устроилъ такую стратегію: присѣвъ въ уголъ огорода на корточки, онъ велѣлъ мальчику гонять зайца, надѣясь, что этотъ набѣжитъ на него близко, а онъ наконецъ-таки его убьетъ. Отчаянный русакъ, не зная куда отъ этой напасти дѣваться, разлетѣлся со всего духу на кочку въ углу, которая могла послужить ему приступкомъ — не заботясь о томъ, что кочка эта живой человѣкъ, охотникъ съ ружьемъ—и въ одно мгновеніе раздался выстрѣлъ, а русакъ, перескочивъ, съ помощію кочки, черезъ плетень, несся уже далеко... но онъ неосторожно ступилъ на подмостки; несчастный охотникъ стоялъ и упирался въ два кулака, снѣгъ вкругъ него обливался кровью; упоръ позанокъ пришелся прямо въ лицо бѣдняку, и заяцъ разодралъ охотнику губу на вершокъ..

Но пора воротиться и къ нашимъ стрѣлкамъ. Пальба шла кругомъ, зайцы валились, и вдругъ къ одному убитому подбѣжали два охотника, и каждый потянулъ было зайца къ себѣ; одинъ изъ нихъ горячился и кричалъ, утверждая, что онъ его убилъ — и разумѣется, что это опять былъ роковой *горячій*. Третій охотникъ подошелъ, взглянулъ на мѣсто, гдѣ кто изъ нихъ стоялъ и какъ бѣжалъ заяцъ, осмотрѣлъ его, чтобы видѣть, съ которой стороны ударила дробь, мигнулъ товарищу и приговорилъ зайца *горячему*. Мигомъ разошлась по всей цѣпи стрѣлковъ вѣсть, что горячій отжилилъ чужого зайца, и что за это надо его *обвѣшать*. Обвѣшать охотника называется то, что теперь

послѣдовало: кто бы ни убилъ зайца, всякій спѣшилъ отнести или отослать его къ *горячему*, съ увѣреніемъ, что это его заяцъ, тотъ самый, по которому онъ недавно стрѣлялъ, и что заяцъ, недалеко отбѣжавъ, упалъ... Нѣсколько изумленный, но обрадованный удачею и никакого умысла не подозрѣвающій, *горячій* сталъ молча вторачивать зайцевъ своихъ въ торока, и не успѣлъ оглянуться, какъ ему подвалили ихъ едва ли не болѣе, чѣмъ могла поднять лошадь! Тутъ только разгадалъ онъ загадку и снова бѣдняга сталъ общимъ посмѣшищемъ. Зайцевъ разобрали по рукамъ.

Вечеромъ опять сидѣли мы по своимъ шалашамъ и пальба шла бѣглымъ огнемъ. Слѣдующій день прошелъ точно также, утро и вечеръ на тетеревей, а день—на зайцевъ. Безъ разныхъ проказъ не обошлось; но для примѣра довольно будетъ и одного: когда всѣ гурьбой тронулись въ путь на зайцевъ, то посланный башкиръ потянулъ *горячаго* за локотокъ и, отведя его въ сторону, указалъ на зайца въ логвѣ. Тотъ съ пылу за ружье и положилъ его на мѣстѣ. Всѣ на выстрѣлъ прискакали, дивясь счастью охотника. Между тѣмъ башкиръ скрылся, а одинъ изъ охотниковъ спросилъ: «что это у зайца въ зубахъ, посмотрите! «Самъ хозяинъ, *горячій*, вторачивая зайца, выдернулъ у него изо-рта бумажку... «Письмо, письмо, закричали всѣ, къ *горячему* заячья почта ходитъ! Читайте, читайте вслухъ...» Тотъ, развернувъ записку, стоялъ какъ растерянный, а другіе за него прочитали: «Меня убилъ Иванъ Павловичъ Горячій»—мѣсяцъ и число...

Пришелъ и третій день, чередъ волчьей охоты. Тутъ пошли иныя приготовленія: ружья, въ кои уже едва проходилъ шомполъ отъ нагару, перемывались; доставали дробь-безымянку, самую крупную, да жеребейки; все это дѣлалось уже утромъ, потому что торопиться было нечего, на волковъ рано выходить

нельзя, а ужь такъ, какъ солнышко обогрѣетъ. Волкъ ночью на промыслу, рыщетъ по близости жилья, а какъ день настанетъ, такъ онъ пробирается въ лѣсъ, и притомъ обычно ночуетъ въ одномъ логвѣ, покуда его кто тамъ не обезпокоитъ. Пользуясь этимъ, волковъ напередъ развѣдываютъ, высматриваютъ по зарямъ, а по ночамъ или съ вечера *подвываютъ*. Для этого опытный и умѣющій охотникъ идетъ еще засвѣтло въ тѣ мѣста, гдѣ подсмотрѣны волки и предполается логво ихъ; это особенно удобно позднею осенью, когда прибылые уже подросли, но еще не покинули гнѣзда, а шатаются и ночуютъ еще при старыхъ. Выбравъ безопасное мѣсто, напримѣръ, на деревѣ, а всего лучше на скирдѣ сѣна, съ того боку лѣсу, гдѣ у волковъ лазы, то есть тропинки, подвывальщикъ ложится тамъ и, выждавъ сумерки, по временамъ начинаетъ выть по-волчьи. Коли волки тутъ—они отзовутся, и даже подбѣгутъ ближе, чтобы завести новое знакомство; они слышатъ, что долженъ быть пришлый собратъ, голосъ чужой, его тутъ не было слышно. Разохотивъ ихъ нѣсколькими пріемами, подвывальщикъ достигаетъ того, что всѣ, сколько ихъ есть по близости, поочередно подадутъ голосъ, и такимъ образомъ вѣрно знаетъ, сколько волковъ здѣсь ночуетъ. Для вѣрности, онъ повѣряетъ ихъ не одинъ разъ, по зарямъ, какъ повѣряютъ солдатъ на перекличкѣ, и вѣрно знаетъ имъ счетъ.

Но волкъ догадливъ, остороженъ, и притомъ трусливъ: малѣйшій шумъ или тревога подымаютъ его съ мѣста, и онъ уходитъ прежде, чѣмъ его увидишь. Его надо обмануть и исплошить, иначе онъ не дастся. Онъ наглъ и дерзокъ только тамъ, гдѣ видитъ, что осилитъ, гдѣ ихъ много, или гдѣ голодъ довелъ его до лютости. Когда сидишь ночью съ ружьемъ въ ямѣ или въ шалашѣ, или въ сельской банькѣ на концѣ се-

ленія, подстерегая волка на падали, то видишь, съ какою онъ осторожностью подходитъ, какъ онъ издали кружитъ около, туда и сюда, останавливаясь почасту и подымая чутье высоко на вѣтеръ, какъ потомъ крадется, останавливаясь и поглядывая на жилое мѣсто, а рѣдко оглянется назадъ, гдѣ у него лѣсъ и поле; если темно и трудно разсмотрѣть, волкъ ли, или собака подошла къ проводѣ, то едва ли ошибешься по простой примѣтѣ: волкъ становится у падали всегда задомъ къ полю, головой къ селенью, хотя бы оно было и далеко отъ этого мѣста, а собака, напротивъ, подходитъ со стороны селенья и рветъ приводу глядя на лѣсъ. И тотъ и другая знаютъ, откуда ожидать врага. Волкъ очень вѣрно слышитъ, откуда идетъ звяга, лай или крикъ, тотчасъ вскакиваетъ, и недолго прислушивается, чтобы смѣтить, мимо ли его проходитъ шумъ этотъ, или подвигается къ нему: какъ только онъ убѣдится въ послѣднемъ, такъ бѣжитъ напрямикъ въ противную сторону, а подбѣгая къ опушкѣ, много разъ останавливается, послушивая, высматривая и причуивая, нѣтъ ли тутъ на выходѣ какой опасности; если же чуть что провѣдаетъ, то сворачиваетъ лѣсомъ же вбокъ, и его на опушкѣ не увидишь, а развѣ только услышишь по шороху.

Опытные подвывальщики обѣщали намъ удачную охоту, если только какая-нибудь случайность не испортитъ дѣла; но для этой случайности довольно упустить до времени одну собаку, или, подходя къ лѣсу, лишку пошумѣть, проскакать съ шопотомъ, громко перекликнуться и прочее. Подвывали передали только ближайшимъ довѣреннымъ своимъ, что ими насчитано въ двухъ мѣстахъ, по голосамъ, 23 волка!

Когда уже солнце стояло вполдерева, то мы, хорошо позавтракавъ, поднялись; чѣмъ ближе мы подъѣзжали къ мѣсту, всѣ верхами, чтобы не было стуку

отъ колесъ, тѣмъ тише бесѣдовали. Псари съ гончими своротили вбокъ, чтобы объѣхать лѣсъ подаль, стрѣлки подались въ противную сторону, а ловчіе, съ борзыми на сворахъ, разсыпались порознь въ обѣ стороны, чтобы издали обнять лѣсъ, ставъ на видномъ мѣстѣ, однако, за кустомъ или за холмомъ, откуда бы можно было перенять выбѣжавшаго изъ лѣсу звѣря. Мы вскорѣ передали лошадей своихъ стремяннымъ, а сами пошли пѣши къ лѣсу, гдѣ стали на опушкѣ, по удобству, за пнемъ или за кустомъ, на полтора выстрѣла другъ отъ друга. Долѣе часу длилось томительное ожиданье, для каждаго въ одиночествѣ; цѣлый таборъ, поднявшійся съ мѣста, будто утонулъ въ лѣсу — и вокругъ не слышно было ни звука.

Солнце начинало припекать. Я вышелъ осторожно нѣсколько шаговъ назадъ, къ полю, чтобы оглянуться, замѣтить для осторожности, гдѣ стоятъ оба сосѣда мои; я стоялъ задомъ къ дремучему лѣсу, передо мною разстилалась большая поляна съ рѣденькими кустами кой-гдѣ по холму, изъ за котораго виднѣлась только голова всадника, ловчаго съ борзыми, а далѣе— лѣсные островки съ перелѣсками. Вдругъ издали, казалось весьма далеко, раздался мягкій, голосистый рогъ нашего хозяина—сердце дрогнуло, я кинулся на свое мѣсто, подъ невысокую, развѣсистую ель, которая бы хвоей своею меня сверху прикрывала и затѣняла.

Этотъ тихій, одинокій голосъ рожка, который замеръ на просторѣ, пробудилъ съ противнаго края лѣса звонкіе отголоски: зычные, высокіе голоса псарей проснулись. Го-го-го!—раздалось вдалекѣ, какъ крикъ лебедей подъ облаками, и вслѣдъ затѣмъ звяла выжлаковъ, стаи гончихъ... ближе и ближе —вотъ напали на слѣдъ и гонятъ по красному звѣрю! О, это не гавканье по зайцу—это отчаянный вой, это лютый,

неистовый лай, это и плачъ и хохотъ вмѣстѣ—пошли по зрячему, и неумолчный, заливной, изступленный крикъ псарей слился въ одно съ отчаяннымъ лаемъ и воемъ гончихъ...

Влѣво, на заворотѣ лѣска раздался выстрѣлъ, и другой, и третій, и наконецъ до десятка — шумъ и крикъ сдѣлался общимъ, весь лѣсъ ожилъ, цѣлая стая волковъ тремя кучками прорвалась между стрѣлками, четыре волка пали на мѣстѣ; остальные, частью раненые, понеслись въ разныя стороны; одному хозяинъ нашъ заскакалъ было дорогу, и тотъ бросился на него, вскочивъ лапами на грудь; этотъ ударилъ его кнутовищемъ арапника по рылу, лошадь взвилась на дыбы и подмяла волка копытами; собака натекла и ловчій прикололъ звѣря; гончія съ псарями прошли насквозь и понеслись за разбитой стаей; въ полѣ ловчіе принимали встрѣчу этихъ смиренныхъ головорѣзовъ, спуская на каждаго по доброй сворѣ, и по двѣ,—все понеслось впередъ, и мы, ружейники, кинулись на коней и поскакали въ разныя стороны, кому гдѣ видна была битва. Шумъ, крикъ, лай, пальба,—все это будто потокомъ вылилось изъ лѣсу и разлилось по всему околодку.

И собаки, и охотники, и вся охота разбилась врозь, потому что 23 волка, какъ сосчитано было подвывалами, вдругъ прорвались въ трехъ мѣстахъ и, разсыпавшись, неслись во всѣ лопатки отъ лѣса къ лѣсу. Я напалъ на одинокую свору борзыхъ, безъ ловчаго, уцѣпившихся по обѣ стороны за уши волку: онѣ сильно запыхавшись и храпя отъ злости, какъ клещи, впились въ сѣраго вора и только изрѣдка перехватывали быстро, не давая ему повернуться и закусывая дальше и глубже, а сѣрый, хорошо понимая, что тутъ, гдѣ кругомъ идетъ крикъ, лай, улюлюканье и хлопанье арапниками, не мѣсто храбриться, сѣрый ка-

щилъ на себѣ шагомъ упирающихся во всѣ четыре ноги собакъ, добираясь до близкаго лѣсу. Я соскочилъ съ лошади, ухватившись за ружье, — но стрѣлять было нельзя, собаки по обѣ стороны лежали вплоть бокъ-о-бокъ съ волкомъ; я выхватилъ кинжалъ и поймалъ было волка за полѣно (хвостъ), но лошадь, коей поводъ у меня закинутъ былъ на правой рукѣ, фыркнула, рванула и отдернула меня отъ волка; я метался въ отчаяніи, но не могъ сладить: волкъ, покачивая головой, будто въ хомутѣ, тащилъ за собою собакъ и близился къ лѣсу: тамъ бы онъ тотчасъ заговорилъ не тѣмъ языкомъ и легко бы могъ вырваться, стряхнувъ съ себя собакъ, и поранивъ ихъ, уйти. Къ счастью, одинъ изъ ловчихъ, съ привычнымъ конемъ, прискакалъ на помощь, кинулся кубаремъ съ сѣдла, бросивъ мнѣ поводъ, и дернувъ волка сильно за полѣно, запустилъ въ него весь кинжалъ. Не теряя ни минуты, я поскакалъ дальше и поспѣлъ еще на одну травлю, вѣрнѣе сказать гонку: изъ числа прорвавшихся разомъ волковъ, нѣкоторые успѣли проскочить въ поле безъ погони за ними, потому что собаки и ловчіе увязались уже за другими волками,—такого-то тяглеца подмѣтили трое башкиръ и принялись, безъ собакъ, давать ему угонки; я подоспѣлъ еще во-время: и волкъ, и лошади башкиръ уже сильно устали; я догналъ его на свѣжей лошади своей и, отрѣзавъ отъ лѣсу, поворотилъ опять на башкиръ; я даже ударилъ его нагайкой по головѣ, и онъ только съ робкою дерзостью оскалилъ на меня зубы, думая очевидно только о томъ, какъ бы уйти. Но одинъ изъ башкировъ удачнѣе моего отвѣсилъ ему по рылу остолбуху, а другой, наскакавъ сбоку, мигомъ накинулъ на него арканъ и поволокъ за собою: волкъ обезпамятѣлъ, и всѣ трое не давъ ему опомниться, бросились на него съ лошадей, скрутили его и сострунили, то есть перевязали

ему было вокругъ бичевкой; сдѣлавъ это, они распутали его, дали ему отдохнуть, и повели, какъ козу, на веревочкѣ: некуда было бѣдняку дѣваться; пасти не разинуть, хватить нечѣмъ, и осталось одно: прикинуться смиренникомъ и, поджавъ полѣно, идти куда тащатъ.

Мнѣ случилось и прежде этого быть участникомъ такой же гонки, на другомъ концѣ Руси: на южномъ Бугѣ. Подъѣхавъ верхомъ къ перевозу, по нашему — къ переправѣ, гдѣ для порядку стоялъ казачій караулъ, я вдругъ оглянулся на крикъ выѣзжавшаго изъ маленькаго березоваго лѣсочка мужика; онъ пятнулся тамъ на волка, который пробирался теперь, избѣгая лишней тревоги, по берегу. Мигомъ двое донцовъ вскочили на коней и понеслись за нимъ, а я за ними: «Нажрался, нажрался, кричалъ одинъ казакъ, далече не пойдетъ!» Мы разъѣхались пошире врозь, когда выгнали сѣраго на чистое мѣсто, и первый казакъ, давъ волку порядочную угонку, съ версту, сталъ забирать лѣвѣе и заворотилъ его исподволь вправо, на второго казака, который такимъ же образомъ нагналъ его на меня, и точно, что нажрался! бока бочкой и насилу бѣжитъ, и то свинкой, рыломъ въ землю! Я его гналъ, просто насѣдая на него, и потомъ сбилъ влѣво, на средняго казака, который и уходилъ его: взбѣжавъ тою же ровною лестью на взлобокъ, волкъ вдругъ присѣлъ по-собачьи, разставивъ переднія ноги вилами и вываливъ языкъ на полъ-аршина! Это означало безусловную сдачу, силы отказались! Казаки такъ спѣшно бросились съ мѣста въ погоню, что не взяли съ собой никакого оружія; но, не долго думая, они отстегнули по путлищу со стременемъ, подбѣжали сзади къ сѣрому, ухватили его за полѣно, и пошли молотить стременами по головѣ.

Но воротимся къ своей охотѣ. Исподволь всѣ стали

собираться на поляну передъ волчьимъ притономъ, и волки свозились со всѣхъ сторонъ и подвѣшивались за заднія ноги къ сучьямъ деревъ или къ кольямъ, вкругъ разставленнаго на дерну обѣда. Оказалось всей добычи восемнадцать разбойниковъ, только пятеро ушли въ разныя стороны; одного, съ оструненнымъ рыломъ, посадили на привязи на почетное мѣсто, позади нашего хлѣбосольнаго хозяина. Обѣдъ вручную былъ шумный и развеселый, дивнымъ розсказнямъ не было конца; похвалы собакамъ сыпались со всѣхъ сторонъ, особенно *Болвану*, который взялъ волка въ одиночку и грызся съ нимъ до помощи, зѣвъ въ зѣвъ; а потомъ раненому *Гаркушѣ*, о храбрости котораго свидѣтельствовали всѣ очевидцы. Въ это время подошли двое башкиръ, съ какими-то ношами, кои оказались — чѣмъ вы думали? двумя живыми, спутанными грифами; гриф, сыпь, орелъ или коршунъ-голошейка, который водится у насъ на Уралѣ, огромная хищная птица, близкій сродникъ альпійскому ягнятнику и американскому кондору; судьба его такая жъ, какъ и волка: нажравшись, онъ до того тяжелѣетъ, что съ трудомъ подымается съ земли, и то невысоко, такъ что его можно загнать на лошади; не попавъ на волка, а наткнувшись на сытыхъ грифовъ, эти башкиры позабавились гоньбой за ними и принесли ихъ связанныхъ живьемъ. Я самъ смѣрялъ одного: онъ былъ $4^1/_2$ аршина въ полетѣ. Такой гриф, убитый тогдашнимъ начальникомъ края, графомъ Перовскимъ, стоитъ понынѣ въ казанскомъ университетѣ.

Во время самой жаркой бесѣды за обѣдомъ, одинъ изъ охотниковъ—впослѣдствіи командовавшій Башкирскимъ войскомъ — вдругъ быстро оглянулся, потому что его потянулъ кто-то за воротникъ: это былъ повѣшенный за заднія ноги на дерево волкъ, одна изъ жертвъ нашей побѣды; онъ, какъ видно, ожилъ не-

много, соскучился висѣть на сучкѣ, досталъ передними ногами до земли, доцарапался до сидѣвшаго передъ нимъ будущаго атамана и, желая ему шепнуть что-то на ухо, потянулъ его зубами за воротникъ! Вотъ почему у охотниковъ есть правило: вторачивать лису и волка не за ноги, какъ зайца, а за шею, удавкой, не вѣря смерти ихъ.

Что же еще сказать? Всѣ поднялись и разъѣхались по своимъ мѣстамъ предовольные, потому что радостно надышались свѣжимъ воздухомъ и удачно поохотились, не всякому, конечно, удавалось быть на полѣ, гдѣ взято сразу восемнадцать волковъ

Да, позабылъ было одно: на *горяченькаго* таки ухитрились выставить зашитую въ волчью шкуру свинью, и онъ по ней стрѣлялъ.

# ПЧЕЛИНЫЙ РОЙ

Кто прожилъ на свѣтѣ около полувѣка и пошатался по разнымъ угламъ Руси, или служилъ тутъ и тамъ въ различныхъ вѣдомствахъ и званіяхъ, у того, если разобрать дѣло хорошенько, едва ли не во всякомъ порядочномъ городѣ найдется какой-нибудь старый товарищъ, пріятель сослуживецъ. Проѣзжая, по случаю, тысячу-другую верстъ, довольно пріятно завернуть тутъ и тамъ на отдыхъ къ доброму человѣку, если только посѣщенія эти таковы, что они не требуютъ слишкомъ затѣйливыхъ для дорожнаго человѣка околичностей. По этой причинѣ, если я проѣзжаю городъ, гдѣ у меня два старые знакомые, одинаково близкіе или далекіе, но одинъ изъ нихъ предсѣдатель, а другой уѣздный судья, то я всегда заверну къ послѣднему. Я знаю, что мнѣ у него будетъ спокойнѣе: онъ меня не станетъ выкуривать изъ дому званымъ обѣдомъ, и даже не заставитъ доставать изъ чемодана вицъ-мундиръ и фракъ.

Такимъ-то образомъ я заѣхалъ однажды къ старому сослуживцу, котораго не видалъ много лѣтъ. Онъ не былъ даже и уѣзднымъ судьей, а жилъ на родинѣ своей маленькою пенсіей и мелкимъ хозяйствомъ, пускаясь иногда, отъ скуки, въ кой-какіе мелочные пред-

пріятія и обороты. Послѣ разспросовъ о его житьѣ-бытьѣ, а также о бытѣ жителей этого города, мы пообѣдали, отдохнули и поѣхали по городу. Пѣшкомъ тамъ никто не ходитъ: непроходимая грязь, по веснамъ и осенямъ, заставляетъ всякаго держать дешевенькихъ лошадей на дешевомъ корму, а коли держать и кормить ихъ, такъ не стоять же имъ безъ работы и въ вёдро: вотъ онѣ и возятъ воду, возятъ и воеводу.

— Вотъ это домъ нашего банкира, — сказалъ онъ, указывая направо: — откупщика, который поселился тутъ же на другое четырехлѣтіе, удержавъ за собою откупъ. Онъ вновь отдѣлалъ купленный имъ для себя и для конторы домъ и выстроилъ подвалы; онъ убилъ на это тысячъ двадцать, да, говорятъ, выручилъ все въ одинъ откупъ; поэтому онъ и не дорожитъ домомъ этимъ, и если не удержитъ опять за собой откупа, то броситъ его или отдастъ за безцѣнокъ. Постройки этого рода не красятъ города: все на живую нитку, кой-какъ, грубо, топорно, безобразно, а денегъ убито много. Вотъ эта улица вся застроена мѣщанами, которые у насъ живутъ бѣднѣе мужиковъ, и живутъ Богъ вѣстъ какъ и чѣмъ: это никому невѣдомо. Такъ и домишки ихъ, какъ видите, построены неизвѣстно изъ чего: грошовые.

— А вотъ этотъ хорошенькій домикъ, — спросилъ я:—съ зеленымъ полисадничкомъ, вѣроятно помѣщичій?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ провожатый мой: у насъ помѣщики не строятъ домовъ: они не любятъ постоевъ. Да, еслибъ помѣщики стали строиться здѣсь, и проживать еще тутъ зиму—о, тогда бы городишко нашъ поправился.

— Вотъ,—продолжалъ онъ, указывая на низенькій домишко плохой и самой ветхой наружности: — вотъ, напримѣръ домъ помѣщика, которому не пожилось, видно на этомъ свѣтѣ! Въ этомъ домѣ жилъ коротко

# ПЧЕЛИНЫЙ РОЙ

Кто прожилъ на свѣтѣ около полувѣка и пошатался по разнымъ угламъ Руси, или служилъ тутъ и тамъ въ различныхъ вѣдомствахъ и званіяхъ, у того, если разобрать дѣло хорошенько, едва ли не во всякомъ порядочномъ городѣ найдется какой-нибудь старый товарищъ, пріятель сослуживецъ. Проѣзжая, по случаю, тысячу-другую верстъ, довольно пріятно завернуть тутъ и тамъ на отдыхъ къ доброму человѣку, если только посѣщенія эти таковы, что они не требуютъ слишкомъ затѣйливыхъ для дорожнаго человѣка околичностей. По этой причинѣ, если я проѣзжаю городъ, гдѣ у меня два старые знакомые, одинаково близкіе или далекіе, но одинъ изъ нихъ предсѣдатель, а другой уѣздный судья, то я всегда заверну къ послѣднему. Я знаю, что мнѣ у него будетъ спокойнѣе: онъ меня не станетъ выкуривать изъ дому званымъ обѣдомъ, и даже не заставитъ доставать изъ чемодана вицъ-мундиръ и фракъ.

Такимъ-то образомъ я заѣхалъ однажды къ старому сослуживцу, котораго не видалъ много лѣтъ. Онъ не былъ даже и уѣзднымъ судьей, а жилъ на родинѣ своей маленькою пенсіей и мелкимъ хозяйствомъ, пускаясь иногда, отъ скуки, въ кой-какіе мелочные пред-

пріятія и обороты. Послѣ разспросовъ о его житьѣ-бытьѣ, а также о бытѣ жителей этого города, мы пообѣдали, отдохнули и поѣхали по городу. Пѣшкомъ тамъ никто не ходитъ: непроходимая грязь, по веснамъ и осенямъ, заставляетъ всякаго держать дешевенькихъ лошадей на дешевомъ корму, а коли держать и кормить ихъ, такъ не стоять же имъ безъ работы и въ вёдро: вотъ онѣ и возятъ воду, возятъ и воеводу.

— Вотъ это домъ нашего банкира, — сказалъ онъ, указывая направо: — откупщика, который поселился тутъ же на другое четырехлѣтіе, удержавъ за собою откупъ. Онъ вновь отдѣлалъ купленный имъ для себя и для конторы домъ и выстроилъ подвалы; онъ убилъ на это тысячъ двадцать, да, говорятъ, выручилъ все въ одинъ откупъ; поэтому онъ и не дорожитъ домомъ этимъ, и если не удержитъ опять за собой откупа, то броситъ его или отдастъ за безцѣнокъ. Постройки этого рода не красятъ города: все на живую нитку, кой-какъ, грубо, топорно, безобразно, а денегъ убито много. Вотъ эта улица вся застроена мѣщанами, которые у насъ живутъ бѣднѣе мужиковъ, и живутъ Богъ вѣсть какъ и чѣмъ: это никому невѣдомо. Такъ и домишки ихъ, какъ видите, построены неизвѣстно изъ чего: грошовые.

— А вотъ этотъ хорошенькій домикъ, — спросилъ я:—съ зеленымъ полисадничкомъ, вѣроятно помѣщичій?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ провожатый мой: у насъ помѣщики не строятъ домовъ: они не любятъ постоевъ. Да, еслибъ помѣщики стали строиться здѣсь, и проживать еще тутъ зиму—о, тогда бы городишко нашъ поправился.

— Вотъ,—продолжалъ онъ, указывая на низенькій домишко плохой и самой ветхой наружности: — вотъ, напримѣръ домъ помѣщика, которому не пожилось, видно на этомъ свѣтѣ! Въ этомъ домѣ жилъ коротко

знакомый мнѣ человѣкъ, нѣкогда — давно уже, товарищъ мой и однокашникъ, нѣкогда очень порядочный, хоть и не мудрый, но добрый, благородный, не глупый — да женитьба погубила его, и онъ погибъ ни за грошъ! Вотъ съ недѣлю только, какъ мы его похоронили.

— Проѣзжай къ новому дому покойнаго Марка Павлыча, — продолжалъ хозяинъ мой, обратившись къ кучеру:—вотъ я вамъ покажу и такъ-называемый новый домъ этого бѣдняка, а когда пріѣдемъ домой, разскажу его похожденія. Не сумѣю я разсказать все это такъ, какъ понимаю и чувствую; и смѣшно и очень глупо — а между тѣмъ покойничку было дѣваться некуда, и жаль его было такъ, что, право, иную пору радъ бы заплакать.

— Вотъ и новый домъ его: онъ выстроенъ лѣтъ тому пятнадцать, но въ немъ никто не живетъ, и не жилъ; онъ даже не совсѣмъ отдѣланъ, какъ видите, а двери и ставни заколочены на глухо. Да, судьба этого человѣка была безтолкова. Смотрите: крыша со двора уже разсыпается, а внутри, вѣрно, давно повсюду течетъ — скоро и тутъ на воротахъ напишутъ годъ сломки—а еще никто въ немъ и не жилъ! Чинить его некому: хозяинъ въ могилѣ — а домъ его разсыплется на мѣстѣ!

— Когда мы пріѣхали домой и сѣли вечеромъ къ чаю, то я напомнилъ своему хозяину обѣщаніе его разсказать о житьѣ-бытьѣ покойнаго Марка Павловича. Покачавъ головой и разгладивъ рукой волосы, онъ началъ такъ:

— Да, былъ онъ человѣкъ, а сдѣлали изъ него горемыку... Маркъ Павлычъ былъ когда-то лихимъ уланомъ, и на этомъ, какъ у всѣхъ у нашей братьи въ ту пору, стояла вся его надежда: повыгоднѣе жениться, пользуясь молодостью, молодечествомъ своимъ

и мундиромъ, чтобы въ зрѣлыя лѣта, или хоть подъ старость, имѣть свой уголокъ и пристанище — вотъ блаженныя надежды благоразумной молодёжи того времени; а отъявленные хваты заботились только о томъ, какъ бы прокутить и свое, и чужое. Маркъ Павлычъ былъ человѣкъ скромный, хоть и уланъ, и года три уже какъ бредилъ невѣстами. Семейный кровъ манилъ его подъ стреху свою, къ хозяйственному очагу, въ объятія молодой жены и милыхъ дѣтокъ. Гдѣ только, бывало, услышитъ про невѣсту, не только увидитъ ее, то ужь и готовъ хоть сейчасъ къ вѣнцу съ нею, и побаивается только того, что де пойдетъ ли она за него, да не обманулъ бы тестюшка приданымъ, какъ было много примѣровъ передъ глазами, да не перехватилъ бы ея кто другой... Что будешь дѣлать! такая слабость постигла человѣка, а все по добрымъ чувствамъ: по склонности къ спокойной семейной жизни.

«Вотъ и пришлось намъ постоять зиму съ полкомъ въ этомъ городишкѣ: онъ-то, правда, Маркъ Павлычъ, стоялъ съ эскадрономъ своимъ въ Голопятовѣ, да я упросилъ полковника поставить меня сюда, потому что это, какъ вы знаете, моя родина. Вотъ Маркъ Павлычъ, бѣдный, на поискѣ невѣстъ, и заѣзжалъ бывало ко мнѣ частенько, то душу отвести послѣ неудачи, то посовѣтоваться, то что. Здѣсь же въ то время жила—да и теперь, правда, еще живетъ—Господь съ нею—вдова, шляхтянка, дворянка, помѣщица безъ помѣстья, но съ дочерью. Чѣмъ и какъ онѣ жили и живутъ—Богъ ихъ знаетъ, этого никто не разберетъ; домишко ихъ вы видѣли, тотъ самый, который разваливается и уже лѣтъ десятокъ запрещено чинить; есть какой-то садишко и огородишко, семья людей, но ни ремесла, ни промысла,—дворянка, да и полно. Говорили, что водятся у нея подъ спудомъ небольшія деньжонки, а

гдѣ онѣ и сколько ихъ — никто не знаетъ. Дочь, ужъ именно ни съ рожи, ни съ кожи; по кого Богъ захочетъ наказать, на того нашлетъ слѣпоту. Ротмистръ мой до того плѣнился сельскимъ одиночествомъ этой вдовы и щедроватыми щеками дочки ея, что избушка ихъ показалась ему волшебнымъ замкомъ, неуклюжая Маша царевной Милонѣгой, а тысяча рублей, которыя обѣщала—будь она проклята, сваха — милліономъ. Человѣкъ одурѣлъ и сталъ свататься. Такъ судьба въ петлю и потянула.

«Надо сказать вамъ, что за взбалмошная баба эта Крюкина, мать хваленой нѣвѣсты: вѣдь ужь, конечно, она и во снѣ не видала такого зятя, молодца, улана, стараго ротмистра; притомъ и Маша ея заневѣстилась ужь не въ первый годъ: можно было подумать о томъ, чтобъ отдать ее, коли кто охотникъ найдется; чтожь вы думаете? Сама съ сосѣдями объ одномъ только толкуетъ, что водъ де дочь подросла, пора отдавать замужъ, а гдѣ нынѣ взять хорошаго человѣка? А какъ только Маркъ Павлычъ посватался, такъ она въ слезы—о чемъ? да не знаетъ какъ быть, жаль дочери, дѣло новое, она еще замужъ не выхаживала, такъ и подумать страшно. А мой бѣднякъ пуще на дыбы; день за день посылаетъ сваху—кончай дѣло да и полно. Повѣрите ли, какія есть бабы на свѣтѣ! Вѣдь какъ завязалось это дѣло да бѣднякъ Маркъ пристали къ Крюкиной со свахами своими, а та не даетъ ни отвѣту, ни привѣту, — такъ вѣдь, бывало, тревогу на весь городишко подымутъ: Крюкина выйдетъ на улицу, въ палисадникъ, да реветъ и причитаетъ голосомъ, что народъ отовсюду сбѣгается; дочь стоитъ въ одномъ окнѣ, закрывается занавѣской и тожь голосомъ плачетъ, сваха лежитъ въ другомъ окнѣ, причитаетъ да уговариваетъ; а женихъ-то — царство ему небесное — прохаживается по улицѣ, за угломъ, да ждетъ отвѣта!

«Ну, такъ сякъ, сладилось дѣло, обвѣнчались. Крюкина и въ церкви выла, и дома выла и причитала, такъ вотъ равно Машу свою въ гробъ укладывала. Тысячи рублей приданаго онъ, разумѣется, и не видалъ, а взяли его въ домъ и въ опеку, заставили вставать и ложиться по командѣ, а со двора ходить, такъ спрашиваться. Вскорѣ ему до того стыдно стало товарищей своихъ, что запустилъ онъ службу и никому почти не показывался на глаза. Пришло время полку выступать, мой бѣднякъ Маркъ обрадовался этому, какъ царству небесному — анъ не тутъ-то было: въ домѣ подняли такой содомъ, что хоть святыхъ вонъ выноси: бить не бьютъ, да и прочь нейдутъ. Я молчалъ долго, не мѣшался въ это дѣло, да, наконецъ, не подъ силу стало терпѣть: вотъ, будто чуяло вѣщее, что быть бѣдѣ — а жаль бѣдняка. «Маркъ!» сказалъ я: «послушайся стараго друга: плюнь имъ на порогъ, брось все, да иди съ полкомъ!» Онъ промолчалъ, повѣсилъ голову, а тамъ, слышу, заставили его сказаться больнымъ да подать въ отставку. Какъ услышалъ я это, такъ и подумалъ: кончено, уходили молодца; прощай, Маркъ Павлычъ!

«Мы ушли съ полкомъ, но я воротился сюда, на родину, лѣтъ черезъ десять, раненый, съ небольшою пенсіей. Первымъ дѣломъ было навѣстить стараго товарища,; спрашиваю напередъ: «живъ ли?»—Живъ,— говорятъ.

Пришелъ я, остановился въ дверяхъ, да, глядя на стараго товарища, прослезился. Вошла теща, напустилась на него, зачѣмъ-де онъ въ халатѣ принимаетъ гостей, не знаетъ никакого обхожденія, стыдитъ ее при чужихъ людяхъ и прочее, да какъ пошла писать, такъ и расплакалась объ этомъ, что не уймешь. Погоревавъ, велѣла она дочери подать мужу сюртукъ и приказала застегнуть его на всѣ пуговицы, потому что Маркъ

Павлычъ кашлялъ, а она его таки поберегала—видно, думала еще, что онъ впередъ пригодится. Я молчу, смотрю, что еще будетъ. Двое дѣтей тогда только смѣли подходить къ отцу, когда бабушка была имъ довольна, когда онъ велъ себя хорошо; а нѣтъ, такъ дѣтей выгоняла, объявляя имъ съ плачемъ и рыданіемъ, что папенька ихъ мерзавецъ и чтобъ они его не знали. Жена, при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, объявляла Марку Павлычу вслухъ, что она знаетъ мать свою, а его знать не хочетъ, за что мать каждый разъ обнимала ее со слезами, прибавляя еще, что онъ занапастилъ жизнь ея. А такъ какъ бѣдный Маркъ Павлычъ въ подобныхъ случаяхъ, вздохнувъ, прибѣгалъ къ единственной утѣшительницѣ своей, трубкѣ, которую набивалъ и сосалъ молча, повѣсивъ носъ, то заведено было подымать ревъ и плачъ въ домѣ, изрыгая проклятія на эту трубку, которая дѣлаетъ Марка Павлыча нечувствительнымъ и равнодушнымъ ко всѣмъ страданіямъ его семейства; и, наконецъ, дочь, по приказанію вопящей матери, не разъ отбирала это зловредное орудіе у мужа, сдавая его матери подъ часы, и несчастный скучалъ и томился безъ трубки по цѣлымъ днямъ, до благодатной мировой съ женой и тещей, причемъ никогда не зналъ, за что ссорились съ нимъ и за что мирились. Какъ бы то ни было, но теща скоро смекнула, что бѣдный Маркъ Павлычъ безъ трубки не могъ прожить сутокъ, что онъ дѣлался подъ страхомъ этого наказанія плаксивымъ и малодушнымъ и мирился, подписывая безотговорочно всѣ условія, хоть бы его заставили наложить на себя самого руку. И этимъ-то средствомъ она и пользовалась, вмѣстѣ съ дочерью, подчинивъ себѣ несчастнаго Марка Павлыча.

«Вотъ въ какомъ положеніи нашелъ я своего бѣдовика. Вы поймете, что намъ съ нимъ не приходилось часто видѣться, особенно же я посѣщалъ его

рѣдко. Жаль мнѣ было его, какъ брата, да пособить было нечѣмъ: самъ себя погубилъ. Не стану больше докучать вамъ описаніемъ постылой жизни Марка Павлыча: я доскажу вамъ только замѣчательную исторію его новаго дома.

«Маркъ получалъ небольшую пенсію, безъ которой умеръ бы съ голоду въ домѣ тещи и жены, и которая иногда, подъ конецъ трети, служила хотя небольшой острасткой для сожительницъ его: тогда онѣ, обыкновенно, дѣлались посговорчивѣе и поснисходительнѣе; а успѣвъ отобрать отъ него въ началѣ трети деньги, онѣ каждый разъ снова начинали неистовства свои, требуя еще болѣе и не довольствуясь тѣмъ, что получали. Проживъ такимъ образомъ лѣтъ десятокъ, Маркъ Павлычъ, наконецъ, отчасти, можетъ быть, и по моему совѣту, рѣшился обзавестись своей собственной хижинкой, чтобъ не быть въ этой рабской зависимости, и жить пенсіей, которая, по крайней мѣрѣ, обезпечивала ему кусокъ хлѣба. Съ этимъ намѣреніемъ онъ вытащилъ изъ-подъ спуда нѣсколькко сотъ рублей, которые скопилъ, и началъ строго откладывать каждую треть частицу пенсіи, закупая при случаѣ дешевые строительные припасы и складывая ихъ на взятомъ отъ города пустырѣ. Маркъ Павлычъ, создавъ планъ свой въ головѣ и предоставивъ фасадъ судьбѣ и плотникамъ, въ годъ со днемъ срубилъ избу. Что ему доставалось за это самовольство — вы себѣ можете представить; но рѣшившись однажды, онъ бабамъ своимъ показалъ зубы, молчалъ и продолжалъ свое. Теща плакала навзрыдъ неутѣшно о томъ особенно, что домъ строился, по разнымъ соображеніямъ ея, на несчастномъ мѣстѣ и, между прочимъ, поставленъ былъ самою срединой своею тамъ, куда нѣкогда капало съ кровли, когда еще за память старыхъ людей, тутъ стояла какая-то избенка. Отъ этого, по тверскому

Павлычъ кашлялъ, а она его таки поберегала—видно, думала еще, что онъ впередъ пригодится. Я молчу, смотрю, что еще будетъ. Двое дѣтей тогда только смѣли подходить къ отцу, когда бабушка была имъ довольна, когда онъ велъ себя хорошо; а нѣтъ, такъ дѣтей выгоняла, объявляя имъ съ плачемъ и рыданіемъ, что папенька ихъ мерзавецъ и чтобъ они его не знали. Жена, при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, объявляла Марку Павлычу вслухъ, что она знаетъ мать свою, а его знать не хочетъ, за что мать каждый разъ обнимала ее со слезами, прибавляя еще, что онъ занапастилъ жизнь ея. А такъ какъ бѣдный Маркъ Павлычъ въ подобныхъ случаяхъ, вздохнувъ, прибѣгалъ къ единственной утѣшительницѣ своей, трубкѣ, которую набивалъ и сосалъ молча, повѣсивъ носъ, то заведено было подымать ревъ и плачъ въ домѣ, изрыгая проклятія на эту трубку, которая дѣлаетъ Марка Павлыча нечувствительнымъ и равнодушнымъ ко всѣмъ страданіямъ его семейства; и, наконецъ, дочь, по приказанію вопящей матери, не разъ отбирала это зловредное орудіе у мужа, сдавая его матери подъ часы, и несчастный скучалъ и томился безъ трубки по цѣлымъ днямъ, до благодатной мировой съ женой и тещей, причемъ никогда не зналъ, за что ссорились съ нимъ и за что мирились. Какъ бы то ни было, но теща скоро смекнула, что бѣдный Маркъ Павлычъ безъ трубки не могъ прожить сутокъ, что онъ дѣлался подъ страхомъ этого наказанія плаксивымъ и малодушнымъ и мирился, подписывая безотговорочно всѣ условія, хоть бы его заставили наложить на себя самого руку. И этимъ-то средствомъ она и пользовалась, вмѣстѣ съ дочерью, подчинивъ себѣ несчастнаго Марка Павлыча.

«Вотъ въ какомъ положеніи нашелъ я своего бѣдовика. Вы поймете, что намъ съ нимъ не приходилось часто видѣться, особенно же я посѣщалъ его

рѣдко. Жаль мнѣ было его, какъ брата, да пособить было нечѣмъ: самъ себя погубилъ. Не стану больше докучать вамъ описаніемъ постылой жизни Марка Павлыча: я доскажу вамъ только замѣчательную исторію его новаго дома.

«Маркъ получалъ небольшую пенсію, безъ которой умеръ бы съ голоду въ домѣ тещи и жены, и которая иногда, подъ конецъ трети, служила хотя небольшой острасткой для сожительницъ его: тогда онѣ, обыкновенно, дѣлались посговорчивѣе и поснисходительнѣе; а успѣвъ отобрать отъ него въ началѣ трети деньги, онѣ каждый разъ снова начинали неистовства свои, требуя еще болѣе и не довольствуясь тѣмъ, что получали. Прожившъ такимъ образомъ лѣтъ десятокъ, Маркъ Павлычъ, наконецъ, отчасти, можетъ быть, и по моему совѣту, рѣшился обзавестись своей собственной хижинкой, чтобъ не быть въ этой рабской зависимости, и жить пенсіей, которая, по крайней мѣрѣ, обезпечивала ему кусокъ хлѣба. Съ этимъ намѣреніемъ онъ вытащилъ изъ-подъ спуда нѣсколько сотъ рублей, которые скопилъ, и началъ строго откладывать каждую треть частицу пенсіи, закупая при случаѣ дешевые строительные припасы и складывая ихъ на взятомъ отъ города пустырѣ. Маркъ Павлычъ, создавъ планъ свой въ головѣ и предоставивъ фасадъ судьбѣ и плотникамъ, въ годъ со днемъ срубилъ избу. Что ему доставалось за это самовольство — вы себѣ можете представить; но рѣшившись однажды, онъ бабамъ своимъ показалъ зубы, молчалъ и продолжалъ свое. Теща плакала навзрыдъ неутѣшно о томъ особенно, что домъ строился, по разнымъ соображеніямъ ея, на несчастномъ мѣстѣ и, между прочимъ, поставленъ былъ самою срединой своею тамъ, куда нѣкогда капало съ кровли, когда еще за память старыхъ людей, тутъ стояла какая-то избенка. Отъ этого, по твердому

убѣжденію Крюкиной, нельзя было ожидать добра, и зятекъ ея, какъ божилась она всѣмъ сосѣдямъ, строилъ бѣду на свою голову и на гибель всего семейства.

«Между тѣмъ, постройка все подвигалась, домишко былъ вчернѣ конченъ, накатъ и полы настланы, кровля покрыта, и новая, опрятная наружность его начинала уже смирять нѣсколько Крюкину; она даже не разъ начинала поговаривать зятю, разумѣется, съ нѣжностью, со слезами: «Ну, что жъ, Маркъ Павлычъ, власть Господня, домъ, такъ домъ—да вѣдь мы всѣ подъ Богомъ ходимъ: ты завтра помрешь—моей-то бѣдной головушкѣ что дѣлать тогда придется? Машенькѣ-то моей что достанется? а? хоть бы ты записалъ домъ-этъ на ея имячко—ась? Вѣдь она жена твоя, да, ребро твое... охъ-охо! погубилъ ты у меня Машурку-ту, ей-Богу! утопила я ее за твоей безсчастною головою!

«Но въ одно лѣтнее утро, когда эта вѣдьма ходила любоваться втихомолку новымъ домомъ своимъ—а она ужъ считала его своимъ—она воротилась домой съ такимъ неистовымъ ревомъ, что и самъ Маркъ Павлычъ, довольно попривывшій уже къ подобнымъ явленіямъ, испугался насмерть. Дочь, не спрашивая что сталось, принялась вторить матери, растворивъ, для простора, окна.—Что же случилось?—«Да въ новый домъ, въ которомъ окна еще не были вставлены, влетѣлъ пчелиный рой и привисъ гроздомъ къ потолку.» Это означало такое бѣдствіе, такое несчастіе, которое невозможно было ни оплакать, ни отмолить. И все это она знала и говорила напередъ, когда только увидѣла, что домъ поставленъ былъ на несчастномъ мѣстѣ, на капели—да ее не послушались; теперь всѣ они погибнутъ.

«Кончилось тѣмъ, что новый домъ было брошенъ, а теперь, какъ вы видѣли, уже разрушается. Маркъ

Павлычъ осунулся, опустился окончательно, подпалъ вовсе власти своихъ вѣдьмъ, прозябалъ нѣсколько лѣтъ вмѣстѣ съ ними въ старой, сгнившей избенкѣ, которая поросла грибами и плесенью по всѣмъ угламъ, и вотъ, къ общему удовольствію всѣхъ человѣколюбивыхъ жителей нашего городка, на прошлой недѣлѣ отдалъ Богу душу. Миръ его праху! Теперь Крюкина съ дочерью служатъ по немъ панихиды и оплакиваютъ, ревучи день деньской на весь кварталъ.»

# ПОЛУКАМЕННЫЙ ДОМЪ

Въ небольшомъ городѣ, въ которомъ я проѣздомъ остановился, прямо насупротивъ гостиницы, стоялъ громадный домина. Основаніе его было изъ тесаннаго, бѣлаго камня; затѣмъ, первый ярусъ кирпичный, а второй деревянный. Домъ этотъ стоялъ на бойкомъ мѣстѣ, на углу привозной площади; внизу были лавки съ дугами, хомутами, вожжами и шлеями, также лабазы, цирюльни, хлѣбная и питейная; наверху я могъ отличить одну только вывѣску: *Растирацію*; другая, придѣланная надъ балкономъ, по другому лицу зданія отъ угла, скрывалась до половины, и я могъ прочитать на ней только начало двухъ строкъ: *Дѣв.* и *мад.* Сидя въ окнѣ своего *номера* и глазѣя на пеструю толпу, волновавшуюся съ глухимъ шумомъ на рыночной площади, я невольно все опять поднималъ глаза на загадочную вывѣску, подбиралъ всѣ слова, которыя можно обыкновенно встрѣтить на вывѣскѣ; но слоги *Дѣв.* и *мад.* оставались для меня загадочными. Въ это время вошелъ словоохотливый половой съ чаемъ и объяснилъ мнѣ, что это *дѣвичій пенсіонъ мадамъ Мусташъ*, которую онъ назвалъ при этомъ случаѣ *Мусташовой*. Слово за словомъ, и половой мой разсказалъ замѣчательныя похожденія—не мадамъ Мусташовой, о

которой онъ не могъ сказать ничего, какъ только, что она должно быть французенка—но похожденія этого дома съ лавками, лабазами и всею прочею принадлежностью.

Въ городѣ этомъ, давно тому, появился новый откупщикъ, вышедшій, по словамъ разсказчика, изъ повѣренныхъ прежняго откупщика; подержавъ откупъ недолго, онъ, однакожъ, зашибъ копѣйку—по крайней мѣрѣ жилъ, какъ водится у откупщиковъ, паномъ. Ни у кого не бывало и не будетъ такихъ лошадей, такой коляски и такихъ шляпокъ на женѣ, какъ были именно у этого откупщика; а праздники задавалъ онъ такіе, что истинно на диво «даже и хорошимъ господамъ». Этотъ-то баринъ изъ-за стойки вздумалъ построить такой домина, чтобъ и самому жить, и всю контору со всѣми потрохами помѣстить, и въ наймы отдавать, и доходъ большой получать—да сверхъ того еще и пользоваться домомъ этимъ, какъ залогомъ. Вотъ онъ и разбилъ такой фундаментъ, какого здѣсь и не видывали: саженяхъ на пятидесяти! Постройка началась: забутили основаніе, отпраздновавъ великолѣпно закладку, и вывели его подъ окна изъ тесаннаго камня—тогда какъ до этого здѣсь никто не догадывался тесать его, а клали основаніе изъ дикаго, ломоваго камня, какъ Богъ его создалъ; а между тѣмъ, подводили въ то же время подъ своды каменные же выходы.

Въ это время откупщикъ нашъ поѣхалъ въ столицу сымать откупъ на другой срокъ и съѣхался тамъ, недуманно, негаданно, съ опаснымъ соперникомъ, который, повысмотрѣвъ и повывѣдавъ дѣла на мѣстѣ, прибылъ въ Питеръ съ тѣмъ же намѣреніемъ. Первый отозвалъ его въ сторону и сказалъ ему: «Послушай, любезный другъ; неужто мы станемъ, на потѣху людямъ, другъ у друга ломоть изъ рукъ выбивать, чтобъ онъ никому не достался? Дѣлъ нашихъ никто не знаетъ,

кромѣ меня, да отчасти, можетъ быть, и тебя; вѣдь мы оба будемъ сыты—а кромѣ насъ вмѣшаться некому, это я ужь знаю. Итакъ, либо возьми ты съ меня сто тысячъ отсталаго, да и ступай съ Богомъ, безъ грѣха, домой; либо дай ты мнѣ сто тысячъ; а наконецъ, коли и этого не хочешь, иди въ долю, я въ третьей долѣ тебя приму.»

Соперникъ принялъ предложеніе это сухо, обидѣвшись особенно тѣмъ, что будто-бы-де-онъ дѣлъ этихъ не знаетъ, тогда какъ онъ именно тѣмъ и гордился, что вывѣдалъ всю подноготную и былъ увѣренъ, что знаетъ все. Первый подумалъ и вторично отозвалъ его, когда уже городъ ихъ вскорѣ былъ на очереди къ торгамъ. «Послушай, другъ», сказалъ онъ: «сдѣлай же милость, не дурачься; вотъ тебѣ послѣднее слово мое: берешь полтораста тысячъ, такъ бери и Богъ съ тобой; не берешь—пусть мое дѣло пропадаетъ, а ужъ я тебѣ его испорчу; честное слово, что коли ты хоть одинъ рубль наддашь, то я, не говоря худого слова, сразу брякну сто тысячъ, да и отойду: тогда дѣлай, что хочешь. Больше не наддамъ.

Но упрямый и самолюбивый соперникъ, увѣренный видно, въ дѣлѣ своемъ, ни на что не поддавался и отвѣчалъ сухо: «дѣлай что знаешь.» Торги начались: «Такой-то городъ съ уѣздомъ четыреста тридцать тысячъ; кто больше?»

«Десять рублей», сказалъ скромно первый откупщикъ. «И еще десять», проговорилъ второй твердымъ голосомъ. «Сто тысячъ!» раздалось въ ту же секунду, и притомъ такимъ громовымъ голосомъ, что всѣ бывшіе тутъ съ изумленіемъ обратили взоры свои на человѣка, сдѣлавшаго такую необычайную, выходящую изъ всякаго торговаго соображенія наддачу; каждый думалъ, что ослышался, даже присутствующіе остановились, чтобъ увидѣть, кто сказалъ слово это, и

одинъ изъ нихъ повторилъ: «сто ты-сячъ?» «Да», отвѣчалъ первый откупщикъ, не трогаясь съ мѣста и скрестивъ руки на груди—и всѣ со страхомъ и почтеніемъ отступили, очистивъ передъ нимъ мѣсто. Онъ продолжалъ: «сто тысячъ: всего пятьсотъ тридцать тысячъ и двадцать рублей.»

Дѣло было сдѣлано, такого слова назадъ не отдадутъ. Мертвое молчаніе послужило знакомъ крайняго изумленія нѣсколькихъ сотъ человѣкъ; второго соперника чуть не пришибло на мѣстѣ, какъ громомъ; онъ помялся, взглянулъ на перваго, смирился и просилъ подумать. Оба отошли къ окну: всѣ посторонились и, перешептываясь, искоса поглядывали на этихъ двухъ чудаковъ.

— Бога ты не боишься,—сказалъ второй тихо, робкимъ, но отчаяннымъ голосомъ:—что ты это сдѣлалъ?

— Какъ что? Ничего; набавилъ сто тысячъ, какъ объявилъ тебѣ напередъ; развѣ ты думалъ, что я шучу? Больше я не наддамъ ни рубля; хочешь, такъ бери.

— Да помилуй, безумный ты человѣкъ! Вѣдь ты самъ у себя да у меня укралъ четыреста тысячъ изъ кармана!

— Что онѣ украдены у насъ—это вѣрно, только не мною, а тобой. Я предлагалъ тебѣ полтораста тысячъ, предлагалъ идти въ третью долю; ты заартачился, захотѣлъ испортить дѣло,—ну, ты поставилъ на своемъ: вотъ оно испорчено; бери его!

— Нѣтъ, спасибо, благодарю... а какое ты мнѣ разстройство причинилъ, Боже мой!... Залоги взяты, проценты заплачены...

— Плачься на себя. Не берешь, такъ за мной останется; я тебѣ говорилъ, что моего дѣла никто, кромѣ меня, не знаетъ; вотъ, я наддалъ четыреста тысячъ и беру: стало быть, я его знаю.

Это подѣйствовало; второй разсудилъ, что стало быть-де выгоды велики, и я не ошибался: онъ предложилъ идти въ половину; а первый, очень хорошо понимая, что изъ молодечества и упрямства сдѣлалъ преглупую вещь, не показавъ удовольствія своего, сказалъ:

— Вотъ то-то, поздненько вы, сударь, соглашаетесь! Нечего дѣлать, ступай: небось, выручимъ.

Но черезъ два года все было описано и распродано у новыхъ товарищей, и откупъ поступилъ въ казенное управленіе. При этомъ случаѣ былъ проданъ и домъ, выведенный на тесаномъ камнѣ подъ окна, съ большими каменными подвалами. Онъ достался молодому наслѣднику большого, прекраснаго имѣнія въ двѣ тысячи душъ, гдѣ она крупчатка могла бы прокормить прилично десять большихъ дворянскихъ семей. Молодой владѣлецъ прикупилъ еще на задахъ дома два мѣста, сломалъ зданія и обратилъ ихъ въ садъ съ великолѣпными теплицами, которыя теперь подъ хлѣбнымъ складомъ. Баричъ нашъ едва успѣлъ вывести кирпичомъ стѣны своего новаго дворца подъ первый накатъ, какъ дѣлишки его начали крѣпко запутываться: постройка остановилась, простояла съ годъ, а тамъ, не успѣлъ нашъ баричъ оглянуться, какъ дѣло пришло къ развязкѣ—все имѣніе его было окончательно разстроено, и онъ совсѣмъ промотался. Стѣны початаго дома накрыли соломой, ихъ заливало и размывало дождемъ, и городъ, видя такое положеніе домохозяина, который нѣсколько лѣтъ сряду и не думалъ продолжать постройку, началъ приступать къ нему съ угрозами передать незастроенное мѣсто другому владѣльцу, предоставляя ему свезти въ срокъ строительные припасы. Баричъ нашъ, забывшій почти о начатомъ столь великолѣпно и покинутомъ дворцѣ своемъ, чрезвычайно обрадовался напоминанію думы или магистрата, взду-

малъ теперь только, что можетъ продать, хотя и за безцѣнокъ, начатыя постройки и вовсе нечаянно выручить нѣсколько наличныхъ денегъ, которыхъ онъ уже очень давно не видалъ. Но кому у насъ въ уѣздномъ городѣ купить такой домина, кто въ состояніи выстроить его и къ чему? Всѣ указали на Орефьева, говоря, что больше купить некому, хоть и задешево, потому что мало того купить, а надо еще и отстроить. Если Орефьевъ не купитъ, хоть ломай.

Орефьевъ, въ 30 лѣтъ, изъ сидѣльца на маленькомъ жалованьѣ въ желѣзной лавкѣ сдѣлался первымъ въ городѣ купцомъ. Пріятное и всегда вѣжливое обращеніе его привлекло покупателей въ такомъ городкѣ, гдѣ каждый зналъ лично всѣхъ хозяевъ и сидѣльцевъ и шелъ туда, гдѣ ему лучше нравилось. Вскорѣ Орефьевъ сдѣлался сидѣльцемъ на отчетѣ, потомъ поступилъ въ часть и, наконецъ, пріобрѣтя болѣе пріязни и довѣренности между покупателями, чѣмъ самъ хозяинъ его, основалъ свою торговлю и вскорѣ расторговался такъ, что сталъ первымъ купцомъ въ городѣ. Всѣ обороты и предпріятія ему удавались; слава шла объ немъ, будто у него самый дешевый товаръ, и большая часть жителей вѣрили этому, потому что Орефьевъ, необыкновеннымъ краснобайствомъ своимъ, предупредительною вѣжливостью и чрезвычайно пріятною, поселяющею довѣренность наружностью умѣлъ всѣхъ въ томъ убѣдить. Чтобъ показать ловкость и оборотливость Орефьева, приведемъ одинъ только примѣръ. Сосѣдній помѣщикъ, у котораго было много своихъ мастеровыхъ, и между прочимъ нѣсколько гуляющихъ кузнецовъ, хотѣлъ доставить себѣ выгоду, а имъ небольшой заработокъ: онъ обратился къ Орефьеву, какъ къ главному торговцу желѣзомъ, и, предложивъ ему перековывать полосовое желѣзо въ разныя подѣлки, крючья, петли, наметки, пробои и проч., спросилъ,

сколько Орефьевъ можетъ положить за это платы съ пуда. Орефьевъ отвѣчалъ: «И гривны мѣди не могу дать.»—Какъ такъ? Вѣдь вы же торгуете этими вещами и передѣлываете полосовое желѣзо?—«Передѣлываю.»—Слѣдовательно, и платите за это, само собой разумѣется; а у меня свои кузнецы, свой уголь; врядъ ли кто дешевле меня съ васъ возьметъ?—«А не угодно ли», продолжалъ Орефьевъ: «купить у меня желѣзо въ дѣлѣ, на пуды, по той же цѣнѣ, почемъ изволите взять полосовое въ любой лавкѣ?» Помѣщикъ изумился и просилъ объясненія; оно состояло въ томъ, что всѣ кузнецы, каретники и даже помѣщики берутъ желѣзо на счетъ, не на наличныя; при этомъ случаѣ и было заведено у Орефьева, чтобъ брать на каждый пудъ по шести фунтовъ лишняго желѣза и возвращать его, въ видѣ роста, въ дѣлѣ. Такимъ образомъ, Орефьевъ, безъ всякихъ расходовъ, получалъ всѣ желѣзныя издѣлія, какія ему были нужны, назначая должникамъ своимъ, что именно выдѣлывать, а полосовое желѣзо, разумѣется, отпускалъ имъ въ такую цѣну, что накладывалъ на издѣльное, при оптовой продажѣ, самую бездѣлицу, на одинъ только угаръ!

Итакъ, Орефьевъ, какъ единственный купецъ нашего дворца, пріобрѣлъ его дѣйствительно за самую ничтожную цѣну. Всѣ ахнули, когда домъ былъ проданъ, говоря: богачамъ Богъ даетъ. Смекнувъ тотчасъ же, что можно изъ зданія этого сдѣлать, Орефьевъ поставилъ на каменныя стѣны деревянный верхъ, покрылъ его желѣзомъ, а внизу проломалъ, черезъ окно, по двери, обративъ такимъ образомъ весь нижній ярусъ въ лавки. Изъ подваловъ вывелъ онъ тоже сводчатые выходы прямо на площадь, чтобы отдавать помѣщенія эти подъ винные погреба и другія подобныя заведенія.

*Но* только что Орефьевъ успѣлъ покончить все это

и подвести диковинное зданіе подъ крышу, не отдѣлавъ его еще внутри, не вставивъ еще дверей и оконъ, какъ внезапно скончался, оставивъ однихъ малолѣтнихъ наслѣдниковъ, потому что довольно поздно женился и притомъ еще старшія дѣти у него, какъ говорится, не стояли. Дѣла его не были въ безпорядкѣ, но, по значительнымъ оборотамъ и по русскому заведенію не вести купеческихъ книгъ, они были нѣсколько запутаны и требовали дѣятельнаго и толковаго хозяина; безъ этого ихъ, конечно, не мудрено было разстроить. Назначили опекуновъ — но вскорѣ дѣла пришли въ безнадежное положеніе. Одна уже косность и бездѣйствіе, при начатыхъ оборотахъ, гдѣ все зависѣло отъ кредита, своевременнаго, точнаго исполненія условій и принятія, безъ упущенія, разныхъ мѣръ, одно уже бездѣйствіе опекуновъ, не говоря о грѣхахъ другого рода, должно было нанести торговлѣ Орефьева смертный ударъ, которымъ другіе не преминули воспользоваться Домъ, на который положенъ былъ большой капиталъ и который очевидно долженъ былъ бы вскорѣ вознаградить съ избыткомъ всѣ издержки, простоялъ пять лѣтъ безъ оконъ и безъ дверей, не давая ни гроша дохода. Опекуны не хотѣли взять на себя отвѣтственность новыхъ расходовъ, необходимыхъ на отдѣлку дома, тѣмъ болѣе, что на это нужно было особенное разрѣшеніе, требовавшее хлопотливой переписки: поэтому они, оберегая себя, ограничились однимъ только сборомъ долговъ, уплатою необходимаго безспорнаго и очисткой дѣйствій своихъ на бумагѣ. Дому суждено было опять стоять въ недостроенномъ видѣ и ожидать совершеннолѣтія наслѣдниковъ.

Къ счастію, однакоже, мѣстное начальство вмѣшалось въ это дѣло, считая безбожнымъ допустить окончательное разрушеніе зданія, которое могло бы давно быть отдѣлано и приносить весьма значительный до-

ходъ. Очевидно было притомъ, что еслибы дать дому простоять еще нѣсколько лѣтъ въ этомъ видѣ, то пришлось бы еще приплатиться за свозъ его въ видѣ мусора. Рѣшено было продать домъ съ молотка. Опять возникъ вопросъ; кому же его купить? Въ городѣ на ту пору не было никого при такихъ деньгахъ,—это было извѣстно; а иногородному такая покупка не сподручна. Оцѣнка, само собой, сдѣлана была болѣе, чѣмъ сходная, именно потому, что и за половину настоящей цѣны не нашлось бы покупщика; притомъ зданіе потерпѣло уже много отъ времени, не будучи ни кончено, ни сбережено; при всемъ томъ, однако, ждали съ нетерпѣніемъ, въ чьи то оно руки попадетъ, зная, что покупщиковъ нѣтъ.

Но покупщикъ нашелся тамъ, гдѣ его никто не ожидалъ. Въ этомъ городѣ былъ нѣкто, въ родѣ купца, подрядчика и промышленника, ходатая, стряпчаго,—однимъ словомъ, въ родѣ чего угодно, нѣкто Акимъ Акимычъ Набольшевъ. Его звали то жидомъ, то цыганомъ, также иногда—перенося понятія неодушевленныхъ предметовъ на одушевленные—уховерткой и багромъ. Изъ всего этого ясно усматривается, какого рода человѣкъ былъ Акимъ Акимычъ. Большой балагуръ и краснобай, человѣкъ не злой собственно, а даже въ извѣстной степени добрый и услужливый, если только услуга эта не была противна его выгодамъ; ловкій, хитрый, происковый, но съ какимъ-то вкрадчивымъ видомъ простодушія и откровенности. Акимъ Акимычъ не былъ какимъ-нибудь отверженцемъ общества, какъ бы можно полагать, судя по исчисленнымъ нами качествамъ его, а напротивъ жилъ въ ладу почти со всѣми, за исключеніемъ развѣ тѣхъ немногихъ, кого надулъ слишкомъ безбожно и очевидно. Къ числу промысловъ его принадлежала между прочимъ близкая связь, поддерживаемая обоюдными выгодами, съ тѣми

изъ городскихъ жителей, у которыхъ бывали денежныя дѣлишки, обдѣлывавшіяся большею частью черезъ Акима Акимыча. Онъ, какъ человѣкъ скромный и часто нуждавшійся въ посторонней помощи при дѣлахъ и оборотахъ своихъ, считался вѣрнымъ и вошелъ у многихъ въ большую довѣренность. Благопріобрѣтенное достояніе этихъ многихъ бывало частенько у него въ рукахъ, и онъ исправно уплачивалъ пріятельскіе росты. Этотъ-то Акимъ Акимычъ и вздумалъ разбогатѣть, когда объявлена была продажа роковаго дома. Разсчитавъ безошибочно, какого дохода можно отъ этого ожидать, онъ обѣжалъ втихомолку всѣхъ денежныхъ вѣрителей и довѣрителей своихъ, представилъ имъ предстоящее блестящее дѣльцо и успѣлъ собрать необходимую сумму, даже съ прибавкою того, что нужно было для окончательной отдѣлки дома. Срокъ пришелъ; кромѣ Акима Акимыча, покупщиковъ не было ни на торгахъ, ни на переторжкѣ, и домъ, съ наддачею мѣднаго рубля сверхъ оцѣнки, остался за нимъ. Всѣ изумились и ждали развязки: всѣ знали, что у Акима Акимыча денегъ не было, всѣ привыкли къ оборотамъ разнаго рода, происходившимъ подъ его именемъ, но никто не зналъ еще, на чей счетъ домъ купленъ—объ этомъ ходили только догадки.

Акимъ Акимычъ въ расчетѣ своемъ не ошибся; торговля въ городишкѣ этомъ, въ послѣдніе годы, значительно поднялась, и за лавку, за которую платили въ годъ 50 рублей, стали платить 150 и 200. Въ пять, шесть лѣтъ, онъ выбралъ весь капиталъ, и товарищество, купившее подъ его именемъ домъ, не должно бы быть въ накладѣ—еслибъ Акимъ Акимычъ подѣлился съ товарищами; но, подумавъ хорошенько, онъ разсудилъ, что при нынѣшнемъ достаткѣ своемъ, можетъ подержаться и безъ помощи своихъ бывшихъ пріятелей, особенно, если присвоить весь домъ себѣ.

ходъ. Очевидно было притомъ, что еслибы дать дому простоять еще нѣсколько лѣтъ въ этомъ видѣ, то пришлось бы еще приплатиться за свозъ его въ видѣ мусора. Рѣшено было продать домъ съ молотка. Опять возникъ вопросъ; кому же его купить? Въ городѣ на ту пору не было никого при такихъ деньгахъ,—это было извѣстно; а иногородному такая покупка не сподручна. Оцѣнка, само собой, сдѣлана была болѣе, чѣмъ сходная, именно потому, что и за половину настоящей цѣны не нашлось бы покупщика; притомъ зданіе потерпѣло уже много отъ времени, не будучи ни кончено, ни сбережено; при всемъ томъ, однако, ждали съ нетерпѣніемъ, въ чьи то оно руки попадетъ, зная, что покупщиковъ нѣтъ.

Но покупщикъ нашелся тамъ, гдѣ его никто не ожидалъ. Въ этомъ городѣ былъ нѣкто, въ родѣ купца, подрядчика и промышленника, ходатая, стряпчаго,—однимъ словомъ, въ родѣ чего угодно, нѣкто Акимъ Акимычъ Набольшевъ. Его звали то жидомъ, то цыганомъ, также иногда—перенося понятія неодушевленныхъ предметовъ на одушевленные—уховерткой и багромъ. Изъ всего этого ясно усматривается, какого рода человѣкъ былъ Акимъ Акимычъ. Большой балагуръ и краснобай, человѣкъ не злой собственно, а даже въ извѣстной степени добрый и услужливый, если только услуга эта не была противна его выгодамъ; ловкій, хитрый, происковый, но съ какимъ-то вкрадчивымъ видомъ простодушія и откровенности. Акимъ Акимычъ не былъ какимъ-нибудь отверженцемъ общества, какъ бы можно полагать, судя по исчисленнымъ нами качествамъ его, а напротивъ жилъ въ ладу почти со всѣми, за исключеніемъ развѣ тѣхъ немногихъ, кого надулъ слишкомъ безбожно и очевидно. Къ числу промысловъ его принадлежала между прочимъ близкая связь, поддерживаемая обоюдными выгодами, съ тѣми

изъ городскихъ жителей, у которыхъ бывали денежныя дѣлишки, обдѣлывавшійся большею частью черезъ Акима Акимыча. Онъ, какъ человѣкъ скромный и часто нуждавшійся въ посторонней помощи при дѣлахъ и оборотахъ своихъ, считался вѣрнымъ и вошелъ у многихъ въ большую довѣренность. Благопріобрѣтенное достояніе этихъ многихъ бывало частенько у него въ рукахъ, и онъ исправно уплачивалъ пріятельскіе росты. Этотъ-то Акимъ Акимычъ и вздумалъ разбогатѣть, когда объявлена была продажа роковаго дома. Разсчитавъ безошибочно, какого дохода можно отъ этого ожидать, онъ обѣжалъ втихомолку всѣхъ денежныхъ вѣрителей и довѣрителей своихъ, представилъ имъ предстоящее блестящее дѣльцо и успѣлъ собрать необходимую сумму, даже съ прибавкою того, что нужно было для окончательной отдѣлки дома. Срокъ пришелъ; кромѣ Акима Акимыча, покупщиковъ не было ни на торгахъ, ни на переторжкѣ, и домъ, съ наддачею мѣднаго рубля сверхъ оцѣнки, остался за нимъ. Всѣ изумились и ждали развязки: всѣ знали, что у Акима Акимыча денегъ не было, всѣ привыкли къ оборотамъ разнаго рода, происходившимъ подъ его именемъ, но никто не зналъ еще, на чей счетъ домъ купленъ—объ этомъ ходили только догадки.

Акимъ Акимычъ въ расчетѣ своемъ не ошибся; торговля въ городишкѣ этомъ, въ послѣдніе годы, значительно поднялась, и за лавку, за которую платили въ годъ 50 рублей, стали платить 150 и 200. Въ пять, шесть лѣтъ, онъ выбралъ весь капиталъ, и товарищество, купившее подъ его именемъ домъ, не должно бы быть въ накладѣ—еслибъ Акимъ Акимычъ подѣлился съ товарищами; но, подумавъ хорошенько, онъ разсудилъ, что при нынѣшнемъ достаткѣ своемъ, можетъ подержаться и безъ помощи своихъ бывшихъ пріятелей, особенно, если присвоитъ весь домъ себѣ.

не заплативъ никому ни копѣйки—и въ этомъ расчетѣ онъ также не ошибся. Деньги были вручены ему безъ всякихъ письменныхъ видовъ, по одной только личной довѣренности, и потому на Акима Акимыча нельзя было вчинять никакого иска. Бѣдняки рвали на себѣ волосы, проклинали Акима—а взять было нечего.

Вотъ вамъ похожденія полукаменнаго дома; Акимъ Акимычъ съ легкой руки разбогатѣлъ, пришедши на готовое и снявъ пѣночки, а вѣрителей своихъ онъ все еще благополучно и притомъ буквально проводитъ завтраками, приглашая ихъ по праздникамъ къ себѣ на закуску

# КОЛДУНЬЯ *)

Мы запоздали выѣздомъ, ночь часъ-отъ-часу становилась темнѣе; вѣтеръ переметалъ дорогу, и мы уже раза два сбивались, кони измучились, я перезябъ и, увидавъ невдалекѣ огонекъ, обрадовался ему и рѣшился переночевать въ деревушкѣ. Насъ пустили въ первую избу, въ которую мы попросились.

— Прошаемъ милости,—сказалъ хозяинъ, отворяя дверь въ избу; —только не обезсудьте, ваша милость, въ избѣ-то у насъ не больно срядно, понадрянили: коё мы съ лаптишками нанесли, коё робятишки. . Эй ты, Аѳроська! эка ворона! смахни съ лавки, да пріоставь свитецъ. Аль не прикажешь ли подать свичу? мы подерживаемъ ради наѣзду; къ намъ-таки жалуютъ ино бара, а пуще вотъ передъ введеньевской ярманкой. Намедни какъ-то ночевалъ у насъ лѣкарь; мы было такъ ему обрадовались—у насъ, вишь, хвораетъ бабенка, вотъ энтого дѣтины хозяйка—третій годъ, а не отпускаетъ ничего. Испортили, окаянные, выкликаетъ и кошкой-то, и собакой-то, и не вѣсь какъ; така судьба Божья! А бабенка-то бы клёвая (красивая, видная); да что ты будешь дѣлать — по вѣтру пустили!»

*) Разсказъ этотъ полученъ мною почти въ томъ видѣ, какъ онъ есть.

Хозяинъ, рослый и видный старикъ, весь сѣдой, взглянулъ на меня при этомъ, будто хотѣлъ видѣть, что я скажу или подумаю. Какъ бывалый человѣкъ въ обращеніи съ господами заѣзжими, онъ видно зналъ уже по опыту, что разсказы его о порчѣ и напускѣ не всегда принимаются съ такою же простотой, съ какой онъ ихъ разсказываетъ. «Баринъ смѣется», продолжалъ онъ: «да и лѣкарь-то смѣялся, да вотъ не сдѣлалъ ничего, легче нѣтъ. Ваши братья господа не вѣрятъ порчамъ, баютъ и колдуновъ-то нѣтъ.» Я отвѣчалъ, что всему на свѣтѣ можно повѣрить, коли увидишь своими глазами, либо ощупаешь руками; противъ такой правды спорить нельзя, чтобы не сбылось надъ нами писаніе: и уши есть, да не слышатъ, и глаза есть, да не видятъ. Но какъ я дѣла этого, о которомъ онъ говоритъ, не видалъ и не знаю, то и вѣрить не могу.

— Какъ ваша милость не вѣритъ, —сказалъ толковый и словоохотливый старикъ:—есть пословка: въ уймѣ (лѣсу) не безъ звиря, въ людяхъ не безъ лиха; а пословка на витеръ не говорится. Не знаю я твоего имечка и отчества, а коли повелишь, разскажу я тебѣ бывальщину, такъ вотъ самъ скажешь опосля, каково дѣло это, вѣрить аль не вѣрить. Я вишь пораскалякался, ночь долга будетъ, станетъ поры еще и выспаться.

Я сѣлъ за чай и просилъ хозяина говорить, увѣряя, что буду слушать его.—То-то бара,—сказалъ онъ, заплетая новый лапоть:—вѣрить не вѣрятъ ничему, а слушать рады!

«Вотъ, батюшка ты мой, отъ нашей деревни быть верстъ десять или двѣнадцать, есть деревнюшка, а когда-то бывала она и большой деревней; да такъ, не повелось что-то. Тутъ въ старину жилъ-былъ мужичекъ, по имени Маркелъ, а по отзыву Ворохъ; а у

Маркела былъ сынокъ Гарасимъ. Въ тѣ поры здѣшній народъ не зналъ чужой стороны, оброчное и государево добывали около себя, то хлѣбушкомъ, то холстами, то скотиной, и холостые парни всѣ жили по домамъ, не какъ нынѣ, что все у чужихъ людей, въ работѣ, въ Москвѣ, либо въ самомъ Питерѣ. Женить молодыхъ понужденья у насъ не было, а сходились женихи и невѣсты сами, по согласію.

«Вотъ, батюшка ты мой, Ворохъ былъ мужикъ богатый, Гаранька парень важный, дородный, бѣлый да румяный, и дѣвушки отъ него не прочь, и отцы-матери не прочь; а въ той же деревнѣ, сударикъ ты мой, жила вдова Авдотья; старуха не старуха, а таки еще въ порѣ, а у нея, слышь, дочька Акулька—плевая дѣвчонка, поджаренькая, подслѣпенькая, такъ вотъ и вся-то съ курицу, и прозвище дали ей «мокрая гадка». Избенка была у нихъ плохая, жили Богу вѣдомо какъ и чѣмъ, ну вотъ только-что не нищіе, что по-міру не ходили. Вотъ, отецъ ты мой, въ ночи на лѣтняго Ивана, что живетъ въ Петровки, Авдотья моя и пропала; какъ пропала наша Авдотья, такъ и нѣтъ ея сутки, нѣтъ другія, нѣтъ и недѣли, и больше — а дочка не горюетъ ничего, ходитъ съ парнями въ кругахъ (хороводахъ), да распѣваетъ пѣсенки. Спросятъ ее: а гдѣ мать?—Она молчитъ, либо, не знаю, говоритъ; я-де за нею не хожу. Пропадала она таки долго, что люди не чаяли и видѣть ее, анъ ужь около нашего праздника, отколь ни взялась, опять тутъ стала. И никто не видалъ, когда и откуда она пришла: сталобыть ночью, либо не по землѣ шла. Станутъ люди спрашивать ее: Авдотья, гдѣ пропадала?—Ничего не говоритъ, только тебѣ глазами поводитъ. Одинъ спроситъ, другой спроситъ—молчитъ, ровно отнялся языкъ. Пришла осень—Авдотья поставила новую избу съ косящатымъ окномъ, перевалила и дворъ, накрыла повѣть,

все, какъ быть надо у добраго хозяина, стали съ людьми знаться и жить по-людски и хлѣбъ соль водить. Стали всѣ дивиться, отколь Богъ далъ все это Авдотьѣ; бывало: наготы, босоты, изувѣшаны шесты—а теперя: и коты съ оторочкой, и понева съ прошвой, а на дочери—что праздникъ, то платокъ новый, обнова за обновой. Стали приглядывать да прислушиваться—вотъ, сударь ты мой, какъ стали приглядывать да прислушиваться, то и видятъ, что у Авдотьи по ночамъ, вечеромъ, огня въ дому нѣтъ, а народу полна изба, и шумъ и гамъ. Что-де это такое? Никто не знаетъ, а хорошаго, надо быть, мало. Ну, прошли Филипповки, прошелъ мясоѣдъ, стали въ народѣ налаживаться свадьбы: куда Авдотью не позовутъ, да гдѣ не почествуютъ, тамъ и свадьбы нѣтъ; вотъ оно что. Либо невѣста жениху, либо женихъ невѣстѣ, невѣсть съ чего, звѣремъ какимъ покажутся, либо и того хуже, скорбь да немочь нападетъ, прикинется такое, чего прежде и не видывали. Дѣло худо; тутъ ужъ знать некуда концовъ дѣвать, а выходитъ наружу, что Авдотья спозналась съ нечистымъ. Познали всѣ люди про то, весь міръ, а молвить боятся; всякъ оберегаетъ себя; вотъ и стали кучиться да кланяться Авдотьѣ, кому въ чемъ какая нужда, а денежки валятъ къ ней валомъ. Глядятъ мужики—только плечами поведутъ, дивуются, а молчатъ: на дочкѣ, на Окулькѣ, шуба не шуба, шушунъ не шушунъ; и въ золотѣ ходитъ и въ соболяхъ, во всемъ приходѣ нѣтъ и не было такой ни одной; женихи пороги обили, сваты да свахи дорожки проторили—а Авдотья ртачится еще: не тѣ, вишь, женихи!

«Нечего дѣлать, все думается, это по грѣхамъ нашимъ; надо терпѣть. Проходитъ годъ—Авдотья въ церковь ни ногой; проходитъ другой—на духу не бывала, иконъ не подымывала. Стали люди говорить на

весь міръ, что съ Авдотьей житья нѣтъ и никому не будетъ, что она, стало-быть, совсѣмъ отшатнулась, отошла къ нечистому; ну, говорить говорятъ и толкуютъ, да на томъ и порѣшатъ; а она свое.

«Вотъ, батюшка ты мой, пришло время и Маркелу женить сына, и сталъ онъ засылать свахъ. Скажутъ свахѣ: ладно, покорно просимъ на смотрѣнье; Маркелъ съ сыномъ и поѣдетъ, а Авдотья выйдетъ на улицу, махнетъ руками на всѣ четыре стороны, зальется хохотомъ да покатится—и пошла себѣ опять въ избу; а тамъ, какъ пріѣдетъ Маркелъ съ сыномъ къ невѣстѣ, то она тебѣ рёвомъ-реветъ: нейду, говоритъ, за медвѣдя — какъ я пойду за медвѣдя?... лучше, говоритъ, камень на шею мнѣ, да въ воду. А Авдотья, какъ прослышитъ объ этомъ, говоритъ: «Ну, видно быть Маркелу сватомъ моимъ; а Гаранькѣ зятемъ.» Маркелъ, прослышавъ про это, говоритъ: «пусть-де въ глаза мнѣ наплюютъ, коли станется это, не бывать этому во вѣкъ.» Вотъ Авдотья пуще на стѣну лѣзетъ, озлобилась на всѣхъ, и проявилось много порченыхъ и стали выкликать, что-де Авдотья колдунья и вся порча отъ нея, что портитъ она дѣвокъ по вѣтру, изъ-за маркелова сына, проча его за дочь свою, за Окульку.

«Устрашились этого православные, стали просить стариковъ отвести Авдотью отъ нечистаго. Вотъ и пошли, разъ и другой и третій, стали приводить ее къ Богу — такъ куда, и навздымъ не дается, хоть не говори! Пошли старосту просить, что бы то есть унять Авдотью; староста былъ мужикъ простой, вотъ какъ бы и я грѣшный, побранитъ ее, побранитъ, да пострацаетъ—она и не глядитъ; учеститъ его винцомъ, да тѣмъ и оправится и опять за свое.

«Дѣло худо, толковали, толковали міряне, что не берутъ-де ея ничего, а ужь жить съ нею, съ Авдотьей,

не приходится крещеному человѣку и міру тѣрпѣть не въ мочь. Вотъ и затѣяли грѣхъ, задумали извести Авдотью. Человѣкъ десятокъ мужиковъ стакнулись и положили сдѣлать дѣло. Ночь не за горами, прошла скоро, они подошли—все темно въ избѣ у Авдотьи, а ровно слышно тамъ, что возятся. Ребята ввалились всѣ вдругъ въ избу — не видать ни зги; говоритъ: «Авдотья, вздуй огня!» и она, гдѣ ни была, подошла къ шестку, вздула огня, поглядѣла на мужиковъ, да и спрашиваетъ: «вамъ что надо?» — Они къ ней, да хотѣли было и того — а она, какъ топнетъ ногой, да какъ взвизгнетъ—изба вся такъ и зашаталась ходенемъ, а она, обернувшись не то кошкой, не то собакой шуркъ изъ-подъ нихъ, да вонъ — только они ее и видѣли. Мужики мои со страху не могли сотворить и молитвы: попадали, да другъ друга за головы ловятъ, да за бороды теребятъ; ну, батюшка, одинъ черезъ одного, ползкомъ, кувыркомъ, да насилу кой-какъ вывалились черезъ порогъ, да изъ сѣней на корачкахъ со двора!

«Зареклись мужики мои, что и другу и недругу закажутъ вѣдаться съ Авдотьей, и пошли, все пересказали Маркелу: «что хочешь дѣлай, говорятъ, а всей деревнѣ черезъ тебя не пропадать: думай, да либо жени сына на Окулькѣ, что ли, либо поди, кланяйся бабѣ въ ноги, неси гостинца, да отпросись; отпуститъ — хорошо; а нѣтъ—видно судьба твоя!» Однако Маркелъ на это не разсудилъ податься, говоритъ: «еще поворожимъ, что Богъ дастъ.» Тѣмъ временемъ Авдотья пуще прежняго мутитъ; знай портитъ народъ, житья нѣтъ: кто встрѣтится съ нею, да не такъ поклонится, не полюбится ей — то, того гляди, бѣда, либо грѣхъ какой въ домѣ и есть. Что дѣлать? Одно говорятъ: ищите такого, чтобъ зналъ силу, чтобъ Авдотью одолѣлъ. Пристали къ Маркелу всѣ, говорятъ: «какъ

хочешь, дядя Маркелъ, а грѣхъ твой, надъ тобой встряслось; ты и выручай!»

«Вотъ и нашли такого человѣка: жилъ онъ годовъ со сто, побольше, отъ деревни нашей не близко и не далеко, и ужь такая про него слава прошла, что управлялся-де онъ и не съ такими, какъ Авдотья. Ну, поѣхалъ нашъ Маркелъ, ѣздилъ никакъ съ недѣлю, да о святкахъ и привезъ этого старика. Только въѣхалъ въ деревню—а у Авдотьи, слышь, всѣ куры и запѣли пѣтухомъ! Вотъ народъ-то и прибодрился; Авдотьюшка оробѣла. Старикъ живетъ себѣ у Маркела—все ничего и стало потише на деревнѣ, какъ будто новыхъ проказъ авдотьиныхъ не слышно. Проходитъ крещенье—Маркелъ съ сыномъ и поѣхалъ на смотрину и взяли съ собой старика. Что тамъ у нихъ было до того—не вѣдаю; только сказывали, что старикъ до поры не ѣхалъ, и Маркелу ѣхать не велѣлъ; а какъ пришла пора, то и сказалъ, что теперь-де поѣдемъ.

«Провѣдала объ этомъ Авдотья, хочется ей выйти на улицу, чтобъ, знаешь, свое дѣло сдѣлать—такъ лихъ нѣтъ, что-то претитъ, она какъ бы ступить за порогъ, анъ ноги-то назадъ ѣдутъ, словно подъ ними земля осунулась. Такъ она, окаянная, сколько ни билась, поколѣ не воротился Маркелъ съ сыномъ и со старикомъ, потолѣ на печи въ избѣ и просидѣла, инно взвыла подъ конецъ, такъ-что народъ подъ окнами собрался! А Маркелъ сдѣдалъ свое дѣло, какъ водилось, сговорилъ сына за отборную невѣсту, какой лучше не надо, и благополучно воротился со старикомъ. Пришло время ѣхать по невѣсту; народу на проводы набѣжало къ Маркелу полна изба, повернуться негдѣ; дѣвки запѣли пѣсню: «какъ Гаранѣ мати голову чесала»; глянь—анъ у Гаранъки-то волосы на головѣ поломемъ пышатъ. Маркелъ испугался, подскочилъ, чтобъ погасить—анъ у самого бородища занялась, да

пламя такъ все лицо и окинуло! Какъ взревутъ они оба, и отецъ-то и сынъ, пали на-земь да и катаются. Народъ всполошился, дѣвки поперхнулись пѣсней—не до нея, всѣ врознь; мужики бросились къ водѣ — а тутъ, сударь ты мой, какъ народъ разступился, да старикъ, сидя въ куту, увидалъ что дѣлается, такъ усмѣхнулся только, да молвивъ что-то про себя, махнулъ рукой — такъ ничего-те и не бывало, огня нѣтъ и волосы цѣлы и бородища цѣла.

«Помаленьку образумились Маркелъ съ Гаранькой, перекрестились; отецъ благословилъ сына, вышли на дворъ и сѣли въ сани—а кони съ мѣста нейдутъ, хоть что хочешь дѣлай, храпятъ, прядутъ ушами, да пятятся; а сами въ поту стали, ровно кто ихъ взмылилъ. Стали понукать, хлестнули кнутомъ, дернули кони — завертки пополамъ, гужи на-четверо! Вотъ какъ!

«Старикъ вылѣзъ изъ саней, обошелъ поѣздъ три раза по солнцу, далъ лошадямъ зелья понюхать — и пошли. Дорогой ѣхали все хорошо, пріѣхали къ невѣстѣ — а тамъ иной грѣхъ: у невѣстина двора нѣтъ ни воротъ, ни калитки, вокругъ однѣ глухія стѣны, а на избѣ и крыши нѣтъ. Старикъ только потрясъ головой, опять вылѣзъ изъ саней, взялъ изъ-подъ правой ноги, отъ слѣдка, комочекъ снѣгу, обернулся на мѣстѣ три раза, зачурался, бросилъ комъ на избу, — все стало, какъ слѣдно быть, и крыша и ворота есть.

«Вотъ, батюшка ты мой, это ладно. Взяли невѣсту, поѣхали въ церковь, повѣнчались и, слава Богу, дѣло сдѣлалось безъ помѣшки, все благополучно. Пріѣзжаютъ къ Маркелу; вотъ онъ встрѣтилъ молодыхъ, какъ слѣдуетъ, у воротъ — радъ-радъ, что поѣздъ прибылъ, что все кончено, потому, вишь, что боялся онъ за нихъ, еще не будетъ ли бѣды какой отъ авдотьиныхъ проказъ, встрѣлъ онъ молодыхъ своихъ съ иконою, осыпалъ ихъ и хмѣлемъ, а они вошли въ избу, сѣли

за столъ, и молодая-то красавица подъ фатой на золотѣ, а Гаранька въ борйстомъ кафтанѣ съ пуговицами, словно, по-купецки. Дружка сталъ свое дѣло дѣлать, прибирать всякія рѣчи, чтобъ потѣшить бояръ и поѣзжанъ: «эй, стряпýхонька, поварйхонька! бѣлы рученьки, скоры но́женьки; повыдь, повыступи отъ печи кирпичныя, отъ столба перемычнаго; шевельнись, мотнись, не позёвывай; что есть въ печи, все на столъ мечи!»

«Вотъ и стали подавать всякія яства: подали одно, анъ на столѣ одни черепья битые; подали другое — каленое уголье; свашеньки растерялись, дружка языка не доищется, позабылъ всѣ красны приговоры свои; всѣ перепугались, что дѣло, стало-быть, ужь и вовсе не ладно. Вотъ старикъ нашъ поглядѣлъ, провелъ рукой по бородѣ, да и говоритъ: «Кто такой столъ готовилъ, тому и ѣсть надо, не миновать; подите, кланяйтесь Авдотьѣ, да зовите на свадьбу, на хлѣбъ-соль, на коровай.»

«Побѣжали дружки — Авдотья дома, и съ печи не слѣзала; глаза что жаръ горятъ; зла, зла такъ, что взглянуть на нее страшно, а видно не послушаться не смѣетъ, накинула второпяхъ на себя кой-какую одежку, платкомъ на золотѣ подвязалась, пришла. Вошла она въ избу Маркела, ровно вотъ сама не своя; креста на себя не положила, народу, ни хозяину съ хозяйкой не поклонилась, сѣла за столъ молча, глаза передъ себя потупила, ни на кого не глядитъ; а явства всѣ стали, какъ были — нѣтъ, то есть, ни черепьевъ, ни уголья. Отошелъ княжескій столъ, а старикъ все молчитъ и не поглядитъ на Авдотью, ровно не его дѣло, и повели молодыхъ на подклѣть; Авдотья-то бы и вонъ, да ноги не слушаются! Вотъ, какъ увели молодыхъ, старикъ и поднялъ брови, и глядитъ на Авдотью во всѣ глаза, а она такъ и затряслась. «Стой, говоритъ, Авдотьюшка; полно кошкѣ таскать изъ чашки, пора и

честь знать. Вѣдь у меня меньшой сынъ былъ твоему дѣдушкѣ ровесникъ, такъ тебѣ со мной совладать будетъ тяжело; чтобъ на насъ съ тобой добрые люди не плакались, такъ поди-ка ты сюда!» Она бѣлѣй бѣлья стала, вся дрожитъ, а подошла; старикъ развернулся да какъ ляпнетъ ее лѣвшой на-отмашь — Авдотья съ ногъ долой, закричала разными голосами; ужь ломало ее тутъ, ломало — встала вдругъ опять, отряхнулась, зашаталась, да какъ кинется къ двери, да бѣжать; старикъ смѣется, а народъ за нею, а она во всѣ лопатки, да опростоволосилась и платокъ съ головы потеряла—все бѣжитъ; не успѣла добѣжать домой, какъ подымется вихорь престрашный, да какъ налетитъ на Авдотью воронье, откуда берутся — вотъ туча тучей. Ну, она все бѣжитъ, а воронье, видимо-невидимо, все за ней, облѣпили кругомъ, что ея и слѣдочку не видать стало. Народъ испугался и воротился, перекрестившись; никто въ ночь не посмѣлъ и дойти къ избѣ авдотьиной и не вѣдали, что тамъ дѣлается, что творится

«Вотъ на утро и пошла молва, что Авдотья-де побывшилась (скончалась). Всѣ обрадовались, бѣгутъ къ ней въ избу, глядятъ—Окулька заперта въ свѣтелкѣ, а Авдотьи нѣтъ; въ избѣ на полу лежитъ платъ ее, кичка, сарафанъ, рубаха, обутка — все, въ чемъ вечоръ была Авдотья, а ея нѣтъ. Вотъ, батюшка, нѣтъ ея да нѣтъ, да такъ и не стало; и куда дѣлась она, никто не знаетъ, такъ и пропала. Вотъ и стали опослѣ догадываться, что расклевали Авдотью воронье, а воронье-то не простое, какъ и сама она не спроста шаливала, а то-де нечистая сила, которую старикъ напустилъ.

«Вотъ тебѣ, батюшка ты мой, и бывальшина; любали вашей милости?» спросилъ хозяинъ.

— Живетъ, — сказалъ я: — ничего; тебя слушать

можно; да только хотѣлось бы мнѣ знать, давно ли все это было?

— Да ужь ражеé мѣсто тому времени,—отвѣчалъ онъ, тряхнувъ сѣдой головой: — мнѣ, пожалуй что и не смекнуть. Гаранька-то, вишь, женился на родной теткѣ моего дѣдушки Карпа, а онъ жилъ на свѣтѣ побольше ста годовъ; отецъ мой жилъ десятковъ восемь съ прибавкой, въ пугачевщину былъ уже женатъ, а побывшился — есть тому годовъ съ полчетвертá десятка, коли не побольше — да вотъ и мнѣ ужь на седьмой десятокъ, быть шестой, аль седьмой годъ—а я изъ братеньниковъ меньшакъ. Такъ вотъ и смекайте сами.

# ГОВОРЪ

Лѣтъ тому съ десятокъ, сидѣли мы въ въ тверской деревнѣ моей съ добрыми сосѣдями въ саду, подъ навѣсомъ (а у меня вокругъ дома сдѣланъ широкій навѣсъ, сажени въ три), пили чай, не торопясь, курили трубки и балагурили. Бесѣда подошла къ народному говору, который различается такъ рѣдко и ясно для привычнаго уха, не только въ разныхъ губерніяхъ и уѣздахъ, но даже иногда въ близкихъ, сосѣднихъ полосахъ. Развѣ лихо возьметъ литвина, чтобъ онъ не *дзекнулъ?* Хохолъ *у саду* (въ саду) сидитъ, *въ себя* (у себя) гоститъ; и по этому произношенію, какъ и по особой пѣвучести буквы *о*, по надышкѣ на букву *г*, вы легко узнаете южнаго русса; курянинъ *ходить* и *видить;* москвичъ *владѣетъ* и *балагуритъ*, владимірецъ *володаетъ* и *болоушитъ*; но этого мало, въ Ворсмѣ говорятъ не такъ, какъ въ селѣ Павловѣ, и кто наострить ухо свое на это, тотъ легко распознаетъ всякаго уроженца по мѣстности.

— Не совсѣмъ я на это согласенъ,—сказалъ одинъ изъ гостей моихъ: — воля ваша, а вы опять сѣли на своего конька. — Другіе поддерживали моего противника: они соглашались, что у насъ есть различіе въ говорѣ, по губерніямъ, или вѣрнѣе по полосамъ, что

особенно рѣки обозначаютъ предѣлы этихъ наречій, но утверждали притомъ, что по говору нельзя опредѣлить вѣрно даже губерніи, не только округа, что произношеніе въ народѣ нашемъ какое-то общее, грубое, съ небольшими оттѣнками, подъ Москвой на *а*, подъ Костромой на *о*, но вообще довольно неопредѣлительное, шаткое, произвольное, что къ нему нельзя примѣниться и нельзя сдѣлать по немъ никакихъ вѣрныхъ заключеній. Мнѣніе это они подкрѣпляли еще тѣмъ, что, напр., въ Шенкурскѣ находимъ почти бѣлорусское произношеніе, а въ Новгородской губерніи весьма близкое къ малорусскому, но что, при всемъ томъ, собственно въ Великороссіи всѣ говоры эти сливаются болѣе въ одинъ, и въ этомъ одномъ оттѣнки не довольно значительны и точны.

На дворѣ пробѣжалъ дождичекъ, и опять проглянуло солнце; дорожки въ саду были усыпаны какимъ-то илистымъ пескомъ и сдѣлались скользкими. Плотникъ, идучи мимо насъ съ доской—я строилъ бесѣдку—поскользнулся и чуть было не упалъ; я оборотился къ нему и спросилъ: что ты?—Ничего, отвѣчалъ онъ, прибавивъ къ этому еще одно только слово, оправился, отряхнулся и пошелъ далѣе.

— Повѣрите ли вы мнѣ на слово, господа, — сказалъ я:—что два плотника, которые у меня работаютъ со вчерашняго дня, наняты въ помощь моимъ не мною, что я ихъ не видалъ, не говорилъ съ ними доселѣ ни слова, и что вотъ теперь, при васъ, первый разъ слышу, какой у этого человѣка голосъ?

— Коли вы говорите это, то повѣримъ,—отвѣчали тѣ:—почему жъ нѣтъ?

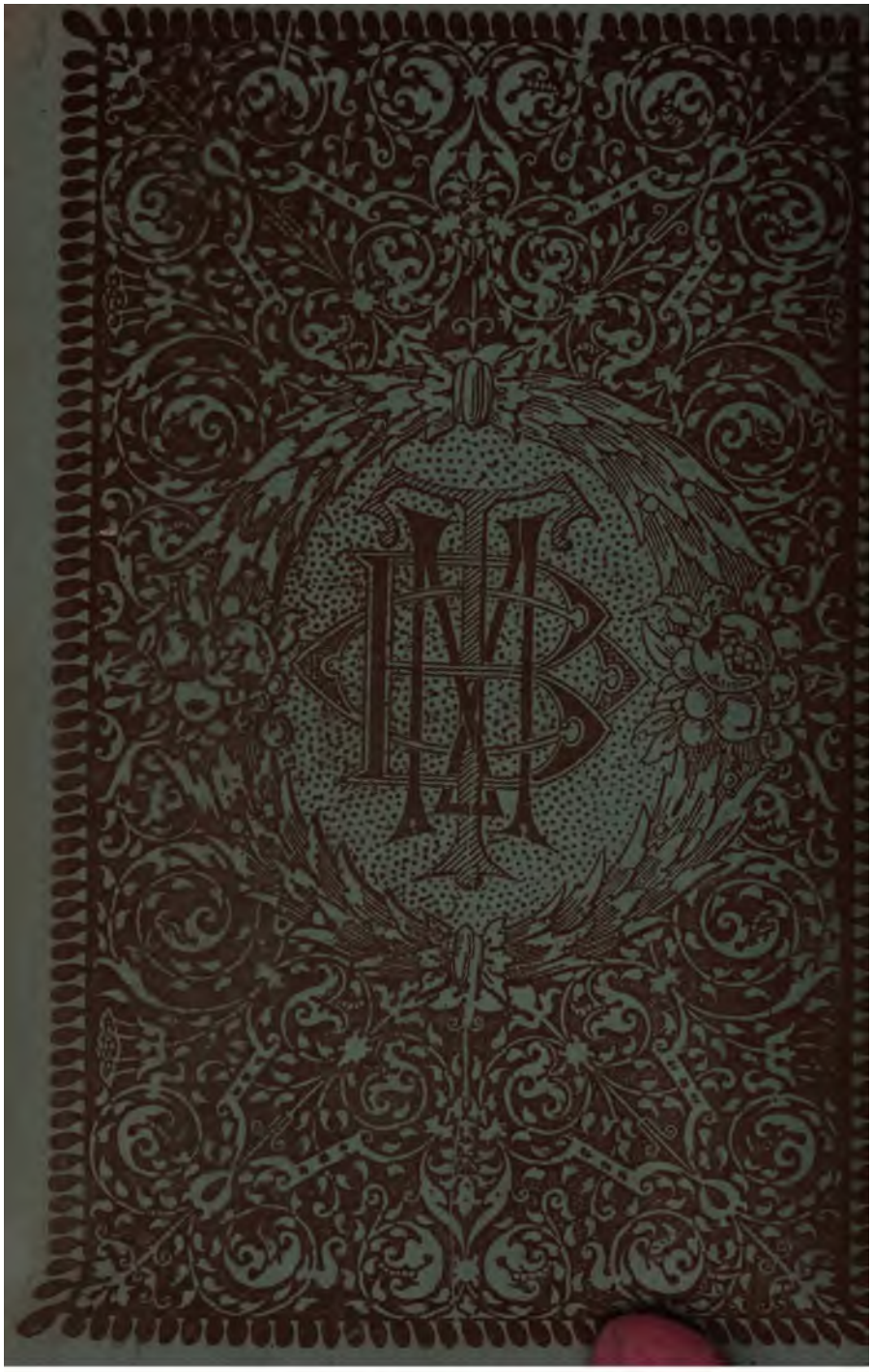
— Ну, вы слышали, что онъ мнѣ отвѣчалъ: скажите жъ мнѣ, откуда онъ?

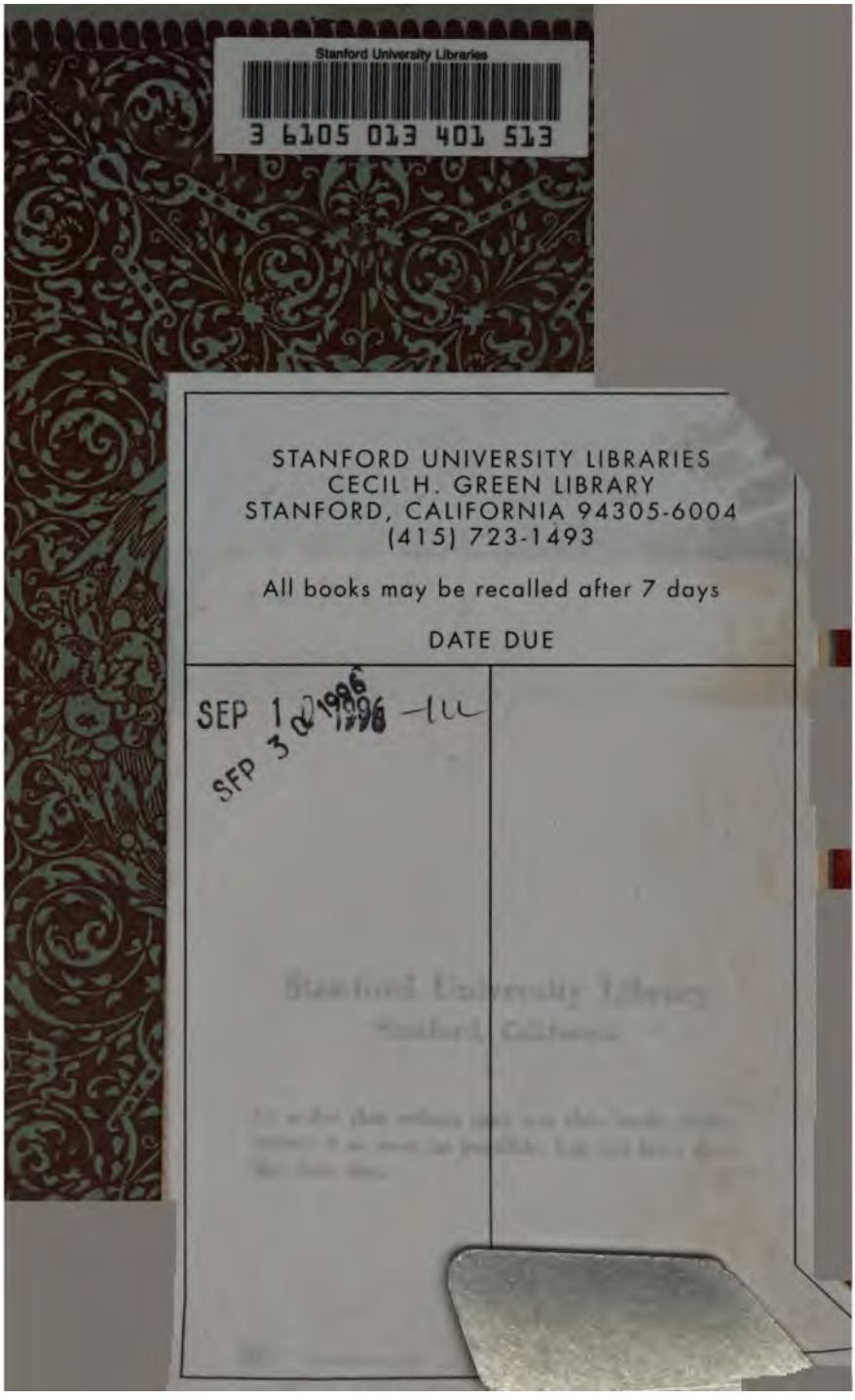
Одинъ не дослышалъ, другіе увѣряли, что плотникъ отвѣчалъ только «ничего, скользко», и не вра-

# СОДЕРЖАНІЕ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА


| | | стр. |
|---|---|---|
| 1. | Ракита | 1 |
| 2. | Займы | 8 |
| 3. | Свѣтлый праздникъ | 21 |
| 4. | Безчестье | 27 |
| 5. | Петруша съ Параней | 39 |
| 6. | Кто кого одурачилъ? | 54 |
| 7. | Четыре брата и одинъ разводъ | 69 |
| 8. | Любовь по гробъ | 79 |
| 9. | Братецъ и сестрица | 93 |
| 10. | Мнимоумершіе | 108 |
| 11. | Боярыня | 121 |
| 12. | Фокусникъ | 132 |
| 13. | Невольные соперники | 146 |
| 14. | Разсватъ | 164 |
| 15. | Выемка | 171 |
| 16. | Крестьянка | 184 |
| 17. | Ваша воля, наша доля | 198 |
| 18. | Вдовецъ | 204 |
| 19. | Ворожея | 211 |
| 20. | Промышленникъ | 223 |
| 21. | Савраска | 242 |
| 22. | Иванъ Непомнящій | 249 |
| 23. | Генеральша | 262 |
| 24. | Прадѣдовскія вѣтлы | 277 |
| 25. | Женихъ | 295 |
| 26. | Дышло | 310 |
| 27. | Памятка | 317 |
| 28. | Медвѣди | 323 |
| 29. | Охота на волковъ | 328 |
| 30. | Пчелиный рой | 348 |
| 31. | Полукаменный домъ | 358 |
| 32. | Колдунья | 369 |
| 33. | Говоръ | 380 |

891.73
D131
v. 4



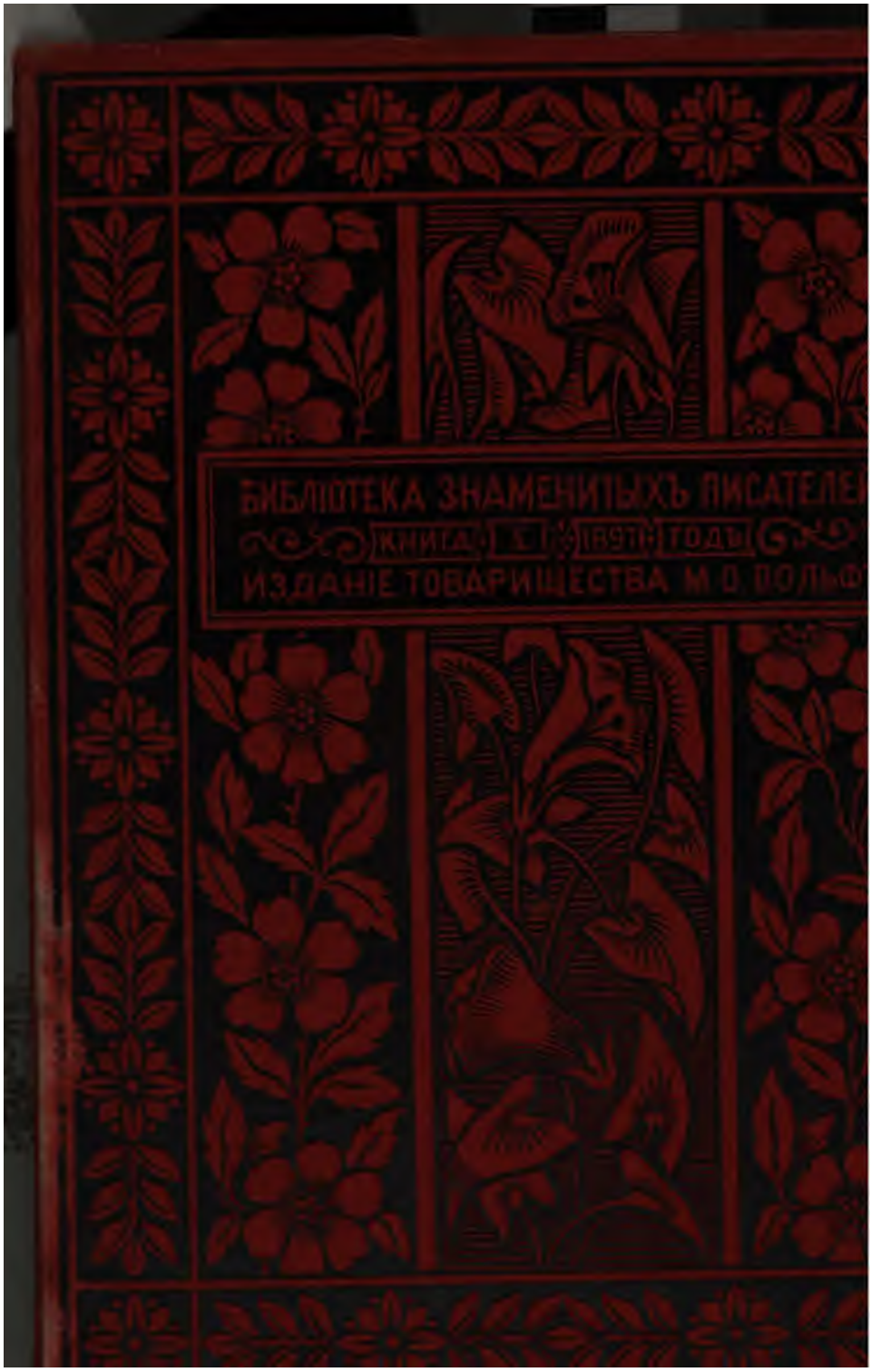

Stanford University Libraries
3 6105 013 401 513

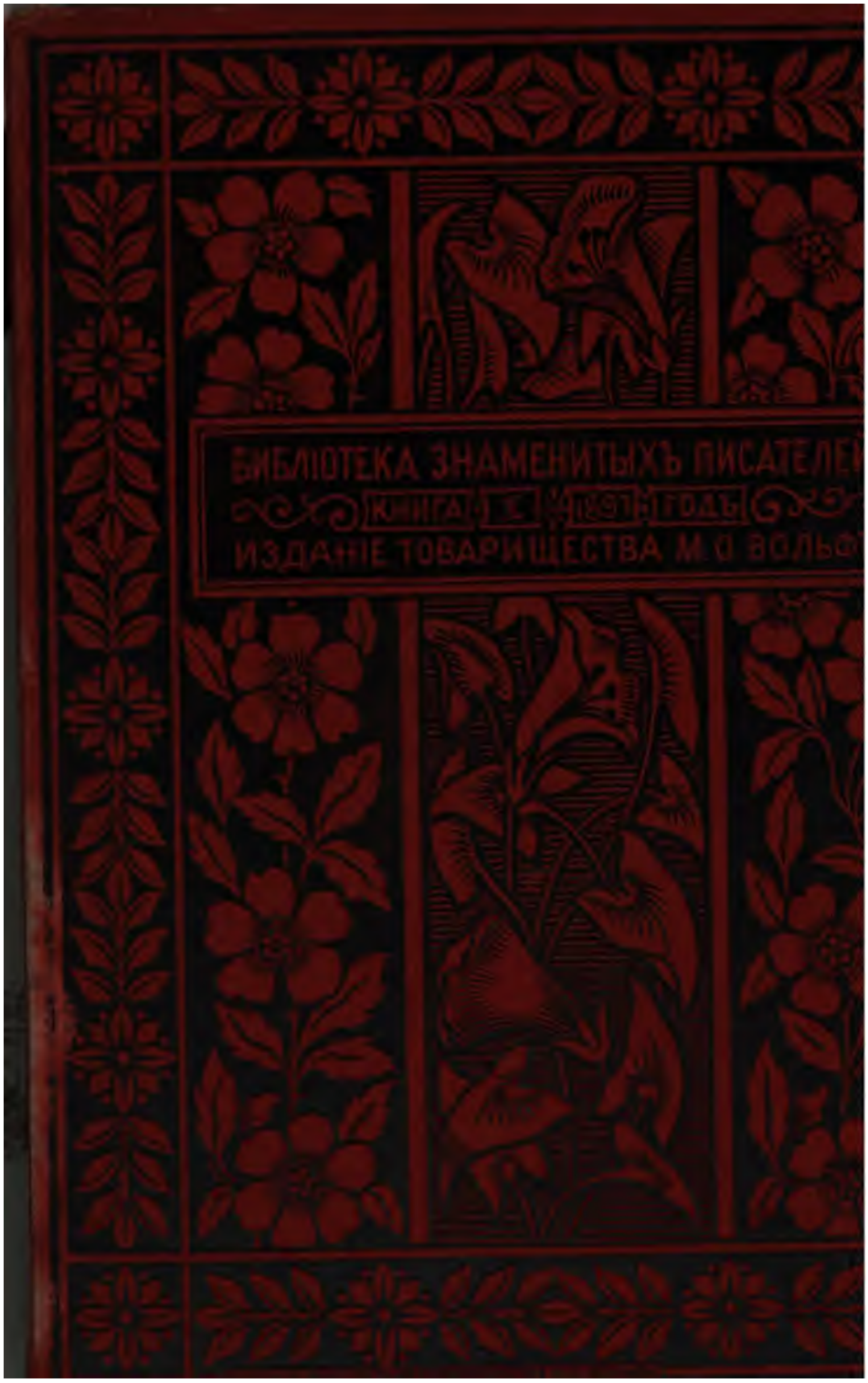
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

SEP 1 0 1996
SEP 3 0 1998


БИБЛІОТЕКА ЗНАМЕНИТЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ
КНИГА ПЯТЬДЕСЯТЫЙ ГОДЪ
ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М О ВОЛЬФ


БИБЛІОТЕКА ЗНАМЕНИТЫХЪ ПИСАТЕЛЕ
КНИГА
ГОДЫ
ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М О ВОЛЬФ